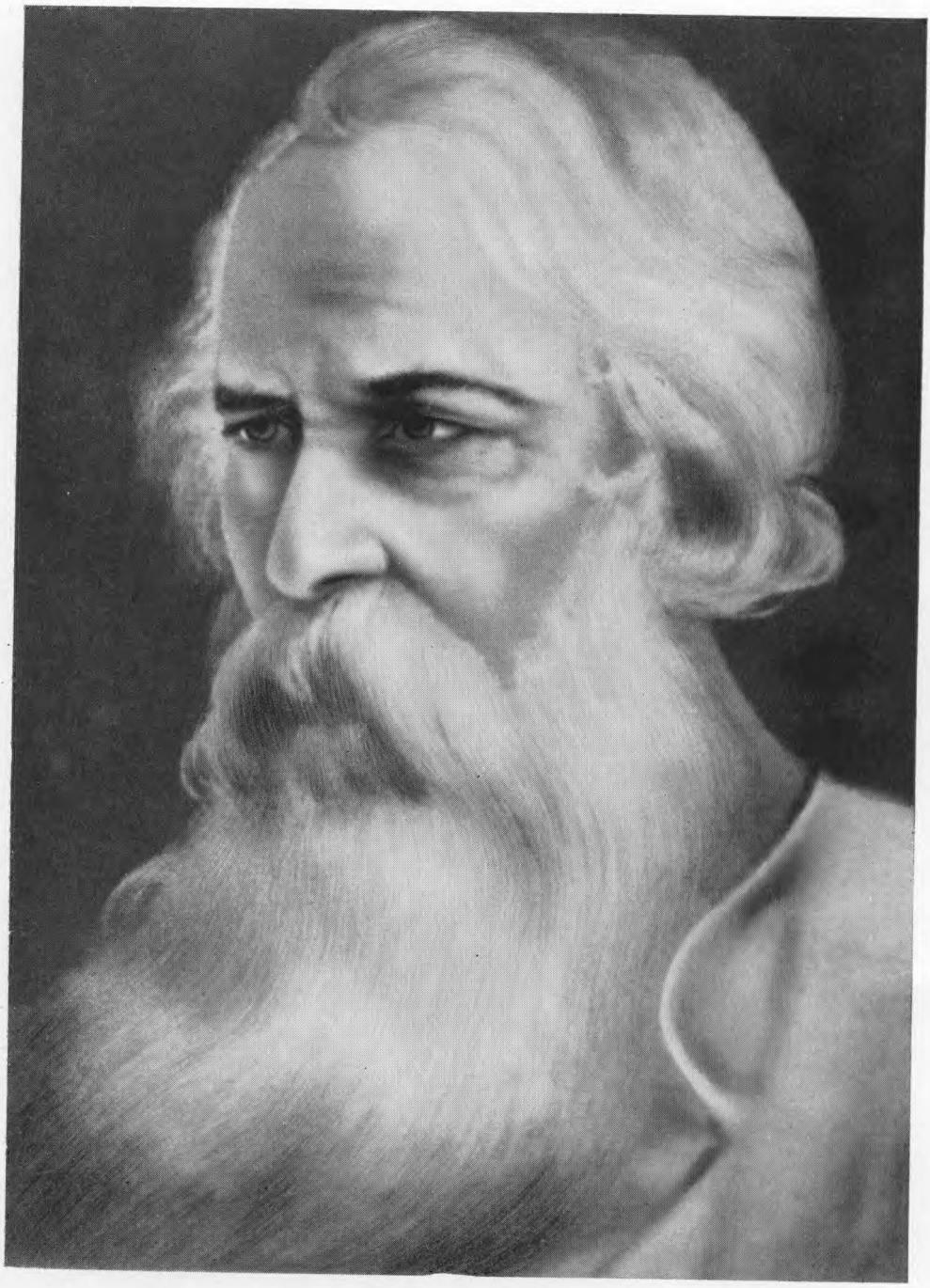
ИНОСТРАННАЯ *литература*

5

1961

ИНОСТРАННАЯ литература
5
1961



Рабиндранат Тагор

ИНОСТРАННАЯ Литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

«Свобода Алжиру» — рисунок венгерского художника Тибора Зала

Содержание

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА (Отклики зарубежных деятелей культуры на триумфальный полет советского человека на космическом корабле вокруг Земли) 4

ГО МО-ЖО — Навек этот день нам подарен! (Стихи) 6

БОГУСЛАВ БРЖЕЗОВСКИЙ — Железный потолок (Роман) 7

ИОГАННЕС БЕХЕР — Да будет свет! (Стихи) 89

РОНАЛД СИГАЛ — Токолош (Повесть) . . . 94

ЖАН СЕНАК — Я говорю, чтобы все узнали мой край (Стихи) 126

АНДРЕ СТИЛЬ — Обвал (Роман. Окончание) 129

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РАБИНДРАНАТА ТАГОРА

ГОПАЛ ХАЛДАР — «Все, что я вижу,— чудесно» (Тагор о Советском Союзе) . . . 174

КРИТИКА

Р. САМАРИН — На переднем крае 179

О романе Уилсона
«Встреча на далеком меридиане»

КОНСТАНТИН СИМОНОВ — В интересах своего народа 187

Б. ЛЕОНТЬЕВ — «Быстрее, быстрее идти вперед!» 189

Е. ТРУЩЕНКО — Глиняная плошка или светильник разума (Деятели французской культуры о назначении художественного творчества) 194

5
1961
МАЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ"
МОСКВА

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 207

ПОЛЕМИКА

А. МАКАРОВ — Несостоявшиеся открытия господина Гибиана 216

ПУБЛИЦИСТИКА

РОМАНО ЛЕДДА — Герой Африки (Встречи с Патрисом Лумумбой) 222

КНИГИ, ЗАМЫСЛЫ, ТЕМЫ

Творческие планы зарубежных писателей

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД, ШОН О'КЕЙСИ, СОММЕРСЕТ МОГЭМ, ЧАРЛЬЗ П. СНОУ, КЛАРА БИХАРИ, ЛЮДВИГ РЕНН, ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР, ВОЛЬФГАНГ КЁППЕН, ТОЙН ДЕ ФРИС, АХМАД АББАС, ХАЛЛДОР ЛАКСНЕСС, ДАЙСОН КАРТЕР, МАРИЯ ДОМБРОВСКАЯ, КАЗИМЕЖ БРАНДЫС, ГУСТАВ МОРЦИНЕК, ТИТУС ПОПОВИЧ, ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ, УОЛТЕР ЛОУЭНФЕЛС, АНДРЕ ВЮРМСЕР, ПЬЕР ГАСКАР, АРМАН ЛАНУ, ВЕРКОР, ЛЮДВИК АШКЕНАЗИ, МАРИЯ МАЙЕРОВА, ТАДАО УРЮ . 230

РЕПОРТАЖ

ПИНТУ ФЕРРЕЙРА — Одиссея «Санта Марии» 244

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Л. Кишкин — Культура должна служить народу. ◇ М. Числов — Постоянство. ◇ Н. Миловидова — Воспоминания Фернана Гренье. ◇ В. Ясный — Гнев и боль художника. ◇ А. Гиллер — Выбор адвоката Бергера. ◇ Библиография новых изданий 251

Издано за рубежом

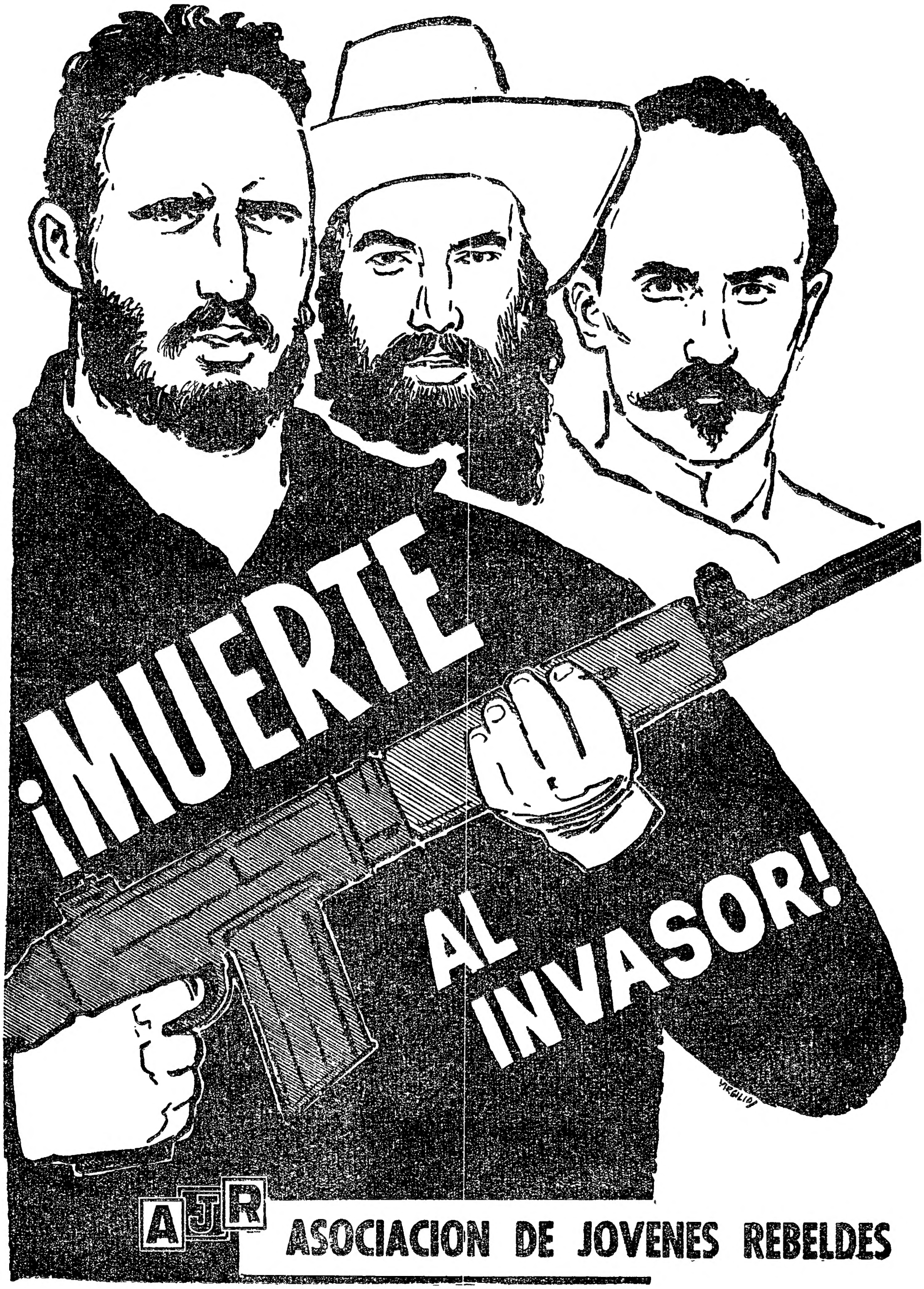
А. Гераскина — Африка, твоя судьба решается... ◇ Р. Орлова — Правда невероятного. ◇ И. Волевич, Г. Шатков — Боевой орган фламандских литераторов. ◇ К. Наумов — Сказка о будущем 258

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ . . . 265

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 267

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . 288



«СМЕРТЬ АГРЕССОРУ!»

плакат Ассоциации молодых повстанцев Кубы (работа художника Вирхилио).

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

В редакцию нашего журнала продолжают поступать письма и телеграммы зарубежных писателей, деятелей культуры и искусства, которые выражают восхищение блистательной победой советской науки и техники, подвигом Героя Советского Союза первого летчика-космонавта Юрия Гагарина. Мы публикуем часть этих откликов.

Эрскин Колдуэлл

ПОЗДРАВЛЯЮ СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ

Будем надеяться, что успехи в изучении космоса послужат вдохновляющим стимулом для народов нашей планеты, побудят их сотрудничать на благо мира между государствами и торжества доброй воли. Наука и впредь будет расширять наши познания, но только сами люди могут добиться дружбы на Земле. Поздравляю ученых Советского Союза.

Сан-Франциско

Андре Моруа

ПОТРЯСАЮЩЕЕ МУЖЕСТВО

Как и весь мир, я восхищен этим подвигом, восхищен победой советских ученых.

Меня потрясло необыкновенное мужество молодого человека, рисковавшего жизнью ради того, чтобы открыть новые пути для человечества. Я думаю также о его безграничной вере в непогрешимость науки и ученых, в руках которых находилась его судьба. Прекрасно, что этот человек, казалось бы, самый одинокий в мире, находящийся так далеко от земли, как никто до него, был связан таким доверием с теми, от кого он зависел и кто им руководили.

Париж

Джина Лоллобриджида

БЛЕСТЯЩИЙ ПРИМЕР

Я счастлива и горда тем, что живу в эпоху, когда совершаются такие подвиги, как космический полет Юрия Гагарина. Уверена, что люди, объединив свои усилия, дружно пойдут по пути покорения космоса, следуя блестящему примеру первого космонавта, вдохновленные его успехом.

Искренне поздравляю!

Рим

Жан Дервиль

ГОТОВ ЛЕТЕТЬ НА ЛУНУ

После необыкновенного подвига, в результате которого стало возможным невозможное, я готов лететь на Луну, чтобы снять там первый фильм.

Париж

Десанка Максимович

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ

Радуюсь, очень радуюсь новому успеху советской науки. Радует меня и неустрашимый полет в космос человека.

Сердечный привет!

Белград

Генрих Гёрес

ГОРДИМСЯ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Примите мои дружеские, полные глубокого уважения поздравления с выдающимся событием этих дней — первым полетом человека в космос.

Вы в Советском Союзе должны быть очень горды этим событием, и мы гордимся вместе с вами.

Берлин, ГДР

Рене Клер

Желаю, чтобы наука царила в небе, а мудрость — на земле.

Париж

Жан-Поль ле Шануа

ВСЕ — НА СЛУЖБУ ЧЕЛОВЕКУ

С чувством волнения и благодарности узнал я о последнем подвиге советской науки. С детских лет поэты научили нас воспевать смелость героев, которые первыми уходят в море, поднимаются на воздушных шарах, отрываются от Земли в аппаратах, тяжелее воздуха.

Но Юрий Гагарин, которого наши газеты по привычке отметили как «звезду», не просто один из героев — смелых, отважных спортсменов. Его подвиг, его «дебют» являет собой нечто другое. Впервые вокруг одного человека объединилось столько достижений науки и техники, исследований и изобретений, столько труда многих людей, столько открытий в области математики, физики, химии. И все это — на службу человеку.

Сегодня человеком, в имени которого слились воедино усилия многих людей, является для нас Юрий Алексеевич Гагарин.

Париж

Сиро Исикава

ВОСХИЩЕН УСПЕХАМИ СОВЕТСКОЙ НАУКИ

Когда московское радио оповестило весь мир о том, что майор Гагарин осуществил дерзновенную мечту человечества, совершив полет в космос, меня охватило такое волнение, что его трудно выразить словами.

Я думаю, что этот грандиозный успех явился естественным результатом того, что после 1917 года Советский Союз руками народа создал подлинно народное правительство, поставил на службу всему народу науку, литературу, медицину, все области знаний.

Советский Союз осуществил успешный полет человека в космос, знаменующий триумф науки всемирного лагеря мира. В результате этого нанесен удар по тем кругам, которые намеревались укрепить свои силы путем войны.

Как японец, который борется за сохранение мира, я шлю свои приветствия и поздравления советскому народу. Сегодняшний успех космического полета человека явился огромным вкладом в дело укрепления мира во всем мире. Я хочу от всего сердца выразить свое восхищение выдающимся советским ученым, а также советскому народу и советскому правительству, которые воспитали их, оказывали им постоянную помощь и поддержку.

Совершенно очевидно, что этот замечательный полет оказался возможен не в результате достижений в какой-либо отдельной области науки, а лишь благодаря прогрессу во всей советской науке в целом.

Еще раз выражаю свое восхищение всему советскому народу, который создал таких выдающихся ученых!

Токио

Го Мо-жо

НАВЕК ЭТОТ ДЕНЬ НАМ ПОДАРЕН!

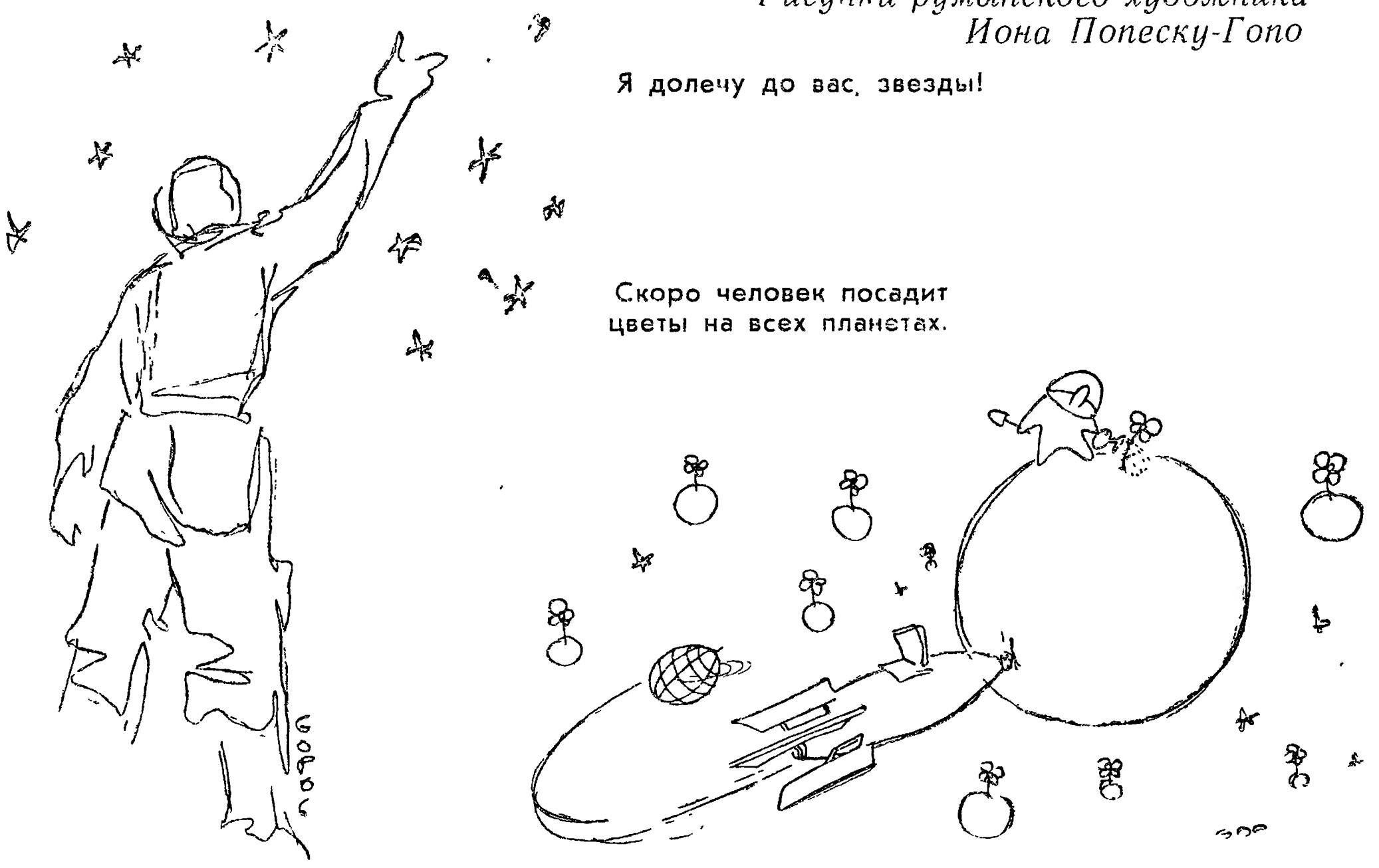
Перевод с китайского Александра Шпирта

Великим советским народом ворота распахнуты в космос —
в просторы грядущего века.
Впервые за тысячелетья нам путь открывается к звездам —
к извечной мечте человека.
Двенадцатое апреля ракетой взлетевшего года!
Навек этот день нам подарен —
На молниеносном «Востоке» навстречу вселенной поднялся
небес покоритель Гагарин.
В загадочный космос взлетел он! Планету вокруг обогнувши,
вернулся он к нам невредимый.
Сто восемь минут — на великий, в столетьях немеркнущий подвиг
во славу отчизны родимой!
Тот подвиг — триумф ленинизма, ученья, которого — знаю! —
нет выше, нет глубже, нет шире!
И все человечество славит величье советской науки —
науки, что первая в мире!
С победою этой созвучны в сердцах миллионов мечтанья
о счастье, о длительном мире!

Пекин

14 апреля 1961 г.

Рисунки румынского художника Иона Попеску-Гопо



Богуслав Бржезовский

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОЛОК

РОМАН

Перевод с чешского И. Бернштейн и Л. Лерер

Время не останавливается. И вдруг становится поздно..
Это была пора монологов.

Из письма

Глава первая

1

Утром управляющий Шейбал вызвал к себе Ондржея Махарта. Ондржей вымыл под краном руки, надел кожаную куртку, пригладил влажными руками волосы и направился к нему в кабинет.

С галереи, опоясывающей цех, он, как всегда, проходя здесь, посмотрел вниз, на Марию Рознерову. Именно в эту минуту вспыхнула газовая горелка, и пламя озарило сосредоточенное лицо Марии, склонившейся над работой. Сиянье вокруг ее головы было похоже на нимб. Ондржей видел цветастый платочек, прикрывавший волосы Марии, ее белые руки с длинными пальцами, и ему так захотелось прислониться к перилам и смотреть, смотреть на нее.

Управляющий разговаривал по телефону, точнее, слушал кого-то. Когда вошел Махарт, он в знак приветствия взмахнул рукой и указал на свободный стул возле своего стола.

Ондржей, однако, не сел, а подошел к окну и стал глядеть на занесенный снегом заводской двор. Дежурный вахтер Целестин в этот момент открывал ворота, в которые въезжали две машины, груженные небольшими цистернами.

— Привезли лак,— сказал Ондржей, продолжая стоять у окна; он закурил сигарету.

— Говорю вам, у меня никого нет,— закричал вдруг в трубку Шейбал.— Придумайте пока что-нибудь сами, я зайду попозже.

«Это Цафек из сборочного,— подумал Ондржей.— У него сегодня три человека не вышли на работу».

— Ну вот видите,— сказал Шейбал, обращаясь к Ондржею, который тем временем уселся на стуле, и пододвинул ему какие-то бумаги

Это было решение, вернее, копия решения Верховного административного суда. Оно гласило, что кржижановский завод подлежит возврату бывшей его владелице Марте Пруховой, поскольку предприятие было национализировано в результате неправильного толкования

декрета 1945 года*. Обосновывалось решение тем, что в конце 1938 года число рабочих на заводе не превышало пятисот человек.

Стояла дата: «14 февраля 1948 года», номер, печать, неразборчивая подпись.

Ондржей молча вернул решение Шейбалу и раздавил в пепельнице недокуренную сигарету.

— Ну, что скажете? — спросил Шейбал, но мнение Ондржея, казалось, его вовсе не интересовало: он даже не поднял головы от почты, которую просматривал.

Ондржей пожал плечами и зажег новую сигарету. Он сидел молча, размышлял. Сегодня вторник, восемнадцатое, значит, четырнадцатое было в пятницу. А ведь уже тогда завод был взбудоражен слухами об этом решении. Бог знает, как люди обо всем узнают! Как раз в тот день не было доставлено листовое железо, а из Праги не дослали моторы. Остановились штамповальный и сборочный цехи. Делать было нечего, все ругались. «Годура был скотина,— заявил Бенедикт,— но при нем никогда не случалось, чтобы завод оказался без материалов!»

— Да ничего,— сказал Ондржей и встал.— Эта штука, очевидно, мне понадобится. Можете мне ее дать?

Шейбал кивнул и протянул ему решение вместе с конвертом.

— Что собираетесь делать? — спросил он.

Да, что-то надо делать. В другое время можно было бы бастовать. Но в районном комитете, вероятно, будут против. Двухлетка, мол, то да се. Надо ехать в область, другого выхода нет. Ондржей взглянул на часы. Скоро восемь. Поезд уходит в десять тридцать пять.

— Послушайте,— сказал он,— возможно, я уеду. Хочу, чтобы вы об этом знали.

— Что вы собираетесь делать? — повторил свой вопрос Шейбал, дружелюбно взглянув на Ондржея.

«Он весь какой-то помятый»,— подумал Ондржей, сосредоточенно разглядывая лицо Шейбала и его поредевшие рыжеватые волосы.

— А вы? — ответил Ондржей вопросом.

Шейбал перевел взгляд на лежавшие перед ним письма, взял один из конвертов и разрезал его длинным ножом.

— Я? Что я могу сделать! — сказал он с усмешкой.— Мне нравится моя работа и не нравится вмешиваться в дела, которые не имеют ко мне прямого отношения. Надеюсь, вы меня поняли, Махарт?

— С трудом, управляющий,— сказал Ондржей.— Ну, ладно! Будьте здоровы!

2

Ах, если бы не просыпаться!

Остаться навсегда в этом тупом, без сновидений, забытьи! Так, вероятно, выглядит смерть. Каждое утро воскресать из мертвых, каждое утро вставать из могилы, каждое утро бояться открыть глаза...

Минуты, когда Марту Прухову охватывало ощущение бесполезности и безнадежности своего существования, когда она доискивалась смысла жизни, и прежде всего собственной жизни, в последнее время повторялись все чаще и чаще. Ей казалось, что уже ничто, абсолютно ничто не имеет смысла.

Не вставать с постели, не одеваться, не есть.

---

* Этот декрет, принятый правительством Чехословацкой народно-демократической республики 24 октября 1945 г., предусматривал национализацию всех предприятий важнейших отраслей промышленности (оборонной, горнодобывающей и пр.), а предприятий остальных отраслей — в зависимости от количества рабочих.

Лежать и лежать в тишине, за опущенными шторами, и никого не видеть. Который теперь час? Надо бы встать, одеться, надо бы... вечно что-то надо делать! Это может свести с ума. Одна мысль о том, что вот-вот загудит под окном машина Фишара, а следом задребезжит звонок в передней, что Элен его впустит и он будет нервно расхаживать в пальто по комнате и говорить: «Пожалуйста, поскорей!» Эта мысль угнетала ее так же, как и предстоящая поездка с ним.

Холод и ненастье. Она ненавидит провинцию в эту пору. Пустые, голые, промозглые, словно до костей обнаженные поля вдоль шоссе, тоскливые, безутешные горизонты, стаи ворон, сумрак и туман — это так напоминает ее собственное душевное состояние.

Пусть, наконец, все оставят ее в покое! Она никого не хочет видеть. Ни Ольгу, ни Фишара, ни Элен, эту телку, которая каждый день что-нибудь натворит, а потом заявляет с невиннейшим видом: «Если я не могу угодить госпоже, тогда, может, госпожа сделает это сама. Я могу уйти!» Пусть все уйдут. Пусть все убираются прочь! Она останется одна, совсем одна. Ну что это за жизнь? Зачем ей о чем-то хлопотать, о чем-то заботиться? Зачем думать о каких-то предприятиях... подборжанском, градецком, кржижановском?.. Зачем вообще думать? Зачем жить? Она устала. Безмерно устала.

Никому она не нужна. Никому. Даже Ольге. Та давно уже живет своей собственной жизнью, и Марта часто не понимает дочь, возможно попросту завидует ей. Ее молодости. Марту возмущает и раздражает безразличие, полное отсутствие интереса Ольги к ее, Марты, положению. Ах, это положение!

«Положение не такое уж плохое»,— говорит в последнее время Альфред.

Правда, бывало положение и похуже. Скажем, в сорок пятом году. Тогда никто не знал, что будет с ее фабриками, градецкой и подборжанской. Тогда она казалась себе совершенно беззащитной и беспомощной. Осталась без Альфреда. Ольга, эта дуреха, прятала в квартире раненого русского и даже гордилась этим... Именно тогда Марта поняла, что начала стареть. И было ей очень худо, возможно хуже, нежели сейчас. Все тогда как-то вдруг иссякло. Даже денег сразу не стало. А уж если их нет, есть отчего прийти в отчаяние. Ведь надо было бы беспокоиться, надо было бы думать, как их раздобыть, надо было бы их считать! Но такого, пожалуй, от нее никто не мог бы потребовать. Не умеет она этого делать и никогда не делала...

Вчера случайно осталось включенным радио. Кто-то там болтал. «Кучка миллионеров — паразиты на теле нации»,— донеслось до ее слуха. Элен была тут же, вытирала пыль. Она не произнесла ни слова, но Марта вдруг пришла в ярость. Не сдержалась и прогнала Элен из комнаты. Давно уже она не испытывала ярости. Ну что ж, пусть хотя бы ярость. «Паразиты»! Вероятно, и она, Марта, тоже паразит. Но что она должна сделать, чтобы не быть паразитом? Перестать существовать? Должна убить себя и все свое имущество запихнуть им в глотку? Пусть тогда скажут, что же делать паразитам!

«Они хотят загнать нас в тупик»,— сказал как-то Альфред. Это значило, что нас хотят превратить в нищих, лишить всего. Ну хорошо! Но кто-то все же должен нас кормить. Ведь все сразу мы добровольно не перестанем дышать.

«Ну, пока что до этого дело не дошло,— сказал Альфред.— Положение не такое уж плохое».

Марта не понимает этого, она вообще ничего не понимает, знает только, что окружающий мир стал ей чужд и враждебен, что ее при-

нуждают думать о вещах, о которых она никогда не думала. На ее жизнь покушаются, от нее чего-то хотят, а она не знает, чего именно, ее заставляют относиться к людям иначе, требуют, чтобы она соглашалась с тем, что ей органически претит, учат ее притворству, фальшивым улыбкам.

Альфред все время уверяет, что нация против всего происходящего, что эта революция — продукт экспорта и ее никто не примет. Но Альфреду трудно верить. Сама она давно не верит ему. Теперь это уже не тот, прежний, Альфред. Он больше не может быть ей надежной опорой, как это было до войны и в войну.

Пожалуй, нужно вставать. Уже половина девятого. В девять Альфред собирался выехать в Кржижанов; он утверждает, что шоссе обледенеет и лучше отправиться пораньше, с утра. Он хочет еще засветло заехать в Брно, встретиться с доктором Чижеком и до наступления ночи вернуться обратно в Кржижанов.

«Боюсь говорить, но кржижановский завод у нас в кармане»,— сказал он. И Марта должна быть там вместе с ним, это, мол, для нее жизненно важно. Придется ехать в тумане. В окно видно серое небо и сыплющий без конца снег. Уже февраль, слава богу, что хотя бы февраль. Потом март, а это совсем сносно: весной, как говорит Альфред, все переменится. Самое позднее в мае, на выборах. Народ сыт по горло, но— молчок! Альфред болтун. Все болтуны. Весь мир — сплошное пустозвонство. И Марте от всего этого уже тошно.

Боже, куда она катится! Напрасный, извечно неизменный круговорот. Порой она даже вполне понимает Ольгу. А ведь Ольга вся в нее. Целиком в нее. И она не сумеет полюбить. Либо полюбит лишь настолько, чтобы это ей не очень мешало. И поймет она это тоже слишком поздно, только тогда, когда начнет стареть. Зачем закрывать глаза. Марта постарела. Опустошена, иссушена душа, опустошено и иссушено тело. Ей уже нечего ждать. Альфред волочится за потаскушкой из театра и думает, что Марте это неизвестно. Она сразу догадалась, как только это у него началось. Ведет себя трусливо, как мальчишка. Забегает второпях, запасается тысячью отговорок, всячески подчеркивает свою внимательность и прячет глаза, разглагольствуя о дружбе.

«Мой дорогой друг!» — говорил он ей не раз.

Осел! «Мой дорогой друг»! С каким удовольствием она отхлестала бы его по холеной морде!

«Друг»! Идиот! Пока не постарела, была его любовницей. Теперь же ему нужны только ее денежки.

А что, если ему больше ничего от нее не понадобится?

3

Махарт добрался до П. после полудня. Ему сказали, что Краус, секретарь областного комитета, придет не раньше чем через два часа; если он непременно хочет его видеть, пусть дожидается. Ондржей сидел сейчас в жарко натопленной приемной, курил сигарету за сигаретой и глядел на плакат, висевший на стене.

«Двухлетка — две ступеньки к благосостоянию».

На поезд он едва не опоздал, заседание заводского совета затянулось.

Ланда из технического бюро, Штых из заводоуправления и, само собой разумеется, Бенедикт, как на грех, тормозили обсуждение. Заладили — нельзя, мол, нарушать правопорядок, закон есть закон. Верхов-

ный суд-де — тоже учреждение народно-демократической республики, ну и прочее в том же духе. Но в конце концов проголосовали. Завтра, стало быть, начнется забастовка, а Прухову — если объявится — просто не впустят на завод.

После заседания он должен был еще забежать домой переодеться — сегодня он ночевал у Тонки. Проклятая история!

Просто ума не приложит, как ему быть.

Тонка — женщина хорошая, да и не из счастливых, все это так. Однако жениться на ней? Этого Ондржей не мог себе представить. Ему даже в голову никогда такое не приходило, не то чтоб он над этим всерьез задумывался. Но как теперь быть? Случилось ведь, случилось!.. Тонке тоже было несладко. Какая уж у нее жизнь с Францеком! За два года всего раза три был дома. Он сам как бы и благословил их на эту связь. Если бы Францек сидел дома, никогда бы ничего между Ондржеем и Тонкой не произошло...

Какое-то время Ондржей верил, что это и есть любовь. Он твердил себе, убеждал себя, что любит ее. Так он заглушал свою безнадежную страсть к Марии. Связь с Тонкой избавляла его от тоски, возвращала ему чувство собственного достоинства. Но только на короткий период. На какие-то минуты...

«Я жду ребенка»,— сказала она ему вчера вечером вдруг ни с того ни с сего. И в этих словах не было и тени упрека или горечи. Она просто сообщила.

Он молчал, ждал, что еще последует. Слезы или укоры. Ничего. Произнесла эти слова и словно забыла о них, словно бы задумалась о чем-то другом. Он сидел за столом и смотрел на нее, смотрел, как она гладит белье. Твердо знал, что ребенок *его*, но с непонятным упорством хотел услышать это от нее.

«Францек был на рождество дома»,— сказал он немного погодя. И сам устыдился этих слов.

«Да,— кивнула она и поставила утюг на металлическую подставку.— Если хочешь, ребенок может быть его!»

«Да нет!— рассмеялся он легкомысленно.— Он мой!»

4

Эта мысль пришла к ней впервые еще тогда, в сорок пятом, когда забрали Альфреда. Она осталась в квартире совсем одна и решила, что откроет газ. Запрется в ванной и пустит газ. И надо было это сделать.

Тогда ей казалось, что оба они пришли к финишу, что для обоих жизнь кончилась. И для нее, и для Альфреда. И хотя она почувствовала облегчение от того, что его нет с нею, что наконец миновали дни безумного страха и тоски, которые Фишар пережил тут, на ее тахте, когда он скулил и был ей просто отвратителен, она все же приняла решение покончить счеты с жизнью. Из солидарности.

Но именно в то время она поняла, что жить с ним было бы для нее невыносимо. А жить без него — этого она просто не представляла, да и не может представить.

Ольга тогда окончательно одурела, вела все время несносные разговоры, плела что-то о новой жизни, о чувствах, освобожденных от цепей собственности, о денежном рабстве. Господи, и где только она набралась всего этого?

Решила прогнать ее, сказала: раз так, пусть узнает, как можно обойтись без денежного рабства, пускай попробует пожить при коммуни-

стической свободе. Дура! Спорили, ругались, и, разумеется, в конце концов Ольга осталась дома.

Да что там Ольга! С нею справилась быстро — пара подзатыльников, и девчонка пришла в себя. Труднее было с Альфредом. Он стал ей просто мерзок. Вдруг она как будто разглядела его впервые, словно раньше никогда и не знала. И вместе с тем поняла, что вот таков он и есть, таково его настоящее обличье. Знала и раньше о его слабостях, ее и прежде раздражало его тщеславие, было неприятно его стремление прихвастнуть в компании, привлечь к себе внимание сто раз уже слышанной остротой. Все, все о нем знала и все ему прощала. Думала, что в такое время она ему необходима, что без нее он пропадет, что он слишком к ней привязан. Предполагала, что с ним всякое может случиться, что он человек большого размаха, что придется рисковать и отвечать за последствия. Но он оказался трусом и мямлей. Как раскис в те дни! И подбородок, его дерзкий подбородок тоже обмяк. Все в нем было отвратительно мягким. Тряпка! Растекшийся студень!

Что он может ей объяснить теперь? Она все знает, и ей все ясно. Смит или Шмидтке, черт знает, как его на самом деле зовут, вел хотя бы смелую игру. Но Фишар просто трусливый, заурядный доносчик. Когда за ним пришли, он упал перед ними на колени. Это был старик, настоящий старик. Он ползал на коленях как раз в том месте, где она, Марта, лежала тогда ночью со Смитом. Они хищно впивались друг в друга. Мерзость и великолепие! Пожалуй, в тот раз она была еще молода. А через несколько дней вдруг сразу постарела... Фишар просил, вопил, заклинал, падал в обморок; его в бесчувственном состоянии втащили в автомобиль. И она с той минуты жила — собственно, не жила, умирала — в полной уверенности, что он погиб, что его либо сошлют куда-нибудь в Сибирь, либо тихонько прикончат, что он исчезнет бесследно, в лучшем случае ему накинут петлю на шею. Была уверена, что пришел конец. Он сам ее в этом убеждал длинными, бесконечными ночами, пока за ним не пришли.

«Они не знают ни снисхождения, ни пощады, Марта. Господи, неужто наступил всему конец?» — корчась от страха, шептал он.

Пять ничем не заполненных, опустошающих и иссушающих дней. И вдруг он появился. Снова стоял перед нею. И еще хуже, гораздо хуже ей сделалось тогда — ведь она ждала смерти, к смерти готовилась! А он стоял снова перед нею у этой постели — вымытый, выутюженный, самонадеянный, с самоуверенной улыбкой.

«Капитулировали. Начисто капитулировали. Раз так, то мы, моя дорогая, еще поживем. Снова будем жить! Фишар вторично не даст застигнуть себя врасплох».

Он говорил о жизни, о будущем, а она думала о смерти. И сводила счеты с прошлым. Не испытывая ни облегчения, ни радости от того, что он вернулся. А он болтал и болтал. Нагло отрицал все то, что поверял ей в минуты страха. Его отпустили, мол, благодаря вмешательству посольства. С извинениями и чуть ли не с почестями. Сам министр юстиции. Пожалуйста, вот черным по белому написано. Показывал ей какую-то бумагу. Она отвернулась, не хотела ничего видеть, ничего слышать. Ни один документ, хоть бы его сто раз подписал министр, не сделает Фишара иным.

Но она пережила это. К чему и зачем? Смешно! Казалось, между ними ничего не изменилось. Все как будто было по-старому. Только около десяти он вдруг уходил, не оставался у нее на ночь. И она была даже рада — близость с ним казалась теперь невыносимой. Вытолкать бы его. Если б, разумеется, она могла это сделать. Но он ей нужен.

С той самой минуты, когда, как он говорил, была восстановлена его честь, вполне естественным стало снова заняться делами Марты. Он предусмотрительно приостановил производство всякой устаревшей ерунды — к чему теперь кушетки, качалки, сушилки, гладильные доски! Приобрел за бесценок новое оборудование с брошенной кирхнеровской фабрики и начал вырабатывать картонные и деревянные коробочки и баночки для мазей и пудры. Еще в сорок шестом дела шли неважно. Но в прошлом году он получил от аптек столько заказов, что понадобилось расширить градецкую фабрику и изготовлять там коробочки для медикаментов, различные упаковки и вощеные стаканчики. Марта даже точно не знала, что, собственно, там изготовляли. Часть старого оборудования градецкой фабрики Фишар перевез на подборжанскую и изготовляет там деревянные остовы для вошедших теперь в моду диванов-кроватей и малые стеллажи для книг — восемьдесят на восемьдесят. Подборжанская фабрика не приносит пока доходов, какие могла бы давать.

«С лесом вообще затруднения,— говорит Фишар.— А тут еще эти порядки — что поделаешь! Немцы просто опустошили наши леса. Но подборжанская фабрика, Мартичка, это наш вклад в будущее...»

«Вклад в будущее»! Ей говорят о будущем. Какое у Марты будущее? Она даже загадывать не отваживается дальше чем на день вперед. Ее ждет одно: старость и одиночество, а возможно, бедность и даже нужда. Завтра она может стать нищей, если кому-нибудь взбредет это на ум. Достаточно лишь одного росчерка пера.

Кучка миллионеров, паразиты, нетрудовой доход...

Какое будущее может быть у паразита?

«Подборжанская фабрика — основа! На нее мы делаем ставку. Кржижановский завод — рискованное дело. Мотоциклы — слишком важная продукция, и рано или поздно с этим предприятием все равно придется расстаться»...

В передней прозвенел звонок. Этот звук вызвал у Марты почти физическую боль. Элен отворила дверь. Марта услышала громкие приветствия.

Ей надо бы встать. Она лежала голая. Любила спать совсем раздетой. Халат ее валялся где-то на стуле. Сейчас Альфред станет распространяться насчет того, что она до сих пор в постели, что еще не одета.

Пошел он к черту!

Фишар прошествовал по комнатам и вошел в спальню. Дверь оставил открытой. Увидев, что Марта в постели, он взглянул на часы:

— Бог мой! Ты еще лежишь! Скоро девять. Что-нибудь случилось?

Ох, и тоска же! Могла бы сказать ему, что ей нездоровится, и он оставил бы ее в покое. Да только ведь поездка ее в Кржижанов жизненно необходима...

— Со мной ничего. Мне просто никуда не хочется в такую слякоть. И вообще...

— Что с тобой?

— Мне наплевать на все!

Он хотел ее успокоить. Присел на край постели, взял за руку и смотрел на нее. У Марты всегда в такие минуты вдруг возникало неприятное ощущение, что он ее разглядывает с каким-то тайным интересом, хочет дать ей понять, что она постарела, казалось, что он подсчитывает морщины на ее лице и шее, что сравнивает...

— Уйди! — с яростью проговорила Марта.

Без единого звука он пересел на стул. Но все же не переставал глядеть на нее. Она никогда не испытывала неловкости, если ей приходилось при нем вставать с постели, раздеваться или одеваться. Сегодня

впервые она не решилась сделать этого. Казалось, он на нее смотрит совсем другими глазами, не так, как прежде.

— Дай мне халат!

Он молча встал и подал ей халат, переброшенный через спинку стула. Смотрел. Нарочно смотрел, когда она вставала с постели. Смотрел, когда она запахивала халат.

Видел, должен был видеть, что у нее дрожали руки. Что она на грани истерического припадка.

5

Из размышлений Ондржея вывел секретарь областного комитета Краус. Он вошел оживленный, в боевом настроении. Краус только что вернулся из Праги, привез уйму новостей. Он не давал Ондржею вымолвить ни слова, расхаживал взад и вперед по комнате, курил сигарету за сигаретой, кашлял и рассказывал, энергично жестикулируя.

— Правительство вынуждено было сегодня прервать заседание, национально-социалистические министры * устроили явную обструкцию. Притворству и комедиям пришел конец — они выступили с поднятым забралом, начали борьбу в открытую. Похоже, дружище, на правительственный кризис, но это их роковой просчет. Впрочем, сегодня мы узнаем больше. Наша партия выступит с обращением. А кржижановская история — всего лишь одна из деталей их общей атаки. Кржижановский случай не единственный. Разумеется, не отступать ни на шаг, но действовать обдуманно и ударить в надлежащее время и в надлежащем месте. Эта публика становится невероятно наглой. Кстати, Махарта должно заинтересовать: после двухлетнего заключения выпустили Годуру, бывшего управляющего кржижановским заводом.

— Все находится в тесной взаимосвязи — это ты помни, товарищ,— повторил он свое любимое выражение.

Теперь Ондржей знал все, что надо было знать. Он информировал Крауса о решении заводского совета ** начать забастовку, как только Прухова появится в городе, и запретить ей доступ на завод, передал кое-какие документы, которые ему вручили в районном комитете, и распрощался. Беседа их заняла не более получаса. Между тем поезд уже ушел. Следующий отправлялся около шести. Ондржей сидел в ресторане на Веселке, пил пиво, просматривал газеты, а то и просто глазел на людей, проходящих мимо полузамерзшего окна.

Так, значит, Годура на воле. В сентябре сорок пятого его арестовали. Получил он в то время пять лет, но не прошло и двух, а он уже на свободе.

«Это наше кровное дело,— говорили тогда на заводе,— хотим присутствовать при его аресте». И вот вместе с Зоубеком и Грахой из государственной безопасности за Годурой на его виллу отправились еще Паздера и Ондржей. Он представлял сейчас себе все так ясно, словно происходило это вчера.

Годура в жилете сидел в кресле, видимо, в полной уверенности, что опасность для него миновала и он может теперь спать спокойно.

«Инженер Годура, мы явились, чтобы арестовать вас, следуйте за нами»,— сказал Зоубек.

---

* Национально-социалистическая партия — буржуазная партия. В 1945—1948 гг. ее реакционное руководство препятствовало революционным преобразованиям в стране.

** Заводские советы — организации трудящихся на заводах, действовавшие наряду с комитетами профсоюзных организаций.

«Как так?» — пролепетал растерянно Годура и попытался рассмеяться. Приподнялся слегка в кресле, но тотчас же снова опустился и спросил растерянно: «Почему? По какому праву?..»

Он смотрел то на одного, то на другого, словно просил объяснить ему, и наконец остановил взгляд на Ондржее. Глаза его были полны страха и тоски. Ондржей в эту минуту вдруг понял, что Годура тоже человек, к тому же старый человек. Хотя до той поры Годура был для него понятием, идеей, олицетворением чего-то жестокого, неумолимого, бесчеловечного, скорее похожего на камень, это было нечто, стоящее над ним, лишенное чувств и совести.

«По революционному праву»,— сказал Ондржей и сам испугался своего голоса.

Позднее он понял, что отвечал скорее себе, чем Годуре.

Тогда, в сорок пятом, казалось, никто не сомневался в виновности Годуры. Но перед судебным процессом началась кампания.

«Вот она, трагедия человека,— писал Фишар в пражском «Днешеке»,— *всю свою жизнь посвятившего труду, человека, для которого политика всегда была только необходимым злом. Представитель технической мысли, крупный специалист, автор нескольких широко известных изобретений, он замечательно служил нашей национальной экономике. И от таких людей требовать, чтобы они усвоили теорию классовой борьбы, чтобы они изучали «Государство и революцию», чтобы размышляли о диктатуре пролетариата?! Человек не делал этого и стал жертвой произвола и разъяренной толпы, ее беззакония. Сегодня судит толпа, улица Неужели окончательно притупилась человеческая совесть?* — раздраженно вопрошал он.— *Неужели клевета, возведенная на ни в чем не повинного человека, сегодня уже никого не может возмутить?»*

Статья Фишара, обведенная красным карандашом, была выставлена в витрине книготорговца Рабишки и в сокольской * газетной витрине на городской площади, ее передавали из рук в руки, она попала даже на завод. Годура вдруг стал уважаемым гражданином города, сокольским деятелем, бескорыстным покровителем обездоленных, патриотом с горячим сердцем, самым что ни на есть крупным специалистом, который если решился оставаться на таком ответственном посту и во время оккупации, то отдавал себе отчет, для чего он это делает!

«В груди у него никогда не переставало биться горячее сердце патриота»,— писала областная газета «Усвит». А во время процесса его всячески стремились выгородить. Был приглашен лучший адвокат из Праги. Фишар выступал свидетелем.

Он держался вначале очень уверенно: привык вращаться в судебных кругах и чувствовал себя здесь как рыба в воде. Заявил, что Годура, мол, сообщал ему сведения о производственной мощности бывшего пруховского мотоциклетного завода.

«Как вы использовали сведения обвиняемого, господин свидетель?» — спросили Фишара.

«Использовал свою связь с генералом Яначеком, к сожалению, впоследствии казненным, которому и передавал сведения Годуры...»

«Когда был казнен генерал Яначек, господин свидетель?»

«В сорок третьем году»...

«В таком случае, ваша связь с обвиняемым больше уже не возобновлялась?»

---

* «Сокол» — массовая спортивная организация, которую буржуазные партии использовали нередко в своих политических целях.

«Напротив. Моя связь с ним стала затем еще более систематической».

«Как же вы потом использовали его информацию? Можете нам об этом что-нибудь сообщить?» — спросил его защитник.

«После смерти Яначека я установил связь с неким Фредериком Смитом из американской осведомительной службы...»

«Как вы с ним установили связь?» — прервал Фишара прокурор.

«Господин Смит в апреле того года заходил ко мне в контору»,— пояснил с непоколебимым спокойствием доктор Фишар.

«Вы знали прежде господина Смита?»

«Никогда до того не видел».

«Значит, он пришел тогда, только чтобы увидеть *вас?*»

«Господина Смита я никогда об этом не спрашивал. Просто не знаю».

«Странно!» — заметил прокурор.

«Во время войны происходило немало странных вещей»,— ответил иронически Фишар.

«Доказать свои утверждения можете?» — спросил прокурор.

Может. Защитник тут же предъявил суду какую-то бумагу, из которой явствовало, что доктор Фишар на протяжении войны многократно оказывал услуги американской разведывательной службе, снабжая ее ценными сведениями. Это произвело на суд большое впечатление. И потому показания старика Паздеры, Целестина и других о том, что Годура терроризировал рабочих, водил дружбу с немецкими офицерами и устраивал для них вечеринки в своей вилле, выглядели смешными.

«Протестую против подобных обвинений! — восклицал защитник.— Все они уже были опровергнуты и ничего нового не добавляют».

«Я добавлю!» — заявил прокурор, не скрывая своего раздражения. Он вызвал в качестве свидетеля Ондржея и предложил суду ознакомиться с донесением, которое Годура направил в свое время гестапо и нацистскому директору Ремке. В нем Годура одобрительно отзывался о настроении рабочих, которое, по его мнению, могло быть еще лучше, если бы были обезврежены некоторые враждебные элементы. Перечень имен. Между поименованными особо отмечен некий Ондржей Махарт.

«Требую проверки подлинности этого документа»,— обратился к суду растерявшийся защитник.

Но это было излишне. Годуре показали подпись. Тот признал, что эта подпись его, и страшно испугался.

«Имело ли это донесение для вас какие-нибудь последствия?» — спросил прокурор на этот раз Ондржея.

«Не прошло и недели, после того как оно было послано, и меня арестовали, а затем отправили в концентрационный лагерь. Франтишек Слезак, арестованный одновременно со мной, погиб...»

«Протестую,— вскричал защитник.— Он не назван в документе, и можете ли вы вообще, господин свидетель, доказать, что это донесение послужило непосредственной причиной вашего ареста?»

Мог и доказал...

6

Фишар и в самом деле наблюдал за Мартой. Когда же она вошла в ванную, он подумал о том, что тело ее, которое он за минуту до этого так спокойно разглядывал, приковало, можно сказать, на всю жизнь приковало его к себе. Вот даже теперь, когда он сравнивал его с молодым белым и упругим телом Люции, он еще и теперь не чувствовал себя вполне свободным. В нем вдруг снова вспыхнуло неодолимое же-

лание прикоснуться к нему, овладеть им. Он знал, каким бывает это тело поутру. Оно мягкое и теплое, ему известно каждое его сокровенное местечко, он знает о нем все, даже то, что произойдет с ним в каждую следующую секунду. Боже, как давно он уже не обладал ею!

Что это вдруг на него нашло? Думал, что он уже избавился, что уже никогда не вернется эта внезапная тоска по ней. И вот вдруг снова, и Фишар весь дрожит, словно нетерпеливый юноша. Совсем как прежде. Когда же это было впервые? По меньшей мере лет двадцать пять назад. В Швигове. Пришла к нему, когда заснул старый Пруха. Ах, какая это была упоительная любовница, чистая и бесстыдная одновременно. Она была тогда моложе Ольги и Люции, вероятно лет двадцать ей было, и все это время, почти четверть века — это смешно и нелепо,— Фишар не испытывал потребности в других женщинах.

И не испытывал бы ее, возможно, и поныне, если бы не встретил Люцию. Если бы с ним не произошло что-то странное в дни революции, потрясшее его, если бы он не висел над пропастью и не спасся чудом. Если бы ему не захотелось жить. Сызнова и иначе.

Но может ли человек начать жить сызнова и иначе? Иногда он в этом сомневается. Когда же он вырвался из *их* тюрьмы, он сказал себе, что уже достаточно стар и пора отрешиться от честолюбивых помыслов, перестать добиваться успеха и почестей. Решил вести тот же размеренный образ жизни, что во время войны, до той поры, пока не появился Шмидтке. Жить среди коллекций фарфора, наслаждаясь счастьем с Люцией и спокойной, безмятежной дружбой с Мартой. Но Люция представляет себе свое счастье иначе, а Марта не признает спокойной, безмятежной дружбы. И, наконец, он сам не хочет и не может оставаться вне игры. Он был крайне удивлен, сколько возможностей вдруг открылось перед ним, когда в сорок пятом году была восстановлена его честь. Его принял сам министр, сообщил, что его деятельность во время войны была высоко оценена — посольство, мол, даже выразило удивление по поводу происшедшей с ним ошибки,— попросил его считать этот неприятный эпизод злополучным недоразумением и поскорее забыть о нем. Главное же, чтобы он побыстрее вернулся к активной деятельности. Ему необходимо снова заняться литературным трудом, ведь он, министр, очень хорошо осведомлен о нем и часто в лондонском изгнании вспоминал его острые статьи.

«Сегодня нам крайне необходимы *реально* мыслящие люди»,— добавил министр. Тогда прямо от министра он поехал к Марте. Пришел к ней исполненный глубокой благодарности. Сумел все же оценить, что она для него сделала в те тяжелые дни. Пришел к ней, полный огромной, неутолимой жажды жизни. И увидел Марту апатичной, безучастной, полной отвращения ко всему. Она не способна была понять, что он заново отвоевал для себя жизнь, что это было единоборство со смертью, что произошло чудо, ведь все висело на волоске, и достаточно было бы посольству вмешаться на день или даже на час позже — и конец! Все было бы потеряно. Фишар просто перестал бы быть Фишаром, и Марта не жила бы так, как живет сегодня. Где были бы ее градецкая и подборжанская фабрики? А она говорит: «Мне плевать на все!» Черт возьми, а стоит ли выпрашивать у нее хоть немного понимания и сочувствия? По крайней мере пусть бы не раздражала его, не мешала ему делать то, что он делает и хочет сделать для нее! Он знает, в каком она состоянии. Как же ему не знать! Сколько скандалов еще похуже нынешнего пришлось ему с ней пережить! Обвиняла его в самых страшных подлостях. И Фишар часто не мог ей ответить так, как хотел бы и как следовало бы это сделать. Сочувствие явно вкрадывается в его

отношение к ней, двадцать пять лет — это двадцать пять лет! Да в конце концов существуют и какие-то условности и деловые интересы. Должна же она все-таки знать, сколько в предприятия Пруховых вкладывает он, Фишар, нервов, времени и даже денег. Кто купил оборудование устецкой фабрики Кирхнеров? Если все это считать на круг, то градецкая фабрика уж давно принадлежит ему. И не дай бог, чтобы пришлось вести с Мартой дела, став на официальную ногу. Марта, разумеется, и представления не имеет, как развернутся события в ближайшие месяцы, а может, и дни.

С национализацией покончено. Фишар, разумеется, не согласен с идейками, которые проводят у них в народнохозяйственном подкомитете некоторые эксперты.

Переход к форме акционерных обществ был бы, и особенно для крупных предприятий, слишком внезапен. А намерения слишком прозрачными. Фишар видит удачное решение в том, чтобы начать с переименования таких предприятий в формальные кооперативы. Принцип, конечно, тот же, только форма несколько иная, более приемлемая для тех, кто не могут так легко избавиться от иллюзий о необходимости социализации.

И вот тут-то Марта должна была бы понять, что Фишар видит значительно дальше, чем она. Ему ясно — есть в этой игре много такого, что не позволяет «плевать на все», что не позволяет думать только о себе и поддаваться только собственному дурному настроению.

Это, вероятно, стоит того, чтобы она проявила к нему хоть немного сочувствия. Все это он нашел у Люции. С каким искренним благородством приняла она его сообщение о том, что у него есть многолетний друг, которому он должен посвящать какую-то часть своего досуга. А ведь Люция еще совсем молоденькая девушка, она ждет от жизни многого, не то что Марта — женщина достаточно искушенная в любви. И притом, кто из них, мужчин, довольствуется всю жизнь одной женщиной? Он не знает таких.

Почему же именно теперь он так жадно тянется к Марте, больше, чем к Люции? Это, кажется, необъяснимо. Любит все-таки он Люцию, любовь к ней заполняет его мысли, чувства, все его существо. А физически его влечет к Марте.

Он встал и преградил ей дорогу. Она торопливо вышла из ванной, плотно закутанная в купальный халат, и направилась в другую комнату, к гардеробу.

Он обнял ее и привлек к себе.

— Марта!

Она растерянно взглянула на него, удивленная и отчужденная.

— Оставь, пожалуйста,— сказала Марта неприязненно и отвернулась.

Он крепко держал ее. Она почувствовала, как его ладонь нетерпеливо скользит по ее телу. Волна отвращения и ненависти поднялась в ней и подступила к горлу. Она знала только, что должна ударить его. И тотчас это сделала. Резко, кулаком по лицу. Очки его соскользнули и повисли на одном ухе. В испуге он отпустил Марту, стремясь обеими руками спасти падающие очки.

— Марта, ради бога!

Она должна была бы сказать ему, как презирает его, как он ей отвратителен. Но она молчала. Смотрела мгновенье ему в лицо. Он казался ей совсем чужим.

— Этого я, во всяком случае, не заслужил от тебя,— сказал он с горечью и обидой.

Она рассмеялась. Коротко и язвительно. Как она его знала! Уверена была, что он вернется к ней. Упреки, воспоминания, перечисление всего того, что он у нее заслужил...

— Что я тебе сделал? — спросил он, как бы жалея самого себя.— Что я тебе сделал, почему ты в последнее время так себя ведешь?

Он уселся в кресло и закурил сигарету.

— В последнее время! — повторила иронически Марта.

— Что я тебе такого сделал? — вскричал он.

— А что сделала тебе я? *В последнее время,*— рассмеялась она и направилась в соседнюю комнату.

— Погоди!

— Надо одеться. Ведь ты так торопил меня.

— В таком случае, я с тобой не еду,— сказал он.— И не поеду, пока не будет внесена ясность.

Она обернулась уже в дверях.

— А что, собственно, неясно? Мне, по крайней мере, все ясно. Ты думаешь, я не знаю, какую ты со мной разыгрываешь комедию? Ведь ты уже два года путаешься с этой девкой из театра...

Он догадывался, что Марта знает про Люцию. Правда, за все два года он с нею никогда и словом не обмолвился об этом. Ну, не говорил об этом прямо. Полагал, что между ними существует молчаливое согласие. Джентльменское соглашение. Что Марта умненько-разумненько и молча признала...

— Ах так, значит, ревность,— сказал он, скрывая замешательство

— Болван!

Он встал с обиженным видом и дал понять, что хочет уйти. Застегнул перед большим зеркалом пальто и поправил кашне. Стал искать шляпу.

— Я многое могу понять, Марта,— произнес он холодно.— Но одного не понимаю. Так легкомысленно относиться к дружбе, проверенной столькими годами! Я ее не нарушил. Правда, существуют привходящие обстоятельства — короче, человек не машина, у него есть чувства и сердце, и они иногда подводят даже самый трезвый ум. Не хочу ничего скрывать от тебя, разумеется! Но думал, что имею право рассчитывать на твое понимание — именно теперь. Мы, Марта, живем в тревожное время. Вмиг можем лишиться всего. Но такое положение не является и не может быть окончательным. А тут человек, который из кожи лезет вон ради тебя — да, да, ради тебя, Марта,— такой человек, полагаю, имеет право рассчитывать на понимание и сочувствие.

Марта одевалась в соседней комнате. Дверь она, однако, оставила приоткрытой и слышала все, что он говорил. Фишар расхаживал по комнате, посматривая каждый раз на себя в зеркало, когда проходил мимо него.

Он влюблен в Люцию. Несомненно, это любовь. Он никогда еще не знал такого чистого чувства, это такая чистая радость, она воскресила его из мертвых, поистине это воскрешение. Он снова родился. Он чувствует, что, если утратит ее, с ним произойдет то же, что произошло с Мартой. Озлобится, разочаруется, постареет. Потеряет ко всему интерес. Притом ведь ему и Марта необходима. Он и сам этого не может понять. Вероятно, привык к ней.

Марта вернулась одетой. Она остановилась перед зеркалом и поправила волосы. Какая у нее прелестная фигура. Возможно, что у Люции не такие крепкие и стройные ноги. От Марты исходит спокойствие, рассудительность зрелой женщины, и в ее страстности есть что-то

успокаивающее. В то время как Люция — бурный поток, авантюра, тревога, сок жизни. Эликсир, возрождающий его.

Ему нужны обе.

— Я беспомощен перед тобой, Марта,— сказал он, пытаясь помириться.— Думай обо мне что хочешь, но ты мне необходима.

Он продолжал ходить по комнате.

— Я знаю,— сказала она строго и холодно.— И ты мне, к сожалению, необходим.

— Видишь,— настроился он на еще более примирительный лад, так как ему показалось, что она успокоилась.— Годы не прошли для нас даром. Никто из нас не может махнуть на них рукой. Просто нет смысла.

— Годы?— переспросила она его.— Ты, наверно, хочешь сказать — денежки.

Он резко остановился и беспомощно развел руками.

— Признаю и то, что у нас с тобой общие материальные интересы. Но это только...

Марта быстро отвернулась от зеркала.

— Довольно! Хватит болтать. Оставь меня в покое. Распутничай с кем хочешь. Только об одном не забывай. Когда окончательно зайдешь в тупик, ты прибежишь ко мне с покаянной и будешь скулить. А я тебя вышвырну вон.

Марта энергично распахнула дверь в переднюю и крикнула:

— Элен! Шубу! — и, обращаясь к нему, добавила: — Можно отправляться.

7

Ондржей брел по промерзшим улицам к вокзалу. Три года назад, когда он возвращался домой, вокзал этот был наполовину разрушен, окутан пылью. Во время одного из воздушных налетов обвалился свод. Ондржей тогда стоял тут, был пыльный летний день, и на него нашла тоска. Вдруг он оказался один. После двух лет, проведенных в концлагере, он вдруг оказался один. Он возвращался к прежней жизни. Тревога сжала его грудь, когда он убедился, что перед ним уже нет никаких препятствий, что поезд со всеми удобствами доставит его через какие-нибудь два часа в Кржижанов. И ничто уже не может отдалить этот момент. А с каким нетерпением и радостью ждал он его в Катариненберге, сколько раз представлял его себе.

Тогда эта поездка похожа была на сон, на фантастический сон. Тогда, как и сегодня, он забился в угол вагона — боялся людей и боялся одиночества. Глядел в окно на изрезанные межами сухие поля, на сочные луга с резвящимися на них лошадьми, на шоссе, у обочин которых громоздились обломки автомобилей и танков, ехал и ехал, не отваживаясь представить себе, что будет дальше. И меньше всего тот момент, когда поезд остановится и он должен будет выйти на перрон кржижановского вокзала.

Сегодня почему-то ему тоже не хотелось возвращаться. Лучше бы не возвращаться. Пусть бы поезд не останавливался, пусть бы мчался все дальше и дальше, туда, где Ондржея никто не знает и где он не знает никого. Он отогрел ладонью замерзшее стекло и смотрел на белый, без конца и края, однообразный пейзаж.

Нет сочных лугов и нет иссушенных солнцем полей. И лошади тут уж давно не резвятся. Где они, эти лошади?

Так хотелось, чтобы кто-нибудь к нему подсел, чтобы не быть одному, чтобы не думать. В Каменке в вагон вошли два лесоруба. Усталые, промерзшие, молчаливые.

Поезд громыхает по рельсам, упрямо продирается вперед сквозь морозную искрящуюся тьму, в вагоне темно и тихо, на мгновение угол озаряется тусклым светом спички и тут же снова погружается во мрак.

— Который же это час? — слышится голос одного из лесорубов.

— Что-то около половины восьмого,— гудит в ответ второй.

И снова тишина. Ондржей, забившись в угол, вглядывается через замерзшее стекло в темноту. Вот так же он уже ехал однажды. Если бы с ним был тогда Франтишек, если бы он остался жив, если бы... а что бы было?.. Возможно, ничего бы и не было. Если бы с ним ехал тогда Франтишек, они бы все равно, выйдя из кржижановского вокзала, расстались. Франтишек пошел бы по аллее к задней калитке садоводства Пацлика. Прошел бы через сад, заглянул в окошко и увидел Марию... Но Франтишек с ним не поехал, Франтишек был мертв, и пошел тогда по дороге Франтишека Ондржей. Думал, что это будет просто. Но у него не сразу хватило духу отворить калитку и войти в нее, долго он не решался, смотрел на слабо освещенное окно приземистого домика. За этим окном заметил колеблющуюся тень. «Может, это тень Марии»,— сказал он себе тогда, и страх сжал ему сердце. Боялся мертвого Франтишека, живой Марии, самого себя боялся.

Передавая ей на следующий день последнее письмо Франтишека, он никак не мог побороть волнения. Она существовала! Перестала быть миражем, порожденным его измученным мозгом. Она существовала! И это его изумляло больше всего. Губы ее шевельнулись, и она заговорила. Он мог бы прикоснуться к ней, если бы не боялся. Она прочитала письмо Франтишека, рука ее медленно опустилась, взгляд устремился куда-то вдаль, потом она улыбнулась. Печально так улыбнулась. Была очень спокойна. Казалось, ее больше интересовало, при каких обстоятельствах погиб Франтишек, чем сама его смерть.

Он смотрел на нее, затаив дыхание. Она была совсем не такой, какой он ее до сих пор рисовал в своем изголодавшемся воображении.

Лицо ее было несколько шире и не такое белое, волосы более светлого оттенка, глаза не такие уж печальные и участливые, наоборот, они смотрели на Ондржея с веселым любопытством.

«А я бы тебя, пожалуй, не узнала»,— сказала она растерянно и с какой-то отчужденной усмешкой.

Должно быть, он изменился до неузнаваемости. Все это говорили ему тогда — сильно исхудал, острижен наголо. Ондржей еще не отдавал себе отчета в этом. Ему казалось в те минуты непонятным, почему Мария так равнодушно, так отчужденно смотрит на него. Что ж, она-то ведь не знала об их бесконечных ночных разговорах, не знала о его тоске и мучительном томлении по ней, не знала, чем была для него в эти два года, как озаряла все своим светом...

Мог бы ей об этом сказать. Но он молчал. Не сказал ничего.

Позже, когда стал встречаться с ней чаще, он ощущал — чем дальше, тем острей,— различие между Марией своей мечты и настоящей Марией Рознеровой. И тем больше она его волновала и влекла к себе. Он непрестанно искал в ней ту тихую утешительницу Марию, которая придавала ему силы, светила ему во мгле. Она была близка ему как человек, с нею вместе они прожили кусок трудной и суровой жизни. Но настоящая Мария не была ни тихой, ни утешительницей, напротив, она была полна жизни, радости, была слишком настоящей.

Ту, *свою,* Марию Ондржей увидел только однажды. В одно из летних воскресений они отправились вместе в Бржезину навестить мать Франтишека. Когда они, сойдя с поезда, пошли лесом, оба вдруг почув-

ствовали, что слегка взволнованны, их разговор сразу утратил прежнюю непосредственность, смех стал звучать искусственно. Остальной путь прошел в долгих паузах и напряженном молчании. Шагали по пыльной дороге, каждый по краю ее, сторонясь один другого, словно боялись друг друга. Мария шла в туфлях на босу ногу, в летнем красном с белыми горошинами платьице. Ондржей нес ее жакет, он испытывал необыкновенную легкость и страх, ему хотелось то петь, то плакать, временами он чувствовал себя совсем слабым и не понимал, куда девались его силы. Поднял с земли прутик и стал сбивать им головки одуванчиков. Выйдя из леса, они очутились на пышущей жаром жужжащей, пахнущей чабрецом прогалине. Перед ними открылась лощина, замкнутая на горизонте грядой голубых холмов.

Мария уселась на траву и, закинув голову, загляделась в знойное голубое небо. И тогда он увидел ее. *Свою* Марию. Встал над нею, смотрел на ее длинные густые ресницы, на ее белый лоб и виски, на волосы, ниспадающие, как свет, на ее стройную шею — это была она, его Мария. Та самая, которая была с ним, к которой он еще не прикасался, которая его понимала, которая вместе с ним все перенесла и пережила. То, что он сделал, казалось ему в ту минуту совершенно естественным, он нисколько не сомневался в том, что для нее это не будет неожиданностью, что она не изумится, что ответит улыбкой, ласковым пожатием, как делала это в те глухие ночи.

Он опустился на колени, обнял ее и поцеловал белую тонкую шею.

Волна блаженства и нежности залила его, подступила к горлу, все вокруг благоухало, все звенело ликующей песней. И секунды эти казались ему бесконечными.

Мария испуганно вскочила, резко оттолкнув его от себя. Она остановилась в нескольких шагах от него, а он стоял на коленях в траве, неловкий, потрясенный, униженный. Стыд, страшный стыд! Она смотрела на него широко открытыми глазами, полными удивления, страха и гнева.

«Что ты делаешь?» — прошептала она.

«Мария!» — больше он ничего не мог сказать, должно быть, еще верил в те минуты, что она поймет его, что ответит так же, как отвечала в его мечтах, в его воображении.

«Не смей и думать об этом!» — произнесла она холодно, враждебно. Подняла с земли свой жакет, повернулась и бросилась бежать.

«Мария! Подожди!» — взмолился он.

Она не оглядывалась, бежала панически к лесу, обратно на шоссе. Он побежал за нею, звал ее. Но она так и не оглянулась. Один он вернулся на место своего унижения, сел на траву. От Марии осталась в траве только заколка, выпавшая из ее волос.

«Не смей и думать об этом!» — эти слова долго звенели в его ушах, больно врезались в сердце, сдавливали грудь и, казалось, не давали дышать.

Ондржей бегом спустился в лощину, там лужок пересекала канавка, полная воды. Он умыл лицо...

«О-пом-нись, о-пом-нись!» — выстукивают на рельсах колеса вагона, мимо полузамерзшего окна временами пролетит искра, и снова густой мрак.

— На Боушкову вчера свалилась повозка. Возле Студенца.

— И что же?

— Помирает...

Спичка у трубки лесоруба догорела, угол вагона потонул во мраке, снова тишина.

Ондржей закурил.

«Ребенка жду!» — сказала Тонка. Тонка! Ондржей считал, что в руках у него просто какой-то черепок. А оказалось, что это целая жизнь. Боже, что он с нею сделал! Все в нем затвердело, окаменело, он перестал чувствовать, убил в себе все живое и плелся по кругу, как привязанный к приводу конь. Порвать бы постромки! Когда молодым парнишкой он оставался без работы, не раз нанимался на время жатвы к деревенским хозяевам. К старому Фабере. Получал за это каравай хлеба, крынку молока и корзину старой картошки.

Таскал на горбе мешки из риги в амбар. Так и кружил целыми днями. Из риги в амбар, из амбара в ригу. Старик Фабера сидел на лавочке у дома, покуривал трубку и наблюдал. Молча подсчитывал мешки и не спускал с Ондржея глаз. Молчание его раздражало Ондржея больше, чем если бы на него покрикивали, подгоняли. Порой ему казалось, что он не выдержит, сбросит с плеча мешок, кинется на старика и начнет душить его. Правда, он этого никогда не делал. Успокаивал себя тем, что глядел на коня, впряженного на току в привод. Так же, как он сам, Ондржей, бегало это животное, опустив голову, по кругу, казалось бы бессмысленно, бесцельно, покорно. Если бы оно взбунтовалось! Если бы порвало постромки! Ведь оно раз во сто сильнее Ондржея. Никто бы не мог воспрепятствовать ему убежать на луга, в поля. Порвать постромки!

Нет, не порвет! К чему и зачем? Надо просто склонить голову. Человек ко всему привыкает. Говорит, что ждет ребенка. Это смешно, но это правда. А может, это ребенок Францека — ведь он на рождество был дома? Тонка даст ему развод и переедет к нему, Ондржею, старики перейдут в пристройку, а он с семьей поселится в их комнатах. Семья! Перестанешь мечтать и перестанешь тосковать. Дни станут похожи один на другой. На работе будешь рассматривать жалобы, подсчитывать проценты выполнения плана, то тут, то там произносить речи о производительности труда, выслушивать такие же речи, распределять спецодежду, дополнительные пайки, расписывать бригады.

Ко всему привыкаешь. Дома у тебя будет Тонка, преданная, покорная, не способная бунтовать. И будете вы, как пара коней на приводе.

— Она, эта Боушкова из Поржиче, старика Халамки, кузнеца, дочка,— отозвался из угла хриплый голос.

— Да-а!..

— Так что о детях есть кому позаботиться.

— Это уж так!

Угол снова притих и погрузился в темноту. Поезд постукивал по рельсам, мимо полузамерзшего окна пролетела стайка искр.

Глава вторая

1

— Чего ты хочешь? Что, собственно, тебе надо, странный ты человек! — вскричал Ванек.

Людвику стало неловко. Люди в зале оглянулись.

— Чего я хочу? — как можно тише повторил Людвик.— Чего хочу! Сохранить свою независимость.

Ванек рассмеялся, вернее, раздался взрыв пренебрежительного смеха, потом стукнул рукой по столу, потеряв всякую надежду помочь Людвику и вообще о чем-либо договориться с ним. Он встал:

— Пойду и я,— сказал Людвик и тоже поднялся.— Только не следует из-за этого устраивать истерических сцен.

Они взяли в гардеробе пальто и вышли на улицу. Часть пути шли вместе. Ванек упорно молчал.

Ну вот еще одна их встреча. И получилось точно так, как и во все предыдущие. У Ванека просто навязчивая идея — будто он должен спасти Людвика. От чего и зачем? Время от времени он откуда-то выплывает, сегодня вот пригласил Людвика пообедать. Разглагольствовал перед ним два часа: наступил, мол, тот час, когда ты должен, наконец, решить — существуют только два лагеря, и между ними нет больше ничего,— посмотри, кому ты служишь, вступай в партию, тебе подобает быть там, посмотри, что с тобой сотворили, опомнись, теперь все поставлено на карту, чего, собственно, ты хочешь?

Чего, собственно, он хочет! Возможно, он ответил Ванеку неточно. Людвик знал точнее, чего он не хочет. Выводы Ванека часто логичны, Людвик порой не умеет ответить и все же чувствует, что Ванеку недостает сердечности, чуткости и еще черт его знает чего; он боится его холодных умствований и расчетливости. Ох уж этот его примитивный метод исключений: если не с нами — значит, враг, изменник; третьего — не дано. Разум, разъяснение, определение. Однако разум, разъяснение, определение — это еще не все. Ведь для человека, когда он принимает решение, столь же важно и чувство; зачастую необъяснимое ощущение скорее подскажет тебе, где ты допускаешь ошибку, где существует малейшая брешь, которую люди, лишенные чувств, не заметят. Воодушевись, речь идет о большом деле!

Нет, он не сумеет воодушевиться, он весь погас. И сам понимает это! Он ценит терпеливость Ванека. Два года, даже больше, чем два, он с ним пререкается, спорит. Людвик обычно радовался встречам с Ванеком, но почти всегда они расставались как совершенно чужие люди. Так происходит, вероятно, потому, что в воображении Людвика жил постоянно совсем другой Ванек. Тот, прежний, предвоенный и военный Ванек — немного легкомысленный, можно сказать, богемный художник, автор скорбных, мрачных картин с пассивными, забитыми и слегка деформированными людьми. Он смотрел тогда на окружающий мир как бы сквозь завесу. Но сегодня он говорил, что ему все ясно. Перспективы, светлое будущее! Картина Ванека «Зал ожидания» до сих пор висит в комнате Ольги, а тогда, когда они, правда недолго, жили вместе с Ванеком, он не раз приглядывался к старому наброску его «Беженцев». Толпа человеческих теней, убогих и забитых, бредет по еще более убогому краю; ужасающая правда жизни скрывалась в этих мрачных полутонах, и все же она звучала так же громогласно, как и голос самого Ванека. Людвик имел возможность за два года до этого наблюдать, как трудно рождалась его «Баррикада». Это полотно так и осталось незавершенным, работа не была доведена до конца. Теперь Ванек официальное лицо. Он служит в отделе культуры Центрального Совета профессиональных союзов. Однажды он признался Людвику, что сам не знает, для чего это учреждение существует. Ума не приложит, как ему быть с недоконченным полотном «Баррикады». Людвик должен был бы ему об этом сейчас напомнить, должен был бы немного поколебать его уверенность. Сейчас он видит нахмуренное лицо Ванека в профиль. Тот идет быстро, Людвик едва поспевает за ним. Вдруг Ванек остановился, повернулся к Людвику и протянул ему свою большую руку.

— Все время твержу тебе: необходимо что-то изменить в твоей жизни, ты что-то проглядел...— сказал он как-то печально.

Теперь уже рассмеялся Людвик.

— Ты думаешь, Ванек, что тебе все ясно. О нет, далеко не все! И в тебе сидит проклятая неясность...

— Речь идет не о том, что мне ясно или не ясно!

— А о чем тогда?

Ванек махнул рукой.

— Если мы до сих пор не могли договориться, то сейчас уж и подавно не договоримся. И все-таки...— заметил он неуверенно, но не закончил. Пожал еще раз руку, повернулся и пошел.

И Людвик почувствовал, что он расстается с человеком, совершенно ему чужим.

«И все-таки...» — повторил он последние слова Ванека, когда остался один.

И все-таки... И все-таки тогда, когда он вернулся из Катаринаберга и поселился у Ванека в его ателье, в нем не было противоречий. Ему все было ясно. Одна лишь радость да страстное нетерпение начать снова жить наполняли его, только бы эти светлые дни, полные солнца, проходили в безмятежном спокойствии, без обязанностей и повинностей.

Столько солнца! Оно проникало сквозь давно не мытые окна ателье.

Вскоре после того как Людвик вселился сюда, Ванек, придя однажды откуда-то, сдвинул в угол стола бутылку со скипидаром, грязные тряпки, выжатые тюбики из-под красок, альбом для эскизов и торжественно положил на освободившееся место какие-то листки.

— Вот. Заполни это, у тебя было достаточно времени на размышления,— сказал он.

Это был бланк заявления и анкета для вступающих в коммунистическую партию. Людвик имел скверную привычку все откладывать. С давних пор, сызмальства. Он подумал тогда, что анкету он заполнит на следующий день. Когда уйдет Ванек. «Для этого нужна свежая голова и тишина»,— сказал он Ванеку. Утром он сел за стол с ощущением, что делает нечто необыкновенно важное.

Заполнил печатными буквами, как было указано, первую рубрику.

Людвик Янеба, родился 2 июня 1913 года в Праге.

Затем начал перелистывать анкету. Перевернул ее, просмотрел пункт за пунктом. Вдруг ему показалось, что он не сумеет ответить на все вопросы. А на многое, о чем вопрошала анкета, просто не знал, как отвечать. Это привело его в замешательство, ему стало стыдно и перед самим собой, и перед Ванеком. Анкета спрашивала об отце — он почти ничего о нем не знал. Ни когда тот родился, ни когда умер. Он просто никогда не задумывался над тем, что у него был отец. Не помнил его, отец ушел на фронт, когда Людвику был год, и погиб сразу же, в начале войны, году в четырнадцатом. Боже, сколько лет прошло уже с тех пор?! Четырнадцатый... А который теперь — сорок восьмой? Такая уйма времени. Да и жил ли он вообще когда-то? Убит где-то в Сербии или же умер от тифа в лагере военнопленных. Уже тогда умирали бессмысленно. Мать о нем рассказывала редко и всегда как-то безлично, словно бы он для нее был чужим человеком. Называла его Янебой.

Впрочем, он никогда не знал точно дат рождения матери и сестры Карлы. Не знает этого и сейчас. Когда-то он записал их где-то. Так получилось потому, что он никогда не праздновал с ними их дни рождения. Карла, правда, несколько раз заставляла его в детстве покупать матери цветы и читать поздравления в стихах, которые она сочиняла. Но потом он стал от этого уклоняться...

Да, у него тогда не было никаких сомнений. Жил жадно, радовался всему, каждому пустяку. Все, что пережил, означало для него только то, что он наконец *дождался* жизни. До этой поры он, собственно, не жил. Ожидание жизни, бесконечные стремления, жалкое существование, поддерживаемое надеждами и иллюзиями. Когда же он был арестован... ну конечно, и об этом спрашивала его анкета: *Когда и почему был арестован?* Почему? Он отвечает теперь на этот вопрос уже просто и без замешательства — по политическим мотивам. И с легкостью пишет это во всех анкетах. Пожалуй, в широком смысле слова это было правдой — все, кто были тогда арестованы, были арестованы по политическим мотивам. Только раньше, в сорок пятом году, этот вопрос приводил Людвика в замешательство. Он сознавал, что, если говорить правду, он не может здесь написать ничего иного, как то, что был арестован случайно. Ни за что ни про что. Может быть, по собственной глупости. По стечению странных обстоятельств. Ему это казалось смешным. И единственное, что он знал точно, была лишь дата ареста. 13 апреля 1943 года. Ранним вечером, ясным весенним вечером. А почему? Должно быть, потому, что это было страшное, нелепое время. И с волей Людвика и с его желанием оно не имело ничего, абсолютно ничего общего.

Йозифек стоял тогда, прислонясь к углу аптечного киоска на Тыловой площади, и читал газету. Они не виделись по крайней мере два года.

«Бог мой! Ты еще жив? — сказал он Людвику.— Пошли к нам. Мы живем за углом. Маржка приготовит нам ужин».

Много раз он возвращался мысленно к этому. Особенно потом, в Катаринаберге. Собственно, ведь ему и не хотелось идти к Йозифеку. Вообще не хотелось. Знал наперед, как все будет. Спросят друг у друга: «Ты женат? Что делаешь? У тебя есть дети? Где тот или другой из знакомых?» И вдруг уже не о чем говорить. На него Йозифек всегда нагонял скуку. Когда же они оставались вдвоем, им становилось особенно скучно. У Йозифека были совсем другие интересы, он изучал технику, станкостроение, мыслил совершенно иначе, нежели Людвик. А тот и по сей день не мог понять, почему тогда кивнул в знак согласия и пошел с ним. Когда они подходили к их дому, ему захотелось как-нибудь отвертеться от этого приглашения. В те минуты разговор уже был на исходе. А может быть, и Йозифек свое приглашение не обдумал серьезно, возможно, он сказал просто так, лишь бы что-нибудь сказать. И рассчитывал, что Людвик откажется. Когда Людвик над этим позднее задумывался, ему казалось, что так оно и должно было быть, что во всем этом было нечто фатальное, чему и положено было случиться в его неудачливой жизни. Его в тот момент словно бы что-то влекло туда, словно бы его воля так ослабела, что не в силах была противиться.

Йозифек отворил дверь, они вошли в переднюю. Едва он успел закрыть за собою дверь, как перед ним возникли дула пистолетов. Людвик даже не заметил, откуда они так внезапно появились. Возле вешалки стояла жена Йозифека, он звал ее Маржкой; она громко зарыдала.

— Не хнычь! — одернул ее Йозифек.

А потом их вели по лестнице, и им встретилась маленькая девочка с мячом, она подпрыгивала и пела тонким голоском. Их втиснули в машину, которая стояла у противоположного дома. В машине Йозифек прикрыл руками лицо и что-то сказал. Людвик не понял. Но получил удар под ребро, и им обоим надели наручники. После уж никто из них не отваживался заговорить. Людвик часто представлял себе свой арест. Боялся его. Ужасно боялся. Но когда это произошло, больше всего его удивило то, что все произошло так просто и он не испытывает чувства страха. Всегда с ужасом ждал этого страха. Можно сказать, страшился

страха. Подумал даже, что чувство это придет поздней, когда он осознает происшедшее.

Но страх не пришел к нему и во время допросов. Он был в состоянии тупой покорности и не проявлял ни к чему никакого любопытства. Вел себя не трусливо и не геройски. Просто никак. Его старались убедить в том, что он действительно заодно с Йосефовым — это имя звучало для Людвика просто чужим: сколько он его знал — всегда звал Йозифеком, а не Йосефовым. В этом он нашел какое-то облегчение, так как Йосефов был кто-то другой, кто-то чужой, и он действительно мог свыкнуться с тем, что ничего о нем не знает и с ним не знаком. Твердили ему, что он, мол, работал вместе с ним в нелегальной организации. Людвик прикидывался дурачком, с серьезным видом уверял, что понятия не имеет ни о какой нелегальной организации. Но в сущности он говорил правду. Он ведь действительно ничего не знал и, главное, не знал того существенного, что они хотели бы от него услышать. Просто ничего не мог сказать, даже когда его избивали. Возможно, он бы и рассказал, если бы ему хоть что-нибудь было известно. Кто знает!

Йосефова расстреляли очень скоро после ареста, как Людвику по возвращении сказал Ванек. Ну, ладно, так как же заполнять? Почему, в самом деле, он был арестован? Вот именно — почему? Не умеет он отвечать на анкетные вопросы. Возможно, для этого у него не хватает смелости и терпения. Постоянно его кто-то спрашивает: почему это, почему то. Правда иногда бывает сложна. Почему, например, он не подал заявления в партию? Может, из-за лени, может, из-за врожденного отвращения ко всяческого рода анкетам, бланкам и рубрикам, а может, потому, что ему в это время было приятнее всего жить без каких-либо обязанностей.

«Почему же вас все-таки арестовали?» — допытывался Геврле, когда Людвик поступал на должность редактора в «Глас лиду». Людвик уже, вероятно, устал описывать перипетии своего ареста. Он и сам больше не различал, как все действительно с ним произошло и где он переборщил в красках. Возможно, он немного трусил, как бы ему не повредило в глазах Геврле, если он скажет, что не знает причину. Ответил тогда: «По политическим мотивам. Я работал вместе...»

«С кем?»

«С группой Йосефова. Он был расстрелян».

«Это была коммунистическая группа?»

Он не знал точно, но Ванек как-то упомянул об этом, и он кивнул.

И тотчас же последовали вопросы:

«Вы состоите в коммунистической партии?» — Он замотал головой. А потом Геврле спросил: «Почему?»

Людвик промолчал — просто не знал, как ответить. Сделал вид, что задумался над этим, но, в сущности, думал бог ведает о чем. К счастью — теперь это уже ему известно,— Геврле не может выдержать долгого молчания.

«Я вовсе не хотел лезть вам в душу,— заметил тот.— Просто хотел сказать, что не имею ничего против, если вы захотите это сделать. Я не ставлю вам никаких условий. Я даже с удовольствием посоветую вам вступить в эту партию. В конце концов я же все-таки марксист, хотя и с оговорками. В марксизме есть своя правда и сила, друг мой, тут ничего не поделаешь. И если потребуется, выбросим вон все оговорки».

Ни черта он не выбросил. Этот разговор происходил летом сорок пятого, до февраля сорок восьмого оговорок скорее прибавилось, чем убавилось. Что ж, ведь это Геврле! У него, по крайней мере, оговорки. А у Людвика?

2

Спала она или не спала? Скорее это был какой-то странный дурман. За окном уже догорал день. Небо над костелом святого Михаила побагровело, набережная внизу была безлюдной, только по льду кржижановского пруда скользили на коньках несколько мальчишек. Как только она встает, ее первые шаги устремлены к окну. Хотя она живет тут уже год, но до сих пор не может налюбоваться и комнатой и видом из окна. Теперь даже представить себе невозможно, как это они с отцом могли столько времени жить в почерневшей грязной конуре у Пацлика. Без прихожей, в одной мрачной комнатушке с темным чуланчиком. И столько времени! До сих пор еще она как зачарованная расхаживает по своему новому жилищу, думает, что бы ей еще приобрести. Впервые в жизни у нее есть ванная комната. Своя собственная ванная комната! Белая ванна, которую можно до краев наполнить теплой водой! Правда, в Швигове, когда господа уезжали, она иногда купалась в их облицованной белым кафелем ванной комнате. Но то было совсем другое дело, об этом никто не должен был знать. Даже отец. Теперь, получив квартиру, она почувствовала, что вправду начала жить. Что она уже не нищая девчонка из садоводства Пацлика, что наконец встала на собственные ноги. У нее теперь своя квартира. Не папина, не Терезкина. Правда, не будь Терезки, кто знает, жила ли бы она здесь. Когда отец так внезапно уехал и она осталась в квартире одна, в Кржижанове сразу поднялся шум. Посмотрите-ка, молодая девчонка, одна-одинешенька, а отхватила двухкомнатную квартиру! Кто это так о ней печется? Кто так распорядился? Это уже было похоже на то, что ее выселят.

Однажды у нее в цехе появился Ондржей.

«Нашел тебе соседку по квартире. Терезка хорошая девушка. Положим, по крайней мере, конец всяким толкам».

И вечером привел ее. Она чем-то напоминала Франтишека. Трудно было только сказать, чем именно. Франтишек! Скоро уже три года как его нет в живых, и два года до этого она не видела его. Пять лет как он умер для Марии. И воспоминания о нем уже сухие, как трут, бесплотные, как цветы в гербарии. Она с трудом представляет себе его внешность. Когда Ондржей вручил ей последнее письмо Франтишека, когда она вглядывалась в убористый знакомый почерк, в вычурную с завитушками подпись, ничего, совершенно ничего они в ней не вызвали, никаких чувств. Ни скорби, ни возмущения, ни разочарования. Франтишек просто уехал очень далеко и больше не вернется. Это было похоже на то, когда зашумит и утихнет ветер. Она ждала и немного боялась его возвращения. Возможно, сказала бы ему, что она стала совсем другой, что уже нет прежней Марии Рознеровой, той сумасбродной девчонки, которая бегала с разметавшимися волосами по лугам за городом, которая подтрунивала над Франтишеком и играла с ним. Да, уже тогда ей не раз приходило в голову, что Франтишек хорош для забав, для девичьих шуток, но вряд ли он может быть тем, с кем хочется прожить всю жизнь, ее жизнь. Но кто же тогда тот, кто нужен будет ей всю жизнь?

Так чем же Терезка напоминала ей Франтишека? Светлые волнистые волосы и ясные глаза. Точно такие же были и у него. И Терезку она вдруг сразу припомнила. За год до того, как Франтишека арестовали, она поехала с ним в их деревню. В Бржезину. На лесных полянах зрела малина. Они ели ее полными горстями, потом бежали на берег Шварцавы, разувались и плескались в холодной воде — кто дольше выдержит.

Мария окатила себя из душа струей холодной воды. Переключила

на теплую, потом снова пустила холодную, усталость как рукой сняло, и голова перестала болеть. Вдруг она почувствовала себя счастливой и, как всегда в такие минуты, подумала об Ондржее. Сама не знала почему. Возможно, бывало и наоборот — думая об Ондржее, она чувствовала себя счастливой. Но сейчас она не хотела думать о нем. Думала о Терезке.

Вот тогда, приехав в деревню, она впервые увидела Терезку. Это была голенастая, долговязая девчушка. Второй раз она видела ее на похоронах Франтишека, два с половиной года назад, тоже в Бржезине. Тогда Терезке уже минуло шестнадцать лет. Не успеешь оглянуться, и ей стукнет девятнадцать. Хотелось бы ко дню рождения довязать ей свитер. Она как-то сразу повзрослела. А ведь только год назад, когда ее привел Ондржей, в ней было столько еще наивного, деревенского. Концы кос перевязаны белым шнурочком, потертое пальтишко, бог весть с чьего плеча.

Ондржей поставил у двери черный солдатский чемоданчик. На нем белой краской было выведено: Франтишек Слезак, адрес и год рождения.

«Она захватила с собой пока только самое необходимое,— сказал Ондржей.— Постель ее привезем в воскресенье. У тебя будет чем ей укрыться?»

Мария вытащила перины и постелила ей на отцовском диване.

Тогда Ондржей в первый раз пришел к ней на новую квартиру. До этого они избегали друг друга. С того самого дня... И что тогда на него нашло? Мария просто понять не могла — никогда не думала о таких вещах, испугалась, ужасно испугалась, не знала, что делать. Кинулась бежать. Бежала, бежала по лесу, а когда уже выбилась из сил, прислонилась к дереву; сердце ее бешено колотилось. Ей стало страшно. Тишина, одиночество — все ее пугало; она не знала, чего хочет. Вернуться ли ей на станцию, броситься ли вдогонку за Ондржеем — ни на то, ни на другое у нее не хватало смелости. Как же хотелось ей, чтоб Ондржей пришел за нею, она сказала бы ему... А что бы она ему тогда сказала?

Что она его боится? Что не понимает его? Почему он молчит, ничего не говорит? Все время молчит. Всякий раз, оставаясь с нею наедине, он становился совершенно другим Ондржеем, вовсе не похожим на того, которого знали все на заводе. Как будто бы это были два совершенно разных человека. Оставаться с Ондржеем с глазу на глаз означало для нее быть в постоянном напряжении, гадать, о чем он думает, чувствовать себя вечно настороже, испытывать не то страх, не то робость. Бог весть что это такое! Не знала и по сей день не знает она, как с ним держаться. Казалась себе бестолковой, глупой, неуверенной и часто сама не понимала, что говорит. И в то воскресенье было так же. Ей и в голову не приходило, что Ондржей может думать о таких вещах и что связано это именно с ней, с Марией. Во время войны за ней увивался Цафек, из сборочного. Она его терпеть не могла. Потом заводские парни не раз подтрунивали над нею, отпускали грубоватые шутки. Однажды Ирка Калаба увязался провожать ее и пытался поцеловать. Она посмеялась над ним. Потом ей прислал два письма учитель Андерле. Поджидал ее, когда она возвращалась с работы, разговаривал с нею заученными округлыми фразами, подчеркнуто правильно произнося слова; она сказала ему, чтобы он оставил ее в покое. А он продолжал свое: не может, мол, без нее жить, хочет на ней жениться. Господи, боже мой!

А потом вдруг Ондржей. Рядом с ним она почему-то всегда терялась, ей постоянно чудилось, будто он взвешивает каждое ее слово; молчаливый, с глубоко спрятанными под белым лбом глазами, он был

для нее судьей во всем, он словно бы говорил ей: это можешь делать, этого — не смей. Потом, собственно, она уже ждала его, думала, что он придет к ней, что обязательно скажет: «Прости, я сам не знаю, что со мной тогда стряслось», она ему простит, и все будет хорошо, и, если он захочет, сможет ее поцеловать. Теперь она уже знает, что он самый обыкновенный человек, но в тот раз она этого не понимала, даже не осмеливалась об этом думать.

А он так и не пришел. Ходил вокруг да около, боялся на нее посмотреть, хотя она ему улыбалась, звала к себе взглядом. Сторонился ее до того самого времени, пока не появилась Терезка. Теперь он стал захаживать к ним с таким видом, будто делал это только ради Терезки. Но Мария знала, что заходит он ради нее. Догадалась об этом, и как было не догадаться: на секунду дольше задержит в своей руке ее руку, быстро отведет взгляд, если она на него вдруг поднимет глаза. О том случае никто из них никогда и словом не обмолвился.

Терезка была теперь уже совсем другой, чем год назад, когда ее привел Ондржей с солдатским чемоданчиком брата. Запуганный подросток превратился в веселую стройную девушку. На ее мальчишеском лице было столько радости! Вероятно, такое выражение ему придавал слегка вздернутый нос, крупный, с тонкими губами рот и всегда удивленные глаза. Волосы ее, как и у Франтишека, были очень мягкие. Мария часто забавлялась, придумывая для нее самые невероятные прически. Челку, пробор слева, пробор справа, гладкий зачес назад, волосы на уши... «Послушай! Тебе бы пошла мальчишеская прическа»,— сказала ей как-то вечером Мария. На следующий день Терезка явилась домой с мальчишеской стрижкой. Действительно, такая стрижка ей очень шла и, если бы это было возможно, молодила ее. А Мария рядом с Терезкой казалась себе постаревшей, усталой, ей не хватало энергии, подвижности, веселости и удивительной способности приноравливаться к новой среде. Их маленький городок буквально пьянил Терезку. Ничто не могло утолить ее любопытства. Всему она удивлялась. И нескольким освещенным витринам, и любительскому театру, и кино. Ничего не упускала. Мария даже не знала, когда она научилась танцевать, но уже с понедельника Терезка ждала и не могла дождаться субботы. Наконец у нее появились собственные деньги. Каждый месяц она получает свои, заработанные деньги! Это казалось Терезке невероятным.

«Ну какая на текстильной фабрике работа? — говорила она.— Вот в деревне за ткацким станком поработай — это каторга. Ты бы посмотрела, что это такое!»

Жизнь представлялась ей теперь легкой и беззаботной. Да и Марии, с тех пор как она подружилась с Терезкой, все стало казаться проще. Терезка внесла в ее жизнь порядок. Когда уехал отец, Мария решила, что не станет заниматься для себя стряпней. Довольствовалась ужином, утром вставала в последнюю минуту и часто шла на работу не позавтракав. Терезка просыпалась всегда около пяти утра, готовила завтрак, накрывала на стол, обычно в кухне; если работала в вечернюю смену, то накануне приготовляла обед. Она наводила порядок, заботилась о белье, мыла посуду и раз в неделю производила в квартире генеральную уборку. Все это она делала с легкостью, как нечто само собой разумеющееся, и почему-то Мария, которая охотно готова была разделить с нею все заботы, приходила всегда именно в ту минуту, когда все уже было сделано. «Да брось ты! — говорила ей Терезка.— Я и так чувствую себя здесь нахлебницей!»

Надо надеть сегодня белую блузку, возможно вечером зайдет Ондржей, если вернется вовремя.

«Я тебя, Мария, очень хорошо помню,— сказала ей как-то Терезка.— Тебе так все шло. Ты была такая красивая. На тебе была белая блузка, а на шее повязан...»

Ту блузку ей дала Ольга. Все, что она во время войны имела приличного, было с плеча Ольги Пруховой. До самого конца войны она не носила ничего своего.

В передней раздался звонок. Это не Терезка. У Терезки есть ключ. С ощущением непонятной тревоги Мария пошла отворять дверь.

3

На отдельном листке, приложенном к анкете, значилось:

> Биография. Подробно напиши о своей жизни до нынешнего времени, включая период оккупации, а также о политической деятельности членов своей семьи. Укажи, что привело тебя к решению вступить в партию.

Напиши о своей жизни! Да жил ли он до войны? Или дожидался, когда начнет жить?

Жизнь, говорят, проявляется в поступках. Но разве не важнее самого поступка бывает часто то, что стоит за ним? Тайные помыслы? Ведь до этого времени Людвик, собственно, ничего еще не совершил. Возможно, хотел совершить, но не сумел. С ним-то случалось многое, но по собственной воле он не сделал ничего. Ну да! Родился. Это же не по собственной воле. Растила его вместе с сестрой Карлой рано овдовевшая мать. То было спокойное, безоблачное время, дни проходили за днями, похожие один на другой, и оказалось; что все это совершенно не существенно для его жизни. Завтраки, заботливо приготовленный обед, полдник, ужин, потом в постели малиновый сок, покой, тишина, тоска. Убегал из дому к друзьям. читал и читал, писал даже стихи, тосковал по девице, которую звали Милена и которая жила этажом ниже. Она была намного старше Людвика. Однажды он увидел, как ее на темной лестнице целовал какой-то господин в шубе. Он не спал тогда всю ночь, плакал горько и жалел себя. На следующий день он получил «неудовлетворительно» по латыни. Было ему тогда шестнадцать лет. Хотел покончить с собой. Но не покончил.

Что ж, это тоже входит в описание жизни?

И вообще, разве это жизнь? Или, может, только суррогат ее? Игра в жизнь? Кафе, частные уроки, симуляция учебы, годы однообразные, без каких бы то ни было потрясений, без волнений. Жил, так сказать, не осознавая себя, потому что не было серьезных невзгод. Самосознание начало пробуждаться в нем, и он стал размышлять о собственной судьбе, о себе, только когда его арестовали, когда в первый раз он получил зуботычину, когда узнал, что такое настоящий голод и настоящий страх за жизнь. Жизнь, вероятно, начинается там, где человек начинает бороться. За что угодно: достаточно, быть может, бороться только за свою жизнь, за жизнь как таковую. А как бывает, когда человек борется за идею? Но этого Людвик никогда не испытывал.

Между тем какое-то время он боролся за одну лишь жизнь. Эта жизнь имела разные обличья. То это был кусок жвачки, завалявшаяся картофелина, то окурок сигареты. Настоящая жизнь бьет из глубины, откуда-то со дна. Отвечай лучше на вопрос: был ли ты политически организован до тридцать восьмого года? После тридцать восьмого? Состоял ли в боевых организациях? Нет, не состоял, нет, нет, сто раз нет...

Вполне возможно, что после возвращения он вел себя ненормально, как пьяный; он был потрясен нежданно-негаданно обретенной свободой.

У него закружилась голова, когда он осознал, что свободен, что может делать все что хочет. Что имеет на это право. Он в то время как будто передвигался не по земле, а парил в воздухе. Летал, возносился ввысь.

Утро в ателье Ванека! Проснулся поздно, Ванек уже давно ушел. Солнце пробивалось сквозь грязные стекла, одно окошко было приоткрыто, и солнечный луч падал на запыленный стол. Через это приоткрытое окошко можно было смотреть прямо на небо, а приподняв одну из нижних рам и высунув в образовавшееся отверстие голову, увидеть внизу город, грязные дворики и почерневшие крыши, кусочек реки и цветущие сады.

По улицам города растекалась свобода. Она нахлынула внезапно. Она катилась, лилась, как весенние талые воды, люди захлебывались в этом очищающем потоке. И Людвик тоже.

На столе лежала анкета, постепенно желтеющая под лучами солнца, анкета с вопросами, которые ждали ответов.

«Это твой нравственный долг, твоя обязанность,— заявил Ванек.— Только вспомни: Мюнхен, фашизм, концлагерь, война. Это не должно повториться!»

Да, верно. Но Людвику сейчас были противны любые обязанности. Он не желал слышать *ни о каком долге*. Ни о нравственном, ни о каком другом. Сыт по горло обязанностями, приказами, страшился их, они были ему отвратительны. Ему хотелось жить без обязанностей и без необходимости выполнять долг, жить, не считаясь ни с чем. Хотя бы какое-то время, совсем короткое время, может быть, он еще имеет право на это. Как долго продлится у него эта потребность жить ни перед кем, ни перед чем не в ответе?

И он так жил. Вел себя совершенно безответственно и бесцеремонно. По-видимому, и с Ванеком был бесцеремонным. И с матерью. Она посылала ему из Семтеша письмо за письмом. Приезжай, приезжай, приезжай! Ему, Людвику, мол, необходимо отдохнуть, надо просветить ему легкие, надо приодеть его! На что, на какие, собственно, средства Людвик живет? Где достает деньги? Ну, одолжил у Ванека, а потом у Ольги. И продуктовые карточки ему, помнится, тоже дала Ольга. Купила их где-то на черном рынке. Надел на себя костюм и белье Ванека. Все было слишком велико. Потом мать прислала две рубашки зятя и костюм. Почти новые. Рукава пиджака, вероятно, были слишком коротки Индржиху, и он не носил его. Индржих всегда любил хорошо одеваться. И хотя Людвик знал, что нет другого выхода, что так или иначе ему придется ехать к матери в Семтеш, он откладывал свой отъезд со дня на день, с недели на неделю. Сызмальства Семтеш был в представлении Людвика воплощением скуки. Там словно бы остановилось время и жизнь. И кроме того, он не мог себе представить, как прожить без Ольги хотя бы один-единственный день.

Все его рассуждения заканчивались Ольгой. Сегодня, разумеется, он совершенно не в состоянии выяснить свои отношения с ней. Он понимает — это ненужная, безнадежная любовь. Но тогда, когда он с ней встретился впервые, сразу же после возвращения из лагеря,— боже, какой прекрасной показалась она ему! Как раз незадолго до его ареста между ними что-то началось. Она была тогда нежная, пугливая, растерянная. Он поцеловал ее однажды вечером. А когда вернулся, вдруг увидел уже женщину. В первые минуты он воспринимал в ней только большие черные глаза. Они глядели откуда-то из глубины. Его удивила ее неожиданная уверенность. Ему казалось, что рядом с нею он выглядит неловким, неуклюжим, неотесанным. И еще казалось ему, что она

встретила его как кого-то, кто уже однажды составлял часть ее жизни,— была откровенней, дружественней, чем с остальными. Он заходил к ней потом ежедневно. Она доверялась ему во всем. Говорила, что хочет быть независимой от матери и ее денег. Будет, мол, жить самостоятельно, но еще не знает как. Хотела бы поступить в драматическую студию. Но опасалась, что в двадцать два года поздновато так начинать сценическую карьеру. Не лучше ли бы ей попробовать свои силы прямо в каком-нибудь театре? Попробовать-то ведь надо в провинциальной труппе. Многие выдающиеся актрисы начинали так же. Все, конечно, зависит от ее решимости, воли и старания. Он одобрял ее планы, хотя уже тогда чувствовал, что все это у нее не всерьез, что она, конечно, только говорит, но никогда не сделает этого. Так оно и получилось. А что же у нее всерьез? Иногда ему казалось, что она не приспособлена к жизни, безвольна, как будто чем-то заторможена, что она не способна взять себя в руки, всегда чего-то боится.

«Чего ты боишься?» — спросил он ее однажды, еще до своего отъезда в Семтеш. Было это ранним вечером, они стояли у парапета набережной неподалеку от дома, где жила Ольга. У него все время сваливались очки. Они были сломаны, еще Франтишек скреплял ниткой треснувшую оправу.

«Ты знаешь, что нас ждет?» — сказала она вдруг, не отвечая прямо на его вопрос.

«А что нас может ждать? — спросил он.— Что тебя страшит?»

«Не знаю,— ответила она.— Но кто же знает, что нас ждет? Кто-то ведь должен знать, что будет дальше. Что станут делать...»

«Кто?»

«Коммунисты».

Он беззаботно рассмеялся.

«И что это, скажи на милость, взбрело тебе в голову! Чего ты боишься? Молодая, красивая...»

Она с досадой махнула рукой. Молчала, уставившись куда-то вдаль, на текущие воды реки.

«За себя, возможно, я не боялась бы. Может, вообще не боялась бы, не будь мамы. Иногда, Людвик, мне кажется, что лучше б ее не было».

«А чего боится твоя мать?»

Она пожала плечами.

Тогда он впервые понял, что мир, в котором Ольга росла и живет, ему совершенно чужд. Что поэтому-то он и не может понять ее. Ванек говорит: «Существуют два мира». Один — это Ольгин, а другой — наверно, Ванека. Они противостоят друг другу. А который же из них — мир Людвика?

4

Сколько лет она не была в Кржижанове? В последний раз приезжала сюда, когда еще был жив Пруха. В тридцатом или в тридцать первом году. Позже, правда, она еще раз заехала сюда с Фишаром, они пробыли здесь вместе два дня. То было в тридцать восьмом, когда уже запахло войной. Хотелось ей переждать это время в Словакии, Фишар считал, что там будет безопасней. Тогда кржижановский завод работал на полную мощность, выполнял государственные заказы. Альфред строил планы расширения производства, но из этого так ничего и не вышло. Мюнхен смел все планы.

Марте нравился Кржижанов. После свадьбы они с Прухой жили в этом городке большую часть года, а в пражской квартире проводили, собственно, только театральный сезон. Правда, потом, когда родилась

Ольга, Пруха продал виллу Годуре и оборудовал для Марты Швигов. В Кржижанове с тех пор у них были постоянные апартаменты в гостинице Враспира: в ней они останавливались, когда наезжали сюда, раза два Марта провела здесь лето с маленькой Ольгой.

Боже, но какое тут сейчас запустенье! Пруховские «апартаменты» были одно время главным здешним аттракционом. Враспир их никому другому не сдавал и очень хвастал этим. А теперь — облупившиеся стены, холодно, неприветливо, отдает плесенью, теплой воды в кранах нет, уборная в неисправности. Страшно даже подумать, что ей придется сегодня провести здесь ночь. С каким удовольствием приняла бы она ванну, ее так растрясло во время этой адской поездки. Альфред вел машину, как похоронные дроги, шоссе обледенело, и за Глинском показалось, что они и вовсе не доедут. Вечером из Брно Альфред приедет к ней поездом, и обратно, очевидно, им иначе не добраться. Только бы это не было напрасно, чтоб им провалиться! Кржижановский завод стоит того, чтобы испытать немного неудобств.

По дороге Альфред доверительно сообщил ей, что дело идет на лад. Собственно, все уже началось. В то время, пока они трясутся по дорогам, в Праге в правительстве уже роздали карты, игра идет ва-банк. Все. мол, рассчитано и предусмотрено до мельчайших подробностей. «Переходим, моя милая, в наступление,— заявил он,— в первой фазе речь пойдет о том, чтобы вытеснить коммунистов с ключевых позиций».

И то, что на прошлой неделе Верховный суд подтвердил ее притязания на возврат кржижановского завода, это также, мол, свидетельство того, что ситуация несколько изменилась по сравнению с прошлогодней и что в ближайшие дни она значительно изменится к лучшему.

Пора уж. У Марты вообще не хватало смелости думать о том, что будет дальше. Казалось, нет на это права, да и ни к чему было. Она всегда так любила мечтать, заглядывать в будущее, а потом осуществлять свои мечты. Человек, вероятно, не может жить без планов, без надежд. Хотя вот теперь она-то может. Марта уже примирилась с тем, что как-нибудь доживет свой век. То ли в запустелой пражской квартире, то ли в запустелом Швигове. Все в безнадежном запустении. И на ее душе и на стенах этого старого гостиничного номера накопилось столько грязи и плесени. Все в запустении...

Альфред просил, чтобы в то время, пока он будет в Брно, Марта поговорила в Кржижанове с людьми. Просто выяснила что и как. Главное, каково положение на заводе. Было бы, мол, хорошо, если бы передача прошла гладко, без всяких торжественных процедур, чтобы, короче говоря, все произошло незаметно. Не дай бог, чтобы коммунисты подняли вокруг этого шум.

Ну, поговорила она со старым Враспиром. Гостиницей, разумеется, он давно не занимается. Передал ее сыну, а сам только присматривает. Госпоже придется извинить его за то, что не все теперь здесь так, как должно быть,— были трудные времена, а могут наступить еще потяжелее, сказал он ей. К чему заботиться о гостинице, если он не знает, останется ли она завтра его собственностью. Конечно, он и не подумает вкладывать в нее свои денежки во имя чужой выгоды. Если бы все стало по-прежнему — дело другое, он, не задумываясь, надстроил бы еще один этаж. И в первоклассном отеле этот номерок опять был бы что надо!

Марта расспрашивала об общих знакомых. О владелице мясной лавки Шпатенковой. До войны они были приятельницами. Дела ее очень плохи, хуже быть не может. После революции ее арестовали, эта дура путалась с немцами, и ее выслали. Вот так всегда бывает, если женщины окончательно дуреют и начинают жить своим умом... Потом Марта

зашла к Минаржикам. Старик Минаржик был давним приятелем Пруxи. Он расширил свое «дело» и модернизировал его. Это было видно ей даже снаружи. Новые широкие витрины, заново переделан вход и, разумеется, все перестроено внутри. Сделал это все, как она потом узнала, его сын Вильда. Старик, правда, теперь совсем уже выжил из ума, ничего делать не может, сидит в кресле и пускает слюни на жилет. Но молодой, кажется, умница и довольно приятный. От Минаржиков она и узнала все новости.

Выпустили Годуру. Это хороший признак, и настроение у нее поднялось. Но не столько из-за Годуры — он был довольно неприятным субъектом,— сколько из-за того, что это, несомненно, означало поворот, о котором говорил Альфред. Годура был одно время от нее без ума. Когда Пруха продал ему виллу, он предложил им пользоваться целым этажом, где были комнаты для гостей. Мол, они могут здесь располагаться, как и когда им угодно. Однажды она остановилась там на несколько дней. Он тотчас же этим, само собой разумеется, воспользовался. Вошел к ней в комнату, когда она уже была в постели — ей и в голову не приходило запирать дверь на ключ,— упал перед ней на колени, дрожа от похоти. Это даже немного позабавило ее, возможно только потому, что в обычной жизни он выглядел очень респектабельным. Ей захотелось вдруг разбудить в нем зверя — ведь мужчине для этого так мало надо: посулить все, а не дать ничего. Сегодня ей хочется, честное слово, очень хочется сыграть такую же штуку с Альфредом. Проверить немного себя — держит ли она его еще в руках.

К Годуре она, конечно, не зайдет, наоборот, будет избегать его. Было бы неразумно встречаться с ним — ничего не поделаешь, у него, как говорится, рыльце в пушку. Так и Минаржик считает. Рады были бы помочь, но нельзя. Это значило бы скомпрометировать себя. Теперь надо поступать осторожно. И он, Минаржик, советует госпоже Пруховой быть осмотрительной. Марта сказала ему, что нашла способ разузнать, как обстоят дела на заводе. Там теперь работает некая Рознерова, ее отец живет сейчас у нее в Швигове, смотрит за садом, кое-как поддерживает порядок в вилле, чтобы вконец не пришла в упадок. А до войны у нее служила вся их семья. Старуха умерла. Ну и поскольку, конечно, такое положение — дело временное, ведь вилла требует женских рук, должен быть кто-то, кто бы стряпал, когда они туда будут приезжать на лето. Вот она и хочет предложить этой девушке пойти работать к ней и жить вместе с отцом. Марта задумала, как только прояснится положение с заводом, привести Швигов в порядок, перестроить виллу — Ольга ведь уже не ребенок, у нее свои запросы, а Швигов по завещанию Пруxи принадлежит им обеим... Они, конечно, не знают, где живет Рознерова?

Минаржик знал.

«А, да это та, из-за которой поднялся шум,— квартиру ей дали большую,— сказал он.— Для отвода глаз взяла она к себе еще жилицу, тоже работницу. Коммунисты теперь распределяют квартиры между собой».

«Она коммунистка?»

«Будьте с ней осторожны!» — заметил Минаржик.

Марте стало смешно. Эта пустышка! Какая же из нее коммунистка! Но, конечно, она сверстница Ольги, а Ольга тоже одно время от всего, что произошло, обалдела. У этой, очевидно, дурь будет продолжительней. У нее для этого больше предпосылок. А квартирой ее просто купили. Минаржик сказал, что живет Мария в новых домах за прудом.

Надо выйти через старые городские ворота, перейти мост, затем через парк направо.

В Кржижанове ничего не изменилось за это время. Только прибавились эти новые «двухлеточные» дома за прудом. Да еще замостили набережную. В остальном же город скорее помрачнел, опустел. Она помнит, как нравился ей Кржижанов,— был чистенький, красочный, как театральные декорации. Возможно, он кажется сейчас мрачным из-за погоды. Она приезжала сюда большей частью весной и летом, когда цвели каштаны в аллее над прудом. Раз, два, три... семь новых домов высятся теперь. Целый квартал. Конечно, все сделано без вкуса, без выдумки, настроили один возле другого.

Марженка Рознерова! Была она довольно смышленой, удивляла своей хрупкостью, деликатностью, выглядела скорее господским ребенком и даже иногда приводила ее в бешенство тем, что была красивее Ольги. Девчонка не похожа была на Рознеров. Старик весь какой-то скрюченный. Правда, Рознерова в молодости была, видно, красивой женщиной. Возможно, что она была и не старше ее самой, Марты. А если и была старше, то ненамного. Собственно, поняла это Марта только сейчас. Всегда считала ее старухой. Смешно. Почему это некоторые женщины так быстро сдают, вдруг сразу перестают чего-либо желать, ждать от жизни? Они целиком поглощены семьей и изнурительной работой. Ну, правда, у них Рознерова не особенно надрывалась. Бывали периоды — фактически всю зиму,— она жила совершенно спокойно. Но зимой обычно подрабатывала в прислугах в городе, хотя и скрывала это от Марты. Имела все основания бояться, что ей это запретят. А девчонку одевала, собственно говоря, Ольга. Маржка донашивала все ее вещи.

Подниматься по лестнице стало уже труднее. Она вынуждена была дважды останавливаться и переводить дыхание, прежде чем подняться на этаж. Здесь пахло известкой и луком, можно было узнать, что за каждой дверью готовили на ужин. Было темно, и пришлось чуть ли не носом тыкаться в таблички, чтобы прочитать фамилию жильца.

Наконец на третьем этаже Марта нашла фамилию Марии. Прежде чем позвонить, она вдруг поняла, что испытывает волнение.

5

Совещание должно было начаться в два часа. Однако, когда Людвик вошел в «говорильню», как у них в редакции прозвали зал заседаний, кто-то сообщил, что совещание начнется не раньше чем через час, так как шеф-редактор Геврле присутствует на пресс-конференции для иностранных, главным образом английских, журналистов. Редактор Чермак, который вел в «Гласе лиду» отдел внутренней политики и считался в редакции наиболее информированным человеком, расхохотался.

— С каких это пор старик стал ходить на пресс-конференции! И почему именно сегодня? Просто хочет выяснить, откуда ветер дует,— вот и все. Утром-то правительство засыпалось. Невероятный скандал!

Редакторы, хотя до начала совещания оставалось много времени, не расходились. Сидели на стульях, уткнувшись в газеты, либо, сбившись в кучки, разговаривали шепотом. Людвика, который после обеда по пути в редакцию зашел в кафе-автомат на Вацлавской площади и выпил горячего грога, одолела вдруг дремота. Он примостился на одном из пришедших в негодность письменных столов, прислонился головой к стене и закрыл глаза. Он не спал. Он прислушивался к смешанному гулу голосов, шепота, смеха.

Жвара рассказывал анекдоты. Много раз уже слышанные. Палоушек, устроившийся напротив у окна, беззастенчиво спал, Шебанек

уселся посреди зала верхом на стуле, попыхивал трубкой и пристально, словно видел ее впервые, глядел на большую карту республики. Чермак стоял у ближнего стола и разговаривал с кем-то по телефону.

— Дерьмовые затруднения! Национализированные безобразия — вот что это такое. Дружище, в Америке уже радикально излечивают самое злокачественное белокровие. Изотопы, приятель! Знаешь, что это такое? А у нас только и есть что ацилпирин...

Еще некоторое время Чермак слушал, потом положил трубку, хлопнул себя по колену и крикнул:

— Дело дрянь, господа. Ну что ж! Этого следовало ожидать!

Все обернулись к Чермаку, а Людвик открыл глаза, только Шебанек не шелохнулся и по-прежнему вглядывался в карту.

— Не договорились. Совещаются в Граде*. Теперь туда пошли коммунисты.

— А почему бы им туда не пойти? — сказал кто-то.

— Дубина! Будет кризис. Чудненький правительственный кризисик!

Но это ни на кого, казалось, не произвело впечатления. Людвик не выносил Чермака. Из-за его неуемной болтливости. Он постоянно приносил в редакцию какие-то сенсации, сплетни, слушки о министрах, жил чужими связями, обожал пикантные разоблачения, любил заглядывать за кулисы и всюду предвидел скандалы, кризисы. Продажная душа. Даже Геврле терпеть не мог Чермака, несмотря на то что тот практически замещал его в редакции. И все же, несмотря на то что Чермак был ему неприятен, Геврле говорил о нем, что у него журналистский нос. Бог его знает, что это должно было означать, но Геврле любил метафоры. Однажды он его отругал. Чермак протащил в газету какие-то нападки на коммунистических и социал-демократических министров. Потом газете пришлось давать опровержение.

«Можно многое простить,— вопил тогда Геврле,— но нельзя простить глупость и нерасторопность. Что вы, коллега, при этом думали? Вы подумали, что это у нас не принято? Ведь мы же чешские журналисты! Наш девиз — правда!»

Теперь вот уже несколько дней Чермак пребывал в состоянии экстаза. Если ему верить, готовится хорошенький номер. Национальные социалисты, мол, договорились с социал-демократами, что возьмут штурмом коммунистический правительственный бастион. Само собой разумеется, что словацкие демократы и народная партия выступают совместно. Чермак жил этим, ничего другого, кроме того, что заготовлял «конфиденциальные» сведения, он не делал. Притом было очень трудно догадаться, на чьей он стороне. Он принципиально не придерживался какой бы то ни было точки зрения. «Точка зрения — идиотизм,— заявил он.— Сегодня у тебя одна точка зрения, а завтра ты можешь сменить ее, как меняют шляпу». Он утверждал, что считается только с фактами. Ни с чем другим, только с фактами. Правда, мол, потом всплывает на поверхность, ну так же, как всплывает дерьмо. Он якобы сопоставлял факты, и выходит, что в ближайшее время, но безусловно перед выборами, которые должны состояться в мае, дело дойдет до острого, решающего столкновения между обоими блоками — коммунистическим и «гражданским», как он выражался. Нельзя пока приступать к выборам, так как еще не известно, кто победит. Гражданский блок не может допустить, чтобы коммунисты вторично выиграли на выборах, а коммунисты не могут допустить, чтобы победил гражданский блок. А потому до выборов дело не

---

* Пражский Кремль, резиденция президента.

дойдет, это ясно как дважды два четыре, братья, товарищи и господа. На сей раз, господа, будут решать не избирательные бюллетени, а нечто иное. Кое-кому придется несладко. Помяните мое слово, голубчики, слово Чермака, и оставьте себе лазейку на всякий случай. Он болтал и болтал. Живем в великую эпоху. Будь она поменьше, было бы лучше.

Что-то все же произойдет. Это подтвердил на вчерашнем совещании Геврле, который, как он сам любил говорить, получал сведения из первых рук.

«Беру на себя смелость заявить,— ораторствовал он, словно перед ним была огромная аудитория,— что в этом году произойдет многое. Мы завершим национальную революцию. А это означает, что с временным состоянием в нашей национальной жизни будет покончено, мы заложим основы для прочного правопорядка. Будет покончено и с политическими и с экономическими эксцентричными выходками. В мае должны состояться выборы в Национальное собрание. Но, судя по всему, исход борьбы будет решен уже перед выборами. Задача нашей газеты, друзья,— забота о чистоте оружия, которым вы будете пользоваться в сражении политических сторон. Правда! Только правда! Чего бы она ни стоила! Мы — независимая газета, и в нашем государстве нам предстоит выполнить важную миссию. Поистине масариковскую* и гавличековскую** миссию...»

Это было что-то вроде запоздалого новогоднего спича Геврле. В январе он был во Франции, пятнадцатого февраля вернулся оттуда заново околдованный, как он говорил, духом старой демократии. Сразу же, на следующий день после возвращения, то есть вчера, он созвал редакционное совещание. Сегодня должно состояться новое совещание. Это означало, что действительно что-то происходит.

— Герой дня! — завопил Чермак, завидев вошедшего в зал Янечека.

Янечек молча, кивком поздоровался и сел на стол рядом с Людвиком, застенчивый и рассеянный.

Он производил впечатление робкого, неотесанного деревенского паренька. У него было круглое краснощекое лицо здоровяка, он всегда улыбался, даже когда для этого не было повода. Возможно, что он даже не улыбался, просто у него было такое вот улыбчивое лицо.

«Медлительный, безынициативный»,— говорил о нем Геврле. И был, очевидно, прав. Накануне своего отъезда в Париж Геврле, по его выражению, перевел Янечека на другое место и сделал его ночным редактором. Потому, мол, что он вступил в коммунистическую партию. С того времени Людвик виделся с Янечеком только на общих собраниях, иногда они встречались вечером на лестнице, когда Людвик уходил из редакции, а Янечек заступал на свое ночное дежурство. Янечек никогда на это не сетовал и никогда ни из-за чего не волновался. Он жил как-то в стороне от интересов всей редакции. Геврле разговаривал с ним холодно и сдержанно, относился к нему без той сердечности, какую проявлял к остальным редакторам. Шебанек осуждал такое его отношение к Янечеку и утверждал противоположное: Янечек, мол, способный, трудолюбивый и, главное, порядочный, чего нельзя сказать о других редакторах, и особенно о самом Геврле. Разумеется, если журналист — человек порядочный, как Янечек, то ему всегда не везет. «Разве Геврле мог бы стать

---

* Томаш Масарик (1850—1937) — чешский политический деятель, идеолог либеральной буржуазии, неоднократный президент Чехословацкой буржуазной республики.

** Карел Гавличек-Боровский (1821—1856) — известный чешский поэт и публицист, боролся против церкви и австрийского абсолютизма.

когда-нибудь шеф-редактором, если бы у него было хоть на гран порядочности и серьезности Янечека?» — добавлял он ехидно. Но это, понятно, было мнение Шебанека.

Наконец появился Геврле. Вошел стремительно, по привычке на ходу снимая пальто и шляпу, покрытую хлопьями снега. Бросил их с элегантной небрежностью на стул, положил на стол портфель и с бодрой веселостью обвел глазами зал. Его взгляд перебегал с одного на другого, чтобы никого не пропустить, кивнуть каждому и улыбнуться.

— Совещание, господа, можно начать.

6

С минуту они стояли друг перед другом и молчали. Мария шагнула к выключателю, чтобы зажечь свет. Прухова! Это было даже как-то естественно, что она объявилась именно сегодня. Но если бы Мария должна была объяснить, почему именно сегодня «естественно», она не смогла бы этого сделать. «Что-то случилось с отцом»,— пронеслось в ее голове, и сердце сжалось от гревоги.

— Господи! — вырвалось у нее вместо приветствия.

— Так это Марженка! Я бы тебя теперь не узнала,— сказала Прухова.

— Что-нибудь случилось в Швигове? Входите...— Мария попятилась назад, пропуская Прухову.

«Хорошо, что убрала постель»,— подумала она.

Прухова в меховой шубке вплыла в переднюю. С любопытством стала все разглядывать.

— Разденьтесь, у нас тепло,— сказала Мария, не сводя глаз с Пруховой, словно бы желая прочесть на ее лице причину неожиданного визита.

Прухова сняла шубку и, разумеется, протянула ее Марии. Мария надела ее на плечики и повесила. Прухова охорашивалась перед маленьким зеркальцем, висевшим на стене.

— А у тебя славно,— сказала она, присаживаясь в комнате у стола.— Успокойся! С отцом ничего не произошло.

— Слава богу! — вздохнула с облегчением Мария.— Порой так тревожишься о нем — ведь один он там, как перст.

— Это верно,— кивнула Прухова.— Да и не молод уже.

— Хотите чаю? — спросила Мария.

Она не знала, как обратиться к Пруховой, и это ее слегка смущало. «Сударыня» — так к ней обращалась мама, но она на это уже не способна. Господи, и что принесло ее в Кржижанов? В такую погоду! Хочет заполучить обратно завод, нужно сказать об этом Паздере и Голечеку. Либо дождаться вечером Ондржея! Но что Пруховой нужно от нее, от Марии?

Извинившись, она ушла ненадолго в кухню и ждала, пока закипит на газовой плитке чайник. Была довольна, что может побыть хоть немножко одна. Старалась убедить себя, что нет совершенно никаких оснований чего-то бояться. Чего, собственно, бояться? И почему бояться? Правда, боялась она Пруховой всегда. Еще когда была ребенком, старательно избегала ее. Мама ей постоянно внушала, чтобы она не попадалась господам на глаза, чтобы играла с Ольгой только тогда, когда разрешит госпожа, чтобы ходила по лестнице на цыпочках, чтобы не кричала, потому что госпожа пошла отдыхать!

А выглядит она по-прежнему хорошо. Мама была только на год старше ее — в сентябре будет уже восемь лет, как она умерла. Рядом с Пруховой мама выглядела просто старухой. А ей тогда было неполных сорок три. Да, все это понятно — после обеда ей никогда не приходилось отдыхать.

Мария взяла посуду и вернулась в комнату. Поставила перед Пруховой чашку и сахарницу и налила чай. Потом села напротив нее. Прухова, прежде чем заговорить, задумчиво помешала ложечкой в чашке.

— Значит, собираешься выходить замуж, ведь у тебя теперь квартира?

— Ну, что вы! — рассмеялась Мария.

— Неужто никого нет еще на примете? Это было бы удивительно!

— Честное слово, никого,— весело ответила Мария.— А как Ольга? Вышла замуж?

Прухова махнула рукой.

— Тоже так,— сказала она,— Ольга права, нечего торопиться... Работаешь на *нашем* заводе?

«На нашем заводе»! На каком «нашем заводе»? Ага, вот в чем дело!

— Да,— подтвердила Мария и, набравшись храбрости, добавила несмело: — на бывшем пруховском заводе.

Прухова рассмеялась. Но это был не смех, а скорее какое-то странное шипенье.

— А что бы ты сказала, если бы он перестал быть «бывшим» и стал снова пруховским?

— Можно вам еще налить? — Мария ухватилась за чайник, как за спасательный круг.

Прухова кивнула.

— Так что ты на это скажешь? И что на это скажут другие на заводе?

— А разве это уже решено? — спросила Мария.

— Решено! — подтвердила Прухова и снова ядовито засмеялась.— Так что же ты об этом думаешь? Говори, не бойся.

— Никто этому, вероятно, не сможет поверить,— уклончиво сказала Мария.

— Ты так думаешь? Но в наше время происходят самые невероятные вещи... Ну, как? Что ж на это скажут?..— допытывалась Прухова.

— Смотря кто,— отвечала растерянно Мария.— Но большинство...— она запнулась. Следует ли вообще отвечать ей? Но ведь это же правда!

— Говори же! — вспылила вдруг Прухова.— Чего ты тянешь?

Этот тон был знаком Марии — так когда-то госпожа разговаривала с мамой, и мама, покорная и терпеливая, всегда вызывала у нее злость.

— Большинство удивится, что их никто об этом не спросил, — сказала Мария. Пусть Прухова знает все!

— То есть что мы не попросили у них разрешения на это, не так ли? — ехидно засмеялась Прухова.— Это, вероятно, необходимо, если хочешь вернуть свою собственность. Разве завод принадлежит им?

Мария никогда не задумывалась над этим. Но теперь, когда поняла, что завод может достаться Пруховой, она почувствовала, будто у нее действительно отбирают что-то, принадлежащее ей. И остальные, возможно, воспримут это известие так же. Как несправедливость. Им покажется, что их обманули.

— Они действительно так думают,— сказала Мария.

Разговор вдруг стал волновать Марию. Несмотря на то что они сидели за одним столом внешне спокойные и дружелюбные, обе насторо-

женно следили друг за другом. Притом Мария чувствовала даже, что любит ее. По-своему, правда... нет, не любит, конечно, это не то слово. Она ей близка. Она просто напомнила ей детство, маму, игры с Ольгой. Однажды ей разрешили спать с Ольгой в детской комнате. Ольга добилась этого ревом. В другой раз она позвала ее в гостиную и угощала ягодами со взбитыми сливками, несколько раз ее брали с собой на автомобильные прогулки. А сколько кукол — надоевших и еще совсем новеньких, с закрывающимися глазами и сломанных... И это только то, что она помнит о себе. Но ведь почти вся жизнь родителей была — а жизнь отца и по сей день еще — тесно связана с жизнью Пруховых. Многое, что она тогда не понимала, вдруг стало ей понятно. Разумеется, то, что прежде всего определяло ее отношение к Пруховой и Фишару, был страх. Какой-то священный трепет. И он в ней, оказывается, сохранился до сих пор. Превозмогала его она только разумом и волей.

Господа жили где-то далеко, на недоступной высоте; терраса, на которой они пили чай, развлекались, смеялись, была для нее таинственным, непознаваемым миром, там жили совсем другой жизнью, чем у Рознеров в кухне, хотя их разделяло расстояние всего лишь в пятнадцать метров. Странными и непонятными были отношения между людьми, собиравшимися в господских комнатах. Странными и непонятными были отношения Ольги и Фишара, Фишара и Пруховой. Был он отцом Ольги или нет? Был он мужем Пруховой или нет? Кем он им вообще приходится? Принадлежал ему Швигов или нет?

Прухова что-то говорила ей, обводя при этом своим длинным ногтем цветочки на скатерти. Как, мол, Мария думает, что произойдет, когда люди на заводе узнают? Но люди об этом уже знают, думала Мария. И все-таки она не скажет ей об этом... И что, мол, предпримут коммунисты? Марии вдруг стало смешно. «Она у нас завертится! Старуха будет искать, где черт оставил щель»,— вспомнились ей слова Паздеры.

— Не знаю. В самом деле, не знаю,— сказала она наконец, приняв глуповатый вид.

— Что они намерены делать? Ведь так решил суд, имей в виду. Мы забираем обратно то, что нам принадлежит. По закону! — вспыхнула Прухова.

Марии стало даже жаль Прухову, но вдруг она совершенно ясно ощутила, что никогда не сумеет договориться с нею. Что Прухова думает и чувствует совершенно иначе, нежели она.

— Теперь, Марженка, все основательно изменится,— сказала Прухова, неожиданно переходя на слащавый тон.— Тебе бы стоило подумать об отце. Он уже в годах. И ты ему в скором времени понадобишься. Должна с этим считаться!

«Только бы подальше от завода!» — подумала Мария.

— Папа ведь знает, что может когда угодно вернуться,— сказала она с нескрываемым облегчением оттого, что переменилась тема разговора.— Я вообще не хотела, чтобы он ехал в Швигов. Эту квартиру мне дали с расчетом на него. Но он заупрямился. Вы же его знаете.

— Никто его не гонит,— сказала Прухова ласково, словно бы освобождая Марию от забот.— Не о том речь. Только на него и могу оставить Швигов. И ему там лучше всего. Хотим весной достраивать и ремонтировать виллу, обветшало все сильно, девочка, ты бы ее теперь не узнала. Хотим там произвести перестройку и по этому случаю думаем расширить *вашу* квартиру внизу...

— Нашу квартиру?

— Из гаража сделаем две комнаты, а новый гараж, побольше, по-

ставим в сторонке. Получится неплохое жилье, пристроим еще две комнатки. И замуж там выйти могла бы...

Мария смущенно улыбнулась. Она никак не могла понять, куда клонит Прухова.

— А я так думала,— продолжала гостья, разглядывая теперь с интересом голые стены комнаты («Хоть какую-нибудь картинку нужно было бы повесить»,— пришло Марии в голову.),— я думала, что ты могла бы жить с отцом. Хочу, чтобы ты поняла. Я не имею ничего против него. Но мы нуждаемся главным образом в женских руках. Поэтому с одиноким отцом не решить вопроса, сама понимаешь. Это можно устроить просто. Если бы ты вышла замуж, то вместе с мужем могла бы...

— Бог с вами, *госпожа* Прухова! — воскликнула пораженная Мария. И вслед за тем рассмеялась.

— Ну почему ты смеешься! Прошла бы весной в Праге кулинарные курсы, я заплатила бы, жить могла бы у нас...

— Я знаю.— сказала Мария как можно более веселым тоном,— с отцом у вас ничего не получится. Он не умеет ни готовить, ни мыть посуду, ни натирать полов. Но ведь вы это, наверно, знали и раньше...

— Раньше! Раньше я сама вообще ничего не знала. Вообще ничего. Даже того — оставят нам Швигов или нет... Ну, думаю, так хоть по крайней мере сад будет в порядке. Так что? Поедешь?

— Нет, не поеду. Мне всего хватает, мне и здесь хорошо,— сказала Мария и удивилась собственной решительности.

— Только теперь все пойдет иначе, заметь себе это. Завод снова будет мой.

Можно было бы посмеяться над этим, как смеются над речами помешанных. Только Прухова не помешанная. Наоборот. У нее все дома, Марии она не скажет, что завтра она может ей *приказать*, чтоб отправлялась в Швигов вылизывать грязь. Что снова будет владеть заводом, деньгами и людьми. Что без этого не может существовать, что это необходимо ей для жизни, как Марии необходимо — а что, собственно, необходимо Марии? Ничего, ничего! Самое большее — две руки и немного еды. Ведь ничего иного, в представлении Пруховой, ей и не требуется. Теперь Марии захотелось повнимательнее присмотреться к Пруховой. Поглядеть ей в лицо. Только кажется, что она хороша. Притворяется красивой, как притворяется ласковой, как притворяется молодой. Маска. Маска из крема, пудры и грима, из лицемерия и лжи, без тепла, без крови, холодная и бесчувственная. Мария ненавидит ее? Должна была бы ненавидеть, но, кажется, не способна на это. Возможно, что ее самое она и не способна ненавидеть. Зато она ненавидит, совершенно определенно ненавидит тот мир, частицей которого является Прухова. И не пришлось ей этой ненависти учиться. Получила в подарок. Именно от нее, от Пруховой, от Ольги, от старого Прухи, от Фишара, от всех тех, чьих имен она не знала, но кто хохотали на швиговской террасе до поздней ночи. Она жила в тесной близости с этим миром. И все же никогда туда не проникала. Но если хоть один из них переступал границу ее мира, она знала, что надо свернуться клубочком, съежиться, глядеть в оба, быть осторожной. Ничего хорошего из этого никогда не получалось. Чувством она точно определяла границу между двумя этими мирами. Для Марии эта граница была почти зримой и осязаемой.

Она росла и играла с Ольгой в швиговском саду. Но и во время детских игр уже хорошо знала: то, что принадлежит Ольге, никогда не может принадлежать ей, но то, что принадлежит ей, может стать когда угодно Ольгиным. Например, грядка в их палисаднике, строго отделенная от сада Прухов. Казалось, она была ее, Марии, но нет, грядка была

также и Ольгина. Когда угодно она могла выдернуть из нее без всякого спросу морковку или кольраби, но Мария не смела прикасаться к розам и яблокам в их саду. Так и кролики в укромном уголке отдельного дворика Рознеров. Ольга, если той хотелось, играла с ними. Но канарейка, которая так нравилась Марии и которую она жалела до слез, канарейка в клетке из большой гостиной была только Ольгина.

Марии рано дали понять, что существуют два мира и что она не принадлежит к их миру. Так рано, что она даже не могла еще этого осознать и воспринимала все как должное. Рано поняла она и то, что ей разрешали дружить с Ольгой только потому, что Ольге было скучно. Как только в Швигов кто-нибудь приезжал, Мария сразу же оставалась одна-одинешенька в их дворике, в уголке с кроликами или в палисаднике среди грядок кольраби, моркови и кустов смородины.

Сад, большой, просторный сад, принадлежал другим. Мария помнит, как хотелось ей, чтобы поскорей уехали те, чужие дети, чтобы она могла выбраться из плена. Брали ее и в дальние прогулки. И опять-таки только для того, чтобы Ольге не было скучно, чтобы было с кем порезвиться, только чтобы не обременяла взрослых. И когда они возвращались, Ольга входила в дом через главный подъезд, а Мария проходила в жилище своих родных через боковую дверь. Ольге мама намазывала булку маслом и медом. Марии отец отрезал краюшку черствого каравая.

О многом Мария прежде думала, что так оно и должно быть, что все это правильно. На ее вопросы мама отвечала:

«Понимаешь, девочка, у нас на это нет денег. Мы бедные».

«А почему мы бедные? А где они все это взяли?»

«Не знаю, детка,— мать пожимала плечами.— Так уж устроен белый свет».

«А кто его так устроил?»

Мария вдруг почувствовала, что Прухова разглядывает ее. Смотрит испытующе и немного удивленно, будто знает, о чем она сейчас думает. Кусочек прежней, давно прошедшей жизни выступил вдруг откуда-то из тьмы и заслонил собою все. На нее пахнуло прошлым — плесенью, тоской и грустью...

— Так что же? — сказала Прухова.— Ты хорошо подумала?

— Не поеду я! Не рассчитывайте на меня!

— Ну, как хочешь. Пройдет немного времени, и ты с радостью поедешь к отцу. Только как бы уже не было поздно.

— Туда я уже никогда не вернусь. Не поеду, даже если отец меня затребует. Он сам не должен был туда ехать. Чего ему тут недоставало? Он поехал только из-за сада, ради воспоминаний. «По крайней мере, погляжу на него еще раз,— говорил он мне.— Ведь прожил там почти всю жизнь».

— Ты хотя бы сказала «хорошую и спокойную жизнь»...

— Жизнь бывает хороша, даже если она тяжелая, госпожа Прухова. Но вам этого не понять.

Мария сказала это мягко, но с чувством удовлетворения. Сказала бы ей и о другом, если бы у нее хватило на это смелости, если бы несмотря на все немного не жалела ее. Где-то глубоко внутри сидела в ней жалость. Но пусть она не думает, будто Мария так глупа, что ее можно легко обвести вокруг пальца. Пусть видит, что у нее есть собственная воля, хотя она и донашивала прежде Ольгины обноски. Теперь она уже не носит их и не будет носить никогда, она сама решает, как ей жить.

— Где уж мне понять,— сказала Прухова, на этот раз даже зло.— Значит, Прухова только использовала вас. Но что твои родители без меня подохли бы с голоду, этого ты не знаешь, да?

Прухова нетерпеливо вертела чайную ложечку. Она сделала неловкое движение, и ложечка громко звякнула о чашку. Этот звук как будто испугал Прухову. С раздражением она бросила ложку на стол.

— Вероятно, они были вам нужны, если вы не дали им подохнуть,— сказала Мария упрямо.— Зачем вы мне об этом говорите? Не спасали же вы их просто из человеколюбия.

Ну вот и выложила все. Прухову, казалось, раздражало больше спокойствие Марии, нежели ее слова. А Марии даже не приходило в голову, что ее слова могут вызвать раздражение Пруховой. Только высказав все, она поняла, что именно больше всего бесит Прухову: то, что она, Мария, говорит с нею так, как думает; бесит то, что она освободилась от ее зависимости, что разговаривает с нею, как равная с равной, что противится ее советам, что она избавилась от прежнего страха.

Прухова встала. Она продолжала стоять у стола, рука ее была сжата в кулак, словно она хотела стукнуть им по столу. Даже сквозь румяна вдруг стало видно, как она побагровела, а на шее забилась жилка.

— Не сердитесь, госпожа Прухова, я сказала вам только то, что думала. Мне не хотелось вас обидеть,— поспешно заверила ее Мария.— Возможно, вы не знаете, сколько горя испытали мои родители.

— Соплячка! — вырвалось у Пруховой.

Она быстро повернулась и вышла из комнаты.

Мария заколебалась — идти за нею или нет? Остановилась в дверях и молча ждала, пока Прухова оденется. Та торопилась, даже не задержалась долго у зеркала. Прежде чем уйти, на мгновение взглянула на Марию, будто хотела что-то сказать ей. Затем так же поспешно захлопнула за собой входную дверь.

Глава третья

1

Из Бржезины Терезка, собственно говоря, убежала. Когда в прошлом году после новогодних праздников умерла в кржижановской больнице ее мать, Терезка осталась в доме совсем одна. На нее вдруг свалились все заботы. Хозяйство! Хоть земли кот наплакал, а работы хватало. Мария и представить себе даже не может — сколько работы! Домишко, козы, кролики, домашняя птица; коровенку мама, к счастью, продала сразу после смерти отца. Самыми тяжкими были первые вечера, пока она не привыкла к одиночеству, пока не осознала, что мама уж больше никогда не вернется, что ее уже нет, что она никогда больше не скажет ей: «Сделай это, пойди туда». Ну и зима же это была! Работы в общем мало; как стемнеет, находит на нее страх, а сердце охватывает такая жалость... Так тоскливо было ей, что все вечера она плакала. Боже, как она ревела! А весной опять думала, для кого же должна хлопотать, для кого надрываться. Говорила себе, что лучше всего ей отсюда убежать и начать новую жизнь. Но она не знала, как это сделать. Разве посмеет она запереть дом, выбросить ключ и уйти. Человек ведь прикован к своему дому. А, да что говорить! Она себя прокормит... Могла на худой конец к кому-нибудь наняться в работницы — она умеет ткать, у них дома был ткацкий станок, и она до самого конца войны работала на нем. Тогда она знала в городе только одного Ондржея. И совсем немножко Марию. Если ей придется очень плохо, пойдет к Ондржею, он ей как-нибудь поможет, говорила она себе. Это ее успокаивало. Порой, когда

еще была жива мама, ведь он останавливался у них и всегда говорил: если, мол, что понадобится... И после маминой смерти пришел, только у Терезки не хватило духу попросить его, чтоб не оставлял ее там одну, а взял с собою. Убеждала себя, что этот год как-нибудь поживет, выдержит. Но потом она привыкла к одиночеству, и возможно, что продолжала бы так жить, если б ее оставил в покое старик Ворачек. Ворачек был их соседом. В начале войны он овдовел, единственная дочь его вышла замуж — она вместе с Франтишеком ходила в школу — и уехала в Вимперк. А старик остался в доме один. Пока была жива мама, он не отваживался заходить к ним. Но как только ее не стало, он начал вертеться вокруг дома, да и вокруг Терезки.

«Знаешь, девочка, земли наши рядышком, да и дворы тоже. Смотрят друг на дружку — скучно им, как и нам с тобой, одиноким. Давай-ка лучше соединимся и будем вместе».

«Что это, дядюшка, вам взбрело на ум,— смеялась она сперва.— Нужен мне больно такой старикашка, как вы!»

На день он оставлял ее в покое, но потом все начиналось сызнова. Выгнал, негодяй, старуху Лунячкову, с которой жил уже долгое время. Лунячкова надеялась, что он женится на ней — вдова все-таки, бездетная, женщина как раз для него. Но где там! Подавай ему Терезку. На молоденькую позарился. Ишь Синяя Борода! Он все время околачивался у Терезки и твердил ей про изгородь. Изгородь, мол, надо разобрать, к чему два плетня, девочка. Слезаковскую хатенку надо сдать внаем, и, если даже ее только под летнее жилье кому-нибудь сбагрить, пусть подсчитает, сколько за год денежек наберется. Он уже все до грошика подсчитал. На все лады убеждал он ее: была, мол, это покойницы матери воля, много раз она с ним, с Ворачеком, об этом говорила. «Ворачек, когда мне закроют глаза, позаботьтесь о моем ребенке. Я знаю, что вы настоящий христианин».

Где там — разве мама скажет такое! Она хорошо знала старика Ворачека. Правда, она с ним ладила — соседи ведь, но иначе как скрягой и бабником его не называла.

Когда Ворачек прогнал Лунячкову, он пришел к Терезке и стал жаловаться. Разговоры об изгороди не заводил, зато начал — и что это за жизнь у него, посмотрела бы, какой он разнесчастный, настоящий оборванец! Лунячкова, мол, его бросила. Врун несчастный! По целым дням будто горячей пищи не видит, воды некому подать, если, не дай бог, с ним что случится. Терезка сжалилась над ним. Накормила его обедом, дала ему поесть вечером, даже в хату к нему принесла, только б не лез к ней. Но на следующий день, сразу же с утра, он снова вертелся возле нее. Принес белье, чтобы Терезка постирала его вместе со своим, все время заходил к ней, что-то одалживал: нечем, мол, даже пойло свое подсластить. В общем совсем загонял ее.

Но тут к Терезке явилась старая Лунячкова. Влетела в дом, словно фурия. Как только Терезке не стыдно! Если б только покойная мама видела, что она тут вытворяет, бедняжечка бы в гробу перевернулась. Лунячкова плевалась, проклинала до третьего колена всю родню Терезки, призывала небеса обрушить громы и молнии на ее голову. Она, Лунячкова, мол, столько лет гнула спину на этого старого развратника, а тот ее теперь по миру пустил.

Терезка сперва горько расплакалась, но потом все-таки прикрикнула на Лунячкову. Хватит, сыта по горло! Она просто ничего не может с ним поделать, она хочет одного — чтоб ее оставили в покое! Старикашку Ворачека она просто видеть не может. Он сам все время лезет к ней. Пусть он подавится всем, что сожрал у нее. Да и хатой, и огородом тоже,

чихать ей на все. А возиться с ним она не собирается — пусть этим Лунячкова занимается!

«Оставь мне свое хозяйство, я о нем позабочусь. Ты молодая, всюду найдешь себе работу. Не беда даже, если придется в прислугах побыть...»

Она, мол, сразу же пойдет к старосте и попросит переписать все ее имущество. Лунячкова не хочет обижать бедную сиротку...

На следующий день Терезка, взяв самое необходимое, сбежала в Кржижанов.

— Самое страшное, Мария, когда человек остается один. Не хочу больше быть одной никогда. Надо бы тебе выйти замуж,— немного погодя, тихо добавила Терезка.

— Тогда ты должна мне искать жениха,— рассмеялась Мария.

— Я все же удивляюсь,— начала было Терезка, но, не закончив мысли, вскрикнула: — Господи, лепешки! — Она оставила утюг и бросилась к плите.— Нет, все в порядке! — рассмеялась она, присев на корточки у открытой духовки.

— Чему ты удивляешься? — спросила Мария.

— Знаешь, Мария, я ведь не имела представления, что мне делать, как быть,— сказала Терезка, продолжая сидеть на корточках и глядеть на противень с лепешками.— Все это устроил Ондржей. И доставил маму в больницу, и о похоронах позаботился, и когда я к нему тогда пришла, сказал, словно это так и должно быть: «Хорошо, что ты пришла. Я как раз о тебе думал...»

Терезка задвинула противень в духовку и уставилась отсутствующим взглядом в стену, потом вдруг резко обернулась к Марии.

— Как ты думаешь...— сказал она смущенно и робко, но с осветившимся счастливой улыбкой лицом.

Марии почему-то стало страшно. Она схватила спицы и принялась усердно вязать. Это была шерсть от старого свитера Франтишека. Мария его распустила и начала вязать свитер для Терезки. У нее было немного светло-голубой шерсти, и она сделала из нее широкую полосу на груди.

— Ну,— сказала она как можно равнодушнее.

— ...он меня любит? — произнесла с облегчением Терезка и посмотрела своими большими глазами прямо в глаза Марии.

Мария окаменела. Смотрела в эти темные, широко открытые, по-детски удивленные глаза, и сердце ее вдруг остановилось, а к горлу подступил комок; она не могла выжать из себя ни слова. Спицы замерли в ее пальцах.

— Кто? — сделала она вид, будто не поняла.

— Ну, Ондржей!

— Что Ондржей?

— Ну, любит он меня?

— Конечно. Конечно он тебя любит,— поспешно заверила Мария.

Терезка села, подперев рукой голову, и снова мечтательно уставилась куда-то вверх. Мария встала и сложила вязанье. Она должна уйти, пока Терезка не заметила ее волнения.

— Нет. Я не спрашиваю, любит ли он меня *обыкновенно*. Например, так, как тебя. Любит ли он меня по-настоящему? Иногда мне кажется, что да...

Мария украдкой взглянула на Терезку. Поняла, что она не ждет от нее ответа.

— Он тебе говорил об этом? — спросила она, мучительно стараясь скрыть свою тревогу.

Она должна была что-нибудь придумать, ведь нельзя же теперь просто так взять да уйти.

— Сейчас вскипячу чай,— сказала она, открыла кран и налила в чайник воды. Водопровод загудел, и ей показалось, что в этом шуме она сможет скрыть свое замешательство.

— Что ты! — весело воскликнула Терезка и сразу оживилась.— Он боится. Это должна сделать я сама. Он какой-то удивительный. Тебе не кажется, Мария?

Мария не ответила. Старалась производить как можно больше шума. Терезка любит Ондржея. Она догадывалась об этом. Сколько раз ей приходило это в голову. Но только на миг приходило, только мелькало в голове. Что ж, это вполне естественно. Ничего другого, собственно, и нельзя было ждать. Терезка так одинока, совершенно одна. У нее нет никого, кроме нее, Марии, и Ондржея. Она как брошенный голодный щенок, который льнет к каждому, кто его погладит.

— Надо одеться. Приготовь чай! — сказала Мария.

— Куда ты собираешься? — удивилась Терезка.

— К Паздере. Или к Голечеку. Надо им рассказать, что приехала Прухова.

— Почему ты не скажешь об этом Ондржею?

— Потому что он уехал!

— Куда уехал?

— Не знаю, не интересовалась,— ответила Мария чуть нетерпеливо и поспешно вышла в соседнюю комнату, чтобы одеться.

Как-то когда Ондржей был у них, уходя, он погладил Терезку по голове. Терезка провожала его до лестницы, как в дурмане, а потом долго сидела растерянная и молчала. Вот тогда-то у Марии впервые возникла догадка о ее чувстве.

Господи, что же делать? Как быть с Терезкой? Ондржей ведь любит ее, Марию. Она знает, знает точно. И ее он покорил. Своим ожиданием, своей терпеливостью покорил. Он всегда верен себе. А вот Мария, наоборот, делает все наперекор своим желаниям и мечтам. Она сама себя ненавидит. И в кого она удалась с таким характером? Но теперь она уже и не представляет, что Ондржея не будет рядом с нею, что она не могла бы видеть в нем опору, что ей пришлось бы вычеркнуть его из своей жизни.

Она знала, Терезка — это только *предлог* для Ондржея. Случайно ли, что когда она порой вместо Терезки идет отворять ему дверь, Ондржей говорит ей регулярно почти одно и то же и всегда смущенно:

— У меня оказалась свободная минутка, а тут еще кое-какие дела на текстильной фабрике... Терезка могла бы заняться ими.

— Входи,— говорила Мария.— Терезка дома.

Да, Терезка — просто предлог. Возможно, что для Ондржея это также и *политическое задание*. А Терезка этого и не предполагает. Она ведь не знает так хорошо Ондржея, как Мария. Для него все — задание, и жизнь для него — тоже задание... Как же Терезка не понимает этого? Но как ей понять? Она вполне логично рассуждает: если бы Мария с Ондржеем любили друг друга, они бы давно признались в этом. Но ведь они молчат и держатся совсем как чужие.

В передней Мария быстро надела пальто и набросила на голову платок. Скоро восемь. В четверть девятого прибывает поезд.

Она приоткрыла дверь в кухню. Терезка смазывала перышком лепешки и тихонько напевала.

— До свиданья, Терезка! — сказала Мария, подходя к двери.

— Вода закипела,— крикнула ей Терезка, но Мария, словно не расслышав, быстро вышла.

2

В последнее время Людвик почти каждую ночь видел один и тот же сон: побег из лагеря. Вот он перебирается через деревянную стену в Катаринаберге. Он уже на самом верху, остается только перекинуть ногу через забор, и он будет свободен, избавится от преследователей, которые вот-вот настигнут его. Но он не может сделать этого. Нога, которую он должен перекинуть, вдруг становится невыносимо тяжелой, словно каменной, она тянет его вниз, он не может ее поднять и падает обратно.

Людвик просыпался в поту, сердце бешено колотилось. Обычно он вставал после этого и около часу расхаживал по комнате. Он должен проверить свое сердце, проверить легкие, он должен подлечить зубы, он должен... что еще он должен сделать? Прежде всего должен задуматься о себе самом, прежде всего должен отдать себе отчет, чего он хочет.

Откуда тянутся корни этого странного сна? Что это за страх; который он принес в своем сердце из Катаринаберга? Кто они, эти преследователи? Ванек? Ольга? А может, это совесть?

Очевидно, Ольга. Он хочет убежать от нее и всегда возвращается к ней. Она сломила его волю. Вторглась в его жизнь, в его разум, в его чувства. Все заполонила, не оставила ни для чего другого места.

Он должен был пойти сегодня вечером в театр. У него был редакционный пропуск на шекспировский спектакль «Как вам это понравится». Но уже сейчас он понимал, что не пойдет туда, что пойдет к Ольге. А она сегодня не рассчитывает на его приход, и Людвик не знает, как его примут. Но он все же пойдет. Пойдет к ней, потому что должен пойти, потому что не может без нее, потому что ему плохо, потому что он просто гибнет.

Вправе ли он вообще говорить людям о совести, призывать к честности и порядочности, поучать их: делайте это и не делайте того?

Геврле только что, прямо на совещании, выставил из редакции Янечека. Уволил без предупреждения.

«Я это делаю вовсе не потому, коллега Янечек, что вы вступили в коммунистическую партию, но потому, что вы это от меня скрыли,— заявил он.— Демократия — это не только дискуссии, но это также и дисциплина и доверие. Моя обязанность — прежде всего оберегать независимость нашей газеты. На всех нас возложена важная миссия, завещанная Гавличеком и Масариком. Оберегать чистоту общественной жизни, чистоту оружия, которое используют в своей борьбе политические партии. Мы — стрелка на политических весах. Защищать справедливость, невзирая ни на что. Я никому не препятствовал...» — и так далее и тому подобное. Он говорил, говорил, и никто так и не отважился заявить ему в лицо, что это подлость. Только Шебанек плюнул и ушел. Людвик не способен был и на это. Даже наоборот, он был польщен комплиментами, которые Геврле несколько раз высказал на совещании в его адрес. Людвик Янеба, в конце концов, что-то значит в редакции. А может, он себе это только внушает. «Заведующий отделом культурной жизни» — красуется на дверной табличке под его фамилией. А кем был Янечек? Что он знал о нем? Почти ничего. Что он откуда-то с Орлицких гор, что-то изучает и при этом редактирует, что он лишен инициативы, как о нем выразился Геврле. Короче, студент, который вынужден подрабатывать на жизнь. Почему он должен занимать внимание Людвика

Янебы? И этот Янечек, которого Людвик едва ли принимал всерьез, оказал сопротивление Геврле. «Вы лжете!» — сказал он ему прямо в глаза. И вдруг дело уже не в Геврле, не в Янечеке, а в нем самом, в Людвике Янебе. Ну что ж, делай вывод! Сделай по крайней мере хотя бы то, что сделал Шебанек. Плюнь. Боишься? Нет-нет! Это тебя не касается? Возможно! Просто не хватает воли. Ольга всю ее целиком поглотила. Кого Ольга из него сделала? Труса, безвольного человека.

Существуют две Ольги. Одна — дрожащая, беззащитная, которая вызывает у него жалость. Другая — строптивая, кокетливая, циничная, расчетливая. Эта — холодная, с каменным сердцем, капризная, играющая чувством Людвика. Да, бывают минуты, когда Людвику кажется, что Ольге противна обстановка, в которой она живет. Что ей противна и собственная мать, и Фишар, и Владимир, все те странные люди, которые у нее собираются и которые стали приятелями Людвика только потому, что они ее приятели.

Ему следовало бы зайти домой, прежде чем идти к ней. Людвик жил неподалеку, на улице Под Слованы. Оттуда до набережной всего несколько шагов. Он должен умыться и надеть чистую рубашку.

Приняв такое решение, Людвик заторопился. Им овладело нетерпение, и, только оказавшись среди людей в маленьком винном погребке «У орла», куда зашел поужинать, он немного успокоился. Здесь был лишь один свободный столик, придвинутый к самой стене, и Людвик расположился за ним.

Он выпил стакан вина, который придал ему смелости и вывел из состояния удрученности.

Позади него сидели двое пьяных и, жестикулируя, громко разговаривали. Из соседнего помещения долетали звуки марша, передаваемого по радио, потом музыку сменило невнятное бормотание диктора.

— Засуха была, ну конечно, была засуха...— бубнил пожилой одутловатый мужчина с усиками.— Была! Но разве перед войной я беспокоился, будет засуха или дожди? На кой черт мне было беспокоиться, зачем беспокоиться? Это была не моя забота...

— Да заткнись ты,— оборвал его второй, еще более пьяный. — Пропадешь! Все пропадет. В ничто,— с трудом по складам выговаривал он,— в ничто превратишься!

Людвик старался не слушать. Ел свой ужин. Отбивную котлету с зеленым луком и жареным картофелем — сто пятьдесят граммов мяса, пятнадцать граммов жиру. Запивал красным вином.

— ...сформировать антидемократическим и антиконституционным путем непредставительное бюрократическое правительство, которое будет пытаться вырвать власть из рук победившего народа и поставить ее на службу реакции.

Не доев, Людвик отодвинул прибор и подошел ближе к двери соседней комнаты, чтобы лучше слышать радио.

— ...Руководство партии, сознавая всю серьезность этой угрозы для народно-демократического режима и новой республики, решило принять все меры предосторожности, чтобы воспрепятствовать бесчестным происка объединенной реакции...

Что-то щелкнуло, и стало тихо. Кто-то выключил радио. Людвик с любопытством огляделся вокруг. Люди безмятежно и невозмутимо продолжали заниматься своим делом, уничтожали свой ужин или же, склонившись над стаканом вина, вели разговор.

— Пропадешь! — повторил еще раз пьяный мужчина, глядя в упор на своего собеседника. Голова его упала на мокрый, покрытый табаком и пеплом стол.

Людвик торопливо доел остывший ужин. Он вдруг почувствовал радостное волнение. Кризис начался. Он вспомнил, что говорил Чермак.

«...Сознавая всю серьезность этой угрозы... принять все меры предосторожности...» Людвик не знал, что под этим подразумевается. «...Бесчестные происки реакции... защитить интересы государства и нации...» Черт, подобные слова не употребляют просто так, в ситуации, когда ничего особенного не происходит. А люди здесь спокойно ужинают, пьют вино, словно это их не касается. И в самом деле — касается ли их это? Народ! Людвик не мог себе ничего представить и за этим словом. Либо представлял себе очень слабо. Кто это и что это такое? Народ разочарован... народ приветствует меры предосторожности... А народ вот ужинает, пьет вино и ведет пьяные разговоры. Но, быть может, это не народ?

Официант принес ему еще графинчик вина. Он быстро выпил его, оделся и вышел.

Ему показалось, что потеплело. С реки дул теплый влажный ветер. Тускло освещенное небо заволокли причудливые нагромождения снеговых туч. Такое небо всегда напоминало ему горы и Катаринаберг. И сердце Людвика сжималось от тоски по людям.

Ольга не была слишком удивлена его приходу. Людвика обрадовало уже то, что он не увидел выражения досады на ее лице.

— Ты не пошел в театр? — спросила она только и посмотрела на его башмаки.

Людвик знал, что это означает. В гостиной на полу лежал новый бежевый ковер, «бесконечно красивый, но поразительно непрактичный». Прежде чем войти, Людвик тщательно вытер ноги. Ольга, очевидно, ждала гостей. На столиках были приготовлены бутерброды, бокалы и несколько бутылок вина. Гостиная эта была хорошо знакома Людвику. Когда летом Ольга уезжала с матерью в Швигов, она поручила ему окрасить стены комнаты, тогда же появился бежевый «непрактичный» ковер, а кресла и широкая тахта были заново обиты. Перед приходом Людвика Ольга, видно, читала. На столе лежала толстая книга, и Людвик, сев в кресло, прочел на корешке ее название: «Долина решений».

— Ждешь кого-нибудь? — задал он ненужный вопрос.

— Как обычно,— ответила Ольга.

Она задумчиво курила сигарету, глядя на стену перед собой. «Как обычно» значило, что придет Владимир, придет Кайда, вероятно, с Линой, придет...

— Пригласила сегодня Люцию. Мама уехала,— сказала Ольга.

Она откинула голову на спинку кресла, прикрыла глаза — боже, какие у нее густые и красивые ресницы! Рука ее бессильно опустилась.

— Что с тобой? — спросил он с беспокойством и наклонился к ней.

Взял ее руку и сжал в своей ладони. Она была холодная, безжизненная. Ольга сделала слабое движение головой, которое означало — не спрашивай.

— Ты сказал, что пойдешь в театр,— заметила она.

— Расхотелось,— ответил Людвик.— Мне надо было видеть тебя...

— Ну что же, смотри...

Она не шевелилась. Он держал ее за руку и пристально смотрел ей в лицо. Не может быть, чтоб она не почувствовала его молящего взгляда. Он встал, склонился над нею. Положил ей на голову руку и хотел поцеловать. Она как будто очнулась от глубокого сна, слегка отвернула голову и сказала:

— Осторожней, я была у парикмахера.

Холод, лед. Даже шага не делает ему навстречу. С ума сойти можно! Он быстро выпрямился и прошелся по комнате.

— Странная жизнь!

— Что ты говоришь...

— Я говорю,— резко обернулся он,— что мы живем пустой, бессодержательной, отвратительной жизнью.

Он почти выкрикнул это. Не шелохнувшись, она открыла глаза и поглядела на него чуть удивленно.

— Да, живем именно так,— согласилась она.

— Грязная жизнь! — вырвалось у него.

— А скажи, пожалуйста, что такое чистая жизнь? — немного оживилась Ольга.

Он не знал. А может, знал. Эта жизнь — грязная. Эти уродливые отношения. Эта опустошенность чувств, этот холод. Он расхаживал по комнате, потом, обратив внимание на то, что его башмаки, хоть и тщательно вытертые, все же оставляют следы на бежевом ковре, снова сел в кресло. Он понимал, что ему надо уйти. Если бы у него было хоть немного воли, он ушел бы. Но куда бы он пошел? Его приводила в ужас сама мысль, что он снова будет один в своей комнате. Если б у него было достаточно силы воли, он бы ушел раз и навсегда. Но у него нет своей воли, он не в состоянии сделать этого.

— Что я такое! Твой любовник? Нет: А нас все считают любовниками. Ведь я тебя даже не обнял ни разу. Я твой друг? Где там! Ведь ты скучаешь со мной. Что я, что я для тебя? — выкрикнул он почти с отчаяньем.

Ольга молчала, по лицу ее пробежала мучительная гримаса.

— Отвечай! — настаивал он.

— Не знаю... Оставь, Людвик.

Он снова подошел к ней, у него было такое чувство, что он должен ее встряхнуть, разбудить. Повернул к себе ее голову, поцеловал, она приняла его поцелуй с полным равнодушием. Лоб ее был холодный, губы сухие, неласковые, бесстрастные.

— Прошу тебя, оставь, ведь сейчас придут люди,— сказала она и отвернулась, поправляя прическу.

— Давай жить иначе, Ольга!

— Как?

— Вместе. Проще, радостней, ну как-то... как-то не так сложно. Столько людей умеют так жить. Почему же мы не сумеем?

— А что значит — проще?

И когда он не сразу ответил, Ольга добавила усталым голосом:

— Штопать носки, штопать жизнь?

Она горько засмеялась. И в ту самую секунду, когда у него возникло желание, чтоб поскорее пришел конец этому бесплодному пребыванию с глазу на глаз с Ольгой, раздался звонок. И Ольге тоже явно стало легче. Она пошла отворять. Людвик слышал веселые восклицания на лестнице и искренний смех Ольги. Вот смеется же. Умеет смеяться.

Пришел Владимир.

3

Кржижановский вокзал в этот час был пуст. По путям ковылял с фонарем какой-то человек; холодный ветер заметал снегом все вокруг, наращивая у заборов сугробы и сравнивая с землей пороги домов. В зале ожидания, куда заглянула Мария, темном и холодном, тоже не было ни души.

Вдали засвистел паровоз.

Мария вдруг безошибочно почувствовала, что именно этим поездом приедет Ондржей. Она не сомневалась в этом. Будто они заранее условились, что сегодня встретятся здесь.

Она ходила взад и вперед по перрону и всякий раз, когда проходила мимо освещенной конторки дежурного по станции, заглядывала внутрь, чтобы увидеть висевшие на стене часы. Такие же часы, только чуть побольше, висели в гостиной в Швигове. У них была стеклянная дверца, закрывающаяся на ключ, длиннющий позолоченный маятник, размеренно, неторопливо раскачивающийся из стороны в сторону.

Не хотелось ни о чем думать. Если бы она начала размышлять, возможно убежала бы отсюда. Она здесь — и все. А из приближающегося поезда выйдет Ондржей...

И как часы отбивали время, она знала. Такой гулкий звук, как у колокола. В невзрачной конторке дежурного часы эти были совсем не к месту. Словно бы их откуда-то выкрали и потом повесили тут. Стрелки передвигались медленно, сейчас несколько минут девятого. Сколько еще раз придется ей пройти по перрону, прежде чем прибудет поезд... Теперь она посмотрит на часы, когда будет идти обратно. На это уйдет минута. Стрелки передвинулись на одно деление. Нет, надо ходить спокойнее, медленней и думать о чем-то таком, что прямо не связано с Ондржеем... Она подойдет к нему, остановит его, а что скажет — не знает. Знает только, что должна тут быть.

Поезд опять дал о себе знать. Пересек не защищенное ничем шоссе возле самого города. Вышел дежурный, застегнул куртку. Мария скользнула в тень складских помещений и встала недалеко от двери, через которую должен был пройти Ондржей.

Вокзал вдруг залило светом, поезд подошел с веселым свистом, словно радуясь, что добрался в целости и сохранности и что долгий путь уже позади. Из вагона вышли двое мужчин. Один из них — Ондржей. Нахлобучив поглубже шляпу, он перескочил через рельсы и почти бегом направился к выходу. Помахал приветственно дежурному. Мария заградила ему дорогу.

— Ты ждешь кого-то? — спросил он изумленно.

— Тебя,— сказала Мария.

Она стала напротив, будто собиралась задержать его, если б он захотел уйти. Смотрела ему в лицо. Из-под шляпы на его лоб упала прядь волос, он был небрит, и, когда улыбался, лицо его расплывалось.

— Что случилось? — спросил он, немного смущенный взглядом Марии.

Ондржей сунул портфель под мышку и стал шарить в карманах, отыскивая сигареты и спички.

Мария покачала головой. Ничего не случилось.

— А почему не пришел Паздера? Почему он послал тебя? В такую погоду? — сказал он, словно бы вдруг понял, почему встретил сейчас Марию.— Все в порядке. Можем начинать, если здесь объявится Прухова.

— Она уже здесь,— сказала Мария.— Но я пришла не только из-за этого. Я пришла сама по себе. Мне надо с тобой поговорить.

Ей вдруг стало холодно.

— Пойдем,— сказала она.

Он недоумевал. Опустил воротник пальто, поглядел на Марию и зашагал вперед.

— Ох, скользко,— смеясь, воскликнула Мария и ухватилась за его рукав.

Он бросил сигарету, взял Марию под руку. Держал ее крепко. Марии стало удивительно хорошо и казалось, уже ни о чем не надо говорить.

— О чем будет речь? — спросил Ондржей.

Секунду она молчала, а потом сказала, улыбаясь:

— Даже не знаю. Допустим, мне было грустно, и я взяла да пришла...

Он остановился, посмотрел на нее и сказал с растерянной улыбкой:

— Я тебя, на самом деле, не понимаю. И не хотел бы снова понять тебя превратно.

— Ты прекрасно все понимаешь,— прошептала она.

Налетел ветер, Ондржей стал так, чтоб прикрыть собой Марию. Ей понадобился носовой платок, у нее с собой не оказалось.

— Ондржей, дай мне платок...

Он вытащил из кармана платок и протянул ей, платок был не совсем свежий.

— Я пришла к тебе...— повторила она, кладя платок ему в карман.— Знаешь, я хочу тебе кое-что сказать, но не здесь. Где-нибудь в тепле...

— Пойдем к нам,— сказал он.— Я провожу тебя потом.

Он сказал «к нам». Боялся сказать «ко мне», чтоб не испугать ее. Марии вдруг стало смешно.

Когда дошли до перекрестка, Ондржей остановился.

— Не стоит идти через центр,— сказал он.

Идти через центр — это значило идти мимо дома Тонки. Ему казалось, что он не может идти с Марией и думать о Тонке.

— Пойдем,— прошептал он.

Он сунул ее руку в карман своего пальто. «Что со мной происходит?» — повторял он про себя, но был не способен здраво рассуждать.

Перейдя через мостик, он провел Марию во двор. Она знала, что Ондржей не живет вместе со стариками, что имеет отдельную комнату в заново пристроенной части домика. В темном коридорчике на нее пахнуло сыростью. Ондржей отворил дверь и включил свет. Мария дрожала от холода.

— Садись, сейчас будет тепло.

Он положил портфель у стены и, как был в пальто, опустился на колени возле печки и развел огонь. Мария, зябко кутаясь, осматривалась Комнатка была небольшая, с одним окошком, которое Ондржей, как только в печке разгорелся огонь, завесил куском голубой полосатой ткани. У стены — низкая железная кровать, покрытая коричневым одеялом. Возле окна — стол, а на столе невообразимое количество разных бумаг, газет, журналов и брошюр, которые к тому же еще пачками лежали на полу у стены и на полке, сколоченной из неоструганных досок. У двери — умывальник и кувшин с водой, возле умывальника — старенький диван.

В печке загудело, и вдруг приятно пахнуло жаром. Мария сняла пальто, которое Ондржей с какой-то торжественностью повесил на плечики в шкаф. Потом придвинул Марию прямо со стулом к печке.

— Прежде чем я вернусь, здесь будет жарко,— сказал он.— А ты от меня не убежишь, как тогда?

Она замотала головой и улыбнулась.

— Нет, просто не смогу. В этой темноте я сразу же упала бы.

Ондржей вышел, и ее вдруг удивило, что она совершенно спокойна и вовсе не встревожена тем, что осталась наедине с ним.

Маленькая железная печка раскалилась, даже труба ее светилась и гудела. Мария взяла совок и подложила немного угля, потом закрыла дверку. Как раз в эту секунду вошел Ондржей, в руках у него была кружка с водой, сахарница, а под мышкой бутылка рому.

— Сейчас мы сварим грог. Чтоб согреться,— сказал он и рассмеялся. Но как-то не так, как обычно. Он смеялся озорно и радостно.

Ондржей поставил жестяную кружку с водой на печку, пододвинул стул и сел напротив Марии. Взял ее руки в свои.

— Ну, говори! — сказал он.

— А что еще я должна сказать, Ондржей? Я тебе уже все сказала,— ответила она и положила голову ему на плечо. Ей хотелось плакать. Вдруг ей стало жаль ушедшего времени.— Два года...— начала было она, но так и не договорила.

— Два года и семь месяцев,— добавил Ондржей.— Это будет точнее, Мария. Так долго я тебя ждал. И прежде...

Он снова умолк. Ждал? В том-то и дело, что не ждал!

— Что прежде? — спросила она.

— Нет-нет, ничего,— сказал он поспешно и погладил ее волосы.

— А может, это и хорошо,— прошептала Мария.

— Нет, нехорошо. Это безусловно не было хорошо,— сказал он печально.

А может, он не имеет права обнимать ее? Ведь она ничего не знает. Он приподнял ее голову и заставил посмотреть себе в глаза. Она прижалась к нему, Ондржей поцеловал ее.

— Вода закипела,— сказала Мария, показывая на печку. Точно так же ей крикнула Терезка незадолго до этого.

— Имею право! — сказал Ондржей.

Мария не поняла его в эту минуту.

4

Бенедикт собрался было уже лечь спать, когда четырнадцатилетний парнишка Вотруба принес ему записку, в которой говорилось, что в девять часов он должен быть в ресторане при гостинице Враспира. Стояла подпись: «Шейбал». Почему он должен являться к управляющему в ресторан? Почему ему об этом не сказали на заводе? Бенедикт неуверенно вошел в ресторан, оглядел большой пустующий зал — за всю свою жизнь ему приходилось бывать здесь два или три раза, он обычно заходил в кабачок «На уголке». Ресторан Враспира испокон веков предназначался только для господ. Нигде никого. Он уже подумал, что кто-то подшутил над ним, как вдруг появился молодой Враспир, Яроушек звали его в школе,— такой дохлый, настоящей бледной немочью был он сызмальства — и сказал:

— Эй, Йозеф, тебе надо туда вот, в салон.

— Что там происходит? — спросил Бенедикт.

— Какой-то ужин, что ли.

— Трепло! Какой ужин? Я понятия не имею.

— Ступай! Это точно. Получишь пару сосисок с хреном и пиво.

Бенедикт пошел в салон, находившийся сразу же за общим залом. Стены его были оклеены красивыми обоями, на одной висела картина в золоченой раме, и на ней было изображено большое блюдо с неощипанным фазаном, виноград и бутылка вина. В углу салона стояла пузатая американская печка.

Бенедикт подсел поближе к печке — дома, черт побери, ему и не снилось столько тепла, у него крохотная печурка, и он должен все время подкладывать в нее топливо, а как только она погаснет, в комнатушке снова становится; как в склепе. Вообще-то живет он по-собачьи. До того неустроенно у него все. Другие наверняка живут с удобствами. Не умеет он ничего для себя устроить. Никогда не жил хорошо и поэтому, наверно, не умеет.

Должен был бы жениться. Скоро стукнет тридцать семь, да разве затащишь какую бабу в свою нору? А пока у него не появится там женщина, ничего не изменится. Вот такая карусель! Никогда не поест как следует, в обед похлебает что попало в заводской забегаловке, вечером заморит червячка куском колбасы, и не будь рядом старухи Шустровой — некому было бы даже обстирать его. Шустрова, увидев как-то его пуховик, всплеснула руками и сказал: «Йозеф, неряха ты эдакий, как же ты сам еще не завонялся!» С того времени она берет его белье и стирает в корыте вместе со своим. Обещал он ей за это смастерить стиральную машину. Вот только достанет нужный материал. Ведь ему надо и убраться в своей конуре и еду приготовить. Короче, в доме нужна женщина. Только какая дура соблазнится его рыжими патлами. Вот Тонка бы. Но он хорошо знает, та предпочитает этого пижона Махарта. Ну, ничего, погоди, он набьет ему морду, тогда тот перестанет крутить с ней... Хоть бы какую-нибудь бабу завести, по крайней мере для порядка. Подумаешь, рыжий — почему бы ей обращать на это внимание. Вон у Франты Восмыка горб на спине, а как бабы за ним бегают! А ведь он и половины не зарабатывает того, что получает Бенедикт. С Бенедиктом даже Тонке было бы совсем не плохо...

Официант поставил перед ним поллитровую кружку пива и тарелку с сосисками и хреном, хотя он ничего не заказывал.

— Это что — мне? — спросил его Бенедикт.

— Да, это заказано для вас.

— А кто заказал?

— Так распорядился хозяин,— сказал официант и исчез.

Не успел Бенедикт выпить пива и проглотить сосиски с хреном, как появился управляющий Шейбал, и тотчас же следом за ним вошли еще двое — сперва он не узнал, кто эти господа, но потом догадался. Это были Фишар, адвокат, который выступал свидетелем на процессе Годуры, а дама в черном с белым ожерельем на шее — Прухова. Старика Прухи жена. Завод, значит, котируется, раз они примчались сюда. Доктор Фишар был невероятно любезен, просил Бенедикта извинить за то, что они заставили его ждать. Он только что вернулся из Брно, поезд пришел с опозданием. Бенедикт, конечно, извинил его, почему бы ему не извинить, он ведь никуда не торопится. Потом все трое сели рядом с Бенедиктом, поближе к печке, доктор потирал руки, наслаждался теплом — в поезде очень замерз, затем помолчали — читали меню, и все трое заказали шницель и картофельный салат.

— Что будете пить, сударыня? — спросил доктор женщину.

— Бокал белого вина, пожалуйста,— сказала она.

Они ели, а говорил, собственно, один только доктор Фишар. Бранил погоду, возмущался обледенелыми дорогами: немыслимо вести машину, он вынужден был оставить ее в Брно и ехать сюда поездом.

Бенедикт уставился на них. Огромные шницели были красиво политы жиром. Черти, вот у кого деньги! Надо бы и ему такой заказать. Но, ясное дело, Бенедикту и пары сосисок за глаза хватит. Да, ему следовало бы самому заказать себе такой шницель, на зло им. Нарочно, пусть видят, что и он не лыком шит, что деньги и у него водятся. Зака-

зать даже с наценкой. Он все смотрел на дамочку, как она орудует ножом и вилкой, и вдруг на него напал страх, как бы действительно не соблазниться. Он заказал себе кружку пива. Когда ему принесли, управляющий как раз доел свой шницель; он подмигнул Бенедикту — я, дескать, старый демократ,— поднял кружку и выпил вместе с ним — за твое здоровье, мол! Доктор тоже кончил есть, только дамочка все еще ковырялась в своей тарелке, потом отодвинула ее, наклонилась к управляющему и Бенедикту и сказала:

— Надеюсь, друзья, что эта встреча будет для нас достаточно полезна.

Бенедикт понятия не имел, о чем идет речь. Он поглядел на Шейбала, но тот не улыбнулся, не кивнул, сидел с таким видом, словно это вовсе к нему не относится. Ладно, посмотрим, как вы себя покажете. Пусть выскажутся! Чтоб опять не подумали, что он за пару сосисок с хреном будет поддакивать им, как баран.

— Как вам известно,— заговорил доктор,— ситуация, так сказать, назрела. В ближайшие дни произойдут радикальные изменения.

Он повторил это потом еще несколько раз, только вместо «радикальные» говорил «кардинальные».

— Коммунисты со своим хозяйничаньем зашли в тупик,— продолжал он.— Теперь речь идет о том, чтоб предотвратить неизбежный крах. От заграничных рынков мы совершенно отрезаны. Национализация провалилась. Декреты необходимо *пересмотреть*. Если будет установлено, что национализированное предприятие не приносит дохода, будем поступать безжалостно. Наши предприятия должны получить оздоровляющие впрыскивания, инициативу. Сегодня это яснее ясного. Речь, конечно, идет не о том, как это многие толкуют, чтоб все без разбору национализированные предприятия вернуть в частные руки. Мы создадим новую форму. Форму кооперативной собственности, и трудящиеся будут пайщиками предприятий, на которых работают.

Шейбал время от времени кивал головой, но скорее только для того, чтоб доктор не подумал, что его никто не слушает. Бенедикту казалось — все эти громкие слова наводят тень на плетень. Предприятие должно окупаться, это вполне понятно. Но только чтобы окупаться, оно должно располагать всем необходимым для производства. И если в его распоряжении все это есть, рабочий всегда заработает, и об этом нечего беспокоиться. Но факт остается фактом — у них на заводе уже несколько раз случались простои. То нет каких-то материалов, потом вдруг выключают ток. Один раз не доставляют моторы, другой — листовое железо, лак, смазочное масло, ну и разное там! Короче говоря — безобразие. И если бы кто навел в этом порядок, то все было бы здорово. Но кто поручится, что порядок наведет именно этот доктор? Руки у него как у приходского священника. Он то разводит ими, то складывает их, то повертывает ладонями вверх и опускает на стол, то нервно барабанит пальцами. Его перстень с драгоценным камнем такой величины, что им можно разбить окно в костеле, наверняка стоит уйму денег.

И что ни слово — то все *«братья»*. Братья здесь, братья там. Он даже перешел с Бенедиктом на «ты», ведь так, мол, у них принято в партии. Только гляжу, доктор, какой вы мне брат? Вы шницель уписываете, а я сосиски жую, у вас холеные руки — у меня скрюченные, вы разъезжаете в автомобиле, а я на своих двоих, вы языком работаете, а я вот этими копытами.

Старик Шейбал, похоже было, просто не знал, что и сказать на все это. Допил до дна свою кружку, только кадык шевелился. Бенедикт видел его, собственно, впервые в частной жизни: когда Шейбал приходил

в цехи, он всегда был в сером плаще и в потрепанных брюках. Теперь на нем — разрази его гром! — черный костюм и белая рубашка, выряДился на эту пирушку.

У старика тоже был хорошо подвешен язык, и выражался он всегда очень интеллигентно. Бенедикт никогда не научится так говорить. А вот каждый из этих господ знал, как это делать. И дамочка тоже. Умеет по крайней мере, как говорится, элегантно ковырять в зубах. Один только Бенедикт мычит, как телок.

Он, Шейбал, мол, прежде всего специалист. В политике не разбирается — специалист остается специалистом. На ответственных постах должны стоять люди, которые хорошо знают свое дело. Но сейчас, безусловно, все происходит иначе. Полагаю, что отсюда последуют все дальнейшие затруднения. Я хотел бы узнать, какие намерения у господина доктора. Не хотелось бы, разумеется, обратился Шейбал к Бенедикту, предпринимать что-либо за спиной других служащих и без согласия заводского совета.

— Сегодня все только и заняты политикой,— сказала дамочка.

Она перестала ковырять в зубах, вынула из сумочки зеркальце и, глядясь в него, оскалила зубы.

— Так вот каков смысл нашей встречи,— заговорил доктор и снова, как священник, развел руками.— Госпожа Прухова,— повернулся он к дамочке, которая в эту минуту прятала зеркальце в сумочку,— с нынешнего дня снова законная владелица завода, и она хочет получить от вас информацию, прежде чем я в качестве ее поверенного приму дела, о настроениях на заводе, и, главное, она хотела бы знать, как эта перемена будет всеми воспринята. Теперь уже есть подтверждение Верховного суда, вот, пожалуйста. Это делается совершенно,— он откашлялся,— законным порядком. К кому же мы должны обращаться, как не к управляющему предприятием и председателю заводского совета? Ведь это вполне естественно!

Он повернулся к Бенедикту и улыбнулся ему.

— Стоп! — сказал Бенедикт.— Я-то ведь никакой не председатель. Как бы тут не вышло ошибки. Ведь я только заместитель председателя. А председатель у нас Махарт, Ондржей Махарт. Управляющий подтвердит это.

Управляющий кивнул.

— Значит, я был неправильно информирован,— сказал Фишар.— А председатель коммунист?

— Безусловно! — подтвердил Бенедикт.

Фишар огляделся вокруг, рассмеялся и сказал:

— В таком случае я с большей охотой буду вести переговоры с заместителем председателя.

«Предаешь интересы рабочих,— напустился на Бенедикта сегодня утром на заседании Паздера.— Твой отец из-за Прухов повесился на балке, неужели ты это забыл?» Как бы не так! Бенедикт ничьих интересов не предает. Все это, что ни говори, вышло по ошибке. Он ведь не знал, зачем идет сюда. Что же, разве Махарт не пошел бы, если б за ним управляющий послал, если б он сказал ему — приходи вечером в ресторан? Пошел бы, вполне понятно. И почему бы ему не пойти? Да дело-то в том, что Махарту он этого не передавал, потому что они его не могут использовать. А его, Бенедикта, думают, что смогут. За пару сосисок?! Нет, дудки! Не знаю почему, но этому докторишке я что-то не очень верю. А дамочке и подавно. И дело даже не в них самих, ведь если все прикинуть, то они не хотят ничего другого, как только вернуть себе завод. Это Бенедикт понять может. Такое уж в характере человека за-

ложено — желать все больше и больше. Но им бы тоже не стоило удивляться, ежели наши не захотят отдать завод. Это тоже, так сказать, в человеческом характере. Если человек привыкнет к мысли, будто что-то ему принадлежит, то уже с нею расстаться трудно. И потом, люди на заводе теперь не могут и представить себе, чтобы кто-то снова ими командовал. Как Пруха или Годура. Отца Бенедикта выбросили с завода в самые тяжелые дни. Отец повесился, а Годура, негодяй эдакий, как ни в чем не бывало разгуливает, помахивая тросточкой. И кто знает, может, именно этот франт доктор помог Годуре снова выплыть. А вот ему, честное слово, куда милее Шейбал, который сейчас не мычит, не телится и прикидывается невинным младенцем. Этот все-таки обращается с людьми по-человечески. И ты можешь ему все сказать, если что тебе не по нраву. Но вот попробуй молвить что супротив этой дамочки! Никогда еще Бенедикту это не было так ясно, как сегодня. И возможно, потому, что он видит сейчас их всех так близко. Видит эту подержанную дамочку, которая ковыряет в зубах, этого докторишку, который заказывает шницеля. Но пусть они, черт побери, много не воображают о себе — у него тоже есть самолюбие, и он вдолбит им это, как только представится случай.

— Так к чему этот разговор? — сказал он.— Мы вам завод все равно вернуть не можем. Правда? — обратился он к Шейбалу и оскалил свои неровные сточенные зубы.

Фишар деланно рассмеялся.

— Это само собой разумеется. Потому что он не ваш. Он наш. То есть госпожи Пруховой. По закону. Суд так решил, понимаешь?

— Почему же не понимаю, я не олух,— сказал Бенедикт, сам не зная, почему он вдруг разозлился, и чем дальше, все больше ненавидел Фишара.— Только каждый знает, как сегодня обстоят дела. Здесь подмаслите, там подмажете — и документик в кармане. Но бумажка — это еще не завод. Бумажкой можно только хорошенько одно место подтереть... Пусть дамочка не обижается...

Все рассмеялись. Фишар под конец приятельски хлопнул Бенедикта по спине.

— Теперь уж я не понимаю,— сказал он.— Ты думаешь, что будут затруднения при передаче предприятия, да?

Бенедикт кивнул.

— Обязательно будут!

Фишар сверкнул зубами, неизвестно было, хотел ли он засмеяться или чихнуть.

— Вы должны понять, что выполнение решения суда обеспечивается государственной властью!

Бенедикт молчал, потому что не очень-то хорошо разбирался в этом. И вдруг все замолчали, словно язык проглотили. Подошел официант, оглядел стол и спросил, не угодно ли будет еще что-нибудь заказать. Бенедикт кивнул официанту и протянул ему пустую кружку.

— Я бы не советовал недооценивать того, что сказал Бенедикт,— проговорил наконец Шейбал.

— Упаси боже! — воскликнул доктор.— Я отнюдь не склонен что-либо недооценивать. Я очень благодарен ему за любую информацию. Речь идет именно о том, чтоб все обошлось без шероховатостей и лишнего шума, а тем более без насилия.

— Какое там насилие — об этом не может быть и речи,— пробормотал Бенедикт.

Он, безусловно, даже представить себе этого не мог. Завтра, видимо, эта дамочка с доктором заявятся на завод и скажут: «Так вот, с сегод-

няшнего дня все это снова наше». В общем — работай, не тужи, господам служи! Жмите вовсю, голубчики, и не суйте ни во что свой нос!

— Думаю, что в случае,— услышал вдруг Бенедикт голос Фишара,— если коммунисты захотят воспрепятствовать госпоже Пруховой в законном возвращении ее собственности, тогда, конечно, было бы необходимо вмешательство...

— Ах так! — понял наконец Бенедикт.— Значит, вы решили идти против нас?

— Я говорю о *коммунистах,*— ответил сухо доктор.

Ах, дьявол! Он представляет себе это тоже невероятно просто. Думает, что против решения суда будут одни лишь коммунисты. Только Бенедикт не хотел бы видеть, что начнут вытворять заводские бабы, когда эта дамочка объявится среди них. Коммунисты, не коммунисты — все поймут сразу, что это за фря в шубке, которая в жизни ни к какой работе не притрагивалась. Так вот они какие — капиталисты! Но рабочий человек их уже не боится, даже если с ними еще не до конца справился. Ведь они ловкие, как обезьяны. А Бенедикт, думают эти господа, вполне подходящая личность, чтоб из него выудить побольше. Поэтому дамочка смотрит на него так, словно его нет, словно перед ней прозрачное стекло; она его немного остерегается, но и немного заискивает перед ним. Ведь господа для того и существуют на свете, чтобы все им служили, и Шейбал тоже. Если же он перестанет прислуживать — скатертью ему дорожка, на его место десяток других найдется, а если не десяток, то по крайней мере Годура. Они думали, что так оно и должно быть, они привыкли все мерить деньгами, наверняка никогда не знали, что такое пустой карман, возможно, если бы у Бенедикта денег было вдоволь, если бы он не изведал голода и холода, возможно, что и он был бы таким. Они просто не умеют иначе. Только теперь им придется туго, теперешние времена никого не балуют. Против течения не дадут плыть: либо научишься думать по-нашему, либо тебе аминь. В этом случае речь идет уже не о коммунистах. Вот ему, Бенедикту, коммунисты тоже не по нутру. Вечно слышишь попреки от них. От Махарта, Целестина. Паздеры и даже от этой Маржки Рознеровой: «Да ты вспомни про отца своего, эх ты, рыжий! Чего защищаешь миллионеров, эх ты, шляпа!»

— Надо укрепить правопорядок, который разрушили коммунисты,— слышал он голос доктора.— И продолжают разрушать. В случае чего призовем для защиты закона полицию...

— А где наберешь ты столько полицейских? — вырвалось вдруг у Бенедикта.— Ведь у заводских есть оружие...

Фишар взглянул на Шейбала, словно бы спрашивая, верно ли это.

— Да да,— подтвердил Шейбал.— Думаю, что так!

И чего эта баба так на него уставилась. Бенедикт чувствовал взгляд Пруховой и не отваживался отвести глаза от своей кружки.

— Господин...— сказал доктор, и его голос звучал теперь совсем иначе, чем прежде, резко и в то же время чуть хрипло.— Господин...— он не мог вспомнить его фамилии.

— Бенедикт,— подсказал ему управляющий.

— Господин Бенедикт, вы забываете одну вещь. Забываете, что завтра, вероятно, ситуация существенно изменится. Кардинально изменится.

Вдруг уже не «брат», а *господин* Бенедикт. Вот это да!

— Несомненно, что уже завтра произойдет замена заводской охраны. Куда денутся коммунисты со своей заводской милицией,— засмеялся доктор с таким видом, словно бы Бенедикт и Шейбал были такие олухи, которые ничего не знали, ничего не ведали. Затем он продолжал:

— Вы позволили однажды обмануть себя... хватит. Но вы не должны забывать, что в мире существует не одна-единственная великая держава. И наша страна не должна попасть в сферу влияния только одной великой державы. В нашей экономике существенно заинтересованы и другие державы. И это вполне естественно. Возьмите только такую деталь: почему, как вы думаете, так быстро вернулся посол Стейнхардт? Прилетел на самолете, господа...

Да он что, за идиота его принимает, этот доктор? Плетет про такую высокую политику! Нет, приятель, для высокой политики Бенедикт не подходит.

— Я знаю только одно,— сказал он.— На заводе имеется оружие, и оно, может случиться, заговорит.

— Долг всех разумных людей и истинных чехов воспрепятствовать этому. Что же, брат, ты думаешь, западные демократии будут безучастно наблюдать, если дело дойдет — не дай бог! — до гражданской войны?

— Советовал бы вам,— вмешался в разговор управляющий Шейбал и заулыбался кисло-сладко, словно кто-то щекотал его,— советовал бы вам принимать завод при более ясной ситуации. Опасаюсь, что завтра на заводе все будут несколько *возбуждены*...

— Посмотрим, посмотрим,— сказал задумчиво Фишар.

— Господи, боже мой! — брюзгливо воскликнула Прухова.— Что же это такое? Значит, нынче человек нигде права своего добиться не может? Что же, я должна буду ради них приезжать сюда еще раз?

Шейбал пожал плечами и снова кисло-сладко улыбнулся.

Фишар, перегнувшись через стол, наклонился к управляющему и сказал:

— Послушайте, инженер, мы на вас... в будущем рассчитываем. В Праге я слышал о вас только хорошее.

Шейбал удовлетворенно улыбнулся и сказал тихо, словно бы обращаясь к самому себе:

— Я очень люблю свою работу и хотел бы заниматься ею в спокойной обстановке, господин доктор. Но в наше время, понятно, на покой рассчитывать трудно, и человеку поэтому приходится заниматься делами, которые к его работе не имеют прямого отношения, которые ему чужды, а зачастую отвратительны и утомительны.

— Понимаю,— кивнул в знак согласия Фишар.

— Я от всего этого так устала,— сказала Прухова.— Скажите, инженер, неужели так и должно быть? Ведь жили же мы спокойно...

— Во всем мире происходят величайшие изменения, сударыня,— почтительно сказал управляющий.— И это лишь начало. Ведь мы только вступаем в атомный век...

— Куда вступаем?! — испуганно воскликнула Прухова.

— Мы немного отклонились, моя дорогая,— с улыбкой сказал ей Фишар.

— С нас хватит угроз,— рассерженно воскликнула она и указала головой в направлении Бенедикта.— Нам вечно угрожают. Любой сегодня угрожает. А ведь мы не хотим ничего, кроме того, что нам принадлежит.

— Как погляжу я, мадам,— сказал Бенедикт,— никто тут никому не угрожает.— Он допил одним махом пиво и, разводя над столом руками, продолжал: — Что знаю, то знаю. Вы этому не верите и знаете свое. Но я опять-таки не верю вашему. Каждый из нас что-то знает, а общего у нас нет, объединиться не можем. Вот так!

Прухова смотрела на него, и кровь приливала к ее лицу. Она побагровела, стала просто фиолетовой. Управляющий Шейбал не поднимал глаз от скатерти и растерянно улыбался. Казалось, он не прочь был бы забраться сейчас под стол.

— Брат, брат! — укоризненно воскликнул Фишар.— Как же это мы не договорились! Напротив! Мы верим, что недалеко то время, когда мы будем вместе и будем сотрудничать. Сегодня мы все немного возбуждены. Усталость, события... как может быть иначе!..

Фишар встал. Это означало, что разговор окончен. Шейбал тоже встал и пожал дамочке руку. А он что? И он должен пожать ей руку?

— Ну что ж, мы как будто готовы,— сказал Бенедикт и поднялся.

— Да, в общем мы готовы,— ответил на это доктор.— Благодарю вас, господа!

— Не за что,— сказал Бенедикт и пошел к вешалке.

Дамочка не обращала на него ровно никакого внимания, только доктор похлопал его по плечу и сказал:

— Будь здоров, брат. Будь здоров. И в ближайшие дни надо вам в партии быть начеку.

Бенедикт хотел поскорее уйти. На улице их чуть не сбил с ног дикий ветер. Разыгралась вьюга. Шейбал ухватился за Бенедикта, сказал, что у него новые подметки на ботинках и ему скользко. Долго они шли рядом молча. Шейбал держал его под руку. Улица была темная, безлюдная. Вдалеке покачивался на площади единственный зажженный фонарь. Потом на башне пробило одиннадцать часов, и ветер унес с собой звук ударов. Под фонарем Шейбал остановился и сказал:

— Не было печали, так черти накачали. Еще впутают нас в какую-нибудь историю. Нам с тобой надо помалкивать, Бенедикт. Чем меньше будем распространяться, тем лучше для нас. Так смотри помалкивай. Ну, теперь я уж доберусь сам. Доброй ночи.

Бенедикт остался один. Направился прямо через площадь к своему дому. К какому там «дому»! В свою конуру!

«Помалкивай,— сказал управляющий.— Помалкивай!»

5

Они вошли. Владимир прижимал к груди две бутылки вина, смеющийся, веселый; молча, одним кивком ответил он на приветствие Людвика, нисколько не смутившись, что встретился с ним здесь. Поставил бутылки на маленький столик и принялся шарить в кармане, отыскивая нож со штопором.

— Если не можешь потерпеть ни минуты — на вот,— сказала Ольга и подала ему штопор, который лежал среди посуды на одном из столиков с закуской.

— Уничтожим! Все уничтожим,— смеялся Владимир.

— Ты был «У орла»? — заметил Людвик, припомнив вдруг пьяные разговоры, слышанные там.

— Удивительная догадливость! — ответил Владимир.— Куда же еще мне было идти, если это ближайший погребок.

Он был полностью поглощен вытаскиванием раскрошившейся пробки.

«Владимир — грязный тип»,— говорил о нем Ванек. Людвику, однако, казалось, что Владимир все же изменился. К лучшему. И хотя его еще что-то в нем раздражало и возмущало — Людвик, правда, не знал точно, что именно,— он должен был признать, что *объективно* Владимир

все же переменился. Уже одно то, что он женился, ждал ребенка, что должен был работать, видимо, благотворно повлияло на него. Он служил в социал-демократическом еженедельнике, Людвик следил за его темпераментными критическими статьями, полными наблюдательности, иронических выпадов, остроумия, афоризмов. Каждый, читая его статьи, ощущал, что это яркая индивидуальность. Его проницательность поражала. Владимир не давал себя ничем связать — он первым нарушил принципы, которые сам же выдвинул, основывая клуб, названный им «Клубом свидетельств». Клуб этот, конечно, давно уже был не тот. За два года он выродился в обычную застольную компанию, которая по-прежнему регулярно собиралась у Ольги, но уже только для того, чтоб собраться. Ели бутерброды и пили плохое вино. Спорили о пустяках, женщины скучали, а мужская часть компании искала приключений. И Людвик сюда давно уже ходил только ради Ольги. Возможно, что они сначала и правда к чему-то стремились. Задумали издавать сборник под названием «Свидетель». Владимир мечтал о том, что вокруг него объединятся люди, наделенные одинаковым мироощущением. «Только чтоб никаких мировоззрений»,— говорил он. Признаком этого мироощущения, которое их объединит, утверждал Владимир, будет сознание беззащитности. Конечно, речь идет об активной беззащитности. Ярко выраженная индивидуальность, утверждал он далее, в наш век коллективного разума и коллективной совести может сохранить себя только тогда, когда осознает свою беззащитность. Только так она может сохранить свой собственный разум и свою совесть. Другой признак подобного мироощущения — это то, что человек, осознавший свою беззащитность, ни к кому и ни к чему не принадлежит. Ни к нации, ни к какому-либо из классов, ни к общности людей одной веры — он просто существует, а не принимает живое участие в чем-либо. Это единственный путь к *самоутверждению*...

— Ну, рассказывай,— прервал размышления Людвика голос Владимира,— что там у вас в газете нового?

— Что нового? — задумался Людвик.— Ничего особенного. Геврле сегодня выставил Янечека.

— Этого нужно было ждать давно,— сказал Владимир совершенно безучастно.

— То есть как? — спросил удивленный Людвик.— Что тебе об этом известно?

— Возьмите бутерброды, прежде чем начнете пить,— сказала Ольга.— Только ешьте экономно, у меня их мало, надо, чтоб хватило остальным.

Владимир взял бутерброд, Людвик отказался.

— Что тебе об этом известно? — повторил он свой вопрос, обращаясь к Владимиру.

Ольга уселась в кресло и закурила сигарету.

— Ну и дрянные же затычки делают теперь,— заметил Владимир, кладя раскрошенную пробку в пепельницу.— Что мне об этом известно! Янечек коммунист.

— Что ж из этого? — удивленно воскликнул Людвик.

— Не будь дураком,— сказал Владимир и выпил.— Потому-то *сегодня* Геврле и не желает держать его у себя. Удивительно, как это он тебя до сих пор не выставил.

Людвик рассмеялся, полагая, что Владимир шутит.

— Он хотел было это сделать,— вмешалась в разговор Ольга.— Янеба, мол, их человек. Неорганизованный коммунист!

— Вот это открытие! — вскочил возмущенный Людвик.— Почему же, в таком случае, он не сделал этого?

— Очень просто,— заметил Владимир, словно бы мимоходом.— Ведь тебя рекомендовал Фишар.

Людвик вопросительно взглянул на Ольгу — он не верил его словам.

— Да, верно,— нехотя подтвердила она и, не желая, видимо, продолжать разговор, взяла пепельницу и вышла с нею из комнаты.

Людвик присел на край тахты. Так вот оно что! Вдруг ему стало все совершенно ясно, предстало, так сказать, во взаимосвязи. Конечно, опять Ольга. Она писала Людвику летом сорок пятого года в Семтеш, что Геврле ищет редактора для «Гласа лиду». Значит, и своим жалованьем, и доверием, которым он пользовался у Геврле и которое тот до сегодняшнего дня, по привычке, проявлял порой демонстративно,— всем этим, оказывается, он обязан Фишару. Хороша независимость! Вот еще одна причина испытывать стыд перед Ванеком. А сегодня еще и Янечек! Все, что у него есть, пожалуй, и то, что он может приходить в этот дом, его репутация *независимого* журналиста — все это у него по милости Фишара.

Фишар. Он даже не знал, что о нем думать. Познакомился с ним поближе здесь, у Пруховых. По правде говоря, ему импонировала его активная, деятельная натура. Фишар, казалось, всегда находился в движении, вечно что-то устраивал, а если ничего не устраивал, то высказывал с одинаковой легкостью как остроумные мысли, так и пошлости или же просто несуразную чушь. Но никогда то, что он говорил, не казалось ни пошлым, ни глупым. Что бы он ни делал, все всегда облекалось в безупречную форму. Лично Людвик не имел ничего против Фишара, наоборот, тот был даже ему симпатичен. Людвику нравилось иногда и посидеть с ним. Но выдержать его общество в течение всего вечера он не мог и, пожалуй, потому, что его сковывала именно эта безупречная форма всего, что делал Фишар. Он безупречен во всем — в движениях, в словах, в манере выражаться. Немного раздражает только его уверенность в себе, его самонадеянность, его сладкая улыбка и бархатный голос. Его врожденная элегантность. Людвик наблюдал за ним и думал: когда же он выдаст себя? Когда с него спадет эта безукоризненная маска? Действительно ли он таков? Чистосердечно говоря, Людвик еще не встречал человека столь исключительного обаяния. Разве что Краммер. Но привлекательность Краммера заключается в чем-то совершенно ином. Скорее, в недисциплинированности и каком-то облегченном отношении к жизни. Людвик должен был признать, что никогда еще не замечал, чтобы Фишар вышел из своей роли. Даже в минуты, когда был раздражен или взволнован, он не терял головы и не поступал опрометчиво. Итак, Фишар не мешал Людвику. Но Фишар не только хороший компаньон Пруховых, близкий друг и, несомненно, до того, как познакомился с Люцией, любовник Ольгиной матери. Фишар также и политически видная фигура, и поэтому мнимая независимость Людвика дурно попахивает. Фишар заседает в какой-то экономической комиссии центрального правления национально-социалистической партии, говорит, что на майских выборах будет, вероятно, выдвигать свою кандидатуру от Пражской области, чтоб занять не последнее место в Национальном собрании, имеет огромные связи, не скрывает того, что ему не так-то уж далеко до Града...

Владимир вдруг расхохотался. Он перелистывал какой-то журнал.

— Послушай! — воскликнул он.— «Личность, индивидуальность,— читал он,— получат возможность теперь, в обществе, освобожденном от тунеядцев, найти себе подлинное применение и полное развитие».— Он отшвырнул журнал.— И вот эдакую болтовню суют сегодня людям. Как будто личность и ее развитие зависят от какого-то предпринимателя или фабриканта. Кто подчиняется такой зависимости, тот перестает быть личностью. Собственно, никогда ею и не был...

— Я, кажется, начинаю думать, что независимость — просто фикция,— заметил несмело Людвик.

— Я говорил о *личности,* а вовсе не о газетном писаке Янебе,— сказал Владимир, раздраженный тем, что не встретил у Людвика поддержки.

— Ладно, ладно,— поспешно ответил Людвик, желая избежать ссоры.— Ничего я о себе не воображаю. И меньше всего думаю, что я некая индивидуальность. Эту возможность я уступаю другим. Просто начинаю серьезно сомневаться в том, во что до сегодняшнего дня верил...

— А во что же ты верил и во что будешь верить? — весело спросил Владимир и допил вино из своего стакана.

— Ну, думал я, наступила эпоха, когда станет возможным осуществить свободу социальную при сохранении максимума политических свобод!

— Куда ты с такими вещами суешься? Какая такая эпоха,— рассмеялся Владимир.— Я тебе скажу, что это за эпоха. Никогда еще в мире свобода не находилась под большей угрозой, нежели сегодня.

— Чья свобода? — спросил Людвик.

Владимир презрительно махнул рукой. Очевидно, из-за непонятливости Людвика.

— Если хочешь знать, настоящая свобода не имеет определения.

Вернулась Ольга, она несла чашку чая. Несла довольно неловко, и Людвик с Владимиром умолкли, следя за движениями Ольги; казалось, она едва ли донесет ее в целости до стола.

— Чай вам не предлагаю...— сказала Ольга.

— И правильно делаешь,— заметил Владимир.

Держа в одной руке бутерброд, а в другой стакан, полный вина, он привстал и, подняв обе руки, с деланным пафосом заявил:

— Вот свобода социальная,— и откусил бутерброд,— вот свобода политическая! — и выпил до дна вино.— Но можно, как говорится, и под обоими причастиями! — добавил он.— Коммунисты называют это — на сей раз я с ними вполне согласен — оппортунизмом.

Людвик протянул было руку за бутербродом, но тотчас же раздумал. Ему нужно быть очень внимательным, надвигается буря. Владимир будет колоть, жалить его со всех сторон, брызжа ядом.

— Хочешь, дам тебе совет? — сказал Владимир тоном, в котором чувствовалось презрение.

Людвик молчал, убежденный, что любой его ответ вызовет у Владимира раздражение.

— Не слушай Ванека,— продолжал Владимир, произнося с нескрываемой ненавистью это имя.— Я видел тебя с ним сегодня днем. Он дурак. Ты чего-то нахватался у него, у меня, а переварить не можешь. Ты прискорбно неоригинален.

Людвик посмотрел на Ольгу. Она сидела с безучастным видом, похоже, что она даже не слушает. И Людвик вдруг почувствовал, что с Владимиром ему не справиться. Ему следовало бы его осадить, нанести ответный удар, вцепиться, но как? Ничего не приходило ему в голову. А возможно, что Владимир прав, и он действительно неоригинален, *прискорбно* неоригинален, ни рыба ни мясо, просто какая-то слякоть.

— Идиот,— добавил Владимир.— И ты говоришь о свободе!

— Пока что о ней говоришь ты,— сказал Людвик.

— Вы отвратительны,— вырвалось у Ольги, она хотела было встать.

Людвик взял ее за руку.

— Сиди,— сказал он.— Не бойся, я не позволю ему меня спровоцировать.

Владимир рассмеялся.

— Он думает,— заявил он, указывая на Людвика,— что его хотят спровоцировать. Провоцируют людей, от которых чего-то ждут. От тебя я не жду уже ничего. С того времени, как ты предал...

— Кого я предал? — не понял его Людвик и тут же сообразил, что продолжает держать руку Ольги и что она не пытается отнять ее.

— Предал! — повторил Владимир, обращаясь к Ольге.— Пошел за Ванеком. А кто он, этот Ванек? Бывший художник. Вот последняя картина, которую он написал,— и он указал на «Зал ожидания», висевший над тахтой.— Вы не поняли тогда, что я вижу чуть подальше Вацлавской площади с русскими танками. Вот так и сегодня я вижу чуть подальше. А он этого снова не понимает.

— Не знаю, куда ты смотришь. Пока ты мне этого не сказал. И что видишь? Ну, скажи-ка! Говори же...— Людвик запнулся, потому что вдруг вспомнил Ольгин вопрос: «А что будет дальше?»

Он отпустил руку Ольги, опасаясь, как бы она сама ее не отняла.

— В продажных газетчиках тогда безусловно не будет надобности,— со злостью сказал Владимир.

Людвик попытался рассмеяться.

— Ну ладно,— сказал он.— Никак не пойму, какая разница между тем, что я сотрудничаю в «Гласе лиду», а ты в «Свете свободы». И, извини, я беспартийный, а ты социал-демократ.

— Кормлюсь,— цинично сказал Владимир.

— И я кормлюсь,— ответил Людвик.

— Только между нами все же есть небольшая разница. Я этим *только* кормлюсь. Не принимаю живого участия в этом. Мне совершенно безразлично — писать в социал-демократический еженедельник или же разгребать навоз. Первое я умею делать лучше, и возможно, что это не так утомительно. Я не люблю физической работы. Вообще не люблю никакой работы. Могу поэтому писать для любого другого журнала. Мне все равно. Я стремлюсь к чему-то совершенно иному...

— Скажи же, наконец, к чему ты стремишься!

Владимир расхаживал по комнате. Бог знает почему он был так раздражен. После вопроса Людвика он еще раз прошелся из угла в угол и остановился возле Ольги.

— Тебе скажу! Ему нет! Ему,— он наклонил голову в сторону Людвика,— никогда!

— С чего это ты так быстро опьянел? — спросил его Людвик, хотя за секунду до этого дал себе зарок не говорить больше ни слова. Владимир, однако, даже не взглянул на него.

— Я стремлюсь к тому,— сказал он, повернувшись к Людвику спиной,— я стремлюсь к тому, чтоб реализовать свои внутренние возможности. Понимаешь?

— Не знаю,— пожала плечами Ольга — Возможно... возможно, что понимаю.

— Нет, не понимаешь! — вспыхнул Владимир.— Никто не понимает...

Он быстро прошелся по комнате и вернулся к своему креслу. Взял стакан и допил вино.

— А я не понимаю,— сказал Людвик,— и не хочу понимать!

Владимир поднял на него глаза и посмотрел почти с ненавистью.

— Идиот! — крикнул он, схватил пустую бутылку и бросил ее изо всех сил в Людвика.

Ее горлышко разбилось о край тахты, и остаток вина вытек на бежевый ковер.

— Владимир! — вскрикнула Ольга.

Она вскочила, выбежала из комнаты и через секунду вернулась с солонкой. Высыпала ее содержимое на красное пятно на ковре. Людвик не шелохнулся. Продолжал сидеть и чувствовал, как у него колотится сердце. Владимир глядел так, словно бы прикидывал, стоит ли на него кинуться. Потом, пьяно махнув рукой, погрузился в кресло и закрыл ладонью глаза.

6

Марта Прухова сидела на краешке неубранной постели, усталая, разбитая, все с тем же ощущением бессмысленности всего происходящего, с ощущением того, что жизнь ее проиграна. Фишар стоял и вертел кран.

— Теплая, разумеется, не идет,— констатировал он.

Говорил же Враспир, что не хочет зря переводить деньги. К чему тратиться на ремонт — все равно, мол, у него отберут гостиницу. Она хотела сказать об этом Альфреду, но потом сочла лишним. У нее не было сил. Зачем говорить!

Под умывальником стояло белое ведро. Фишар поднял его, оглядел — казалось, оно было чистым, наполнил его водой. Он поднес его к печке и хотел на нее поставить.

— Упадет,— сказала она.

— Почему бы ему упасть?

— Ты должен был бы заранее подложить в печку уголь. А то ведь, когда поставишь ведро, уже не сможешь открыть ее,— сказала она, наблюдая за его действиями.

Фишар засучил рукава, открыл дверцу печки и попытался насыпать в нее уголь. Но он больше рассыпал его вокруг на полу и принялся подгребать ногой. Потом поставил ведро на печку и, брезгливо оглядев свои испачканные руки, уселся в потертое кресло.

— Почему не работает центральное отопление? Разве так экономнее?

Враспир говорил, вспомнила она: «Да, если б все переменилось, то у вас снова был бы хороший номер, сударыня».

При вечернем освещении комната в конце концов выглядела не так уж скверно. Обои, правда, сильно выцвели, но это теперь не бросалось так в глаза, как при дневном освещении. И тепло.

Вон там, в углу, раньше стояла огромная ваза, а на окнах висели длинные шторы. Прежде, проснувшись утром, она раздвигала их; над прудом поднимался легкий пар, утро пахло жасмином. Теперь на окнах висят какие-то жалкие тряпки.

Господи, только бы пуховики не были сырыми. Она не выносит сырых пуховиков. Прикоснешься к ним, и кажется, что они покрыты плесенью. Марта стащила с постели пуховики и развесила их на стульях, а стулья придвинула поближе к печке.

— Что ты делаешь?

— Боюсь, что они влажные.

— Похоже на туристскую ночевку. Только гитары не хватает,— попытался сострить он.

— Мне не до песен. У меня какое-то предчувствие, что все кончится плохо,— сказала Марта.

— Не хмурься, дорогая, прогони мрачные мысли. Погоди-ка, ведь у нас есть немного коньяку,— он старался казаться веселым, но сам чувствовал, каких усилий это ему стоит.

Он открыл дорожную сумку и вынул оттуда маленькую бутылочку.

— Рюмки прежде стояли там, в горке. Но теперь их, наверно, уж нет,— сказала Марта.

В горке на самом деле не было ничего. Лежала только запыленная бумага, а когда Фишар ее оттуда вытащил, осторожно, чтоб не испачкаться; оказалось, что это фотография Гитлера.

— Всякая слава что полевая мурава,— сказал Фишар, кладя портрет обратно.

Он подошел к умывальнику и вымыл две баночки из-под горчицы, которые служили, видимо, для полоскания рта.

— «Горчица Фараржа самая аппетитная»,— рассмеялся он.— Твой не раз ездил с Фараржем на охоту. Куда-то за Гостиварж. Как эта горчица приготовляется? На всем, очевидно, можно заработать.

Он налил по четверти баночки коньяку и, подавая одну из них Марте, сказал:

— За процветание нашего предприятия, Марта, за наше благополучие и твое хорошее настроение!

«К чему разводить церемонии с такой каплей коньяку»,— подумала она.

Но потом вспомнила о Годуре и о том, что хотела отомстить Альфреду. Однажды она провела ночь в этом номере с молодым офицериком с кржижановского оружейного завода. Старик Враспир мог бы разболтать об этом. Но он оставался глух и нем — тут ему надо отдать должное,— он всегда был очень тактичен. Она даже не припомнит теперь, как звали того офицерика. У него было такое странное немецкое имя — вполне возможно, он и был немцем. Наверно, он погиб — кто знает, что с ним потом случилось. Держался светски, но был совсем невинный мальчик. Определенно. Когда она разделась перед ним, он затрепетал как школьник и стал целовать ей, дурачок, руки. Потом она никак не могла от него отвязаться, хотел из-за нее покончить с собой.

— За твое счастье, Альфред,— сказала она, но слова застревали у нее в горле.— Я хочу, чтобы ты поверил — я желаю тебе всего самого лучшего. И радости в твоей любви тебе желаю.

— Не говори об этом,— сказал он.— Это просто наваждение, которое с каждым может случиться. А также немного любопытства. Теперь у меня уже никто и ничто не вызывает любопытства.

— В самом деле ничто?

Господи, как ей противна эта комедия! Она налила себе еще коньяку.

— Сегодня я только твой, Марта. Судьба свела нас вместе именно в то время, когда я по тебе снова затосковал.

«Погоди ж ты, свинья,— подумала она.— Лучше бы ты об этом не говорил».

Вслух же она только рассмеялась. Коротко, вызывающе, уверенно. И вдруг она почувствовала волнение, по телу ее пробежала дрожь. Как будто бы рядом с ней был кто-то чужой, а вовсе не старый, тысячу раз знакомый на ощупь Альфред. Видимо, его та женщина чему-то новому научила. Но чему же она могла научить его?

Марта должна была еще немного выпить, и он тоже. Бутылка была уже пуста.

— Мне хотелось бы еще выпить,— сказала она.— Принеси что-нибудь, пока внизу не закрыли. Вот теперь я почувствовала себя лучше.

Она взглянула на часы. Скоро одиннадцать.

— Иди, успеешь, официант, наверно, еще там.

Ему не хотелось идти. Но он знал Марту. Она должна принять вечером свою дозу алкоголя. Да и ему, наконец, тоже хочется еще выпить. Он чего-то боится. Надо прогнать этот страх. Чего, собственно, он боится? Марты? Нет, не Марты. Он слишком хорошо знал ее, чтобы не понять,

чем все в конце концов завершится. И именно это было ужасно неинтересно.

«Но что с ней поделаешь?» — подумал он, когда вышел в холодный коридор. Ледяной воздух привел его немного в себя.

Люция в эту минуту находится у Ольги. Та приглашает ее к себе только тогда, когда нет опасности, что она встретится там с Мартой. Сегодня утром его неодолимо потянуло к Марте. Теперь желание угасло. И в этом повинно, вероятно, громоздкое супружеское ложе. Он до мельчайших подробностей знает, как будет дальше. Он переспит с нею, и все будет до отчаяния ему знакомо, потом Марта начнет плакать, и он должен будет утешать ее, затем Марта начнет допытываться, любит ли он ее хоть немного, и он будет ее заверять, что да, только чтобы получить возможность заснуть, только чтобы больше не было никаких разговоров на тему любви и дружбы. Он хочет покоя! Нет, он не боится Марты. Страх — как еще назовешь это сжигающее сердце ощущение? — вызван чем-то другим. Он старается заглушить в себе этот страх и снова что-то внушает себе. Откровенно говоря, они дураки, наши лидеры. Они того же поля ягоды, что и протекторатные министры. У них одно в голове — притворяться, корчить из себя дипломатов. Самовлюбленные, надутые субъекты. А это всегда плохо. Пузырь вдруг лопается, и конец красоте. Осторожно, ступенька!

Едва не оступившись, он вошел в ресторан. Старший официант сидел один у стола и читал какую-то книгу.

— Извините, что тревожу. Что хорошего читаете?

Интересно, он говорит с ним, хотя ему вовсе не хочется разговаривать.

— Пожалуйста. Это Уэллс,— сказал официант и вскочил.

Фишар заказал бутылку коньяку.

— Из старых запасов хозяина,— сказал официант, подавая коньяк.— Прима!

Это был «Бризар». Завтра старик Враспир сдерет за него втридорога. Обратно Фишар шел медленно. К номеру вела крутая лестница, а ему казалось в последнее время, что у него пошаливает сердце. Он перестал пить кофе и почти не курил. Разумеется, он живет теперь намного беспокойнее, чем тогда, когда жил с Мартой. Люция после спектаклей часто засиживается с ним допоздна, ей кажется, что только тогда начинается жизнь. Просто она так привыкла. Чтобы выдержать такой режим дня, он должен был отказаться от многих удовольствий. Но Люция этого стоит. Честное слово, это такое прелестное создание — свежее, как роза, капризное, как апрель, веселое, как солнце, полное жизни, как морской прибой...

Марта между тем расстелила на кровати пуховики. Сняла перед зеркалом ожерелье и положила его на ночной столик. «А ведь он будет при этом думать о ней, об этой девке! Честное слово, так хочется мне отомстить ему». Она не станет раздеваться. Иногда он предпочитает, чтобы она была в одежде, это его, видно, возбуждает. В последнее время только так и бывало — все всегда происходило второпях и при самых неподходящих обстоятельствах. Он уже пресыщен ею, а она уже не в состоянии придумать ничего нового.

Она услышала, что он вернулся. Придвинула маленький столик к печке и приставила к нему два кресла.

— Вот дурéнь! Забыл про рюмки,— сказал он, появившись в дверях.

Она махнула рукой. Протянула ему свою баночку от горчицы, и он налил в нее немного коньяку.

— «Бризар»,— сказала она удивленно и признательно.— Где ты достал?

— Из старых запасов. Вот пройдоха!

Он сел в кресло у столика.

— Я уже не раз хотела у тебя спросить. Ты о Смите ничего не знаешь?

— Нет, ничего,— ответил он удивленно.— С чего это вдруг ты о нем вспомнила?

— Не знаю,— произнесла она задумчиво.— Мне припомнился тот вечер...

— Что?

— Тот вечер, в канун революции. Когда молодой Бездек предсказывал нам, что мы обречены на гибель.

— Мы-то ведь не погибли,— сказал Фишар, но прозвучало это отнюдь не убедительно.— Разве что к утру можем замерзнуть тут...

— Возможно, что он ошибся только на какой-то год. Иной раз посмотришь вокруг, и действительно кажется, что Владимир прав. Все обречено. Все опустошается, приходит в упадок, дряхлеет. И мы неумолимо стареем, Альфред.

«Невероятная мудрость»,— подумал он. Ему всегда было неприятно ее хныканье. А сейчас ее стоны раздражали особенно. Надо было перевести разговор на другое. Он посмотрел на нее — у Марты была оголена шея, она сняла жемчуг, расстегнула две верхние пуговки платья; он видел ее грудь, стянутую розовым лифчиком.

Она сидела положив ногу на ногу. Юбка у нее слегка приподнялась. В зеркале напротив он видел линию бедра. Обычно она сидела в такой позе, когда была пьяна. Но сегодня она не пьяна и ведет такие речи, из которых следует, что она думает о чем угодно, но только не о любовных наслаждениях. При воспоминании о том, как она умела любить, с какой страстью она ему отдавалась и какой была ненасытной, он снова распалился. Голова Марты была откинута назад, в одной руке она держала баночку с коньяком, а другая свободно лежала на подлокотнике кресла. Он придвинулся к ней поближе и положил ей на колено руку.

— Марта,— шепнул Фишар.

— Хм! — произнесла она в ответ, но не шелохнулась.

Он хорошо знал это ее «хм». Это опасно. Он все знал. Означало это: да, я отлично понимаю, чего ты хочешь. Не буду защищаться. Делай со мной все, что тебе заблагорассудится. И все же это «хм» отдает горечью и безразличием. Короче говоря, оно означало: ничего не поделаешь. Это единственное, что нам остается. Иначе буду хныкать еще больше.

И она знала, как он будет действовать дальше. Чувствовала его руку, его прикосновение. Это неизменный, прежний Альфред, все, что он умел в любви, всему этому научила его она, Марта. И возможно, что это будет у нее с ним в последний раз. Однажды ведь все-таки должно быть это «в последний раз». Откуда-то дует, холодно, как в космосе. Ничего в ней не вызывают, ничего ей не говорят его прикосновения, она холодная, угасшая. И где-то близко готовится конец света.

Повалилась на спину и... Сколько раз лежала она вот так, навзничь. Собственно, ничего другого в жизни она и не делала. Все всегда кончалось тем, что она падала навзничь. Сколько мужчин было у нее? Однажды она попыталась сосчитать. Но потом откуда-то вынырнуло забытое лицо, и она обнаружила, что еще кое-кого забыла. Воспроизводила в памяти когда, где и как это происходило. В последний раз — никогда после она не испытывала угрызений совести,— в последний раз это бы-

ло, правда недолгое время, с молодым Бездеком. Он был циничен, и ей нравилось, что из этого он не делал больше, чем оно того стоит. Открылся ей, что совратил Ольгу. Ей стало смешно. Это, мол, ему совершенно ничего не стоило. Охотно верит. Ольга в таких вещах просто романтическая дура. Ну, она, конечно, не станет ей об этом говорить, но необходимо как можно скорее выдать ее замуж за какого-нибудь приличного парня, только не за такого, как этот вздыхающий лопух Янеба.

Она чувствовала, как рука Альфреда добирается к ней, возможно, он что-то говорит ей, но она думает о своем. Могла бы даже спокойно сосчитать мух на потолке. Ну ладно, доиграем эту комедию.

Ей показалось, что она слышит шаги на лестнице.

— Подожди! Кто-то идет,— сказала она.

— Кто может идти?

Однажды — это было достаточно много лет назад — старый Враспир застал ее врасплох. Ведь это просто смешно, если такая вещь повторится снова. За Мартой тогда увивался художник Янчаржик. Она жила тут с семьей в своей летней вилле, встретила его однажды в лесу — он рисовал какие-то березки — и попросила разрешения посмотреть на его работу. Она подсела к нему и наблюдала, как он накладывает краску на краску; ее поразило, с какой уверенностью он водит кистью. Он подарил ей потом несколько этюдов, Альфред, конечно, заявил, что это мазня, но ей они нравились. Марта едва успела привести себя в порядок, как раздался стук.

— Войдите,— сказала она.

Альфред стоял, повернувшись к окну, и закуривал сигарету. Марта поспешно налила себе коньяку.

Это был старик Враспир. Марта чуть было не расхохоталась, но ее немного встревожило серьезное — что там серьезное! — испуганное выражение лица Враспира.

— Что с вами приключилось? — воскликнула она.

Альфред обернулся и взглянул на Враспира.

— Извините,— сказал Враспир и пригладил седые усы.— Извините, не хотел вас беспокоить, но подумал и решил, что должен поделиться с вами.

— Так что же! Что произошло? — Фишар, уже вполне успокоенный, подошел к Враспиру.

— Я все думал, как бы вы не совершили утром какой-нибудь неосторожный поступок...

Враспир стоял посередине комнаты, Фишар взял его под руку и подвел к столику.

— Присядьте, господин Враспир, как видите, мы еще не спим.

— Благодарю, благодарю. Не хотел бы вас задерживать, вы в этом сами разберетесь. Но, когда расскажу, увидите, что это для вас важно! Знаю, почему вы здесь. Говорила мне госпожа Прухова...

— Ну, выкладывайте же! — нетерпеливо сказал Фишар.

— Коммунисты готовят путч,— сказал Враспир и сел.— Слушал только что Америку. Собственно, путч уже начался. Какие-то воззвания уже передали по радио.

— Кто? Американцы? — спросила Прухова.

— Нет! Коммунисты. По пражскому радио. Я его не слушал.

— А, черт! — вырвалось с досадой у Пруховой.

— Что передавали? По тому, американскому...— допытывался Фишар.

— Обращались к патриотам,— сказал Враспир.

— А что коммунисты?

— Говорю же вам, что Прагу я не слушал.

Похоже было на допрос. Вытягиваешь из него слова, как волос из матраца, подумала Марта. Теперь уже ничто не вызывает сомнений. Инстинкт никогда не обманывал ее. Знала: еще сегодня что-то произойдет. Теперь только поняла, что весь день предчувствовала это. Недаром она не поддавалась утешениям Альфреда. Такие события носятся в воздухе. Их чувствуешь так же, как ревматик чувствует перемену погоды. Почему, например, она вспомнила именно сегодня о Смите и о вечере в канун революции? И вспомнила об этом дважды. Она бы даже не удивилась, если бы сейчас отворилась дверь и он вошел сюда.

— А что коммунисты... об их обращении не говорилось ничего?

— Сообщают, что они призывают народ быть в полной готовности.

— Народ,— с явным облегчением произнес Фишар.— Что им остается еще, кроме как *мобилизовать* народ. Ничего другого они просто не умеют. Вечно мобилизуют народ. Клянусь богом, уже началось. Пользы им от народа будет теперь, как от козла молока. Если хотите знать, никакого народа не существует. Что такое народ? Это фраза! А фразами никогда ничего не завоевывали. На этот раз, господин Враспир, им дорого обойдутся их иллюзии о народе.

Он раздраженно расхаживал по комнате, от окна к креслу, где сидел Враспир, от кресла к окну.

— Я так и думал, что вы лучше меня разберетесь во всем,— сказал старик Враспир.— Ведь я в таких вещах ничего не смыслю. Я только боюсь.

Фишар рассмеялся.

«Волков бояться — в лес не ходить»,— совершенно́ определенно скажет он сейчас»,— подумала Марта.

— Волков бояться — в лес не ходить, дорогой господин Враспир,— бодро заявил Фишар.

В компании, принимавшей остроты погрубее, он обычно в таких случаях произносил со смаком: «Кто боится — тот гадит у себя в сенях». Сейчас ему, вероятно, показалось не вполне уместным такое сравнение, и он употребил более спокойный вариант. Но когда Враспир говорит, что он боится, Марта его удивительно хорошо понимает. Она тоже боится. Вдруг стала чего-то ужасно бояться. Один только Фишар почему-то не боится. Он полон бодрости. Но Марта уже давно не верит в его бодрость и не верит его воинственным выкрикам.

— Они получат то, чего хотели. Да, господин Враспир, нельзя безнаказанно насиловать человеческую натуру. А что делают коммунисты? Насилуют человеческую натуру.

— Да, да, именно так! Верно!— кивал головой Враспир.— Я же говорил, вы сами разберетесь. Наш Яроуш тоже говорил, что у коммунистов ничего путного не получится.

— Они насилуют естественное стремление человека к авантюризму. А что такое авантюризм? Предпринимательство. Любое предпринимательство и есть авантюризм. Они это все, конечно, сводят к капиталистическому стяжательству, эксплуатации. Ну, понятно, авантюризм не признает ни сентиментальностей, ни авторитетов. И они тоже ничего этого не признают.

— Ну да! Ну да! — кивнул Враспир.— Конечно авантюризм.

— Создали фантомы: народ, нация, классы! Ничего этого в действительности не существует!

Фишар ходил взад и вперед по комнате и, нарушая привычки последнего времени, курил сигарету за сигаретой и пил коньяк.

Марта хотела бы ему поверить, да не могла. Без конца говорят: «Народ!» Пусть его называют как угодно, но он есть. Народ — это мужлан из заводского совета, у которого под ногтями грязь, такие отвратительные ногти, каких она, вероятно, еще никогда не видела; это ничтожество Рознерова, даже если у нее есть приличный халат; это Янеба, который пролез к ним в дом; возможно, что это и Шейбал, который надевает на себя хороший костюм. Это совсем другой мир. Неизвестно, конечно, сколь он велик, но она опасается, что он все же огромен, колоссален, что он разливается, как море грязи, и подступает к порогу ее дома, подмывает его стены, разрушает фундамент, покрывает его плесенью.

— Ну да! Ну да! — кивает старик.— Яроуш говорил, мол, вешать будут.

Он встал, заковылял к двери. Прежде чем уйти, обернулся и повторил:

— Я говорил, что вы разберетесь.

Они снова остались одни. Фишар, задумавшись, стоял у окна, Марта, совершенно убитая, сидела в кресле. Может, ей лечь навзничь. Это единственное, что ей осталось и что она способна сделать.

Он подошел к ней, погладил по лицу, это было ей неприятно, она слышала, как он сказал:

— Прости, дорогая.

Она встала и разделась. Надела фиолетовую пижаму, и когда ложилась, у нее возникло ощущение, что она ложится в гроб.

7

— Я должна идти домой,— прошептала Мария, но глаз не открыла.

Она лежала на его железной кровати, натянув по самый подбородок одеяло, расслабленная, виноватая и целомудренная. Голова ее немного запрокинута, глаза закрыты. Из гладко причесанных, связанных на затылке в пучок волос выбилась прядка. Голова Ондржея лежала теперь на подушке рядом с ее сияющим белизной виском. Он смотрел на нее и не верил, что эта красота принадлежит ему, а когда осознал, у него закружилась голова. И необходимо было снова убедиться в этом. Он слегка прикоснулся к ее виску. Она открыла на мгновенье глаза, и глаза ее светились нежностью. Ондржей вдруг почувствовал боль в груди. Но это была не обычная боль. Все внутри сжалось у него от тревоги.

— Ты здесь. Почему ты здесь?

— Я не знала, что уже давно принадлежу тебе. Что ты принадлежишь мне. И вдруг мне стало страшно, я испугалась, что потеряю тебя. Я ужасно испугалась, Ондржей.

Она сказала ему это еще минуту назад, а он это все еще мысленно повторяет. Даже не он! А что-то в нем непрерывно повторяет. Эти слова остались здесь, в небольшом полутемном пространстве, не ушли, они все еще звучат, и это, вероятно, причиняет Ондржею боль.

«Любовь причиняет боль,— думала Мария, продолжая лежать с закрытыми глазами.— Ведь это странно, что любовь причиняет боль. Наверно, все, что только есть на свете прекрасного, должно причинять боль. Любовь необходима даже больше, чем жизнь. Нет, любовь — это жизнь. Но, пожалуй, человек не так боится за свою жизнь, как боится за свою любовь». Она хотела сказать об этом Ондржею, но не могла произнести вслух ни слова. Она могла только думать об этом.

— Я, наверно, очень плохой, Мария,— сказал Ондржей.

Она приоткрыла глаза и увидела, что он на нее не глядит. Уста-

вился куда-то в угол комнаты и смотрит пристальным, немигающим взглядом; на лоб его набежали морщинки, а губы плотно сжаты. Она закрыла глаза и счастливо улыбнулась. Что он сказал? Он очень плохой? Вероятно, он сказал: «Мария, ты плохая». Да, она плохая, очень плохая. Думает всегда только о себе. Не подумала об Ондржее и не думает сейчас о Терезке. В какую-то диковинную клетку попадает человек, как только его охватывает счастье. Защелкивается за тобой замок, и ты забываешь все на свете. Замок защелкнулся. Где-то далеко существует Терезка, далеко где-то существует остальной мир, идет какая-то жизнь, а тут только ты и Ондржей. Это небольшое пространство — огороженное стенами его комнаты — это и есть твой мир. Окна заделаны решеткой счастья, никуда не убежишь. Такое счастье может сделать человека эгоистом. Очень большое счастье так же, как и очень большое несчастье. А человек не должен быть эгоистом, он должен думать о других, все так говорят, и Ондржей так говорит. А возможно, это пока еще так должно быть, что человек своим счастьем причиняет другому боль.

— Я плохая. А ты хороший...— прошептала она.

Он рассмеялся с горечью, и это заставило ее внимательно поглядеть на него. Он сидел так же, как сидел, по-прежнему глядя на стену перед собой.

— О чем ты думаешь?— спросила она.

Ондржей повернулся, ее плечо было обнажено, и он прижался к нему щекой. Она вдруг одарила его так щедро, так внезапно и так неожиданно. Ведь он уже примирился с тем, что у него навсегда останется только большая печаль, мука и тоска по Марии. Он уже от нее отрекся. Наверно, свыкся со своей мучительной тоской. Кто знает. А сейчас он просто потерял голову от счастья. Он скорее сумел бы, вероятно, отказаться, чем принять его. Свыкся с необходимостью отказываться, не научился еще принимать. Всегда ему приходилось с трудом всего добиваться. И жизни, и любви. *Ее* любви. Возможно, что иногда даже труднее принимать подарки, нежели дарить.

— Я думаю о том, до чего же я плохой. Ты даже не представляешь, до чего я плохой, Мария. Сможешь ли ты меня любить, если узнаешь, какой я? Какой я на самом деле.

Она всегда немножко боялась Ондржея. До тех пор пока не узнала, какой он. Какой он на самом деле. Пока она не проникла за броню его молчаливости, его строгости. Пока не поняла, что таится за его нахмуренным лбом. Тот был обыкновенный Ондржей. А теперь он необыкновенный.

— Ведь я знаю, какой ты,— сказала она, улыбаясь, и обвила его шею рукой.

— Не знаешь, Мария...

— Знаю.

— Я тебе все расскажу, Мария. Все о себе расскажу. Но не сейчас, сейчас хочу быть только счастливым, потому что ты со мной, моя.

Она с ним. Он обнимает ее, целует ее, прикасается к ней, а она не защищается, отвечает ему поцелуями, погружает свои пальцы в его волосы, да, да, он чувствует ее руки, чувствует ее аромат, это действительно так, боже, это так. Нет, это не сон.

Возможно, что с первых дней своей жизни носил он в себе ее образ. Возможно, что каждый человек носит в себе образ какой-то большой любви, несбыточную мечту. Глупости. Ведь это Мария. Просто Мария Рознерова. Никакая ни мечта и никакой ни образ. Обыкновенная женщина из плоти и крови, которой хочется любить. И Ондржей — обыкновенный мужчина из плоти и крови, который нуждался в любви.

— Все тебе расскажу,— шепчет он в счастливой истоме.

— Все мне расскажешь,— повторяет она.— Теперь мне надо идти, Ондржей. Ради Терезки. Погаси, пожалуйста, свет, погаси, я хочу одеться. У меня не хватит смелости сказать Терезке...— слышится в темноте ее голос.— Как же мы с нею решим быть?

Он рассмеялся. Ее слова вдруг рассмешили его. Все в жизни приходится решать, подумал он. И вопрос о человеческом счастье и несчастье. Все можно решить, он уверен. Только этот вопрос нельзя. Счастье и несчастье можно только переживать.

Мария включила свет; застегнула белую блузку и, связывая сзади волосы в узел, смотрела на Ондржея и улыбалась — теперь она улыбалась совсем иначе, чем тогда, когда вошла сюда. Улыбалась уверенно, улыбалась ему, Ондржею, человеку, который теперь принадлежал ей. Уже ничто не разделяет их. Он ее муж, а она его жена, они все друг о друге знают. Не знаешь, Мария, в том-то и дело, что не знаешь. Ничего обо мне не знаешь...

Он прошелся по комнате. К двери, а от двери к столу. Там остановился, повернувшись к Марии спиной. Решил сказать ей все. Что же он ей скажет? Что должен был хоть на миг испытать счастье. Имел на это право. Что желал хоть один раз в жизни познать, как бывает, когда человек достигает того, что казалось ему недостижимым. Познать это сладостное головокружение. Если бы он был осужден на смерть — а он вполне мог быть осужден на смерть...

Вдруг он почувствовал, что она рядом. Обхватила его руками, прижалась к нему, ее голова на его плече.

— А что, собственно, происходит с Терезкой? — обернулся он к Марии и взял ее за руки.

— Она тебя любит, Ондржей,— сказала Мария, улыбаясь.— Что будем с ней делать?

Ондржей засмеялся.

— Это не так уж страшно. И вообще глупости... Найдем ей кого-нибудь другого...— пошутил он.

— Но пока она не должна об этом знать. Лучше тебе не заходить к нам некоторое время. Найди какую-нибудь отговорку.

Он помог ей надеть пальто и подошел к шкафу взять свое.

— Слышишь? — сказала Мария.

За окном раздался свист, потом еще.

— Махарт! — позвал кто-то.

Мария вопросительно взглянула на Ондржея. Он пожал плечами и вернулся к столу. Отвернул угол занавески и приоткрыл окно. Струя морозного воздуха ворвалась в комнату.

— Кто это?

— Я! Бенедикт. Мне надо с тобой поговорить. Черт, да посвети же, не то я расшибусь на вашем проклятом дворе.

— Чего тебе надо? — холодно спросил Ондржей.

— Есть дело. Прежде всего посвети и выходи!

Ондржей закрыл окно и снова завесил его.

— Бенедикт! — сказал он удивленно.

— Завтра будет знать весь завод...

— Да нет...— махнул он рукой, собственно, хотел махнуть, но беспечного жеста у него так и не получилось.— Да нет! Он мой,— вспомнил Ондржей свои слова, сказанные Тонке.

На полочке стоял будильник.

— О, уже половина двенадцатого! — воскликнула Мария.

— Погоди, я сперва с ним поговорю,— сказал Ондржей и вышел из комнаты.

Мария быстро набросила на постель коричневое одеяло и, не снимая пальто, села на стул. Смотрела на печку. Сквозь слюду просвечивалось пламя.

«Вот и все!» — подумала она. Эти слова возникли как-то сами собой, она даже не улавливала ни их смысла, ни того, почему едва их не высказала. Почему же это так? Наконец она получила то, чего хотела, о чем тосковала, о чем страстно мечтала. А ведь страстно мечтать можно о чем-то прекрасном. Но нельзя ведь стремиться к одному и тому же вечно. Долгая тоска и утомляет и убивает. Истоскуешься или настрадаешься. Марии эти два слова, которые неизвестно почему попали ей на язык, понравились. Она несколько раз повторила их шепотом. Истоскуешься или настрадаешься. А потом ей стало смешно. И она еще продолжала смеяться, когда в комнату вошли Ондржей с Бенедиктом.

8

Вдруг комната заполнилась. Пришел Кайда со своей унылой женой, которую звали Лина, Ержабек сопровождал Люцию Маредову. Владимир сделал вид, будто спит. Он сидел в кресле, прикрыв рукой глаза, однако воспринимал все необычайно остро. Ему казалось, что он может отгадать судьбу каждого из них, прочитать их сокровенные мысли, распознать, когда и кто притворяется и разыгрывает комедию. Правда, притворяются и разыгрывают комедию все и постоянно.

Владимиру уже было знакомо такое состояние. Раздражительность, повышенная чувствительность, сочетающаяся со своеобразным ясновидением или по крайней мере с проницательностью. Он как туго натянутая струна — еще немного, и она порвется. Это, наверно, оттого, что он пьет. Знакомый врач сказал ему: обычная истерия, необходимо бросить пить и какое-то время вести упорядоченную жизнь. Сегодня он пьет с самого обеда. Он уже не способен встать на ноги, поздороваться, подать руку. И, кроме того, сама мысль, что он должен улыбаться, пожимать руки этим идиотам, противна ему. Он беспричинно вспыхивает, совершенно не может владеть собой. Швырнул только что в Янебу бутылкой. Он даже не знает, почему так поступил, почему поссорился с ним и почему его всегда раздражает этот вздыхающий лопух, как его иногда называет Марта. Но, разумеется, Владимира раздражает все. И он сам себя раздражает. И самому себе в таком вот состоянии приходится говорить беззастенчивую правду, на которую он не отважится при других обстоятельствах. Он опускается на дно. Он разлагается. Возможно, что когда-то он чем-то был, что-то значил или мог значить, но теперь ему уже только приходится притворяться, что он кто-то, что кое-что значит либо может значить. «Хорошенько запомните имя Владимира Бездека!» — писал о его последней книжке стихов профессор Пахнер. А Пахнер — это не просто кто-нибудь, а один из тех людей, у которых в наше время еще есть голова на плечах. Только это было в конце войны, а с той поры с Владимиром происходит что-то такое, чего он сам никак не может понять. В нем погас огонь, вернее, он сам загасил его алкоголем. Выжат как лимон. Весь высох, истлел. Остальные, может быть, тоже заражены тленом, только они сумели вовремя спастись. Раньше они почтительно прислушивались к пророчествам Владимира, теперь перестали подавать ему руку. Он ничего не видит, не знает, он уже «бывший», он не понял эпохи, остался в стороне, его разбило вдребезги.

Много раз стоял он перед искушением капитулировать. Это вполне возможно. Вступишь в компартию или напишешь в статье, что все понял, что у тебя открылись глаза, рабочий класс, ура, слава, новая жизнь во веки веков, а в сущности испокон веку, прекрасная молодежь и смелые перспективы будущего. Напишешь это, а думать можешь что угодно. Если же он до сих пор не сделал этого, то только потому, что у него еще есть время. Это можно сделать всегда, хотя в последние дни, как ему кажется, уже припекает. Станет снова, как прежде, поэтом, вымучит несколько стишков об алой заре на Востоке и может начать переделывать мир и исправлять человека. Прискорбный конец! Один только господь бог знает, откуда это он в себе выкапывает. Хотя бы то же притворное воодушевление и притворный пыл. Плевать на характер, ничего такого не существует, плевать на людей и плевать на мир. А миру наплевать на него. В сущности все обманщики. И он, Владимир, обманщик. Только одного он не может понять, откуда некоторые люди черпают силы и волю непрестанно переделывать мир.

Проповедуют, морализируют, напоминают, решают, выдвигают программы, рисуют мир будущего, бесклассовое общество, с жаром толкуют о завтрашнем дне, о светлом будущем человечества и о новом человеке. Возможно, этому научится и он, Владимир, когда решится на капитуляцию.

Владимир давно уже не может ничем зажечь себя, не может никого полюбить. А хотел бы, безумно хотел бы полюбить! Он лишен чувства! Не способен на чувство. Да и существует ли оно вообще? А может, существует сочувствие? Настоящее участие к другому? Сила жертвенности во имя идеи? Есть ли на свете такая идея, ради которой стоило бы жертвовать собой? Нет, он выразил свою мысль не так. Когда-то он был способен на сильные чувства! Способен был ненавидеть! Завидовать! Возможно, что он был способен и убить, и поджечь, опрокинуть все, что еще твердо стоит, что существует, что еще имеет силу притворяться, что-то изображать, выдавать себя за нечто...

Он, Владимир, утратил теперь способность даже притворяться. Цепенеет от страха при мысли, что его кто-то сумеет разглядеть. А что, если кто-либо узнает, что там, внутри, у него — грязь, слякоть, мусор. Тогда он уже не сможет натягивать на себя маску исключительной личности, которая все видит, которая все знает. Он будет слоняться на этом скорбном карнавале без маски, порой ему кто-нибудь швырнет кусок, а он его либо покорно поднимет, либо не поднимет и взбунтуется — тьфу! Раз можно выбирать, то почему именно он надевает на себя маску мученика? Пусть лучше он уподобится этому паяцу Янебе. Маски, маски! Они повсюду в мире, как и в этой комнате.

— Что это сегодня с Владимиром? — спросил кто-то, склонившись над ним.

Маска! Маска, которую зовут Лина.

— Напился, как водится! — ответила маска, которую зовут Ольга.

Он слышит ее и понимает. Ему хочется показать ей язык, нагадить на ее бежевый ковер, сотворить что-нибудь такое...

«Геростратовская натура»,— сказал о нем однажды этот грандиозный обманщик Фишар. Грандиозный! Он единственный обманщик, который носит маску грандиозного. А внутри грязь, слякоть, мусор.

Янеба! Маска мечтателя, скромного человека, идеалиста, который стремится к познанию. При этом страдает комплексом неполноценности. Способен думать только о том, как переспать с Ольгой. Сохнет, тоскуя и боясь этого. Грязь, слякоть, мусор. Люди в сущности не бывают ничем другим, кроме как обманщиками. Мелкими или крупными, но всегда

обманщиками. Исключение составляют тупицы, скудоумные, божьи коровки; волейболисты, короче говоря те, кто здоровы. Янеба, возможно, не хочет быть обманщиком, но чем больше он не хочет быть им, тем большим обманщиком он становится. Вот сидит он, все еще обалдевший от того, что Владимир швырнул в него бутылку. «Мог угодить в меня! Было бы несчастье!» — думает он. Что бы Янеба мог еще сделать в жизни, что бы он хотел сделать? Что бы он ни пытался сделать, он обязательно впутает метафизику, любовь и дружбу. Только он дурак. Если бы у него была способность понимать людей, знал бы, что он, Владимир, тоже обманщик, но чуть получше. Не должен был бы пугаться, знал бы, что он этой бутылкой в него не угодит. Потому что на это он, Владимир, не способен. Потому что трус. Не ударил его просто из трусости, вернее, из страха перед последствиями. Не из-за Людвика, нет, избави боже! Владимир не сентиментален. А из-за последствий, которые бы могли сказаться на нем самом, на Владимире. А Янеба этих последствий просто не стоил. Если уж Владимир кого-нибудь ударит, это должно стоить того. Это должно быть ослепительно, как фейерверк...

Он перебрал присутствовавших одного за другим. Ольга. Маска и обманщица. Она тоже еще, возможно, сопротивляется и тоже, чем больше сопротивляется, тем больше становится обманщицей.

«...но поразительно непрактичный. На нем виден каждый след,— говорит она и будет повторять это еще десятки раз на десятки ладов: — Боже, до чего красив этот ковер!»

Ковер как ковер. На человеческих душах тоже можно увидеть каждый след. И душа, возможно, прекрасная, но очень непрактичная вещь. К несчастью, а может быть, к счастью, еще не изобрели пылесоса для человеческих душ! И это забавно. Именно он, Владимир, запачкал душу Ольги гораздо больше, чем за минуту до этого ее ковер. В один прекрасный день она превратится в законченную циничную и холодную обманщицу. Она уже со щербинкой. А кто в этом виноват? Он, Владимир. В сорок пятом году это было. Тут, на этой тахте. Теперь там сидит Янеба, похожий на мокрую курицу. Возможно, что тогда она поддалась скорее собственному любопытству, чем Владимиру, но это, в конце концов, вовсе не меняет сути. Потом, понятно, все перешло в истерический припадок. Он не смел какое-то время показаться ей на глаза.

Через год Ольга встретилась с ним.

«Ты во мне что-то убил»,— сказала она с трагическим видом.

«Иллюзии, моя милая, и ничего больше!» — ответил он.

«Ничего подобного я не хотела!»

Вот дура!

«Ничего подобного не может произойти, если женщина этого не хочет»,— заметил он.

С минуту она помолчала, а потом сказала:

«Послушай, и это все?»

Тогда это, конечно, показалось ей нестоящим делом. Для дебютанток это никогда не кажется стоящим делом. Но что он мог на это сказать?

«Иногда бывает и похуже!» — заметил он.

От Кайды он узнал, что с той поры Ольга страшно боится *этого*. Она, мол, никогда не допускает, чтобы дело дошло до физической близости. Тот тоже хотел с ней переспать. Кайда! Великолепный экземпляр обманщика. Просто классический! Величественно расхаживает по комнате, болтает об искусстве, поднимает стакан и выставляет напоказ белые зубы. Подвизается теперь в кино и на поприще чувств. Без глу-

боких чувств не чихнет. Изливает их теперь на Ольгу. Когда же дело должно было дойти до *этого*, она устроила ему сцену. Швыряла в него подушки, книги, тарелкой угодила ему в лоб — теперь у него шрам. Наконец, успокоившись, она обрушила на него водопад слез. Хотела перевязать ему рану. Жаль, что Владимир не видел сей умилительной сцены. Кайда до того напугался, что тут же сбежал. Но сохранил, разумеется, дружеские отношения с ней, потому что он обманщик и верит в чувства.

Теперь он, кажется, охотно воспылал бы глубокими чувствами к Люции Маредовой. С нею у него могло бы что-нибудь получиться, Люция по натуре своей обманщица и, как следствие этого, она довольно хорошая актриса. Возможно, что и наоборот. Ведь хорошая актриса — всегда хорошая обманщица. На днях он видел ее в этой чересчур захваленной идиллии, в «Вишневом саде». Обычно же она большей частью играет жизнерадостных комсомолок, а это невозможно выдержать. Сейчас у Кайды, конечно, весьма ограниченное поле деятельности. Он тут с женой. Он называет ее Линой, хотя она просто-напросто Людмила. Потому-то, вероятно, Люция прихватила с собой это бревно, эту бездарь Ержабека. Видел его недавно в пьесе Ануя «Ужин в Сан-лисе». Боже мой, как вообще попал этот балаганщик на сцену?

Держит Люцию за руку, а глаза обращены к потолку. В Люции определенно ощущается какая-то сила. Точнее говоря, порода. Владимира неодолимо влечет к ней, ему хочется померяться с нею силой. Но вполне возможно, что она только удачно разыгрывает из себя сильную натуру, что это просто великолепная обманщица. Хотел бы он увидеть сейчас Фишара...

— А где сейчас наша *милочка?* — спросила Ольгу Лина.

— Мама? Уехала.

— С Фредом? — ухмыльнулась Лина, сказав это так, чтобы услышала Люция.

— С Фредом! — отрезала Люция.

— Правда? Значит, Фреда сегодня не будет. Очень жаль. Он такой чудесный.

Но тоже очень непрактичный. На нем виден каждый след, дура божья! Честное слово, Люция не выйдет из роли. Владимир постарается нащупать у нее уязвимое место. Теперь она стоит возле Янебы. В руках у нее рюмка вина.

— О чем вы думаете? — спросила Люция Янебу, стоя перед ним.

Так вот как она выглядит со спины! У нее в этой узкой юбке бедра просто великолепны. Она слегка покачивает ими.

— Ни о чем. Ровно ни о чем! — сказал Янеба.— Я просто не думаю.

— Короче говоря, он не привык думать,— не выдержал и отозвался Владимир. В первый раз за все время.

Люция и Людвик сделали вид, что не слышат.

— Вы писали о «Вишневом саде». Я полагала, что мы с вами поговорим,— сказала она Людвику.

— Имей в виду, женщины под этим словом понимают совсем другое,— прыснул со смеху Владимир.

Люция взглянула на него, но промолчала. Присела на тахту рядом с Людвиком.

— Великолепно. Именно эта тахта самое подходящее место для разговоров. Зарекомендованное! — заметил Владимир.

Он громко расхохотался, чтоб обратить на себя внимание. Кайда подал ему бокал вина. Он поднял его и выпил залпом. Лина захлопала в ладоши и закричала:

— Наконец-то он проснулся!

Ольга протянула блюдо с бутербродами и сказала ему тихо:

— Ты отвратителен!

— Тут трупный смрад. Надо хоть немного разогнать кровь. Мне известно кое-что такое, от чего вас всех бросит в жар. Нечто совершенно исключительное, что приведет к скандалу.

— Только посмей! У меня новый ковер,— крикнула Ольга.

Люция была поглощена разговором с Людвиком. Это выводило Владимира из себя. Он расточал сейчас свою драгоценную энергию только ради нее. Между тем гоготала одна лишь дуреха Лина. Он вскочил, взобрался с ногами на кресло и, размахивая руками, пытался утихомирить компанию.

— Милые обманщицы и милые обманщики,— провозгласил он.— Начинается игра в откровенность.

Он замолчал и оглядел обращенные к нему лица. Люция посмотрела на него отсутствующим взглядом, но все же посмотрела. Возможно, что у нее есть интерес к таким вещам. Янеба, разумеется, изображал тоску. Его глупая рожа совершенно явственно говорит: «Как это знакомо!» На самом деле он просто притворяется, потому что Владимир забрался в его огород и прервал галантную беседу с Люцией. Кайда и Ержабек — какое великолепное зрелище! Марионетки сохраняют сдержанность. Увидим, мол, что из этого получится. Никогда не знаешь, что Владимир выкинет. Вряд ли это будет шутка и только шутка, что ж, они не против. Только бы их не задел, очень уж нечистая совесть у всех.

Но я вас задену, господа.

— Слезай с кресла,— взорвалась Ольга.— Или сними по крайней мере ботинки.

Владимир скинул башмаки. Они упали на пол, и компания рассмеялась.

Люция сидела совсем близко, Людвик ощущал тепло, которое от нее исходило, вдыхал запах ее духов. В ней есть что-то от красивого животного, даже что-то хищное и беззастенчивое. И притом нежное. Короче говоря, она похожа на человека, который знает, как надо жить. Такие люди всегда привлекали его. Это, вероятно, потому, что сам он не знал, как надо жить. Смотрела она на все прямо, открыто, каждое ее слово, каждое ее движение удивительно дисциплинированны и притом естественны, она простая, хотя для актрисы это невероятно,— никакого кокетства. Людвика она всегда, и каждый раз сызнова, приводит в изумление. Он создал себе о ней совсем другое представление. Он считал ее рафинированной кокеткой, которая добьется от мужчины всего, чего захочет, актрисочкой, которая не столько думает об искусстве, сколько о карьере и для которой все средства хороши, чтобы подняться хоть на ступеньку выше. Но когда бы он с ней ни заговорил или увидел ее на сцене — в последний раз она играла Рашель в «Вассе Железновой»,— он изумлялся ее простоте, ее естественности, ее откровенности, ее ясной душе. Он познакомился с ней здесь, у Пруховых, заходила к ним она, разумеется, изредка, только когда была уверена, что не встретится с матерью Ольги. Не только Людвику, но большинству знакомых было просто непонятно и неясно ее отношение к Фишару. Кто знал ее ближе, того удивляла связь этих совершенно разных по характеру и возрасту людей. Заключение, которое они по этому поводу делали, было простейшим. Деньги. Одним словом, Фишар раскошелился. Но чем больше Людвик узнавал Люцию, тем меньше ему хотелось принимать на веру этот простейший вывод.

— Милые обманщицы и обманщики,— провозгласил снова Владимир, вынуждая обратить на себя внимание. Наконец он привлек к себе даже внимание Людвика.— Не удивляйтесь этому обращению,— продолжал он,— потому что вы, так же как и все остальные, представляете собой крупных или мелких обманщиков. Таков частично и я. Частично потому, что в отличие от вас я это осознаю. Тогда как для вас лгать, притворяться, заблуждаться — совершенно в порядке вещей, ибо стало составной частью вашего естества, а также, понятно, и вашей сущности. Прошу немного внимания, чтобы я мог вам это доказать. Последовательно, одному за другим. Сохраняйте спокойствие, и вы о себе узнаете многое. Речь идет об увлекательной светской игре. Кто желает быть первым, прошу?!

Людвик прислушивался к тому, что говорил Владимир, ему ничего другого не оставалось. Люцию, казалось ему, занимали разглагольствования Владимира. Она прервала на время разговор. Людвика ее близость взволновала до такой степени, что он даже забыл об Ольге. Просто перестал ощущать присутствие Ольги. Он с изумлением обнаружил это.

— Ну что ж, есть желающие принять участие в опыте добровольно? — слышал Людвик выкрики Владимира.— Никого! Это уже само по себе доказывает, что вы еще относительно хорошие обманщики и что вам есть что скрывать. Тем увлекательнее будет наша игра.

— Да говори же, в чем дело! — крикнул Кайда.

— Я приоткрою сокровенные тайники вашего нутра,— подражал балаганным фокусникам Владимир.— Я открою у вас эмфизему легких, обнаружу рак души, воспаление мозговых оболочек и мышц, узнаю, во что вы верите и во что не верите, ваши тайные помыслы и ваши явные поступки. Благоволите сделать несколько шагов!

Людвик смотрел на Люцию. Она испытующе и хладнокровно следила за Владимиром, разглядывала его так, будто это балаганное представление могло помочь ей определить его характер.

— Тщеславный паяц,— заметила она про себя.

Трудно утверждать, но, казалось, Владимир услышал ее слова. Он повернулся к ней и сказал:

— Благоволите, мадам! — и указал ей на кресло, стоявшее перед ним.

К удивлению Людвика, Люция действительно поднялась и пересела в кресло напротив Владимира.

— Садитесь тоже,— сказала она,— и смотрите мне в глаза.

— Именно об этом я хотел попросить вас,— сказал Владимир, соскакивая с кресла.— Я вижу, что вы просто созданы для этой игры.

Прежде чем начать, Владимир налил бокал вина и залпом выпил.

— Это для храбрости, что ли? — сказала Люция почти враждебно.— Только опьянеете!

На минуту воцарилось молчание, оба смотрели друг другу в глаза. Взгляд Люции был уверенный, спокойный, она играла свою роль, как опытная актриса. Владимир в конце концов не устоял и отвел глаза— у него не хватило выдержки.

— Вы незаурядная шлюха,— сказал он.

— Пусть! — ответила совершенно спокойно Люция.— И больше вы ничего не узнали?

Владимир явно вышел из роли. Нетрудно было заметить, как он старается сосредоточиться, чтобы удачной остротой спасти положение. Но все, что он после этого говорил, было мелко, убого, вымученно. Он безусловно чувствовал это и сам. Голос его прерывался.

— Вы обманываете с необыкновенной виртуозностью.

— Кого?

— Сегодня вашей жертвой стала Лина. Кайда ваш любовник. Господин Ержабек, разумеется, настолько глуп, что не понимает этого и думает, что вы его любите. Точно так же, как Фишар, хотя о нем говорить мне не хочется, потому что его здесь нет. И вот только что загорелись еще штанины у Янебы.

Люцию, казалось, и это не вывело из себя. Она оставалась по-прежнему спокойной и сосредоточенной.

Людвик обвел глазами комнату. Лина сидела, закрыв рукой глаза, Кайда, наклонившись, что-то объяснял ей. Ольга не проявляла ни к чему интереса. Стояла лицом к окну и смотрела в темноту.

— Идиот,— сказал Ержабек.

— Будете продолжать? — спросила Люция.

— Для маленькой трагедии этого достаточно.

— Благодарю. Вы жалкий человечек, сохнущий от зависти...

— Превосходно! — воскликнул Владимир.— Игра в искренность начинается.

— Заурядная базарная сплетница,— добавила Люция, затем вполне обдуманно она подняла с пола один из его башмаков и ударила им Владимира по лицу.

Владимир вскрикнул, закрыл лицо руками и повалился на спинку кресла.

Люция отшвырнула башмак и, колотя ошеломленного Владимира кулаками по лицу, крикнула:

— Вот выражение *моих* самых искренних чувств к вам!

Она производила экзекуцию с таким хладнокровием, что никто из присутствующих не отважился вмешаться.

У Владимира потекла из носа кровь.

— Не сходи с ума! — заорал он на Люцию.

Ольга, стоявшая у окна, опомнилась первой.

— Люция,— умоляюще сказала она и попыталась взять ее за руку.

— Осторожно,— ответила Люция.— Я испачкалась. Могу ли я вымыть руки?

9

«Помалкивай! — сказал ему управляющий.— Помалкивай! Никому ни слова, Бенедикт». Смешно! Вечно молчи. Вечно один в квартире. И это называется — квартира! Сырая, холодная, темная нора. Погреб. Через маленькое оконце Бенедикт может только заглядывать женщинам под юбки. Зимой со стен течет вода, а летом смердит плесенью.

Он ненавидит те минуты, когда, побыв на людях, вынужден возвращаться к себе, к своему одиночеству. С того момента когда, закончив рабочий день на заводе и обойдя всех своих заказчиков — он «подхалтуривал» починкой электричества, водопровода, отопления,— Бенедикт остается один, он не знает, куда девать свои руки, свое время, всего себя. Он ненавидит свое тело, он сам себе противен, ненавидит свою берлогу. Когда он попадает в нее, в голове его вдруг начинают вертеться похотливые мысли, жгучая, мучительная тоска; он ненавидит все: и эту впадину в слежавшемся тюфяке, ненавидит и этот образок — на него он вынужден глазеть с той самой минуты, как повалится на постель либо откроет утром глаза. Повесила его над дверью еще мама. Два ангела несут ленту, а на ленте написано: «Дай бог счастья!» Дай бог счастья!.. Дерьмо, а не счастье дал ему бог. Плюет он на Бенедикта.

Не включив света, не сняв пальто, Бенедикт скорее упал, чем сел на край постели и уставился в темноту. Потом привычным движением нащупал под тюфяком револьвер. Это его единственная забава. После работы уляжется, просунет руку под подушку и зажмет в ладони. Дал ему этот револьвер в сорок пятом году некий Крейза.

Маленький револьвер с тремя патронами. Он легко умещался в ладони Бенедикта. Словно крохотный гусенок. И в нем скрыто столько таинственного. В нем скрыта смерть. Бенедикт укладывался поудобнее, упирался ногами в спинку кровати, рассматривал оружие или же нацеливался им на образок над дверью и говорил себе: «Застрелим господа бога. Может, тогда у меня будет больше счастья».

Забавляется с револьвером и представляет себе, как он выстрелит из него — в кого же это он однажды выстрелит? Может, в самого себя, может... иметь бы эту штучку в тот раз в кармане, достался бы этот выстрел Махарту. Столкнулся с ним в темноте у дома Чигаковых. Выходил, видно, прохвост, как раз оттуда.

Махарт думает, что никто ничего не знает. Но Бенедикт знает все. С самого начала знал все. Мучился, изнывал, лежа на своей постели. Как только заберется под эту вонючую перину, сразу же видит Тонку— ее груди, бока, бедра. Нет, не снести ему этого. Пробовал он с Тонкой по-всякому.

«Ну, погляди,— сказал он ей однажды,— от Францека тебе никакого проку. Короче говоря, тебе необходимо то, что требуется каждой женщине. А мне это тоже необходимо. Вот те крест, я не так уж плохо зарабатываю. Хочешь, десять, пятнадцать на блюдечке поднесу...»

«Да пропади ты пропадом, рыжий черт,— сказала она.— А обо мне не заботься!»

Как же! Зачем ему заботиться. Махарт о ней уже позаботился. А Бенедикту пара сосисок с хреном и пиво.

Его словно огнем жгло. Одиночество, тоска, непонятный страх, злоба сжигали душу Бенедикта. Как будто миллионы муравьев ползали по его телу. Что это на него нашло, откуда оно вдруг взялось? Только что сидел он в ресторане и ярился на этого доктора Фишара, который складывал руки, как приходский поп, на эту дамочку, которая так элегантно ковыряла в зубах, а теперь он злится на всех. На себя, на Махарта, на Шейбала, на все и вся и, главное, на свою испоганенную жизнь. Почувствовал отвращение к самому себе. Казалось, он весь покрыт паршой.

«Помалкивай!» — сказал Шейбал.

А старик Паздера говорил: «Предаешь интересы рабочих!» Не забывай, мол, как кончил свою жизнь отец.

Это было после обеда. Паздера сидел на этой самой кровати, взывал к совести Бенедикта, запугивал.

«Твой отец был тоже слабовольный человек! Ты это знаешь, но он не пошел на предательство, а предпочел затянуть на шее веревку».

«Такой радости я вам не доставлю! — сказал Бенедикт.— Махарт, конечно, был бы очень рад увидеть меня в петле. Только этому не бывать!»

«Не болтай чепухи,— прикрикнул на него Паздера.— Отец твой верил, что ты отомстишь за него тем, кто погубили его, кто набросили ему на шею петлю!»

«Это вы, дяденька, расскажете кому другому,— ответил Бенедикт.— Набросил себе петлю на шею он сам. Дома жрать было нечего, а он еще и нахлестался».

«А почему в доме нечего было жрать, а почему он напился — этого ты никогда у себя не спрашивал, лошак ты безмозглый!»

Отцу — веревка, а ему, Бенедикту,— пуля. У них это семейное, станут говорить. Револьвер лежал на ладони, Бенедикт его прикинул — как раз приходится по руке. Что ему эта жизнь, пустая, никчемная, к чему эта беспомощность, это отчаяние? Выползают они, как змеи и скорпионы, из всех щелей. Гложут его изнутри, жгут душу, как раскаленная кочерга. Иисус-Мария, люди, помогите мне, не то начну стрелять, всех вас перестреляю, себя застрелю, видите, достаточно мне подняться и нажать курок. «Помалкивай»,— сказал управляющий, но Бенедикту хочется кричать: «Помогите мне, боюсь самого себя, не ручаюсь за себя, за то, что сотворю, видите, я уже встал, и я...» Нет, нет! Он сунул револьвер в пальто и выбежал на улицу. Ветер наметал сугробы, яростно обрушивался откуда-то с неба; тихо, всюду тихо, только торопливые шаги Бенедикта слышатся на улице.

Он идет, а куда — не знает; время от времени засовывает в карман руку, нащупывает револьвер; Бенедикт идет, ветер наваливается на него, а он отбивается и все идет вперед, сгорбившись, скрючившись, пряча голову в воротник пальто.

Иуда Искариотский! «Иуда Искариотский» — написано под той картиной. Смотрел на нее он вчера, когда чинил в трактире Шпидлена лопнувшую трубу. У человека, изображенного на картине, были странные печальные глаза, бегающие, молящие, в одной руке у него веревочная петля, а в другой — кошель с деньгами. Рыжеватые волосы развевались на ветру. Он такой же рыжий, как и Бенедикт.

Мостик через ручей обледенел. Холодные перила вернули Бенедикта к действительности. Куда он идет? И почему сюда идет? Не знает, но чувствует, что должен идти.

«Почему я сюда иду?» — спросил он себя еще раз, когда очутился на темном дворике Махартов; ноги его разъезжались на обледеневших камнях, впереди сквозь щель в окне пробивалась полоска света, и когда Бенедикт временами вглядывался в нее, то вдруг ничего уже не видел. И голова кружилась. Он прислонился к стене и крикнул... Вернее, что-то в нем самом крикнуло:

— Махарт!

— Черт, вот так погодка! — сказал он, ухватившись за Махарта.

Когда же вошел в освещенную теплую комнату и увидел, что на стуле у печки сидит Мария Рознерова, он почему-то испугался и попятился назад, словно хотел уйти.

— Ах вот как, тогда пардон! — сказал он и растерянно оглянулся.

Но уходить ему не хотелось. Тепло, свет и близость людей словно бы сковали его волю. Приятная слабость и удивительная успокоенность вдруг разлились у него по телу.

— Что тебе нужно? — спросил довольно недружелюбно Махарт.

Сказать, что он не знает? Бенедикт молчал. Мария удивленно смотрела на него, потом вдруг встала.

— Ондржей, мне пора идти. Взгляни-ка, который час.

На маленьком будильнике, стоящем на шкафу, было половина двенадцатого.

— Ну, выкладывай, чего тебе надо,— сказал холодно и нетерпеливо Махарт.

Иисус-Мария, что же ему надо? Что, действительно, ему надо? Почему он сюда пришел? Нащупал в кармане револьвер. Не для этого все же

он шел. Ему уже не хочется стрелять. Ему тут хорошо. Пусть его хоть ненамного оставят здесь. Ему так хочется сесть.

— Ондржей, я пойду! — сказала Мария Рознерова и посмотрела со страхом на Бенедикта, все еще стоявшего на середине комнаты.

Сгорбленный, воротник черного пальто поднят, на голове шапка, взгляд уткнулся в одну точку, куда-то под стол.

— Я провожу тебя хоть до ворот,— сказал Ондржей. Потом, словно бы решившись на что-то, пододвинул стул и посадил на него Бенедикта: — Не стой, как столб. Садись, недотепа, я сейчас вернусь.

Он бережно провел Марию по скользким каменным плитам и подошел к мостику.

— Что ему надо? Он какой-то странный,— сказала Мария.

— Не знаю! — ответил Ондржей.

Они осторожно перешли через мостик.

— Он не хотел говорить при мне. Возвращайся. Он какой-то несчастный...

— «Несчастный»,— повторил иронически Ондржей и чуть было по привычке не отпустил в адрес Бенедикта крепкое словечко.

Ондржей остановился и обнял Марию. Она погладила его по лицу. Прошептала:

— Иди же!

Он возвращался медленно, погруженный в свои мысли. Иногда ему казалось, что Бенедикт ненавидит его. Началось это между ними сразу же после возвращения Ондржея. Тогда в городе заправлял вместе со своими подручными Крейза, который привлек к себе несколько человек, между ними был и Бенедикт. Они конфисковывали имущество, терроризировали город вздорными обращениями и «осуществляли справедливость». Надо было положить этому конец. Цафек, Коблига, Целестин, Паздера, Голечек — Ондржей уже не помнит всех, кто там еще были,— ворвались в ратушу. Крейза как раз допрашивал владелицу мясной лавки Шпатенкову. Чтоб Крейза не успел дотянуться до своего автомата, на него пришлось навалиться троим. Ондржей с Целестином кинулись на второго. У того было достаточно времени, чтоб выстрелить. Целестин был ранен в руку, ее пришлось ампутировать по локоть, и с тех пор он не может работать у станка. Потом выяснилось, что, хотя Крейза в самое последнее время партизанил, прежде он был унтерофицером, короче говоря, был в таком чине, обладатели которого привыкли издеваться над людьми и не могли без этого жить. Его арестовали, Бенедикту сразу влетело тогда от Ондржея, прямо в ратуше. Ночью же посадили в кутузку, что на Черной улице, а утром, правда, выпустили.

«Я думал, что так и должно быть. Что это справедливо!» — оправдывался Бенедикт. Потом он хотел вступить в компартию. Его не приняли. Ондржей был против. Возможно, что это было ошибкой. Оттолкнули его от себя. Бенедикта тотчас подцепили на свою удочку аптекарь и пекарь Минаржик.

«Рабочий Бенедикт принял правильное решение! — писали в «Усвите».— *Рабочие покидают ряды коммунистов и вступают в национально-социалистическую партию. Где правда?»*

«Господа товарищи! — крикнул сегодня утром на собрании Бенедикт.— Так вы далеко заведете!»

Бенедикт по-прежнему сидел на стуле все в той же позе. Пальто не снял, только шапку положил на стол.

— Давай-ка сними пальто. Тут тепло,— сказал ему Ондржей.— Так что же?

Он сел напротив Бенедикта и налил ему немного остывшего грога.

— Да так! — сказал Бенедикт.— Вы вот живете теперь вместе. К чему же вам две квартиры, а?

— Значит, ты специально пришел, чтоб сказать мне это? — спросил Ондржей.— А ну выкладывай, чего тебе надо!

Возможно, Бенедикт хотел сказать ему что-то другое. Возможно, что это хотел он сказать совсем иначе. Не умел он разговаривать с людьми. Сейчас он похож был на человека, который размахнулся, чтоб ударить, но кто-то сзади удержал его руку. А что он должен был сказать? Должен был взвыть, вопить о том, как его что-то погнало из дома, и он не знает, что именно гнало его сюда? Что он похож на шелудивого пса, который просто хочет услышать человеческое слово?

— Приехала Прухова,— выпалил он вдруг.

— Мария мне уже сказала. Пришла специально для этого...— солгал Ондржей.

— И тот ее адвокат, что был на суде Годуры.

Ондржей кивнул.

Так о чем же речь? Ондржей все знает. Почему, собственно, он сюда притащился? Сперва речь шла о чем-то другом. Дело скорее касалось его, Бенедикта, чем Пруховой. И вовсе не касалось завода. Завод из камня. А вот Бенедикт не из камня.

— Считал, что ты об этом должен бы знать. *Как председатель.*

Он поднялся.

Ондржею случайно удалось заглянуть Бенедикту в глаза. Взгляд их был как у невменяемого — затравленный, исполненный муки. Они словно о чем-то молили.

— Погоди,— вдруг решительно сказал Ондржей.

Бенедикт снова сел на стул.

— А теперь скажи, что, собственно, тебе надо!— продолжал Ондржей.— Зачем ты явился?

Он просто приказывает ему! В другой раз, возможно, Бенедикт пришел бы в ярость, но сейчас он почувствовал скорее благодарность за то, что может оставаться в тепле Что ему надо? Бежать прочь от одиночества, бежать прочь от своей промозглой комнатушки, ему хочется к людям, к теплу. Только бы суметь все это сказать. Сказал бы и Махарту, если бы умел. Все бы ему сказал. Что от всего этого он может сойти с ума. Что он хотел убить его, хотел убить себя, Тонку, всех хотел застрелить.

— Я разозлился,— вырвалось вдруг у него, и он торопливо выпил грог.

— На меня, что ли? — спросил Ондржей.

Бенедикт сперва молча кивнул, глядя упорно куда-то под стол, а затем проговорил:

— На тебя, на себя, на всех. На все. Каждый от меня воротит морду. Бенедикт — тряпка, это всем известно. Бенедиктом можно утереться... Бенедикт рыжий, ничего ему не надо, для него все сойдет. Даже грязная дыра, из которой он не может вылезти всю жизнь...

Он говорил с трудом, по крохам выплевывая слова, сидел скрючившись, голос у него срывался; произнося каждое слово, он ударял себя рукой по колену — этим движением словно бы помогал себе говорить.

— Что с тобой, Йозеф?!— удивленно воскликнул Ондржей и наклонился к нему, будто желая заглянуть ему в лицо.

— Всю жизнь!— вырвалось вдруг у Бенедикта, и он комично шмыгнул носом, совсем как маленький ребенок.— Сперва измывались отец с матерью, из-за того, что я рыжий и никудышный... Ни на что не пригоден,

никому не нужен... Что живу, как собака, этого вы не видели? Что, как нищий корки хлеба, жду я доброго слова...

— Но ведь ты пошел к ним. За добрым словом,— сказал Ондржей резче, чем хотел.

— Ага! — кивнул безучастно Бенедикт.— Вы же от меня отказались. Так я пошел к ним. Я как мальчишка должен был попрошайничать. Думал, что теперь уже побираться не буду. Да только иногда легче выпросить кусок хлеба, чем доброе слово!

Бенедикт выпил немного грогу, замолчал. Он часто дышал, одна рука его была засунута в карман пальто.

— А ты что ж думаешь! — сказал с какой-то поспешностью Ондржей.— С нами ведь тоже никто не нянчится. Никто тебе ничего даром не даст... Все...

— Не хочу ничего получать даром! — вспылил Бенедикт.— Но не хочу, чтоб и меня люди обкрадывали.

— Да кто тебя обкрадывает! — вскричал Ондржей.

Он понял вдруг, что до сих пор замечал Бенедикта только тогда, когда тот вынуждал его к этому. Когда заводил на собраниях глупые разговоры, когда из упрямства протестовал против всего, что предлагали Ондржей или Паздера. Тогда он заставлял обращать на себя внимание. Обычно же, в повседневной жизни, во всей ее суматохе Ондржей о нем и не вспоминал, был к нему совершенно равнодушен. А когда-то они вместе учились в школе. Но этого как будто бы и не было вовсе. Правда, и тогда он держался в стороне, словно бы стараясь отделиться от остальных ребят. Ах черт! Как мог он вырасти иным?

— Все! И ты, Махарт!— гудел Бенедикт. Он сидел с застывшим взглядом, не шевелясь.

— Что я у тебя украл? — не понимал Ондржей.— Скажи...

— Посадил под арест. Смотрел на меня как на бесчестного негодяя! Отобрал у меня...— Он осекся, как будто бы боялся произнести следующее слово.

— Что? Говори же! Что я у тебя отобрал?

Едва только Ондржей задал этот вопрос, как ему сразу стал известен ответ на него. Он не мог бы объяснить, как и почему это пришло ему в голову. Вспомнил только, что, уходя как-то от Тонки, он наткнулся возле ее дома на Бенедикта. Тот внезапно вырос перед ним, отделился от стены, возможно, что караулил там его, определенно караулил — тогда он об этом не подумал. Считал — хотел так считать,— что это случайность. Ему стало неприятно, он даже разозлился на Бенедикта, но не больше. У Бенедикта за спиной болталась большая кожаная сумка, с нею он обычно слонялся по городу в поисках «халтуры». «Бенедикт всегда где-нибудь что-то чинит»,— сказал он себе тогда. Но теперь он знал, что Бенедикт караулил именно его. Да, его, Ондржея.

Они долго молчали. Ондржей расхаживал по комнате, а Бенедикт сидел неподвижно на стуле. Казалось, он уснул.

— Иногда человек не в состоянии ничего с собой поделать, Йозеф,— сказал Ондржей.— Когда я вернулся из концлагеря, я тоже...— он запнулся, но немного погодя продолжал:— Короче говоря, мне тоже нужна была женщина. А с той, которую я так желал, которую любил, ничего не получалось. Вот так-то!

— С Рознеровой! — сказал Бенедикт.

— Да! — ответил Ондржей и покорно сел.— Знай хоть теперь все. И не думай, что делаю что-то назло тебе! Я Тонки не добивался. Человек в таких делах часто сам не знает, как это у него получается. Я про-

тив тебя ничего не имею. Одно только плохо — что ты связался с аптекарем и с Минаржиком.

— Я с ними не имею ничего общего! — буркнул Бенедикт.

— Конечно не имеешь. Так почему ты им служишь...

— Вот, смотри! — сказал Бенедикт и сунул руку в нагрудный карман. Вытащил оттуда черный кожаный бумажник, поискал в нем что-то.— Вот, смотри! — повторил он. Он держал в руке членский билет национально-социалистической партии.— Пусть все видят.

Он разорвал билет и швырнул его на стол.

— Ты что при мне хорохоришься? Ты при них это сделай!— Ондржей пригляделся к Бенедикту. Тот дрожал всем телом.— Что с тобой?— спросил он удивленно.

— Ничего. Холодно только...

— Что ты, приятель, ведь здесь так жарко. Снимай-ка свое пальто. Тебя, верно, лихорадит!

— Наверно! — кивнул Бенедикт.— Я пойду. Но я боюсь!

— Чего?

— Я может, хотел тебя, Махарт, убить сегодня. Тебя, себя и ее тоже. Возможно, я сам не знаю. Знаю только, что не мог больше там выдержать. Я больше там не могу жить. Я сойду с ума. Я что-нибудь сотворю.

— Тебя лихорадит,— сказал Ондржей, подходя к нему и протягивая руку, чтоб пощупать лоб.

Бенедикт весь трясся. Он уже не мог ни превозмочь лихорадочной дрожи, ни скрыть ее.

— Никуда ты не пойдешь. Ляжешь тут! — решил вдруг Ондржей.

— Я хотел убить тебя, Махарт,— продолжал Бенедикт.— Возможно, что я хотел убить только себя. Вот этой штуковиной. Возьми-ка его, спрячь, забрось куда-нибудь подальше. Я боюсь его! — он швырнул на стол револьвер.

— Ты совсем ополоумел, Йозеф! — испуганно вскрикнул Ондржей.

— Да, наверно! — кивнул головой Бенедикт, закрыл обеими руками лицо и надрывно зарыдал. Всхлипывания и лихорадка сотрясали его нескладное тощее тело.

— Возьми это!— выкрикивал он.— Убери его!

Ондржей взял револьвер, открыл стенной шкаф и спрятал там оружие.

— Я постелю тебе на кушетке!

Он достал одеяло, простыни и подушку, лежавшие на дне шкафа. Потом тщательно запер шкаф, а ключ спрятал в карман. Приготовил Бенедикту постель.

— Раздевайся и ложись! — сказал он ему.

Бенедикт больше не возражал. Все, что он снял с себя, Ондржей развесил возле печки.

Как только Бенедикт лег и закутался в одеяло до самого подбородка, ему снова захотелось плакать. Он стыдился того, что растрогался, стыдился своей слабости. Он взял термометр и проглотил порошок, который ему дал Ондржей. Тридцать девять и восемь.

Когда немного времени спустя Ондржей лег на свою железную кровать, ему казалось, что он чувствует аромат волос Марии. Нежность и сожаление подступили к горлу. Он протянул руку к выключателю и погасил свет. Ему хотелось остаться сейчас одному со своими мыслями.

— Когда я был мальчишкой,— услышал он вдруг голос Бенедикта,— мы жили в лачуге. Да ведь ты знаешь. Позже стали поговаривать,

что там будут что-то строить и мы оттуда должны съехать. Только куда? Отец все откладывал и откладывал, пока не потребовали официально. У нас была коза. Беленькая такая, с серыми пятнами. Отец сколотил ей из ящиков и старых досок сарайчик, чтобы она не мокла под дождем. Зимой мы брали ее к себе в дом. Однажды пришел полицейский вахмистр Червоны с какими-то людьми и выкинул наши пожитки на улицу. А на козу наложили арест — мол, в возмещение издержек. Сам вахмистр тащил ее из сарайчика, но коза упиралась, парни ее подталкивали, коза мекала, мама голосила, ругалась и призывала на помощь господа бога.

«Не призывай бога,— сказал отец.— Никакого бога нет. Если бы он был, он бы не взирал спокойно на несправедливость, словно эта бессловесная коза». Я стоял тогда возле отца, и он меня вдруг погладил по голове. В первый и в последний раз в жизни приласкал он меня. Потом уж меня никто никогда не ласкал.

Бенедикт закашлялся.

— Спи, Йозеф! — сказал Ондржей.

(Продолжение следует)

Иоганнес Бехер

ДА БУДЕТ СВЕТ!

К МОЕМУ ОКНУ

Как часто ты лучилось предо мной,
Всего меня пронизывало синью,
Звенело на ветру в тиши ночной
И мокло под дождем рассветной стынью.

Кружились птицы над тобой, звеня,
Тебе грозили молнии упорно.
Я говорил окну: «Оставь меня!»
Закрыть окно и занавес задернуть!

Ты, светлое квадратное пятно,
Свободный щедрый выход в мир безбрежный,
О, сколько раз, открытое окно,
Ты веяло в лицо мое надеждой!

А я, перегибаясь, вдаль глядел,
Хотел весь белый свет обнять руками,
Меня тянуло прочь, в иной предел —
Вот-вот, казалось, вниз сорвусь, как камень.

Проснувшись, первый взгляд тебе я слал,
А слышал песни — думал, ты их пело,
Цветок в горшке меж стекол зацветал —
И верил я в тот день в удачу смело.

И шкаф и стол — все в комнате моей
Повернуто к тебе, все жаждет света.
И ты приносишь свет и ясность дней,
И все благодарит тебя за это.

Чего не разглядело ты во мне!
Чего-чего я сквозь тебя не видел!
Пел колокол — ты пело в тишине,
Бил ветер — содрогалось ты в обиде.

Придя домой, я видел: зажжено
Последним солнцем, ты горишь, бывало.
Я говорил тебе: «Привет, окно!»
И ты в ответ мечтательно кивало.

А что за чудный город возникал
В тебе порой: мосты, заборы, башни,
Далеких гор хребет в дорогу звал...
Я счастлив был, мир расцветал все краше.

Я часто гладил, милое окно,
Прохладную твою сквозную кожу,
И не она ль сказала мне давно,
Что ты тепло земное чуешь тоже?

Волшебная стена, прозрачный свет,
Тончайшее стекло, моя защита.
Что зеркало? В нем только мой портрет,
Оно для тех, что век собой не сыты!

А ты, ты отражаешь мир, окно!
И чтоб сама зима от глаз не скрыла
Того, чем все в душе озарено,
Цветешь в мороз с непобедимой силой.

О тишь и тьма, ночной покой окна!
Как ревностно тебя сберечь я тщился,
Как будто думал навек доплотна
Укрыть тебя, чтоб свет не просочился.

Война закрыла окна в черный год,
Бумажными крестами запятнала,
И, кто из нас кого переживет,
Ни я не знал тогда, ни ты не знало.

А как в бомбежку дребезжало ты,
И как кричал в твоих дрожащих стеклах
Далекий крик, летя из темноты,
И комната кружила в бликах блеклых.

Казалось всем, что сквозь твое стекло
К нам смерть сама с безумным ревом лезла,
И в страхе все вокруг тебя кляло —
Зачем в окне стекло, а не железо.

Когда сирены, всполошив весь свет,
В подвал нас гнали, воя оголтело,
Все трауром закрытое, мне вслед,
Как крест могильный, молча ты глядело.

Молчало ты, в печаль погружено,
Когда я шел назад, тебе кивая:
«Смотри, я жив! Я вновь воскрес, окно!
Ты радуешься, друга узнавая?»

Я шел, ликуя, воскрешенью рад,
Спешил к тебе, чтоб распахнуть пошире.
Безумец я! Лишь огненный квадрат
Пылал в окошке, в городе и в мире.

Нас навсегда с тобой связала боль,
Обоих нас схватить пыталось пламя,
И оба слезы лили мы с тобой...
В тоске в тебя впивался я руками.

Картина, обессмертившая миг,
Прямой оконной рамы очертанья!
Средь безымянности болей моих,
Окно мое, найду ль тебе названье?

О злая ночь окна, о склеп-окно,
Мы смотримся с тобой во тьму упорно...
Кто сделал так, чтоб стало вдруг темно?
Кто белый свет наполнил дымом черным?

Но если тьма пробьет твое стекло,
На всех осколках вспыхнет свет, играя,
Прожив для света, ты умрешь светло,
«Да будет свет!» — воскликнешь, умирая.

Перевод с немецкого Ирины Снеговой

МОЕ ЛИЦО С ПЕЧАЛЬНОЙ ПАШНЕЙ СХОЖЕ...

Мое лицо с печальной пашней схоже,
С клочком, который Время распахало:
Иль складок на изборожденной коже
И горестей ему казалось мало?

Как будто плуг прошел, неутомим,
Самообманы пошлые корчуя,
Терзания моих друзей врачуя,
А вы, друзья, пашите вместе с ним!

И вновь пашите, гневно и упорно,
А после оброните в борозду
Печалей и надежд литые зерна.

Я ласкового сеятеля жду...
Лицо мое — как пашня многих лет,
Но из глубин уже струится свет.

Перевод с немецкого Александра Голембы

ДНЕПР

1

Встал на колени он перед рекой
и поклонился ей, сняв шлем походный,
погладил воду ласково рукой —
и словно потеплел поток холодный.

И словно руку он реке пожал...
Пылал здесь мост разбомбленный когда-то,
был тот же самый отражен пожар
в речных глубинах и в глазах солдата.

Вот здесь тогда сражался батальон.
Солдата берег прикрывал тенистый.
И вот, вернувшись, обнял реку он,
к ее груди припавши материнской.

Он здесь родился. Здесь же в первый раз
он боевое получил крещенье.
И он реке поведал без прикрас
про отступленье. И просил прощенья.

Задумавшись, припомнил грозный год.
И так стоял, хоть под ногами топко,
хоть, кажется, звала его вперед
положенная на траву винтовка.

— Прости, река, прости меня, река,
тебя покинул, светлую, в тот день я.
Казалось мне, что пронеслись века
германского стального наваждения.

Твои страданья те же, что мои.
Я помню мертвый мост и трупы бревен.
Но мы вернемся, завершив бои,
и встанет новый мост, могуч и ровен.

2

И кажется, винтовка поклялась,
что так и будет, щелкнув вдруг затвором,
и прозвенев: «Я верю!» — поднялась
волна над ровным в этот час простором.

Тогда он шлемом воду зачерпнул
и пил. Потом плеснул в лицо струею,
и словно той струею зачеркнул
былое, и готов был снова к бою.

И силы возвратились вновь к нему.
И он сказал товарищам в волненье:
— Здесь, как от матери в родном дому,
я принял от реки благословенье.

Бойцы из шлемов пыльных напились
и, глядя на окрестные руины,
поклялись: «Песни вновь наполнят высь,
начнется вновь цветенье Украины!

И за рекой возмездьем станет бой».
...В седом дыму окрестность потонула.
Сама винтовка словно за собой
солдата через реку потянула.

Солдат в рыбацком стареньком челне
поплыл туда, как свет навстречу мраку,
сошел на берег, дрогнувший в огне,
и ринулся в победную атаку.

Перевод с немецкого Вадима Сикорского

ПОТЕРЯННЫЕ СТИХИ

Я написал во сне стихотворенье,
Все доброе я заклинал явиться
Тебя согреть... Но те стихи в мгновенье
Ушли, едва успел я пробудиться.

Я в памяти копил за словом слово,
Сплавлял их в песню, чтоб ей ты внимала.
Увы! Я не нашел той песни снова —
И песен так я растерял немало.

Порой, когда со строчкой вел сраженье,
Вот-вот уже к победе пробивался,
Вдруг стих усталый мой в изнеможенье
Лежащим на дороге оставался...

Хотел я к жизни пробудить высокой,
Что в сердце билось — весело и грустно.
Уже слова вытягивались в строки
И спутывались рифмами искусно,

Я осязал их, трогал — и, как чудо,
Ловил строфу усилием сердечным.
Вот здесь она! Но нет, как звук, отсюда
Вмиг ускользала от меня навечно...

О, сколько горечи несли утраты!
О, сколько планов гибло при рожденье!..
В каких потерях время виновато?
В каких мои виновны заблужденья?

Не лучшее ль терял я в беспорядке?
Что от благих намерений осталось?
Обломки только, жалкие остатки,
А лучшее — оно не написалось.

Но что жалеть мы о потерях будем?
Ведь это только боль пропажи множит...
В поэтах, говорящих правду людям,
Утраченное вновь воскреснуть может.

Перевод с немецкого Елены Николаевской

Роналд Сигал

ТОКОЛОШ

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского Андрея Сергеева

1. О Питере и листках бумаги

Я расскажу вам о Токолоше и о негритянском народе. Теперь, когда вся эта история закончилась, находятся такие люди, которые утверждают, будто ничего подобного никогда не было, что Токолош — всего-навсего выдумка толстых прачек, стирающих белье у речных камней. И все же Токолош действительно существует, он действительно приходил в негритянские поселки. Со времени его появления решительно все в жизни переменилось—и для того, кто верит в его существование, и для того, кто говорит, что не верит. Смех Токолоша все время звенит в ушах, люди не перестают его слышать, даже если плотно зажимают уши ладонями. Когда люди смеются, они смеются из-за смеха Токолоша; когда люди плачут, они плачут тоже из-за его смеха. Ибо для некоторых его смех — кусочек золотого счастья. Этот смех для них прекраснее пения звезд, и когда они слышат его, великая радость подымается в их глазах и их сердца наполняются светом, как море под солнцем. Для других же смех Токолоша — неотвязная боль и страх, и когда они слышат его, в их сердцах опускается длинная зимняя ночь и разражаются бесконечные черные дожди.

Мать Питера принадлежала к тем немногим счастливцам, кому удалось вблизи увидеть Токолоша задолго до его появления в поселках. Она его видела однажды, в ту самую ночь, когда родился Питер, но она так хорошо запомнила его, что до сих пор может точно сказать вам, сколько морщинок было у него на лбу. Она увидела тогда крохотного старенького человечка величиной с указательный палец, блестящего, как кусочек угля. У него была белая козлиная бородка, а уголки глаз загибались кверху, как рога молодого месяца. Питер должен был вот-вот появиться на свет, и матери было очень больно. Отец только что ушел за повивальной бабкой, оставив мать один на один со светом полной луны, лившимся в окно и расплескавшимся на полу. Она застонала от боли, разрывавшей ее тело, и вдруг увидела Токолоша. Он был в пятне белого света возле ее кровати, он плясал и смеялся и шлепал по лунным зайчикам своими крепкими маленькими ладошками. Она хотела закричать от боли, но из ее рта вырвался с бульканьем только тихий смех, и тогда прошли и боль и страх, и она повернула голову и взглянула благодарно на полную луну, зная, что Питер уже родился. Потом, когда она снова взглянула на пол, в лужицу успокоившегося света, Токолоша там уже не было. А когда отец Питера возвратился с повитухой, он увидел

слезы на радостном лице жены. Она плакала, зная, что никогда больше не увидит Токолоша.

В тот день, когда Питеру исполнилось тринадцать лет, он впервые встретил Токолоша. В одно мгновение они сделались лучшими друзьями. И если вам интересно узнать, почему так произошло, вам следует послушать о листках бумаги и о негритянском народе. Вы должны знать, что в той стране, где это случилось, живут люди с белой кожей и люди с черной кожей. В этой стране белые люди учреждают все законы, им принадлежат все фермы и заводы, шахты и магазины, и сами они живут в домах, перед которыми цветут сады. И это лишь потому, что они белые. Черных людей не спрашивают, какие законы хороши и какие плохи, и они не могут учреждать такие законы, которые были бы хороши для них. Они должны делать то, что им прикажут белые. Черные люди живут очень бедно, по многу человек в одной-единственной комнате, в домишках, которые они сами себе сооружают из заржавленной жести и старых ящиков, и в жаркий летний день они дрожат от голода, который не отступает от них ни на шаг. И это лишь потому, что они черные. Правда, находятся негры, которые считают такое положение вещей несправедливым, потому что в этой стране черных людей гораздо больше, чем белых. Да и разве черные не такие же люди? Разве они не могли бы сами различать, какие законы хороши и какие плохи? Разве они не имеют права кормить своих детей досыта и жить в кирпичных домах, перед которыми цветут сады? Хорошо хоть, что, говоря такие вещи, эти люди достаточно осторожны и, прежде чем сказать, оглядываются по сторонам, не подслушивает ли кто. Ибо белым людям не нравятся подобные речи, у них есть законы, запрещающие такие речи. А если человек нарушает закон, пусть даже языком, разве не появится тут же полисмен и не посадит его за решетку?

Черным людям не разрешают жить и работать в городах, на фермах, в шахтах, если у них нет листка бумаги, выданного белым начальником. На этом листке бумаги значится, что такому-то и такому-то негру дозволено жить в таком-то месте, работать в таком-то месте и передвигаться с такого-то на такое-то место. Это заведено для того, чтобы белые люди всегда могли знать, что в данный момент делают черные, чтобы белые могли всегда приказать черным делать то-то и не делать того-то. Эти листки бумаги сшиты в книжку, которая называется «пропуск», и они причиняют нескончаемую боль тем, кто обязаны носить их. Ведь в этой стране заведено такое количество различных листков бумаги, одни для одного дела, другие для другого, а черным людям приходится всегда иметь их при себе, куда бы они ни шли, и даже тогда, когда они никуда не идут, а сидят у себя дома и беседуют или спят на своих постелях, поджав к животу колени. Про эти пропуска говорят по уголкам много нехорошего, говорят тихонько, чтобы не услышали белые. Порою, когда эти пропуска становятся уже невыносимой для человека ношей, люди громко кричат о них на улицах своего поселка. Да и как не кричать, если человека сажают в тюрьму и на много дней разлучают с детьми и с матерью детей лишь потому, что он забыл свой пропуск дома в кармане другой куртки, а какой-нибудь полисмен остановил его на улице и потребовал предъявить пропуск! Даже во сне черный человек не чувствует себя в безопасности, ибо каждую минуту могут нагрянуть полисмены, которые пронзают ночь своими острыми прожекторами и барабанят по стенам домишек палками до тех пор, пока все их обитатели не проснутся и не покажут свои пропуска.

А не так давно белые придумали новый закон, по которому черные женщины тоже должны носить листки бумаги, и это обеспокоило, напу-

гало и разгневало черных людей. Еще бы, ведь столько тысяч мужчин ежемесячно отправляется за решетку из-за каких-то листков бумаги! Что же станет с негритянским народом, когда и женщин погонят в тюрьмы?

Что станет с детьми, когда у них отнимут и отца и мать?

Именно в тот день, когда Питеру исполнилось тринадцать лет, полиция внезапно нагрянула в поселок. Перед этим несколько недель прошло в тишине и покое, а сейчас на улицах ревели грузовики, останавливавшиеся у каждого седьмого домишка, с них спрыгивали полисмены и барабанили по стенам, требуя предъявить пропуска. Грузовики были уже почти битком набиты арестованными, но когда они проезжали мимо домика Питера, главный полисмен приказал: «Сюда!» — и передний грузовик, пронзительно заскрипев тормозами, остановился у домика. Питер в это время ложился спать, ибо поздний час тихонько подкрался к поселку, смешал домишки в одну темную массу и покрыл шрамы улиц безлунной ночью. Минувший день был длинным. Все утро мальчишки гоняли по улице палками старый резиновый мяч, после обеда у Питера собрались его товарищи, и он угощал их разноцветным лимонадом и сладким печеньем с яркими сахарными украшениями. Потом мать Питера пошла на угол в лавочку к старому сгорбленному индусу взять чего-нибудь на ужин, но тот захотел, чтобы ему прежде уплатили за лимонад и печенье, и ей пришлось развязать узелок в уголке носового платка и отдать деньги, которые она копила на новую рубашку Питеру.

«Ничего,— утешала она себя, отдавая торговцу деньги,— у нас только один Питер». «Только один Питер,— повторяла она, ставя на стол тарелки с кашей,— только один Питер, у него только один день рождения в году. И нет ничего ужасного в том, что ты единым махом тратишь деньги, которые с таким трудом откладывала и копила в течение долгих месяцев. Да и кто бы захотел жить в мире, устроенном белыми, если бы не было какого-то просвета хоть раз в год!» Но день рождения окончился, и она очень устала. Она сидела, закрыв глаза и опустив руки на колени, и рассказывала Питеру какую-то историю.

Когда за окном со скрежетом остановился грузовик, она вскочила, подняв к лицу руки, и прошептала:

— Это полиция! Спрашивают пропуска!

Отец Питера дрожащими пальцами полез в карман своей куртки.

— Конечно, не здесь. Скорее достань старую куртку из-под кровати!

И в это мгновение дверь распахнулась, в комнату ввалился белый полисмен, за ним — другой. За дверью ревели грузовики.

— Пропуск, парень! Где твой пропуск?

Мать Питера упала на колени и вытащила из-под кровати старую куртку отца.

— Здесь, господин. Пропуск здесь.— Она достала из кармана книжечку с листками бумаги и протянула ее полисмену.

— Ты нас не проведешь!— заорал полисмен.— Ты не платил налоги. Здесь нет гербовой марки!

— Налоги? — отец Питера посмотрел на мать, и оба они опустили глаза.

— Ты нас не проведешь,— сказал полисмен,— а ну пойдем с нами!

— Этого не может быть! — воскликнул отец Питера.— Там есть бумага об уплате налогов. Я совершенно уверен в этом!

— Ты, парень, платил их в прошлом году. За этот год у тебя не уплачено. Нет марки.

— Завтра, господин. Завтра мы все уплатим,— уверяла мать Питера.— Я сама пойду с ним, и мы принесем вам бумагу с маркой. Мы принесем ее прямо в участок.

— Да он наглец,— проговорил второй белый полисмен.— Они все одинаковые. А ну пойдем с нами! — Он положил руку на револьвер, висевший на поясе, и кивком указал на дверь.

— Быстро, быстро, парень,— сказал первый полисмен.— И не вздумай нахальничать!

— Ай-ай-ай! — закричала мать Питера, ее тело затряслось от боли, разрывавшей сердце.— Ай-ай-ай!

Отец Питера прикоснулся ладонью к ее щеке, словно хотел унести ее отпечаток, и быстро повернулся к дверям. И в это мгновение маленькая черная фигурка выскочила из постели и бросилась на первого полисмена. Питер бил и щипал его, крича:

— Не смейте! Нет, белые, нет! Отпустите его!

— Питер! — вскрикнула мать, ее глаза расширились от ужаса. Она рванулась вперед, чтобы защитить сына своим телом. Но было уже поздно. Второй полисмен вырвал револьвер из кобуры и с размаху ударил рукояткой Питера по голове.

— Вы убили его! Вы убили его!

Но никто не слышал ее крика, потому что полисмены выволокли отца Питера на улицу и втолкнули в грузовик. Выхлоп мотора был похож на выстрел в ночи. Полиция отправилась к следующему дому.

Внезапно острый душераздирающий вопль прорезал настороженную тишину.

— Питер! Питер! Маленький! Аййй!

Мать Питера сидела, раскачиваясь взад и вперед, и ее сердце сжималось под тяжестью обрушившегося на него горя. А из домишка на соседней улице донесся в ответ пронзительный крик женщины, которую надолго, если не навсегда, разлучили с отцом ее детей. Ибо очень многие не возвращаются из тюрем, построенных белыми людьми, и никто не может с уверенностью сказать: «Ах, он ушел, но через столько-то дней он вернется».

От дома к дому неслись вопли женщин, они были пламенем боли, и языки этого пламени лизали небо. Много было в поселке женщин, чьих мужей забрали этой ночью. И много было женщин, чьи мужья еще оставались дома, но эти женщины знали, что в следующий раз могут забрать и их мужей. Кто может считать себя в безопасности, когда внезапно нагряну́т грузовики? Какая женщина в такие минуты может быть спокойна сердцем? И весь поселок кричал от боли, женщина жаловалась женщине на свою участь. Ведь боль облегчается, когда много людей взвалят на себя ее тяжесть.

Мать Питера вспоминала ночь, в которую родился Питер, свои страдания, Токолоша, плясавшего в лучах луны, его смех, журчавший на полу. Она осторожно взяла Питера на руки, чтобы отнести на постель, но вдруг резко выпрямилась: когда луна коснулась своими желтоватыми пальцами лица Питера, мать увидела, что он смеется, и сердце ее дрогнуло.

Но как он мог не смеяться? Ведь Питер видел Токолоша и впервые пожимал ему руку, несмотря на то что глаза его были закрыты.

— Я очень рад познакомиться с тобой,— говорил Токолош.— На свете немного людей, которые на твоем месте поступили бы так же, как ты, ибо хотя решимость их сильна, но страх намного сильнее.

И он снова пожал Питеру руку, поклонился и легко сделал в воздухе сальто, перекувырнувшись через голову.

— А теперь ты уйдешь от меня,— вздохнул Питер,— и я никогда не встречусь с тобой.

— Нет,— засмеялся Токолош,— зачем мне уходить от тебя? Я останусь здесь и буду приходить к тебе, когда захочешь. Смотри! — он вытащил из-за пазухи беленькое утиное перышко.— Видишь, я даже захватил с собой подушку. Я буду спать рядом с тобой на твоей постели. Жизнь у нас будет замечательная, вот увидишь!

Питер смеялся и смеялся, пока не почувствовал, что живот его вот-вот разорвется от смеха. Мать Питера никак не могла понять, отчего это он так странно смеется, совершенно беззвучно и при этом недвижно лежа у нее на руках. И все же ясно, что он не убит, что он будет жить, и радость наполняла ее ярким светом. Она уложила сына в постель, укрыла его одеялом и села рядом, глядя на смех, пляшущий на его губах. Так она просидела всю ночь. А когда наконец настало утро, ее глаза медленно закрылись и она уснула, сидя на стуле.

Когда она проснулась, был уже полдень. Питер сидел в постели, громко смеясь и разговаривая сам с собой. Она вскочила со стула и крепко поцеловала его в ухо, в щеку, в лоб и в кончик носа.

— Это было очень глупо,— сказала она,— отец будет очень сердиться на тебя, когда вернется домой. Я, конечно, рада, что ты поступил так, но ты должен дать мне слово, что больше никогда не будешь этого делать.

— Там видно будет,— ответил Питер.

— Ну ладно,— сказала мать и улыбнулась,— там видно будет.— Питер кивнул.— Мы еще поговорим об этом, когда вернется отец.

— А скоро он вернется? — спросил Питер.

— Нет, — сказала мать,— мне кажется, он вернется нескоро.

И она пошла к печке и начала разводить огонь, чтобы готовить обед.

— Скажи, отчего ты так смеялся, когда я проснулась? — спросила она.

— Это Токолош,— ответил Питер.

— Токолош? — воскликнула мать, поворачиваясь лицом к сыну.

— Да, конечно. А разве ты его не видишь? — спросил удивленный Питер.— Вот он, здесь, на кровати, в ногах.— И он шевельнул пальцами левой ноги.

Мать бросилась к нему и прижалась губами к его лбу.

— Твоя голова как раскаленный котелок. Ты сегодня будешь весь день лежать в постели, а я пойду и приведу медицинскую сестру.

— Ты что, не видишь его? — разочарованно спросил Питер. И вдруг он рассмеялся.— Да вот он, он же машет тебе руками, хлопает в ладоши и смеется. Разве ты не слышишь?

Она медленно покачала головой и снова согнулась над печкой.

Когда вечером пришла медицинская сестра, она померила Питеру температуру и, положив пальцы ему на запястье, стала с важным видом смотреть на часы. Потом она вышла на улицу вместе с матерью Питера.

— Он поправится через день-два, когда опадет шишка на голове. Нет ничего серьезного. Ему только надо полежать. Мой сын Эзекайл сегодня же принесет ему лекарство.

— А Токолош? — спросила мать медицинскую сестру.— Питер все время смеется и разговаривает сам с собой, он говорит, что Токолош сидит у него в постели.

Медицинская сестра пожала плечами. Она очень утомилась за день, ей предстояло навестить еще многих и многих больных, прежде чем она сможет вернуться к себе домой, удобно усесться, положив ноги на соседний стул, и послушать книгу, которую ее сын Эзекайл взял в библиотеке.

— Одни видят Токолоша, а другие не видят. Никому еще не удалось доказать, что Токолоша вообще не существует. Вы сами однажды видели Токолоша — помните, когда родился Питер. А я никогда не видела Токолоша,— и она вздохнула.— Через несколько дней Питер поправится, и вы увидите, что Токолош больше не будет сидеть у него на кровати.

Она, охая, вскарабкалась на свой старый велосипед, бормоча что-то о лекарстве, которое принесет Эзекайл, и, тяжело дыша, поехала к другому больному.

Однако, когда Питеру стало лучше, Токолош не исчез. Питер мог бы теперь снова играть со своими товарищами, но вместо этого он целыми днями разгуливал по улицам поселка и по дороге, ведущей в город, и все время он разговаривал сам с собой и громко смеялся. Когда отец вернулся из тюрьмы, он повел Питера в больницу и показал его белому врачу. Но даже белый врач был бессилен помочь. Много бессонных ночей провела мать Питера, беззвучно плача из-за того, что ее сын заболел неизлечимой болезнью. Отец иногда выходил из себя и бил ее, потому что стыдился болезни своего сына и потому что не мог ничем помочь горю. Что же касается Питера, то он был счастливее, чем когда бы то ни было. Еще бы, разве Токолош не был теперь его лучшим другом? А медицинская сестра все время говорила его родителям, устало поводя худыми старыми плечами:

— Чего вы хотите? Он счастлив. Он еще совсем ребенок. Стоит ему поработать в городе, как Токолош исчезнет.

— А вдруг не исчезнет? — спрашивала мать.

И медицинская сестра опять пожимала плечами и вздыхала.

— Одни видят Токолоша, другие не видят. Никому еще не удалось доказать, что Токолоша вообще не существует.

Теперь Питер вставал рано утром, еще до восхода солнца, и отправлялся с отцом в город работать. Он получал увесистую пачку газет в высоком доме, где их печатают, затем становился с Токолошем на людном углу какой-нибудь улицы и продавал газеты прохожим. Он стоял с газетами под мышкой и весело смеялся. Поэтому многие останавливались, привлеченные его весельем, и покупали газеты, а иногда даже позволяли ему оставить себе лишнее пенни и не давать сдачу. Очень часто он возвращался к высокому зданию за новой пачкой газет и в дни удачи приносил домой шесть и даже семь шиллингов. Мать больше не печалилась из-за его болезни, отец больше не стыдился, что его сын не такой, как другие ребята. Ведь одни видят Токолоша, другие не видят. Никому еще не удалось доказать, что Токолоша вообще не существует.

2. Великий Поход начинается

Между городом белых с его фабриками, магазинами и домами, перед которыми цветут сады, и негритянским поселком, где люди живут в домишках из ржавой жести и старых ящиков, простирается дорога длиною в десять миль. Не могут же господа жить вместе со своими слугами! Очень хорошо, что эта дорога так длинна, ибо кто знает, что будут делать черные люди, когда их горе и гнев станут совсем невыносимыми? А длинная прямая дорога подобна шнурку со звонкими колокольчиками, и если черные пойдут по дороге, белые сразу узнают об этом. и у них будет время принять меры.

Рано утром, когда в небе еще слышится тихое пение звезд, большие зеленые автобусы белых с ревом мчатся по дорогам к негритянским

поселкам, чтобы перевозить черных мужчин и женщин в город на работу. Рано начинается эта перевозка, потому что автобусов мало, а черных людей очень много. Да и кто будет работать на заводах и в садах, цветущих перед домами, кто будет стирать белье и готовить обед, если черные не придут в город? И вот на дорогах ревут зеленые автобусы. Они заглушают пение звезд, они жадно проглатывают черных, которые выстраиваются у остановок в длинные беспокойные очереди, и перевозят их в город. Автобусы снуют между городом и поселками до тех пор, пока поселки не умолкнут под высоким солнцем. Тогда в них остаются всего несколько женщин, присматривающих за маленькими детьми и дряхлыми стариками. Весь день поселки пустынны и немы, как комната, в которой на постели лежит умерший. А перед наступлением сумерек рев автобусов снова прорезает тишину. Автобусы прибывают один за другим и выбрасывают привезенных на пустые ждущие улицы. Но вот пришел последний автобус, наступила ночь, и в трепещущем сумраке поселки снова наполнены жизнью.

В один прекрасный вечер по дороге из города прилетела тревожная весть, промчавшаяся по поселкам, как порыв ветра. Люди передавали друг другу, что со следующего утра им придется платить за проезд в автобусах на пенни больше. Владельцы автобусов заявили: «Великая война белых подняла цены на все товары. Мы должны платить больше денег, для того чтобы набить утробы автобусов, и нам надо окупить наши дополнительные расходы. Четыре пенса теперь недостаточная цена за проезд от поселков к городу».

В сердцах черных зашевелился горячий сухой гнев.

— Откуда нам достать денег?— спрашивала мать Питера.

А на самой середине улицы стояла и кричала ее соседка, чьего мужа убили несколько лет назад. Она каждый день стирала белым простыни, рубашки, носки, чтобы хоть как-то прокормить себя и пятерых детей. Она кричала:

— Откуда мне взять это пенни? Я стираю белым рубашки и носки, но они не будут платить мне на пенни больше! Выходит дело, когда дети заплачут от голода, я должна объяснить им, что деньги ушли на насыщение утроб автобусов и на то, чтобы их владельцы могли построить себе новые дома с еще более красивыми садами! — Она ударила себя по бедрам и громко плюнула.— Плевок от меня получат автобусы с пятипенсовыми билетами! Я буду ходить в город пешком!

За ужином, когда мать подавала на стол кашу, отец сказал:

— Питер, нам придется вставать еще раньше, потому что завтра мы пойдем в город пешком, а дорога длинна для пешехода.

И во всех поселках мужчины, работавшие на заводах и в садах белых, и женщины, работавшие в кухнях и стиравшие белым белье, кричали друг другу:

— У нас есть ноги! Почему бы нам не ходить пешком? У нас нет лишних денег на автобус. Мы будем ходить пешком!

На небе было еще черно, еще поблескивали слезинки звезд, когда люди в поселках начали просыпаться и разводить огонь в печках. Мелкая тарелка каши да, может быть, глоток кофе при мерцающем свете — и люди выходили в Великий Поход. С каждой милей пути ноги делались тяжелей и тяжелей, вскоре переставлять их было так же трудно, как двигать огромными гирями. Земля под ногами становилась все тверже и тверже. Миля сменялась милей, а дороге не было конца. Город белых все еще спал. И тогда одна из женщин в толпе затянула песню, медленную и тяжелую, как поступь идущих в город. Это была песня о листках бумаги и об автобусах, о непроглядной тьме, обступившей людей, об

огнях, которые люди разводят в ночи, и о Великом Походе, который начался из-за того, что людям негде достать лишнее пенни. Пение было подобно летнему ливню — сначала несколько грузных капель, а затем лавина воды низвергается с неба. Пение охватило всю дорогу, оно било по ней, смягчая землю под ногами идущих, ноги становились легче и легче, и мили остававшегося пути отшатывались от песни и исчезали.

Когда приблизилось утро и небо на востоке стало серым, белые люди услышали сквозь сон звуки Великой Песни. Они заворочались в постелях и начали просыпаться. Выглянув из окон своих домов, они увидели бесконечные толпы черных, заполнивших своими голосами и топотом улицы города, которые вели к фабрикам и черным ходам домов белых.

— Что это? — спрашивали белые друг друга.— Почему они идут пешком? Где же автобусы?

А автобусы спали у остановок в поселках, пустые и беззвучные.

— Черные ходят пешком! — кричали мальчишки-газетчики.— Десять миль из-за одного пенни!

Белые говорили друг другу:

— Завтра они поедут на автобусах. От поселков до города далеко, но как далеко, можно узнать только тогда, когда сосчитаешь все эти мили своими ногами.

А газеты писали вот что:

«Они должны платить столько, сколько им приказано. Ибо что будет, если негры станут платить столько, сколько им вздумается? Все это работа кучки злоумышленников, которые хотят достичь величия, поднявшись на плечах несчастья. Но от поселков до города дорога длинная, она станет еще длинней, когда черные пойдут по ней после рабочего дня. Тот, кто проделает путь пешком туда и обратно, не захочет повторить это завтра».

Тем не менее и на следующую ночь автобусы спали на остановках, а черные люди просыпались под высокой луной и отправлялись в поход. На третью ночь они снова отправились в город пешком, тогда белых начал охватывать страх, и они говорили:

— Эти черные ходят и ходят, не обращая никакого внимания на то, что им говорят газеты.

А Мэр города сказал своим советникам:

— Мы должны обратиться за помощью к Премьер-министру.

Премьер-министр сказал им:

— Это скоро кончится. Пусть ходят пешком. Скоро они увидят, что дорога крепче, чем их ноги.

Он был в восторге от своего остроумия.

3. Токолош вмешивается

Четвертая ночь Великого Похода началась так же, как и предыдущие. Жители поселков по двое, по трое выбирались на дорогу из тихих теней ночи, затем люди сливались, как капли, в один бесконечный поток ног и голов, устремлявшийся к городу. Снова начиналось пение, звуки его, как языки пламени, вырывались то тут, то там по мере того, как новые и новые группы певцов присоединялись к общему хору. Какое это было пение! Казалось, вся ночь была единым огромным хором звезд, взявшихся за руки и поющих во всю мощь своих больших блестящих глоток. Дело в том, что когда человек прошагает три ночи и три дня по десять миль к городу и обратно, он начинает понимать, что в его силах

ходить еще три дня; или тридцать дней, или даже триста! Именно об этом и говорилось в песне, которую пели негры. А еще в этой песне они пели о грядущих днях, когда не будет больше листков бумаги, которые человек обязан всегда носить с собой, о днях, когда никому не придется дрожать в ночи, обступившей его, когда голод, страх и печаль навсегда уйдут из поселков и дети будут громко смеяться, шагая домой из школы в лучах полдневного солнца.

Внезапно длинная черная толпа идущих вздрогнула и остановилась. Прожектора в сотнях мест пронзили ночь.

— Где твой пропуск, черный? Предъяви мне свой пропуск!

И когда глаза привыкли к резкому свету прожекторов, черные люди увидели толпы полисменов, выходящих из теней по обеим сторонам дороги. Внезапно из-за облачка, плывшего по небу, выглянула луна, поток белого света хлынул на дорогу, осветив тысячи остановившихся негров и сотню полисменов, которые, пробиваясь через толпу, требовали документы, громко кричали и размахивали направо-налево своими тяжелыми черными палками. Вскоре тысяча человек и даже больше были отведены в сторону — у них не оказалось нужных листков бумаги, а когда зеленые полицейские грузовики с ревом увезли их прочь, безмолвная дрожь начала сотрясать толпу стоящих в ожидании той же участи.

— Питер,— сказал отец, его голос от страха стал хриплым.— Я перерыл все карманы. Пропуска нет. Я, наверно, забыл его на стуле рядом с кроватью. Или в куртке, которую я одевал вчера.

— Пройдет не меньше получаса, прежде чем они дойдут до нас. Может быть, тебе удастся перейти в последние ряды или спрятаться вон в тех деревьях.

— Нет. Я видел. Они следят за этим. Некоторые уже пробовали. Ты расскажешь обо всем матери. Через некоторое время меня выпустят.

Вдруг Питер почувствовал, что кто-то тянет его за левое ухо и шепчет:

— Скажи им, чтобы они все заглянули еще раз в нагрудные карманы.

Это был Токолош.

— Поищи еще раз в верхнем кармане,— сказал Питер отцу.

Отец сунул руку в верхний карман и дрожащими пальцами вытащил оттуда листок плотной бумаги. Свет луны падал на бумагу, сощурив глаза, отец прочел:

«Этот негр освобождается от ношения пропуска по приказу его превосходительства Министра негритянского труда мистера де Вильерс Белла».

— Но это чудо! — воскликнул отец Питера.— Я никогда не видел этой бумаги! Как она могла попасть в мой карман?

— Скажи, чтобы все посмотрели в верхних карманах. Быстрее! — потребовал Питер. И его отец стал шептать об этом соседям.

Один за другим жители поселков совали руки в карманы на груди и вытаскивали оттуда плотные листки бумаги с печатью Министра негритянского труда, на которых было написано:

«Этот негр освобождается от ношения пропуска по приказу его превосходительства Министра негритянского труда мистера де Вильерс Белла».

Это было замечательно и необъяснимо. Только что люди стояли безмолвно, а теперь в толпе разрастался шепот, который вдруг сменился колокольным звоном смеха, прокатывавшегося вдоль дороги удар за ударом. Полисмены удивленно переглядывались и качали головами, некоторые из них выходили из себя от ярости, а некоторые были напуганы.

Один молодой полисмен выстрелил в воздух, и смех немедленно прекратился. Но через мгновение он разразился опять. Ибо из пятидесяти разных мест полисмены с листками плотной бумаги в руках бросились к своему начальнику, толстому маленькому человечку, стоявшему перед толпой. На лицах полицейских было удивление и разочарование.

— Да, это его печать,— сказал Начальник полиции,— и подпись, похоже, тоже настоящая.

— Я ничего не слышал о введении новых бумаг,— сказал Помощник начальника полиции.

— Вероятно, он только что ввел их,— сказал с надеждой довольно молодой полисмен.— Может быть, письмо с новой инструкцией затерялось...

— Это ужасно! — закричал Начальник полиции.— Послушайте, как они хохочут!

— Так что же, считать новые пропуска действительными?— спросил Помощник начальника.

— Да,— ответил Начальник,— в противном случае нам может попасть. Если эти пропуска действительно ввел Министр, а мы не будем их признавать, он сживет нас со свету.

— Премьер-министр тоже будет очень сердиться,— поддакнул Помощник начальника. И все полисмены посмотрели друг на друга со страхом.

— Лучше уж не испытывать судьбу.

Они влезли в свои грузовики и покатили в город следом за толстым зеленым лимузином Начальника полиции. Весь день на заводах, в кухнях, на улицах черные люди обсуждали удивительные и непонятные события минувшей ночи. Кое-кто из них слышал, что Питер подружился с Токолошем, но никто не принимал этого всерьез, потому что много-много лет назад, когда белые пришли в эту страну, Токолош убежал за море. Кто мог бы теперь поверить, что после такой отлучки Токолош сумеет найти дорогу в свои родные края? По углам шептались о подпольной типографии, в которой отпечатаны листки с хорошо подделанной печатью Министра негритянского труда. Говорили и о каком-то человеке из поселков, который умел расписываться, как мистер де Вильерс Белл и даже как сам Премьер-министр, и эти подписи нельзя было отличить от настоящих даже при помощи всех машин, выдуманных белыми. Но кто был этот смелый и умный человек и где находилась подпольная типография? Кто рассовал листки бумаги по карманам черных? На это ответов не было. Рождались новые и новые толки.

Белые люди узнали обо всем случившемся из газет и теперь старались найти хоть какое-нибудь объяснение этому, но не могли. Многие из них в злобе и страхе нервно потирали руки. Некоторые нашли сообщения чрезвычайно забавными и радовались им. Но таких было очень мало. Иначе и быть не может. Ведь если бы большинство белых состояло из таких веселых людей, то конечно же не было бы на свете никаких пропусков.

Этой ночью множество черных собралось возле домика Питера. Тысячи людей пришли из всех поселков, чтобы разузнать о Токолоше. Но назавтра и Питеру, и его отцу, и всем тем, кто пришли к ним, надо было очень рано вставать, чтобы идти пешком в город. Питер взобрался на высокий деревянный ящик, стоящий перед домишком, и попросил всех пришедших разойтись по домам и скорее лечь спать, ведь через несколько часов всем предстоит снова отправиться в Великий Поход. Все, что произошло, сделал Токолош, и, если черные люди хотят, Питер может от их имени поблагодарить своего друга. Но когда Питер кончил,

разразились крики и смех, потому что большинство людей пришло как раз для того, чтобы посмеяться. Одна женщина закричала:

— Покажи нам Токолоша! Я хочу видеть Токолоша!

Ее крик подхватили все, и слово «Токолош» громом прокатилось над поселком.

Питер вошел в домишко и спросил Токолоша, кувыркавшегося в воздухе над кроватью:

— Ты не хочешь показаться им?

— О,— сказал Токолош,— они увидят меня только в том случае, если поверят, что я вернулся. Так же, как поверил ты.— И Токолош потер кончик носа и улыбнулся.— Может быть, среди пришедших есть люди, которые хотят узнать, что я вернулся. Дай-ка я заберусь тебе на плечо.

Они вместе вышли на улицу и посмотрели на толпу.

— Аааа! Я вижу его, он маленький, черный, вон на плече мальчишки! — закричала высокая женщина из последних рядов.

— Я тоже вижу его,— сказал молодой человек, тайно выпускавший газету, которую не любила полиция.— Вы слышите, как он смеется?

Но никто больше не видел его и никто больше не слышал его смеха, поэтому люди стали кричать:

— Это все обман!

— Где же он?

— Я ничего не вижу!

— Чего это ты вздумал так толкаться?

— Я не вижу, я не вижу!

Вдруг кто-то в толпе сказал:

— Ай! Нам завтра предстоит идти в город.

Края толпы начали растекаться, люди один за другим пропадали в ночи, и вот перед домиком остались лишь молодой человек и высокая женщина. Они стояли и улыбались Токолошу, плясавшему на плече Питера. А Токолош встал на голову и, звонко щелкнув пятками, сделал сальто высоко в воздухе. Он смеялся, Питер тоже смеялся, засмеялись молодой человек и высокая женщина.

— Покойной ночи,— сказал молодой человек,— покойной ночи, Питер. Я рад, что Токолош на нашей стороне.

А высокая женщина сказала:

— Давайте завтра пойдем в город вместе.

Питер согласился, Токолош рассмеялся и тоже согласился.

Тем временем в другом большом городе белых, за много миль от поселка, в доме Премьер-министра всю ночь не гасили свет.

— Это ужасно,— сказал Премьер-министр и нахмурился.

— Да, да, это ужасно,— сказал Министр негритянского труда, в чьи обязанности входило переселять черных людей с места на место и следить за тем, чтобы им где-нибудь не прибавили жалованья, ибо тогда все они могут вдруг потребовать прибавки жалованья.— Как говорят негры, ночь, наполненная громом, сулит богатый урожай.— И он посмотрел на Премьер-министра. Министр негритянского труда выучил много негритянских пословиц и где только мог вставлял их в свою речь как доказательство того, что он знает черных лучше всех, конечно за исключением Премьер-министра.

— Это ужасно, ужасно,— пробормотал Министр негритянского процветания, в чьи обязанности входило убеждать черных людей в том, что они совершенно счастливы, и зажимать им рты, когда они жаловались на свою участь.— Если они начнут ставить наши подписи на всякие бумаги, нам нечего будет делать!

— Что же смотрит полиция! — простонал Министр иностранных долгов.— Наша полиция — это сборище кретинов! Что теперь говорить послам? Они не должны знать, что это произошло помимо нашей воли. Конечно, можно сказать, что ничего такого не было...— в голосе его слышалось сомнение.

— Полиция поступила правильно, должным образом отнесясь к моей подписи,— сказал Министр негритянского труда.— Недаром черные говорят: быка узнают по копыту.

— Да, да, конечно,— подхватил Премьер-министр, и все замолчали.

— Надо послать в тот город подкрепление для полиции,— сказал наконец Министр поездов и кораблей.— Иначе развалится вся автобусная служба. Мы должны раз и навсегда показать им, кто здесь хозяин.— И он решительно прищелкнул пальцами.

— Я согласен, согласен,— пропищал тощий и длинный Министр справедливости, и его правый глаз дважды дернулся.— Настало время произвести новые аресты.

— Положи им палец в рот, и они откусят всю руку,— сказал Премьер-министр, и все закивали головами в знак согласия, за исключением Министра рек и плотин, который уснул с довольной улыбкой на губах.

— Но что я скажу газетам?— спросил Министр иностранных долгов, с надеждой глядя на Премьер-министра. Министр иностранных долгов больше всего на свете любил, чтобы его имя появлялось в газетах, для этого у него всегда было наготове какое-нибудь заявление.

— Это я должен говорить с газетами,— вмешался Министр негритянского процветания,— это по моему ведомству.

— Я сам поговорю с газетами,— сказал Премьер-министр.

— Да, да, разумеется,— забормотали все министры, за исключением Министра рек и плотин, который вдруг громко захрапел. Министр справедливости стал толкать его локтем в бок, и он проснулся. Так министры говорили до утра. Они приняли много важных решений, а когда после завтрака в дом Премьер-министра пришли корреспонденты газет, им сказали, что все в порядке и не о чем беспокоиться.

4. Великий Поход кончается

В день перед шестой ночью Великого Похода газеты белых были полны рассказов о секретном совещании кабинета министров в доме Премьер-министра. В этом совещании принимали участие и наиболее видные бизнесмены города. Первые страницы газет помещали фотографии министров, с важностью глядящих друг на друга, а средние страницы — фотографии их жен, обменивающихся улыбками. На аэродромах самолеты то и дело поднимались и опускались, а на бирже все время росли и падали акции. Люди внезапно появлялись и внезапно исчезали. На массовом митинге Премьер-министр сказал речь, он говорил долгие часы, но так ничего и не сказал. Впрочем, в этом не было ничего необычного, и у белых появилась уверенность, что все нужные меры приняты. Затем, на десятый день с начала Великого Похода, в половине седьмого утра черные обитатели поселков узнали наконец, что означало секретное совещание кабинета министров и несмолкающий гул самолетов в небе. Когда они подходили к воротам фабрик — фабрики консервированного варенья, где уже шестнадцать лет работал отец Питера, фабрики, на которой высокие женщины упаковывают костюмы в коробки, фабрики, на которой молодые люди делают граммофонные пластинки,— им всем вручили по конверту с розовым листком бумаги. На

каждом листке было крупными буквами напечатано: *«Опоздавшие на работу или не справляющиеся с работой из-за усталости будут немедленно уволены без выплаты жалованья, причитающегося за уже отработанные дни».*

Уныние напало на всех, кто читали эти слова. Ведь когда человеку приходится вставать посредине ночи, пешком идти в город и возвращаться пешком с работы домой поздно ночью, разве может он выкроить достаточно времени для сна, чтобы освободить свои глаза и свои ноги от гнетущей усталости? Да и кто может быть уверенным, что он поднимется вовремя, быстро стряхнет сон со своих ног и не опоздает на работу? С самого начала Великого Похода многие приходили на фабрики, опоздав на несколько минут, и многие засыпали над работой. Теперь же опоздавших или заснувших у машин будут увольнять, им придется идти домой и умирать с голода. Зато белые люди радовались — наконец-то меры приняты. Встречаясь на улицах, они говорили друг другу:

— Эти розовые листки заставят их ездить на автобусах.

Газеты писали:

«Наконец-то черные перестанут ходить пешком и петь!»

Это случилось в середине того самого дня, когда неграм раздали розовые листки. Отец Питера упаковывал банки с консервированным вареньем в ящики, которые ставили на грузовики, и вдруг почувствовал, что засыпает. Он больно ущипнул себя, чтобы не уснуть, но боль дошла до сознания сквозь сон. Когда управляющий пошел посмотреть, почему такая груда незапакованных консервных банок лежит у кузова одного из грузовиков, он увидел отца Питера, спящего на полу. Он растолкал его и повел в контору к хозяину фабрики. В конторе хозяин и управляющий громко кричали на отца Питера. Через пять минут он лишился работы и стоял за воротами фабрики. Отец не пошел к Питеру, продававшему на углу газеты, потому что ему было стыдно. Он поклялся, что найдет другую работу, так что Питер и мать ничего не узнают. Он ходил от фабрики к фабрике, но нигде ему не дали работу. Когда после рабочего дня отец встретил Питера, то тяжело опустился на мостовую у груды нераспроданных газет, закрыл лицо руками и заплакал. Питер никогда не видел своего отца плачущим, поэтому он опустил глаза и стал напряженно думать, что бы сказать отцу, что бы для него сделать. Он сам готов был заплакать, но вдруг возле его левого уха раздался свистящий шепот:

— Скажи отцу, чтобы он не плакал. Завтра он увидит, что делать.

Это был Токолош. Кончив шептать, он выпрямился и разразился звонким веселым смехом. А когда Токолош смеется, не найдется никого, кто мог бы удержаться от смеха. И Питер засмеялся, зная, что смех Токолоша сулит что-то хорошее. Но отец вскочил на ноги и со всего размаха ударил его по лицу.

— Ты что, с ума сошел? Что мы будем теперь есть, на что будем покупать одежду? Я потерял работу. Что теперь скажет мать? Может быть, она тоже будет смеяться?

Питер заплакал.

— Отец, это не я, это Токолош. Прости меня. Это Токолош.

— Токолош?— закричал отец.— Опять ты болтаешь эту чепуху? Никакого Токолоша нет. Когда сюда пришли белые, Токолош убежал за море. Что ты валяешь дурака?

— Я серьезно,— со слезами уверял Питер.— Он здесь. Разве ты его не видишь? Вот же он вертится у ворота моей куртки. Разве ты не помнишь? Это он дал тогда листки бумаги.

— Пошли! — сердито сказал отец.— Если ты собираешься домой, надо отправляться сейчас же. Если я услышу от тебя еще раз эту чепуху о Токолоше, я буду бить тебя ремнем до тех пор, пока боль не скроет его от твоих глаз раз и навсегда. Пошли!

Многие мили пути домой они шли молча. Когда город остался далеко позади, отец искоса взглянул на Питера и спросил:

— А что тебе сказал Токолош? Почему ты вдруг рассмеялся?

— О, я смеялся только потому, что смеялся Токолош,— сказал Питер.— Когда он смеется, нельзя удержаться от смеха. Это получается помимо воли, как чиханье. Но перед этим он просил меня передать тебе, чтобы ты не плакал. Завтра ты увидишь, что надо делать.

— Да, без сомнения,— ответил отец.— Завтра, послезавтра, еще через день и еще через много дней, пока я не буду лежать вместе с моими праотцами. Каждый день я буду видеть, что жизнь становится не лучше, а хуже. Как и все, я очень боюсь смерти. Но все же очень хорошо, что люди умирают, потому что, когда мы умираем, умирают и наши беды. Бывают времена, сынок, когда я предпочел бы заболеть и поскорее умереть, но тогда мне становится страшно за оставшихся в живых. Что тогда будет с тобой и с твоей матерью?

Питер перестал тереть глаза кулаками и осторожно вложил свою руку в руку отца. И музыка Великого Похода наполнила их, их ноги стали легкими и без труда преодолели многие мили пути. Когда наступила ночь, им осталось пройти самую длинную милю, которая тянется в конце пути и кончается у входа в родной дом.

Этой ночью отец снова отправился в город с Питером, ибо пока человек жив, как бы ни была велика боль, его кровь стремится к утру и к тому, что приносит утро. И снова автобусы, пустые и безмолвные, спали в поселках. Но этой ночью идущие в город не пели, ноги их были тяжелы. Люди боялись написанного в розовых листках бумаги. Каждый говорил себе:

«Что будет со мной, если я опоздаю? Или если я на мгновение засну у станка? Уж лучше бы ураган унес меня прочь и спрятал на вершине самого высокого дерева. Ибо как же я смогу прийти домой и сказать своим детям и матери детей, что я потерял работу и что нам теперь придется умереть с голоду?»

Усталые и печальные шли люди в город, их сердца еле волочили ноги. Только Питер, высокая женщина и молодой человек, выпускавший газету, которую не любила полиция, пели и смеялись всю дорогу, хотя их соседи требовали, чтобы они замолчали. Эти трое шли с Токолошем, и Токолош плясал над их головами, играл на дудочке и пел песни о том, как над другими странами восходит солнце. Казалось, только тот, у кого голова из камня, может не петь и не смеяться от счастья вместе с Токолошем.

Наконец длинная усталая толпа вошла в город и распалась, ибо каждый отправился на ту фабрику, на которой он работал. И вдруг неожиданное горе обрушилось на черных людей. Когда каждый из них проходил через фабричные ворота, ему вручался конверт с новым розовым листком бумаги. На листке крупными буквами было напечатано: *«Ваша работа не соответствует существующим требованиям. Вы увольняетесь без выплаты жалованья, как вас об этом предупреждали».*

Жалобные крики женщин понеслись к небу, извиваясь над городом, как дым от полыхающего дома. Мужчины молча смотрели друг на друга. Понемногу толпа черных людей заполняла дорогу. Медленно шагали люди, возвращаясь в поселки, головы их были опущены. Весь день до самого вечера стон стоял на улицах поселков, тихий шепот звучал в

домишках — это женщины выражали свое горе, и мужчины обсуждали, что им теперь делать.

Неизвестно, кто пёрвым предложил это, но с наступлением сумерек огоньки запрыгали над улицами поселков, маленькие чаши пламени, превращавшие землю во второе звездное небо. Огромные толпы собирались на площадях, в ночной тишине возникало могучее пение. Когда черным людям плохо, они поют, раскачиваясь всем телом, и во всю мощь своих легких возносят песню к небесам, чтобы боль выскочила из их сердец и, грохнувшись о твердую землю, свернула себе шею. Пение начали женщины, они пели чуть слышно, как матери, убаюкивающие детей. Затем вступили мужчины, их тихие голоса, сливаясь с голосами женщин, становились все громче и громче, и наконец пение, словно пламя, бушевало над поселками, проглатывая домишко за домишком. Внезапно пение мужчин и пение женщин прекратилось, и раздался голос высокой женщины. Она пела о горе, тяжесть которого не в силах вынести тело, она пела одна, и голос ее взлетал все выше и выше и вдруг камнем упал на землю — так падает птица, подстреленная охотником.

— Пропуска! — закричала она.— Мы сожжем пропуска!

И мужчины стали вытаскивать из карманов пропуска и швырять их в огонь, а женщины плясали вокруг разраставшихся костров. Языки пламени плясали в глазах черных людей. Снова вся ночь пела, она была морем звуков, потрясающих безмолвие небес, и боль не могла больше выносить пения и выскакивала из сердец и, грохаясь о твердую землю, сворачивала себе шею. Под конец, когда люди начали уже расходиться, молодой человек, выпускавший газету, которую не любила полиция, закричал:

— Они лишили нас работы, но они еще придут сюда и будут уговаривать нас вернуться в город. Мы скажем им — нет! Мы не будем работать на них!

И как эхо раздались голоса расходившихся по домам:

— Пусть фабрики в городе спят. Кто мы такие, чтобы волноваться из-за этого и будить машины?

Этой ночью в поселках не было суеты, никто не шел по дороге в город, ее заполнял свет луны. Великий Поход окончился. А когда наступило утро, город проснулся, как женщина, оставшаяся одна в доме, которая прислушивается к каждому звуку и боится собственного дыхания. Дым не поднимался из труб ни на фабриках, ни в домах, ибо лишь черные люди развозят уголь по фабрикам и домам и лишь черные люди бросают его в топки. Когда же в городе нет черных людей, то некому гнуться в котельных и кормить пламя. Безмолвствовали машины, изготовляющие серебристые банки для варенья, ибо ноги фабрики бегут лишь тогда, когда их заставляют бежать люди, подобные отцу Питера. Когда же отец Питера спит у себя в поселке, конечно спят и машины. На улицах города было так тихо, что шаги редких прохожих гулко отдавались в пустом воздухе. Когда черные люди не приходят в город на работу и за покупками, некому ходить по магазинам, потому что белым приходится самим подметать полы, убирать постели и готовить себе еду.

Мэр города срочно созвал всех членов городского совета.

— Это ужасно,— сказал он.— Мне сообщили, что черным раздали розовые листки бумаги, на которых напечатано, что они плохо работали и им следует вернуться в поселки. И вот теперь они не работают совсем! Даже на моем заводе были эти розовые листки с печатями, хотя я никогда не отдавал подобных распоряжений. Когда я спрашиваю, кто же напечатал эти листки, мне отвечают, что никто не знает.

— Это ужасно, ужасно,— простонал толстый советник с лоснящимся лицом, который был владельцем фабрики консервированного варенья.— И никто не знает, кто раздавал неграм конверты с розовыми листками бумаги. Я спрашивал управляющего, он спрашивал других белых с моей фабрики, и все говорят, что им ничего не известно. Не известно! — запричитал он.

— А вы обращались в полицию? — спросил Мэра щуплый советник с неподстриженными седыми усами.

— Еще бы! — возмутился Мэр.— Но они тоже не знают, как это все было. Что нам делать?

— Это похоже на то, что случилось во время их хождения,— завизжала женщина-советник.— Странные вещи творятся в поселках!

— Совсем не странные,— прервал ее Мэр.— Наконец они поняли, что сила в их руках. Я полагаю, нам следует послать депутацию в поселки — я сам войду в нее — и попытаться уверить черных, что это была ошибка.

— А если они откажутся вернуться на работу? — спросил толстый советник с лоснящимся лицом, теребя кончик галстука.

— Это была ваша идея! — закричал на него Мэр.— Это была ваша идея раздать им розовые листки с предупреждением! Вы говорили, что это заставит их ездить на автобусах. Теперь вы видите, что получилось!

— Вы сами поддержали мое предложение! Вы сами голосовали за это! — запротестовал толстый советник с лоснящимся лицом, подпрыгивая в кресле.

— Да, я голосовал за это,— вздохнул Мэр.— И теперь я жалею об этом.

— Они теперь не будут работать,— зарыдала женщина-советник.— Зачем им работать?

— Я думаю, они будут работать,— сказал Мэр.— У них нет денег. Скоро им будет нечего есть. Ночи теперь холодные. На что они будут покупать себе одеяла? Мы им тоже нужны, без сомнения.

Итак, было решено, что Мэр и самые важные советники отправятся депутацией в поселки объяснять неграм, что розовые листки бумаги были розданы по ошибке, и уговаривать их вернуться на работу.

Опять в другом большом городе этой страны в доме Премьер-министра всю ночь не гасили свет, и опять черные люди оставались в поселках, и опять фабрики спали в пустынном воздухе утра.

— Я же говорил вам! — кричал Министр справедливости, и его левая щека высоко подпрыгивала, словно желая поцеловаться со лбом.— Если бы мы послали сильные полицейские отряды в поселки и арестовали всех зачинщиков, этого бы никогда не произошло. Черные люди перестают бояться нас. Что будет, если в них совсем не останется страха?

— Да,— сказал Премьер-министр. На лице его играла улыбка — так отблеск каминных углей играет на потолке, когда в комнате выключен свет.

— Собака, потерявшая страх, кусает ногу своего хозяина,— сказал Министр негритянского труда, энергично кивая головой.

— Премьер-министр прав,— сказал Министр негритянского процветания.— Ничто так не способствует процветанию негритянского народа, который играет столь замечательную роль в жизни нашей страны, как разумное применение силы.— И он улыбнулся Премьер-министру.

— Мы не должны применять ее в слишком открытой форме,— сказал Министр иностранных долгов.— Мы не должны давать повода всем этим иностранным архиепископам, епископам, проповедникам, всем

этим профессорам, сующим носы не в свое дело, газетчикам, которые вечно сеют смуту, бизнесменам, вложившим капиталы в нашу страну, и всем тем наглецам, которые осмеливаются учить нас, как надо жить! — И, закашлявшись от возбуждения, он разбудил Министра рек и плотин.

— Нет,— тихо сказал Премьер-министр,— для нас важно только то, что происходит внутри страны. Иностранные дела в настоящее время имеют второстепенное значение.

Если Премьер-министр пришел к такому решению, кто будет с ним спорить? Даже Министр иностранных долгов не нашел ни слова в защиту своей точки зрения. А когда Министр иностранных долгов молчит, можете быть уверены, что говорить не о чем, ибо для него нет ничего хуже молчания. Всю ночь министры обсуждали сложившуюся ситуацию, соглашаясь со всем, что говорил Премьер-министр. А когда после завтрака в дом Премьер-министра шумной толпой ворвались корреспонденты, Премьер-министр улыбнулся в объективы фотоаппаратов и сказал:

— Мы совещались всю ночь, и теперь белым нечего опасаться. Внутренняя политика в настоящее время гораздо важнее, чем внешняя. Мы пришли к согласованному решению по этому вопросу. Когда мы осуществим наши планы, черные вернутся на фабрики и все будет как прежде, только лучше.

Министр негритянского труда подтолкнул локтем Министра негритянского процветания, и оба они улыбнулись в объектив фотоаппарата.

5. Митинг

Тем временем Мэр города, в который черные люди ходили Великим Походом, надел на шею тяжелую золотую цепь, которую полагается носить на официальных церемониях, влез в свой лакированный черный автомобиль и поехал в поселки. Стояло утро, по дороге от опустевшего города к поселкам вслед за машиной Мэра ехало еще шесть черных машин, в каждой сидел советник. Пока семь машин со свистом мчались по дороге, черные люди собирались на площади самого большого поселка. По мере того как новые и новые толпы подходили к назначенному месту, глаза людей расширялись от удивления. Кто бы мог подумать, что в поселках живет так много народа? Так много, что и не счесть! Когда они были порознь, каждый на своем месте, казалось, что черных людей не так уж много. Но теперь, когда они все собрались на одном месте, было такое чувство, что вся земля заполнена ими. А люди прибывали и прибывали, даже стоявшие на высоком помосте из ящиков, сооруженном посредине площади, не могли видеть края толпы. Ибо вся земля вокруг, вплоть до самого неба, была полна черными людьми. От такого зрелища сердце наполняется гордостью. А люди все продолжали подходить.

Вдруг необъятная толпа умолкла: на помост поднялся молодой человек, издававший газету, которую не любила полиция. Его голос пронесся сквозь затаивший дыхание воздух, слова его, словно копья, пронзили даже тех, кто стояли у самых краев толпы.

— Мне сказали, что сюда приедет Мэр города и шесть советников. Они будут уговаривать нас вернуться на фабрики, чтобы разбудить машины. Ибо, когда черные люди не приходят в город, город спит, как старик на солнышке. Да и как может быть иначе? Разве это не наш с вами город? Разве не мы своими руками построили его высокие белые

здания? Разве не мы развели огни, питающие машины? Разве не мы работаем в кухнях и подметаем улицы? Мэр и его советники, вожди опустевшего города, скажут нам, что мы должны вернуться к работе. Они скажут, что произошло недоразумение, что они вовсе не приказывали нам идти домой из-за того, что мы спали, когда должны были бодрствовать, из-за того, что наши ноги отяжелели от бессонных ночей и привели нас в кухни и фабрики чуть позже положенного времени, что это отнюдь не они напечатали ложные слова на вторых розовых листках. Мы ответим им: что же, хотя бы и так! Кто знает, может быть, это был Токолош со своими сообщниками. Но кто напечатал первые розовые листки, грозившие нам увольнением из-за того, что мы не ездим на автобусах? Кто заставил нас ходить пешком в город из-за того, что у нас нет лишнего пенни на автобус? Они будут доказывать нам, что мы нуждаемся в их деньгах, чтобы купить себе пищу и прикрыть тела одеждой, что они дадут нам деньги, как только мы разбудим машины и вернемся к их кухонным плитам и садам. Но мы все ответим им: зачем нам будить ваши машины? Зачем нам работать в ваших кухнях и ваших садах? Да, вы дадите нам деньги. Но тех денег, которые вы нам даете, хватает на пропитание одного ребенка, а вовсе не взрослого человека, у которого есть дети и мать детей. Мы громко зовем друг друга в ночи, потому что голод и холод сотрясают наши тела. Почему вы называете эти машины своими, если они засыпают непробудным сном, как только мы покидаем их? Мы не вернемся в город. До тех пор пока автобусы не будут возить нас за прежнюю плату, до тех пор пока мы не сможем ходить, куда нам захочется, и быть, где нам захочется, не заботясь о листках бумаги, которые вы заставляете нас носить постоянно, до тех пор пока мы не будем застрахованы от винтовок и внезапных налетов полиции среди ночи, до тех пор пока вы не будете платить нам столько, сколько нужно для жизни, достойной человека, когда никому не придется умирать с голоду или ходить раздетому,— до тех пор мы не вернемся в город. Мы не вернемся к работе, пока город, возведенный нашими руками, не станет нашим в той же мере, что и вашим. До тех пор мы не вернемся в город!

Когда он кончил, рукоплескание было подобно биению крыльев миллиона птиц. И великий рев, подобный реву скал, сорвавшихся с горной кручи, вылетел из глоток черных людей.

— Мы не вернемся в город!

Тогда высокая женщина, которая памятной ночью увидела Токолоша на плече у Питера, взбежала на помост и воскликнула:

— От имени женщин, которых они хотят заставить тоже носить листки бумаги, чтобы полисмены могли кричать им, куда идти и где быть, от имени женщин я говорю: мы не вернемся в город! И от имени матерей и дочерей, которых будут уводить в ночи под жалобы и стенания детей, я заявляю: мы не вернемся в город! И от имени одиноких жен, чьи мужья, отцы их детей, заживо похоронены на фермах и в шахтах белых людей, от имени всех женщин я заявляю: мы не вернемся в город!

Внезапно в одном месте толпа раздалась — как нож воду, толпу рассекла машина Мэра и за ней — шесть машин советников. Машины остановились у помоста. Когда вожди города вылезали из машин, на площади воцарилось напряженное молчание, словно сам воздух затаил дыхание и старается не проронить ни слова. И внезапно тишину взорвал залп из ста винтовок, и толпа снова раздалась. Ропот уверенно перерастал в негодующий рев, когда длинная цепь грузовиков и бронемашин, набитых полисменами, устремилась к помосту.

Мэр города вскарабкался на помост и поднял руку, призывая к молчанию. Но в сердцах черных людей росли опасение и негодование — с чего это столько полиции с таким количеством оружия пожаловало на их митинг? И все-таки они очень хотели послушать, что будут говорить им вожди города. Надо выслушать их и дать достойный ответ. И толпа снова смолкла.

— Отчего вы здесь? — начал Мэр.— Разве фабрики и магазины закрыты для того, чтобы вы оставались в поселках? Машины спят и ждут вашего прихода. В розовых листках вы прочитали, что вы увольняетесь с работы. Не мы раздавали вам эти листки. Какой-то злоумышленник напечатал на листках эту ложь для того, чтобы добиться власти над вами. Это он послал вас домой. Если вы вернетесь в город, все будет как прежде, только лучше. Мы постараемся помочь вам с автобусами, хотя в данный момент я не могу обещать вам ничего определенного. Дело в том, что такие вещи не решаются с налету, все надо хорошенько обдумать. Но мы сделаем все, что в наших силах. А пока мы будем стараться урегулировать этот вопрос, вы должны вернуться к работе, ибо вы сами нуждаетесь в том, что производят машины, а машины не могут ничего делать без вас. Я надеюсь, вы вернетесь к работе.

— Нет! — закричала высокая женщина, которая в ту памятную ночь увидела Токолоша на плече у Питера.— Мы не вернемся! Вы же говорите нам, что все будет как прежде. Но мы не можем больше жить так, как жили прежде! Зачем нам возвращаться в город? Вы хотите, чтобы мы разбудили для вас машины и каждый вечер возвращались к голоду и холоду в поселках.

— Нет! — закричал молодой человек, издававший газету, которую не любила полиция.— Мы не вернемся! — Он подошел к Мэру.— До тех пор пока автобусы не будут возить нас в город за прежнюю плату, до тех пор пока мы не сможем ходить, куда нам захочется, и быть там, где нам захочется, не заботясь о листках бумаги, которые вы заставляете нас носить постоянно, до тех пор пока мы не будем застрахованы от винтовок и внезапных налетов полиции среди ночи, до тех пор пока вы не будете платить нам столько, сколько нужно для жизни, достойной человека, когда никому не придется умирать с голоду или ходить раздетому,— до тех пор мы не вернемся в город. Мы не вернемся к работе, пока город, возведенный нашими руками, не станет нашим в той же мере, что и вашим. До тех пор мы не вернемся в город!

Мэр испуганно посмотрел на полисменов, чьи грузовики и бронемашины кольцами окружили помост. Винтовок было много, но черных людей было во много раз больше, и в их глазах горел гнев. Кто не испугается, когда вокруг него, насколько хватает глаз, стоят люди, в чьих глазах горит гнев? Мэр снова поднял руку, призывая к молчанию.

— Я ничего не могу ответить вам относительно обязательного ношения пропусков. Я доложу о вашем пожелании Министру негритянского труда, Министру негритянского процветания и самому Премьер-министру. Большего я не могу обещать. Я — ваш друг, мои советники — ваши друзья, и поэтому пропуска, которые вы обязаны носить,— неприятность и для нас. Не мы заставляли вас носить их, не мы их ввели. Мы обратимся к Премьер-министру и будем просить его прислушаться к вашей просьбе. Мы сделаем все, что от нас зависит. Те дополнительные деньги, которые требуют от вас владельцы автобусов, мы выплатим из своих карманов, из карманов тех, кто владеют фабриками и магазинами. Вам не придется платить больше того, что вы платили до начала Великого Похода. Когда вы снова придете в город, мы поставим вопрос об изыскании денег для этого и, наверно, сможем помочь вам.

Я не прошу вас сейчас же дать мне ответ. Разойдитесь по домам, хорошенько обдумайте мои слова. Ибо в домашней тишине человеку виднее, что для него лучше.

Он быстро спустился с помоста, влез в свой автомобиль и на полной скорости покатил в город. За ним поехали шесть советников, каждый в своей машине.

Полиция же осталась. И как только высокая женщина, которая памятной ночью увидела Токолоша на плече у Питера, поднялась на помост, собираясь обратиться к толпе, Начальник полиции взобрался вслед за ней и сказал:

— Вы арестованы.

И повернувшись к молодому человеку, издававшему газету, которую не любила полиция, он сказал:

— Вы тоже арестованы.

Толпа заревела так, что, казалось, сама земля выражает свое горе, но постепенно умолкла. Что могли поделать черные люди? Полисмены, стоявшие на грузовиках и в броневиках, взяли винтовки на руку и прицелились, и теперь, куда бы ни взглянули черные люди, везде их взгляд встречал черные железные пасти винтовок, готовые проглотить их. Начальник полиции посмотрел на толпу прищуренными глазами и сказал:

— Вы все немедленно разойдетесь по домам, а завтра вы поедете на автобусах в город. Разве вы не видите, кто виноват в ваших бедах? Этот мужчина и эта женщина готовы лопнуть от больших слов, которые они тут говорили. Но вы видите, как мелки и слабы сделались они после нашего появления. Премьер-министр приказал вам вернуться в город и разбудить машины, и мы, его слуги, заботимся о том, чтобы это было выполнено. Вы должны делать так, как вам приказано. В противном случае ваше упрямство приведет к тому, что завтрашней ночью в поселках будут плакать женщины. Мы заберем с собой этого злонамеренного мужчину и эту злонамеренную женщину, чтобы они никогда больше не смогли причинить вам вред. Все будет как прежде, только лучше, потому что их не будет с вами.

Толпа зашевелилась. Никто не произнес ни слова.

Когда Начальник полиции положил руку на плечо высокой женщины, она закричала:

— Токолош, помоги нам! Не позволяй им увести нас!

И вдруг произошло чудо, о котором до сих пор рассказывают шепотом и о котором поют песни в поселках черных людей. Питер стоял рядом с помостом. Токолош спрыгнул с его плеча, где он тихонько сидел во время митинга, и одним прыжком очутился на фуражке Начальника полиции.

— Токолош! — закричала молодая женщина в толпе.— Я вижу его!

— Аййй! — закричал молодой человек, стоявший рядом с ней.— Я тоже вижу его! Токолош!

— Где? — пронзительно выкрикнула старая женщина, озираясь.— Я не вижу его!

— Вон он! Вон он! — понеслись крики с разных концов толпы.— Я вижу его! Смотрите, он пляшет на фуражке Начальника! Вон он, на фуражке Начальника!

— Какая чепуха! — возмутился Помощник начальника полиции, который только что, пыхтя, взобрался на помост.— На фуражке Начальника полиции нет ничего. Вы все с ума посходили!

— Вон он! — кричали люди.—Токолош! Смотрите, вон там Токолош!

То, что произошло затем, произошло так быстро, что только спустя некоторое время, разобравшись во всем, можно было сказать: «Вот что произошло. Я был там и все видел своими глазами. Вот как это было».

Внезапно Токолош спрыгнул на левое плечо Начальника полиции и ловким ударом ноги сбил фуражку, послав ее вращаться по ветру. Когда винтовки полиции плюнули в толпу, черные люди ринулись к помосту с криками:

— Токолош! Токолош!

Молодой человек, издававший газету, которую не любила полиция, и высокая женщина, обратившаяся к Токолошу за помощью, спрыгнули в гущу толпы и мгновенно затерялись в ней.

— По грузовикам! — закричал Начальник полиции.— По грузовикам!

Полисмены, окружавшие помост, начали пробиваться через толпу, вылизывая пространство вокруг себя длинными острыми языками винтовок. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Бронемашины и грузовики укатили по дороге к городу, а огромная толпа замерла. Токолош спрятался в карман к Питеру.

Посредине толпы зияла пустота. Люди стояли, склонив головы, и глядели вниз: на земле лежали тела многих мужчин и женщин, некоторые из них корчились и стонали, некоторые были недвижны и безмолвны. И к небесам устремился великий стон толпы, ибо боль разрывала сердца людей. Зазвучало пение многих тысяч голосов. Черные люди стремились пением хоть немного облегчить свою боль. И вот они расходились по домам, унося с собою своих раненых и убитых. Площадь, на которой было так много народу, как-то сразу опустела, и на ней остались только разбросанные ящики, из которых был составлен помост. Ящики лежали, поломанные и забытые, как выброшенные на берег остатки кораблекрушения. Митинг окончился.

6. Осада

Этой ночью белые в городе почти не спали. На первых страницах всех вечерних газет были помещены фотографии и отчеты о митинге, и белые люди целыми семьями ходили друг к другу, чтобы поговорить о том, что же теперь делать. Кроме того, они боялись оставаться одни ночью. В их сердцах перешептывались маленькие сухие ветерки страха, многие глаза не смыкались до утра. Некоторые громкими голосами рассуждали о полиции, говорили, что она виновата во всем, что после всего происшедшего на митинге ей не следовало удирать в город. Но внезапно наступала тишина, а потом они говорили себе, что полиция здесь ни при чем. Ибо если вы застрелите пять человек и еще пятьдесят, а на вас все идут и идут бесчисленные толпы, то вас не спасет убийство пятисот или даже пяти тысяч человек. Кроме того, убитые не смогут разносить по утрам бутылки молока и чистить по ночам мусорные ящики у черного хода. Сначала стрелять очень легко. Но потом это ничему не помогает. И машины продолжают спать, а сады зарастать сорняками. Находились даже такие белые, которые говорили вслух, что во всем виноваты они сами. Это они взваливали на плечи черных непосильную ношу, и теперь наступило время, когда черные не могут больше нести ее. Но говорившие это не предлагали ничего по существу. Разве, оглядываясь назад, отгонишь страх, который стоит перед тобой? Конечно, нашлось несколько белых, которые считали, что черные люди требуют только того, что им принадлежит по праву, что полиции незачем было появляться на митинге и что Мэр должен был поехать на митинг с открытой душой и дать

неграм то́, что они просят. Разумеется, эти люди говорили не подумав. Ибо дай черному палец — и он откусит тебе всю руку. А если ты дашь ему руку, он тотчас же потребует себе дом, перед которым цветет сад, на той же улице, где живешь ты, и он захочет ходить в те самые кинотеатры, в которые ходишь ты, и ездить в одних автобусах с тобой. И не успеешь оглянуться, как черный человек станет Мэром города и даже Премьер-министром, и страна не будет больше принадлежать белым и их детям.

Этой ночью огни в доме Премьер-министра не горели. В полдень Премьер-министр, Министр негритянского труда и Министр негритянского процветания вместе с Министром справедливости, Министром иностранных долгов и другими министрами сели на́ самолет и полетели в город уснувших фабрик. Прилетев, они отказались делать какие-либо заявления корреспондентам, несмотря на то что Министру иностранных долгов пришлось для этого больно прикусить язык, а Министру негритянского труда — проглотить все пословицы, которые так и лезли из него. Он даже подумал, как бы они не стали выскакивать из его ушей. Но Премьер-министр сказал, что никто не должен ничего говорить корреспондентам. Как бы ни хотелось министрам увидеть свои имена на первы́х страницах газет, их страх перед Премьер-министром заглушал все желания, и они с болью в сердце удерживали слова. По сигналу Премьер-министра они влезли в автомобили и один за другим покатили к зданию мэрии. Мэр и его советники в молчании ожидали их. На лицах у них был написан испуг. Премьер-министр и другие министры заняли места за большим столом, дверь зала заседаний заперли на ключ и на окна опустили тяжелые красные шторы.

— Мистер Премьер-министр,— начал Мэр,— мы счастливы, что вы прибыли сюда, чтобы помочь нам. Ибо мы не знаем, что делать. Улицы не убираются, мусорные ящики на задних дворах переполнены. По утрам не разносят ни молока, ни хлеба, ни мяса. Фабрики крепко спят. Мы не можем дольше выносить такую жизнь. И, что хуже всего, белых охватил страх, что черные никогда не вернутся. Что тогда произойдет с городом? Что тогда будет с нами? Мы всегда жаловались на то, что черных в городе слишком много, и поэтому вы ввели для них пропуска. Но эти пропуска наполнили их злобой. Теперь в городе совсем нет черных, и город превратился в кладбище.

Премьер-министр так посмотрел на Мэра, что тот побелел.

— Я никогда не говорил, что в городе работает слишком много черных. Я говорил, что чересчур много черных шатается по городу без дела. Старики, слишком старые для работы, женщины, целыми днями предающиеся сплетням в ожидании мужей. Город надо очищать от подобных бездельников, а это совсем другой разговор.

— Да,— дрожащим голосом сказал старый сгорбленный советник.— Вы клали одну за другой тяжелые ноши на плечи черных, отнимали жен у мужей и отцов у детей, и вот ноша стала для них невыносимой.

— Да,— тонким от страха голосом запищала женщина-советник.— А теперь не работают не только старики, женщины и дети, теперь и мужчины не работают. И мы все теперь видим, как это «прекрасно».

— Как долго вы можете продержаться при таком положении? — спросил Премьер-министр, жестом установив тишину.

— У черных людей есть пословица,— сказал Министр негритянского процветания,— при пожаре в селении ты не должен бежать, пока не загорится твой дом, ибо ветер может еще перемениться.

Министр негритянского труда, собиравшийся сам вставить в разговор эту пословицу, со злобой посмотрел на соперника, но вслух лишь повторил слова Премьер министра:

— Как долго вы можете продержаться при таком положении?

— Дня четыре,— грустно ответил Мэр.— Может быть, больше, может быть, меньше. Я не знаю. Весь ужас нашего положения в том, что может случиться что-то ужасное, сейчас или ночью, внезапно, неожиданно. Горожане начинают сходить с ума от страха. Среди бела дня они грабят магазины, и на улицах нет полиции для наведения порядка.

— Полиция расположена на дороге, ведущей к поселкам! — закричал Министр справедливости, теребя цветок в петлице.— Но есть другие города и другие дороги, на которых может случиться что-то ужасное! Наверно, нам следует ожидать повторения Великого Похода,— и, хрипло хихикнув, он умолк.

— Нет, я не думаю,— возразил Мэр.— Но город охвачен страхом.

Министр иностранных долгов тяжело вздохнул и сказал:

— Они не вернутся в город.

— Мы сами знаем, что они не вернутся,— возмутился толстый советник с лоснящимся лицом, владелец фабрики консервированного варенья.— Но машины спят! А кто разбудит их, если черные будут торчать в своих поселках? Лучше скажите, что нам делать!

— Мы не будем делать ничего,— ответил Премьер-министр. На тонких губах его играла усмешка.— Они нуждаются в белых не меньше, чем белые нуждаются в них. Нам надо скрестить руки на груди и ждать. Черным тоже надо есть. Их дети плачут по ночам, когда у них пустые желудки. Подождем — увидим.

— Да,— сказал Министр негритянского труда.— Тот, кто выжидает, выигрывает, говорят черные люди. Послушаемся же их совета.

— Мы займем выжидательную позицию,— сказал Министр негритянского процветания.— Тем временем я напишу брошюру, и мы будем сбрасывать ее с самолетов над поселками. Мы должны объяснить им, что возвращение к работе в их же интересах.

— Мы должны показать всем иностранным государствам, как добр наш Премьер-министр,— возбужденно заговорил Министр иностранных долгов.— Он не посылает в поселки полицию, а дает черным людям самим прийти к выводу, что надо вернуться к работе.

— Что же делать, пока они не вернутся? — спросил Мэр.— Что делать нам в городе?

— Ничего,— ответил Премьер-министр, холодно оглядывая присутствующих.— Ничего, разве что предложить некоторым вашим советникам держать язык за зубами и не показывать повсюду свой страх. Мы пришлем в город подкрепление полиции и восстановим порядок на улицах. Мы до крови закусим губы, но не дадим черным того, чего они добиваются. Посмотрим, кто сдастся первым, город или поселки.

Министр негритянского труда предложил спеть свой национальный гимн. Возникли пререкания, ибо некоторые советники хотели петь «Боже, храни королеву», но под взглядом Премьер-министра они быстро уступили и запели свой гимн.

В поселках же сердца черных людей были спокойны и свободны от боли. Ничего подобного не помнили даже старейшие. Черные люди ходили не горбясь, и глаза их смотрели прямо перед собой. Они узнали о страхе в городе, о его вопиющей нужде, они поняли, что разбудить машины могут только их руки, и они чувствовали себя сильными, потому что эти руки принадлежали им. Повсюду, где жили черные люди, воцарилась глубокая тишина. Настало время тишины, когда не следует болтать языками или топать ногами, настало время просыпающегося сознания, когда слабые становятся сильными. Да и как могло быть иначе? Когда народ полон такой веры в себя и когда сам хохочущий

Токолош на его стороне, этому народу стоит только протянуть руки и ловить звезды, падающие с небес одна за другой. Когда руки не дрожат от того, что сердце полно трепета, они поймают звезды и удержат их и найдут наконец счастье.

Итак, с великим миром в сердцах черные люди поселков занимались своими делами, готовясь к наступающим трудным временам. Те, у кого была одежда, сложенная под кроватью, доставали ее и отдавали тем, у кого ее не было, чтобы никто не ходил раздетым. Те, у кого была пища, давали ее тем, у кого ее не было, чтобы все могли сначала насытиться, а потом голодать вместе. По вечерам после захода солнца все свободные от дел собирались у домика Питера, чтобы повидать Токолоша. Еще находились такие, кто приходили, но не могли увидеть его, кто смотрели и видели одного Питера, тершегося щекой о левое плечо. Но таких становилось все меньше и меньше. Это были в основном старики. Другие же, отцы, матери и дети из поселков, толпились вокруг Питера, смеялись вместе с Токолошем и с пляшущими от радости сердцами расходились по домам. Среди этих людей всегда был молодой человек, издававший газету, которую не любила полиция, и высокая женщина, которая в день митинга обратилась к Токолошу за помощью. Они обычно задерживались дольше всех, всерьез обсуждая дела с Токолошем. И хотя Токолош с удовольствием беседовал с ними о серьезных делах, он в то же самое время весело смеялся, ибо его сердце всегда было переполнено радостью, и смех его не мешал серьезным делам, а серьезные дела не мешали смеху.

А в городе белых людей в это время не было ни мира, ни смеха, потому что страх возрастал со дня на день. Черные люди на фермах, расположенных вокруг города, отказывались работать на своих хозяев, а когда прибывала вооруженная винтовками полиция, чтобы заставить их работать, они возвращались к машинам и ломали их, угоняли скот и сами уходили в поселки. Поэтому грузовики больше не привозили еду в город, и продовольственные магазины были пусты. А те белые, у которых были припасены продукты, запирали буфеты на замок и говорили соседям, что у них тоже ничего нет, чтобы ни с кем не делиться и растянуть припасы на больший срок. В глубоких шахтах, где добывают золото, черные люди тоже отказывались работать, а когда прибывала полиция, чтобы заставить их добывать золото, они ложились ничком на землю и не шевелились. Полиция расстреливала нескольких человек, но разве расстрелами запугаешь тех, кто лишены страха и спокойны под дулами винтовок? Итак, золото больше не выходило из-под земли, страна не могла покупать еду за границей, ибо для этого нужно золото. С каждым днем страх в городе рос, и никто не знал, чем все это кончится.

Снова Премьер-министр и другие министры заседали за тем же столом с Мэром и его советниками.

— Что нам делать? — спросил Мэр.— Я очень боюсь.

— Мне рассказывали, что каждый вечер после захода солнца в поселках подымается хохот,— сказала женщина-советник и вдруг разрыдалась.— А вдруг это правда? А вдруг это действительно Токолош? А вдруг это действительно он проделывает с нами эти ужасные вещи?

— Никакого Токолоша не существует,— сказал Министр иностранных долгов.— Я убежден, что никакого Токолоша нет. Если бы он был, я бы видел его.

— А я не знаю,— тихо сказал Премьер-министр. Глаза его были полузакрыты.— Кто знает? Может быть, он и есть. Эти черные — странные люди. Токолошем можно было бы объяснить очень многое.

— Да,— сказал Министр негритянского труда.— Может быть, это действительно Токолош. О нем сложено слишком много пословиц. Но черные люди говорят, что он убежал за море, когда сюда пришли белые...— Его голос звучал невесело.

— Может быть, именно из-за него черные люди не придали никакого значения моим брошюрам. Может быть, Токолош ослепил их, и они следуют только за ним и поэтому не читают мои слова,— сказал Министр негритянского процветания.

— Очень интересно,—пробормотал Министр справедливости, теребя пальцами подбородок,— интересно, можно ли расстрелять его?

— Это был бы выход из положения,— проговорил Министр рек и плотин, который проснулся как раз в это мгновение.— Но я сомневаюсь, чтобы это можно было осуществить.— И он закрыл глаза и снова уснул.

— Мне доложили,— сказал Мэр,— что полиция начинает принимать участие в грабежах, что полисмены вместе с молодыми людьми из города громят дома и магазины.

— Это ложь! — закричал Министр справедливости, подскочив. Его лицо налилось кровью.

— Сидите спокойно,— цыкнул на него Премьер-министр.— Может быть, это правда.

И Министр справедливости уселся в кресло и начал со злостью теребить себя за ухо.

Внезапно дверь распахнулась настежь, и Токолош, приплясывая, влетел в комнату. Он огляделся, медленно поворачивая голову, и вдруг разразился громким смехом, сделал сальто и одним прыжком оказался на столе. Мгновение он стоял спокойно. Его тело сотрясалось от смеха, кипевшего в груди, и вдруг он закинул голову, и смех стал вырываться из его рта. Стекла в окнах задрожали, словно они смеялись с ним.

— Это Токолош! — завизжала женщина-советник и лишилась чувств.

— Он смеется надо мной! — воскликнул Премьер-министр.

— Не над вами, а надо мной! — закричал Министр справедливости.

— Что вы все кричите? — возмутился Министр негритянского труда.— Он смеется над Премьер-министром. Кроме того, он смеется надо мной.

— Что за чертовщина? — в волнении воскликнул Министр иностранных долгов.— Где Токолош? Я не вижу никакого Токолоша!

Министр рек и плотин приоткрыл один глаз и пробормотал:

— Что, Токолош? Мы до сих пор говорим о Токолоше? — и он снова закрыл глаз, и тихий свист стал вырываться из его ноздрей. Он посвистывал, как игрушечный паровоз, и Министру шахт пришлось толкать его локтем в бок.

— Я скажу прямо,— сказал Министр шахт.— Я не вижу никакого Токолоша.

— Боже милостивый! — воскликнул Мэр.— Да он у вас под носом. Протяните руку и поймаете его!

— Где? Где? — встревожился Министр шахт, изо всех сил загребая руками в воздухе.

— Да вы чуть не поймали его, идиот! — процедил сквозь зубы Премьер-министр. И он тихонько поднялся из кресла и вдруг сделал резкий выпад рукой.— Токолош слишком ловок,— вздохнул он, опускаясь в кресло, и, достав из кармана большой белый платок, вытер покрывшийся испариной лоб.

— Да,— вздохнул Министр негритянского труда.— Черные люди говорят, что его матерью была молния.

— Перестаньте болтать о том, что говорят черные! — прикрикнул на него Премьер-министр. Министр негритянского труда покраснел и стал рассматривать свои руки.

Токолош покинул комнату так же внезапно, как и появился в ней. Легко оттолкнувшись от стола, он опустился у двери, задержавшись лишь для того, чтобы оглянуться и подмигнуть левым глазом побледневшим министрам и советникам.

— Что делает эта женщина на полу? — спросил Министр рек и плотин. Его разбудила тишина, наступившая после ухода Токолоша.

— Должно быть, она упала в обморок,— ответил Министр негритянского труда. Он нагнулся и стал тихонько гудеть ей в уши, пока она не открыла глаза и не вздохнула.

— Он ушел?

— Токолош?

— Да.

— Он только что ушел.

— Как я рада,— сказала она, прижимая руку к сердцу. Она встала и заняла свое место за столом.— Когда он взглянул на меня, мне показалось, что я совсем...

— Это не важно,— сказал Премьер-министр, цедя слова сквозь стиснутые зубы.— Давайте продолжать!

— Что продолжать? — выкрикнул толстый советник с лоснящимся лицом, владелец фабрики, на которой когда-то делали консервированное варенье.— Мы, кажется, не можем прийти ни к какому выводу. Это вы втянули нас в эту историю,— он злобно посмотрел на Премьер-министра.— Прежде они вполне довольствовались тем, что у них было. Потом вы начали лишать их то одного, то другого. Теперь они хотят того, чего никогда не хотели, о чем и не думали до тех пор, пока вы не стали Премьер-министром.— Все советники громко зааплодировали.

— Завтра я опять поеду в поселки,— объявил Мэр.— И я скажу им, что мы возьмем автобусы в свои руки, что им не придется платить ни пенни за проезд в город. Я скажу им, что мы прибавим им жалованье, если только они вернутся к работе. Я скажу им, что листки бумаги, введенные для обязательного ношения, мешают нам самим, что мы дадим им работу и позволим жить в поселках, не заботясь о том, носят они эти листки или нет. И тогда, может быть, черные люди вернутся в город.

— Мы не можем больше выносить этот страх! — завизжала женщина-советник.— Если они не идут к нам, мы должны пойти к ним. Теперь мне все равно, где черные, где белые, все равно! — И, закрыв лицо руками, она громко зарыдала.

Премьер-министр вскочил с кресла:

— Этот вздор зашел слишком далеко! — закричал он пронзительным голосом.— Вы боитесь, вы все боитесь, и вы слабы. Я боюсь не меньше вашего. Но я скорее пойду на то, что от города не останется камня на камне, я скорее пойду на то, что город сравняется с землей, чем позволю черным прийти и отнять у нас все, что мы имеем, чем позволю им занять наши места и командовать нами. Если тому, что у нас есть, суждено пропасть — пусть пропадает! Но я не допущу, чтобы это попало в их руки! Уж я не скажу им: приходите и забирайте все, что у нас есть, мы все отдаем вам. Я совещался с Министром негритянского труда и с Министром негритянского процветания. Я знал, что на вас нельзя положиться, что вы будете нести этот вздор. Мы решили действовать. Дом окружен полицией. Вы арестованы! Все!

— Да,— сказал Министр негритянского труда,— вы все арестованы.

— И я тоже? — воскликнул Министр иностранных долгов.— Что вы будете делать без меня?

— И я? — закричал Министр шахт.

— И я? — спрашивали все министры, за исключением Министра рек и плотин, который продолжал спать, и Министра справедливости, у которого так дергался рот, что он не мог выговорить ни слова.

— Да,— объявил Министр негритянского процветания.— Вам станет легче, как только вы поймете, что все это сделано лишь для вашего блага. Мы будем править городом втроем — Премьер-министр, Министр негритянского труда и я.

Мэр тряхнул головой и рассмеялся.

— Так-так,— сказал он.— Мне следовало бы догадаться об этом давно. Рано или поздно это должно было произойти. Мы некоторым образом сами дали вам возможность делать то, что вам вздумается, ибо мы всегда соглашались с вами. Теперь мы ясно видим, что́ вы приносите городу и народу. Это наша вина. Нам следовало бы давно догадаться об этом,— и он смахнул слезы с глаз.

— Что вы хохочете? — напустился на него Премьер-министр.— Вы хохочете, как Токолош. Никто не смеет смеяться надо мной!

— Никто не смеет смеяться над Премьер-министром! — одновременно закричали Министр негритянского труда и Министр негритянского процветания.

— Смеяться? — переспросил Мэр.— Я смеюсь потому, что теперь мне стало все равно. Пусть будет так, как вы хотите. Пусть от города не останется камня на камне, пусть город сравняется с землей! Вам не победить. Черных слишком много. Если вы не могли победить их, когда все мы поддерживали вас, как вы сможете победить, когда мы все окажемся за решеткой, а вы втроем будете управлять опустевшим, полным отчаяния городом? Как же не смеяться? Может быть, это к лучшему. Как без вашей помощи могли бы мы показать черному народу, что не всякий белый может похоронить весь мир в могиле своей алчности? Смешно, что именно вы помогли это сделать.— И Мэр заплакал. Слезы текли по его щекам, но он не замечал их.— Города больше не будет,— бормотал он.— Трубы не будут больше наполнять небо дымом, не будет домов с цветущими садами, не будет нашей земли, красной от солнца. Что будет с нами, когда опустится ночь и черные будут смотреть на небо и слушать пение звезд? Что будет с нами?

7. Конец начала

— Тсс! — проговорил Премьер-министр.— Вы слышите?

Министры и советники прислушались. Страшный удар грома раздался над головой, затем наступила тишина, и вдруг небо раскололось, и тяжелые капли дождя застучали по стеклам.

— Это наша последняя возможность победить! — воскликнул Премьер-министр, и его глаза безумно заблестели.— Пусть Токолош посмеется над этим! Это же дождь!

— Дождь? — выкрикнул кто-то из советников.— Конечно, это дождь! Но какое он имеет отношение к делу?

— Я объясню вам, что такое дождь,— спокойно проговорил Премьер-министр.— Дождь превращает улицы поселков в реки, он яростно обрушивается на стены лачуг и ломает их. Он идет, не прекращаясь, по меньшей мере три дня. Это же начало летних дождей, начало ежегодного потопа! — он взглянул на Мэра глазами, похожими на тле-

ющие угли.— Дайте мне три дня, и вы увидите, что произойдет. Если через три дня большинство черных не явится в город работать, я признаю, что вы правы, и отдам вам этот город, и вы сможете делать с ним все, что вам заблагорассудится. Вы сможете поехать в поселки и отдать все черным. Я прекрасно знаю, что мы втроем не справимся с управлением города. Так вот, дайте мне три дня. Все вы должны помогать мне в течение трех дней. Обещайте мне это!

— Не думаю, что нам следует ждать,— сказал Мэр.— Не стоит продолжать неправильную политику. Быть может, через три дня черные откажутся выслушать нас, и их мир с нами окончится навсегда.

— Нам не хотелось бы черного Премьер-министра,— захихикал Министр иностранных долгов.

— У нас будет черный Начальник полиции,— закричал Министр справедливости, подпрыгивая в кресле,— и черные начнут совать носы в наши дела, и отберут у нас паспорта, и будут судить нас по обвинению в измене, и эти суды будут идти из года в год!..— он был слишком взволнован, чтобы окончить.

— Мы не хотим, чтобы черные жили в одних домах с нами,— захныкала женщина-советник.— Дадим ему три дня!

— Мы не хотим, чтобы черные сидели здесь,— дрожащим голосом проговорил старый сгорбленный советник.— Мы не хотим, чтобы они указывали нам, как следует управлять нашим городом. Дадим ему три дня!

— Мы не хотим, чтобы наши машины работали на черных! — воскликнул толстый советник с лоснящимся лицом, владелец фабрики, на которой когда-то делали консервированное варенье.— Дадим Премьер-министру три дня!

— Не думаю, что нам следует ждать три дня,— сказал Мэр.— Но мы дадим ему три дня. А по истечении трех дней мы будем действовать по-своему.— Он повернулся к Премьер-министру.— А какие у нас гарантии, что вы выполните свои обещания?

— Вам не нужно никаких гарантий,— ответил Премьер-министр.— То, что вы сами сказали здесь, истинная правда. Мы не можем долго управлять городом без вашей помощи.

— Итак, вы получаете эти три дня,— сказал Мэр.

Всю ночь шел проливной дождь. Он не прекращался и на следующий день и на следующую ночь. В городе потоки дождевой воды бушевали по мостовым, а на углах улиц становились на дыбы и исчезали в водостоках. Совсем иначе было в поселках, где жили черные люди. Ведь в поселках улицы немощеные, это просто красные глинистые дороги, хорошо утоптанные ногами множества прохожих. На этих улицах нет ни тротуаров, ни водостоков. На углах нет бетонных глоток, по которым вода устремляется под землю, где дождь лежит, как пойманное в ловушку море, которое все время подымается, словно растет на дрожжах. К вечеру второго дня улицы поселков извивались, как огромные змеи, тершиеся боками о домишки черных людей. А дождь все шел и шел. Некоторые дома были построены из кирпича и цемента, их ноги продолжали цепко держаться за землю. Но большинство черных людей жило в лачугах, сооруженных из старых ящиков и ржавой жести, где щели затыкают старыми газетами, чтобы по дому не разгуливал ветер. Они дрожали под ударами дождя и одна за другой разваливались, и тогда ползущие улицы уносили их обломки на своих спинах. А дождь все шел и шел. Лишившиеся домов толпились на холмах и смотрели вниз на холодную плоскую серую воду, разлившуюся там, где еще два дня назад стояли их дома, греясь в лучах солнца. А дождь все шел и

шел. Он уже не устремлялся наземь сплошным неистовым потоком, как это было вначале, а шел тихий, мелкий, почти невидимый и непрекращающийся. Длинными цепкими нитями он притягивал небо к земле. Каждый год с наступлением лета дожди нападали на черных людей, как страшная болезнь. Но в этот год стрелы лета были острее и голод и нагота ужаснее, чем всегда.

Ранним утром третьего дня поселки охватил ропот, похожий на жужжание мух на тысячах окон.

— Токолош. Токолош. Токолош остановит дождь. Если мы хорошенько попросим, Токолош отведет дождь.

Одна старая женщина закричала, и другие женщины подхватили ее крик:

— Пойдемте все к Питеру. Пусть он попросит Токолоша отвести дождь на другую часть неба.

— К Токолошу! — кричали люди.

— К Токолошу!

На вершине одного из высоких холмов, окружавших поселок, сидел Питер. Токолош, уцепившись за пуговицу его куртки, раскачивался взад-вперед и беседовал с высокой женщиной, которая в день митинга обратилась к нему за помощью, и с молодым человеком, издававшим газету, которую не любила полиция. Поблизости сидели отец и мать Питера. Они тихонько переговаривались и, глядя друг на друга, покачивали головами. Они, как и многие, потеряли свой дом, а это означало долгие дни поисков старых ящиков и ржавых листов жести и снова сооружение домишка, когда окончится дождь.

Вскоре вокруг них собралась огромная толпа. Стоявшие сзади напирали на передних, и вот уже на скользком склоне не осталось свободного места. Многие оступались и падали, попадая под ноги своих соседей. Молодой человек, чью газету не любила полиция, поднял руки, призывая к вниманию. Люди затихли.

— Зачем вы пришли сюда? — спросил он.— Что вы хотите от нас?

— Не от вас,— прохрипела старая женщина,— совсем не от вас. Мы пришли к Питеру. Он должен убедить Токолоша отвести от нас дождь.

— Да! — закричал молодой человек в желтой куртке и желтых полуботинках, который стоял рядом с ней. Этот молодой человек был из тех, кто не работают в городе, но чьи деловитые руки во мраке ночи находят достаточно денег для покупки красивой одежды.— Токолош! — он вытащил из кармана нож и кончиком лезвия стал вычищать грязь из-под ногтей.— Пусть он отведет дождь!

Над толпой поднялся шум, похожий на болтовню скворцов после захода солнца. Снова молодой человек, чью газету не любила полиция, поднял руки, призывая к молчанию, и толпа умолкла. Он посмотрел в упор на старую женщину и на молодого человека в желтой куртке и желтых полуботинках.

— Какой злой умысел привел вас сюда? — спросил он.— Как может Токолош приказывать небу? Каждый год с наступлением лета идут такие же дожди. Так было, когда я родился, так будет, когда я стану старым, таким же старым и глупым, как эта женщина, которая решила, что тучи задерут юбки и разбегутся, если мы начнем кричать на них. Никто не может остановить дождь. Очень скоро, может быть завтра, он прекратится сам, и солнце снова будет греть нас.

— Нет! — закричала старая женщина.— Дождь такой сильный, что он, верно, никогда не прекратится. Что, если он будет идти семь дней? Или семьдесят? Токолош должен отвести дождь! Зачем он вернулся, если он не может помочь нам? Я больше не вижу его. Он прячется от нас! —

и она указала длинным крючковатым пальцем на Питера и его друзей.— Вы уговаривали нас верить в Токолоша, потому что его волшебство велико. А теперь вы говорите, что Токолош бессилен отвести от нас дождь. Люди, нас предали! Нас предали! — она начала рвать на себе волосы, и великий стон вырвался из груди женщин, стоявших вокруг.

— Правильно! — закричал отец Питера. Он дрожал от мысли, что этот стон может превратиться в ярость, направленную против его сына.— Этот молодой человек с газетой обещал нам многое. А теперь мы видим, что он слаб, как ребенок, и его маленькие руки дрожат.

— Замолчи, глупец! — воскликнула мать Питера.— Это ты ребенок, который не знает, чему верить. Это ты предаешь нас! — и она закрыла лицо руками, потому что ей было стыдно.

— Разве вы никогда не научитесь верить в себя и находить силы в себе? — заговорил молодой человек, издававший газету. Он протянул вперед обе руки, словно уговаривая людей поверить в свои силы.— Великое волшебство, о котором вы мечтаете, не в мешке колдуна и не в ногах Токолоша. Оно в бьющихся сердцах черных людей. Это великое волшебство — в стремлении к лучшей жизни, в борьбе за нее и в уверенности в своих силах. Токолош не может сделать ничего, что мы не могли бы сделать сами. Его чудеса велики, ибо то, что он делал, сообща делали все. Когда мы все вместе добиваемся чего-нибудь, нет такой силы, которая могла бы помешать нам. Но мы не можем сделать так, чтобы дождь перестал лить на наши головы. Мы не можем втащить солнце на небо. Все народы мира не могут сделать этого, ибо людям принадлежит земля, которую они должны преобразовать для своего блага. Разве черные люди не творят чудеса? Мы не принесли зла ни одному белому, и все же в сердцах горожан страх и отчаяние, ибо они за минувшие годы причинили нам столько зла. Мы бедны, у нас нет ни машин, ни садов перед домами, и все же мы превратили в пустыню город, который они называют своим, потому что без нас все машины на фабриках спят, а сады зарастают сорняками. Наши пальцы уже сжимают плод, о котором мы мечтали с тех пор, когда еще не были рождены отцы наших отцов. Можем ли мы разжать пальцы из-за того, что пошел дождь? Дождь скоро кончится, и тогда город белых станет на колени и будет умолять нас прийти и поставить его на ноги. Наши дети больше не будут плакать по ночам от голода, раздувающего их животы. Дождь больше не унесет наши дома, ибо мы построим их из кирпича и цемента. Они будут прочно стоять на земле. Мы вымостим наши улицы камнями и по ночам будем зажигать фонари. А на случай дождя мы соорудим на углах бетонные глотки, и все воды лета уйдут под землю. Мы будем снова ездить в город на автобусах, ибо город будет счастлив, что мы являемся вовремя и наши ноги не отягощены сном. Но для этого мы должны выстоять, дождаться конца дождя. Токолош не сможет отвести дождь, потому что наши руки, которые умеют строить города и равнять их с землей, наши руки не могут отвести дождь. Токолош — это руки и сердца черных людей. И Токолош никогда не изменит нам, если нам не изменят наши сердца и руки.

Молодой человек умолк, и некоторые из стоявших поблизости от него стали плохо видеть, ибо слезы застилали их глаза. Плакал даже Токолош. Он закрыл лицо руками, его тело сотрясалось от слез, рвавшихся из самого сердца.

Но старая женщина не унималась.

— Это слова! Большие слова! Белый полисмен на митинге был прав! Теперь это ясно! Если Токолош не может отвести дождь, значит, он ничего не может, значит, волшебство белых людей сильнее! Я буду ждать

до утра, и если утром небо будет в тучах и будет лить такой же дождь, я пойду в город, помирюсь с хозяйкой и буду снова убирать ее дом и готовить ей пищу. Я хочу есть, и мои дети хотят есть, и дети моих детей хотят есть. У нас не хватает одеял, чтобы защитить свои кости от сырости. Я слишком стара для того, чтобы укрываться словами и набивать ими свой желудок.

— Я тоже пойду в город! — выкрикнула стоявшая рядом молодая женщина, которая до этого не говорила ни слова.— Моя девочка дрожит от голода и холода, и у меня нет дома, чтобы защитить ее от дождя. А вашими словами ее слез не уймешь!

— Токолош убежал! — закричал ее муж.— Я его больше не вижу!

— А я его вижу! — возразила высокая женщина, которую Токолош спас на митинге от полиции.— И я не пойду в город. Я не пойду как раз потому, что у моих детей нет ни еды, ни крова. Потому что я не хочу снова кланяться летнему дождю, как я кланяюсь ему сейчас. Потому что я не хочу вечно носить с собой листки бумаги, по которым мне приказывают идти туда-то, а не туда-то. Потому что солнце снова взойдет, потому что боль змеей свернулась в наших сердцах. Я не пойду в город, даже если дождевая вода подымется выше моей головы. Моя душа больше не может выносить ветра, дождя и голода, я не желаю больше прикусывать язык, когда белый кричит на меня, когда полисмен толкает меня в грязь. Я не хочу работать в кухнях белых людей, не хочу будить их машины до тех пор, пока мои руки и мои ноги не получат свободы.

— Это безумные слова, дитя мое,— сказал один старик.— Ты своим собственным языком накликаешь на себя погибель.

— Может быть,— тихо ответила высокая женщина.— Пусть будет так. Но я молода и не боюсь умереть, ибо смерть моя будет тем высоким пламенем, которое обогреет моих детей и детей моих детей. А вы стары, отец, вы не можете ходить без палки, ваши глаза смотрят в землю, выискивая место для могилы. Страх перед смертью сгорбил вас, и вам все равно, что станет с вашими детьми и детьми ваших детей. Вы хотите лишь как можно дольше удерживать в себе еле слышный шепот жизни.

Она замолчала, и молодой человек, чью газету не любила полиция, положил руку на голову Питеру и хотел продолжить свою речь, но толпа начала распадаться. Люди медленно спускались с холма, повернувшись спиною к его словам. В их ушах звенело отчаяние. Те немногие, что хотели бы остаться, увидели, что все уходят, и испугались. Поэтому они тоже повернулись спиной к словам и стали спускаться с холма. Молодой человек и высокая женщина, которую на митинге спас Токолош, и Питер, и его мать и отец остались одни.

Всю ночь шел дождь. Он шел тихо, так тихо, что не было слышно, как падают капли в лужи, и на следующее утро тоже был дождь. Жители поселков, еле волоча ноги, выходили на дорогу в город огромной серой истерзанной толпой. Они пришли в город и остановились перед домом Мэра. Мэру доложили об их приходе, и он вышел на балкон, и вместе с ним на балкон вышли Премьер-министр и все остальные министры и советники.

— Что вам надо? — спросил Мэр.— Вы видите рядом со мной Премьер-министра и всех министров и советников. Наши сердца полны горя, потому что вы поступали не так, как следует. Но теперь вы вернулись к нам, в город, и все будет, как прежде, только лучше, потому что автобусы будут возить вас от поселков до города и обратно, и вам не придется платить за это лишнее пенни. Все будет так, как я обещал вам. Я попрошу владельцев фабрик и магазинов, где вы работаете,

чтобы они по возможности прибавили вам жалованье. Может быть, они пойдут нам навстречу, и вы будете получать больше денег каждую неделю.

Громкие голоса раздались в толпе черных людей. Премьер-министр поднял руку, призывая к вниманию, и сказал:

— Мы все, я и мои министры, рады, что вы пришли. Ибо это также и ваш город, это ваша страна, так же, как и моя. Мы не будем наказывать вас, ибо мы уверены, что это было колдовство, заставившее вас делать то, против чего были ваши сердца. Мы сурово накажем тех, кто напустили на вас это колдовство. Все будет как прежде, только намного лучше. Вы можете мирно разойтись по фабрикам и домам, где вы работаете. Что же касается обязательного ношения листков бумаги, то все будет как прежде, и те, кто сожгли свои пропуска, получат сегодня новые. Мы знаем, что они порою обременяют вас, мы очень хотели бы навсегда отказаться от них. Но мы не можем этого сделать, ибо они закономерны и необходимы. Разве можно отказываться от того, что было всегда? Необходимо продолжать то, что есть, ибо сама жизнь есть продолжение того, что есть.— Он улыбнулся в душе, чтобы никто не заметил, что он улыбается.

— Как мы все должны быть благодарны нашему Премьер-министру за то, что он решил простить вас, а не наказывать. Как гласит ваша пословица: того, кто ведет меня в ночи, я отблагодарю с наступлением дня! — воскликнул Министр негритянского труда.

— Эта пословица сегодня звучит особенно справедливо,— провозгласил Министр негритянского процветания.— Поблагодарим же того, кто вел нас в ночи!

И черные люди, стоявшие на площади перед балконом, с криками радости устремились к заводам, садам и кухням, где их ждала работа.

Питер, молодой человек, чью газету не любила полиция, и высокая женщина, которую Токолош спас в день митинга, стояли втроем на холме, когда зеленый грузовик, набитый полисменами, промчался по поселку и, заскрежетав тормозами, остановился у подножия холма. Молча стояли они и смотрели, как полисмены выпрыгивают из кузова. Молча молодой человек протянул руки, и на них тотчас надели наручники. Молча ушла высокая женщина, и полисмены втолкнули ее в машину. Питер остался один. Лишь Токолош, как всегда, сидел у него на плече.

— Я должен идти,— со вздохом проговорил Токолош.— Я сейчас покину тебя, Питер. Ты сам знаешь, что так надо.

Питер посадил его на ладонь и коснулся его щеки мизинцем.

— Куда ты идешь? Когда ты вернешься?

— Пока этот молодой человек и эта женщина в тюрьме, я должен быть с ними,— ответил Токолош.— Вот увидишь, мы еще встретимся все четверо, и вокруг нас соберется огромная толпа, которая будет видеть меня и верить нашим словам. Ты не будешь скучать обо мне, потому что я в твоем сердце. Ты будешь слышать мой голос всегда, если хорошенько прислушаешься.

И, не оглядываясь, Токолош спрыгнул с плеча на землю, сделал в воздухе сальто, громко захохотал и исчез. Но Питер не чувствовал себя одиноким. И когда его мать и отец пришли к нему на холм, он смеялся, потому что в его ушах звенел смех Токолоша.

Жан Сенак

Я говорю, чтобы все узнали мой край

Перевод с французского М. Кудинова

На рыночной площади
Труп его выставлен был.
Ночь холодом дышит.
В безмолвии камень застыл
В Ривэ, среди дрока
И лоз виноградных.

Умолкли фонтаны —
Из них обреченные пили.
Отравлено небо.
Нам память навек отравили
В Ривэ, среди дрока
И лоз виноградных.

В деревне молчанье.
В деревне дымятся руины.
Все сковано страхом.
Не слышно напевов старинных.

Край мертвых,
Край умирающих,
Край, где живые страшны.

В Ривэ, среди дрока
И лоз виноградных,
Кошмаром наполнены сны.

*
* *

— Смотри,— сказал командир,—
Яйцо змеиное стало со временем камнем.

— Да, но у Времени было ведь время,
У нас его нет!

— У нас есть уверенность наша,— сказал командир.—
Мы развеем черный туман,
Мы познаем свойства камней,
Наши дети гордыми и беззаботными будут.

*
* *

Если земля разверзнется вдруг под ногами,
Если тайфуны обрушатся вдруг на родные селенья,
То весь этот ужас померкнет пред вами, Проконсулы
Мрака.

Близ родников умирают дети от жажды;
Перед воротами лагеря

Юноши дерзко бросают в лицо палачам:
«К чему умирать,
Когда на земле такие, как вы, существуют?»
За ними захлопнутся тяжко ворота,
И вот прожекторы, сторожевые собаки, бичи
Их будут стеречь и грызть молодые тела.

Города, вы слышите наши слова?
Бушуют пожары,
Но лес расцветет и поднимется снова.
Города, над вами трепещут и бьются
Испуганных аистов крылья.

Погибший мой брат!
Мы клянемся тебе:
Династия смерти
Потомства не будет иметь.

*
* *

Друзья мои!
Истинной Франции дети!
Во время вашего праздника
Я возвышаю мой голос,
Потому что мы вместе страдаем
От несправедливости,
От нищеты
И от боли.
Друзья мои!
Истинной Франции дети!
Я возвышаю мой голос,
В то время как падают братья мои,
Потому что вручить я вам должен
Эстафету надежды,
Свирель наших гор,
В которой свобода,
Соединяясь с дыханьем людским,
Поет о грядущей победе.

Я говорю, чтобы все узнали мой край.
Я говорю, обращаясь к юности мира:
Смотрите все на прекрасную родину нашу,
На расправивший плечи Алжир, истекающий кровью
под солнцем.

*
* *

Как прекрасны добрые вестники! Скажут они:
«Мир в Алжире», и вот мы узнаем тогда,
Что Анри Аллег на свободе,
Что живой осталась Джамила
И что недаром зажжен был огонь, пред которым померкли
Электроды в руках палача,
Блеск ножа гильотины в лучах восходящего солнца.

Как прекрасны добрые вестники! Скажут они:
«Мир в Алжире», и вот ты увидишь тогда,
Как лицо твоей матери вновь озарится улыбкой,
И если палящие годы войны
Оставили пепел в ее волосах,
Она все равно в этот день их уложит красиво.

Как прекрасны добрые вестники! Скажут они:
«Взгляните — день торжествующий в небе пылает,
И вены наполнились красною кровью,
И трубы нефтепровода наполнились черною кровью,
Чтоб ожило тело народа».

Как прекрасны добрые вестники!
Пусть поскорее приходят они!
Пусть идут, повторяя без устали:
«Там, где руины лежали,
Поднимаются светлые зданья!»

Андре Стиль

ОБВАЛ

РОМАН

Перевод с французского Л. Лежневой

VI

БЕРНАР

Дорогая мама!

Нас сменили. Я уже больше не на ферме. Мы вернулись в горный лагерь. Тороплюсь написать тебе для того, чтобы ты не тревожилась, если услышишь об этом по радио. Правда, нас крепко стукнули, но я цел и невредим. Мы провели карательную операцию. Не беспокойся, держим их в страхе. И хотя крупных боев сейчас нет, все-таки наступаем, а наступающий всегда сильнее.

Должно же это когда-нибудь кончиться. Кстати, я получил от тебя календарь. Такой, как мне нужен. Я прослужил семьдесят один день, и мне полагается отпуск.

Но об отпуске не может быть и речи. Слухи оказались ложными.

Обе ваши посылки пришли одна за другой. Большое спасибо! Поблагодари также Альбера и Клару.

Послушай, мам, тебе, вероятно, покажется странной моя просьба, сообщи мне, пожалуйста, что с Колеттой Буше? Ты, конечно, удивишься, что я снова думаю об этой девушке. Я даже написал ей, но она не ответила. Не знаю, что с ней приключилось.

Пишу вам в довольно спокойной обстановке. У меня нарыв на ноге. Сперва рука, теперь нога, как видишь, мне везет. Скоро явится врач и вскроет его. Денек-другой буду свободен от караула. В остальном все благополучно. Настроение и здоровье у меня хорошие. Прошло ли у тебя рожистое воспаление, о котором ты писала? Ты, как всегда, не лечишься, запускаешь болезнь. Береги себя и следи за своим здоровьем.

Надеюсь, мы скоро увидимся. Крепко целую.

Любящий тебя сын Бернар.

— Даешь! Посадка!

— Только три грузовика! А надо бы шесть! Всем ни за что не втиснуться!

— Им на нас наплевать!

— Читал в газете о несчастном случае?

— А что?

— На магистрали номер шестнадцать перевернулся грузовик. Шестьдесят убитых!

Солдаты все-таки смеются, чтобы не выказать страха.

— Не кипятись! Нажмем — и влезет еще двадцать!

Пожалуй, лучше всего не думать. Как ни верти, ничего не поймешь. Один говорит белое, другой — черное. Белый ты или черный, пуля не раз-

---

* Окончание Начало см в № 4.

бирает. Только бы так не клонило ко сну... Без конца карабкаемся по горам. Джебель * выматывают душу. Мы уже дошли до ручки. Перестали вообще что-нибудь соображать. Опасность, передышка, споры — одно следует за другим, по десять раз в день меняется настроение.

Взять, к примеру, бои... Когда мы сюда прибыли, я про себя решил: ни за что с места не двинусь...

И стал добиваться этого двумя способами.

Вот первый. Было среди нас два-три прохвоста, хотя бы тот же фельдфебель. Вместо того чтобы вести себя мирно, они только и делали, что бесчинствовали. Кто бы ни попался навстречу — бей его в морду, а то и стреляй. Вышибить ногой дверь, ввалиться в гурби ** им ничего не стоило, но в душе каждый из них — отъявленный трус. Повсюду им мерещится опасность. Вначале я по наивности участвовал в операциях, чтобы не выдать себя. Но ни разу не выстрелил. Мне хотелось как можно меньше причинять зла. Но трусил я, пожалуй, так же, как они.

И второй. Я питал доверие к Сальмону. Конечно, и при нем мы воюем, для того мы здесь и находимся, но, если угодно, это — обычная война. Ни жестокостей, ни истязаний ради забавы или по злобе, как бывало в лагере до нас и о чем рассказывали многие. Мы не поджигаем, не пытаем, мы только, как нам кажется, защищаемся. На ферме нас держат за горло. Хочешь днем пойти постирать белье в ручье в каких-нибудь пятидесяти метрах — бери винтовку. Вечером выйти одному за ограду дальше чем на сто метров запрещено, а по всему живому приказано стрелять. Даже по собакам. Сколько их бегает повсюду, этих собак, тощих, серых, как те камни, что извергает земля... Бывало, по нескольку раз в неделю кто-то обрывал электропровода. Где-то подпиливали столбы. Случалось, что почтальон целую неделю не мог к нам попасть. Однажды ночью на склоне холма в двухстах метрах от нас загорелся склад пробковой коры. Дышать было нечем. Мы буквально задыхались. Нужно было вырваться из этого ада, уйти подальше. Окрестности фермы напоминали мне шахту после обвала. В первые операции мы шли, с грудом пробираясь среди камней. Были здесь и скалы, и огромные валуны, и мы дрожали от страха, что все это вот-вот затрещит и обрушится. И еще одна причина побуждала меня участвовать в боевых вылазках. Я боялся прослыть трусом. Шахта внушала мне ужас, мне не хотелось и здесь испытывать такое же чувство... Я не пойду, пойдет другой, и тогда он подвергнется опасности. А как буду выглядеть я? Самые смелые говорили: либо пан, либо пропал. По правде говоря, под открытым небом куда спокойнее, особенно днем. Не ждешь, что вдруг в тебя выстрелят, инициатива в твоих руках. Уже одно то, что ты вооружен, все меняет. А на иных стоило посмотреть!.. Широкополые шляпы, карабины на ремне, а ремень распущен, как у шерифа, оружие болтается на боку... Чем не кинобоевик!.. Зорро и его шайка... Со всего размаху ударив ногой по двери, они отбегали, чтобы спрятаться за стеной... Настоящая комедия с участием Эдди Константина... Вначале я этих молодчиков не выносил... Мне оружие нужно было только для самозащиты. Теперь я ловлю себя на том, что, говоря по совести, действую почти так же, как они.

В самом начале я стрелял, потому что был в опасности. Нет, не так. В самый первый раз я стрелял по приказу. Ну а выстрел по ящику с обрывками газет — не в счет. Вечно этот фельдфебель Кувэн. Он следил за мной. Мы проводили карательную операцию. После пожара на складе пробковой коры приказ: стрелять по каждому встречному без преду-

---

* Горы *(арабск.)*.

** Хижина *(арабск.)*.

преждения. Мне, разумеется, как всегда, повезло: я напоролся на старика. Он шел спокойно, видимо ничего не подозревая. И все-таки я не выстрелил. Сделал ему знак:

— Эй! Поди-ка сюда!

Старик остановился, посмотрел на нас.

— Ну, в чем дело? — спрашивает меня Кувэн.— Приказ знаешь?..

Пожимаю плечами.

— Подойди! Не бойся!

— Стреляй, черт подери! — кричит Кувэн.

Я снова пожал плечами, но Кувэн добавил:

— Не выстрелишь — упеку!

Я выстрелил, намеренно целясь в сторону.

Старик понял, что̀ ему угрожает. Он с мольбой упал на колени.

— Ты что, издеваешься надо мной? — заорал Кувэн.— Нарочно промахнулся!

— Мы не для этого сюда пришли.

— Приказ есть приказ!

Я увидел, что Кувэн вытащил револьвер. Ну, думаю, теперь он сам прикончит старика. Мне неловко в этом признаться, но я почувствовал что-то вроде облегчения. Кувэн крикнул:

— Промахнешься, шлепну тебя!

Мы оказались с ним с глазу на глаз. Только он и я в ложбине среди скал. Будь я посмелее, выстрелил бы в самого Кувэна. Он на моем месте не колебался бы. Уверен. Никто, кроме него, не узнает, подумал я и навел винтовку на старика. Прицелился по-настоящему. Но рука моя так дрожала, я так старался не смотреть на него, что промахнулся, хотя до старика и десяти метров не было.

— Сукин сын! — крикнул Кувэн.

И все-таки он был доволен. Старика он пристрелил сам, а мне поддал коленкой под зад. Все еще мстил за историю с парикмахером. Прибежали ребята. К счастью, они не видели, как он меня пихнул. На сей раз другого наказания не последовало. Я пожаловался Сальмону. Ему тоже было противно, но так все и осталось без последствий.

О подготовке к походу стоит рассказать. Большею частью это набеги неожиданные. Но ими сыт не будешь. Поход только намечается, а весь лагерь уже чувствует это, хотя приказа еще нет. И тогда то один, то другой спускаются из горного лагеря в деревню поохотиться за жратвой. Можно подумать, что люди спешат запастись продуктами для велосипедной прогулки. Вся деревня знает о том, что готовится.

Грузовики трогаются в путь. Приказ соблюдать тишину и хранить все в тайне. Еще бы! Не успели мы вскарабкаться на склон, и сразу же произошла какая-то заминка. С потушенными фарами шоферам дьявольски трудно следовать за передним грузовиком, вперив взгляд в его белый буфер. Дорога петляет. Глубокие овраги где-то тут, рядом. Как часового ночью все время мучит желание зажечь электрический фонарик, так и шофера: всегда найдется среди них такой, что только ищет предлога включить фары. В ту же минуту остальные шоферы, думая, что тот что-то обнаружил, делают то же самое. Унтеры орут, и это лишь усугубляет суматоху. Нам чудятся какие-то приказы, которых мы не расслышали. Начинается беспорядочная стрельба. Головной грузовик резко тормозит, чтобы узнать, в чем дело. Те, кто следуют за ним, сбиваются в кучу. Все кричат. Потом успокаиваются и едут дальше. Но фары вспыхивают поминутно. Форменная азбука Морзе! При поворотах свет фар освещает долину на несколько километров. Когда в предрассветном тумане по склонам начинают зажигаться огоньки, мы останавливаемся.

Холодно. В одном месте притопывают, чтобы согреться. В другом — кто-то не удержался и разложил костер. В небо поднимается легкий дымок. Неужели феллахи и теперь не поймут, что происходит? Ведь огоньки на склонах — это их сигналы, их тамтам в чаще. При нашем приближении они-то и вспыхивают один за другим. Получив предупреждение, феллахи уходят. Настигнуть их не удается. Возвращаемся несолоно хлебавши, но целы и невредимы. Конечно, набег неожиданный, но каждый спрашивает себя, не случится ли с ним в этот день еще что-нибудь похуже.

Не успели мы выгрузиться, как половину взвода послали в засаду. Лейтенанта Сальмона, командира взвода, его унтера Вильгрена, того, что сочиняет стихи, четверых капралов-добровольцев да нас — десять человек. Над ущельем высится пик. Точные данные разведки: когда наши вытеснят феллахов из деревни, те двинутся по этой дороге. А тогда, мол, бери их голыми руками! Как обычно, мы ничему этому не верим. Но раз приказано, идем. Главное — окружить деревню и не дать никому скрыться. Выжидаем. Прислушиваемся. Ночь подходит к концу. Позади нас, по ту сторону горы, поднимается страшный грохот. Можно подумать, что прибыл целый полк. Пулеметы, автоматы, минометы и через четверть часа непрерывного огня появляется авиация — бомбардировщики звеньями. Даже Сальмон, и тот, глядя на Вильгрена, пожимает плечами. Ясно, о чем он думает: еще один «подвиг» полковника, если не самого генерала. Крупная операция, которая выглядит значительной только на карте. Много шума из ничего. А для нас — зачастую медвежья услуга. Этих феллахов иной раз можно бы взять и другим способом, но мы настолько растянулись, что они проскакивают, как сквозь крупную сеть. Нам в утешение мирных жителей всегда остается более чем достаточно. А к чему они, мирные жители, если вожаки смылись? Улетели самолеты, исчез полковник. Вот недавно полковник Понс... явился на геликоптере. Радировал: сигнализируйте огнем, где приземлиться. Феллахи и зажгли огни. Полковник на своем банане попал прямехонько к ним в лапы. Свеженький военнопленный, с пылу с жару, так сказать...

Когда на той стороне все стихает, мы еще полчаса ждем. Представляем себе деревню в дыму. Ребята, согнувшись, продвигаются вперед. Затем ракетой подают нам знак о возвращении. Ничего не получилось.

Но когда, порядком измученные, мы в двух шагах от своих переправляемся по мостику без перил через горный ручей, со всех сторон начинается пальба. Засада. Они нас поджидали и засыпали пулями. Мост и подступы к нему голы, мы как на ладони. Нигде ни одного укрытия. А противника не видно. Один за другим падают Сальмон, какой-то капрал, солдат, сержант...

— Спасайся, старина! — кричит, опережая меня, Доффени.

Но, не сделав и трех шагов, тоже падает. Перескакиваю через Доффени. Потэ тоже покачнулся на бегу. Я спотыкаюсь, падаю, собрав все силы, снова подымаюсь и наконец достигаю укрытия. Нас там трое, мы бледны как смерть, едва переводим дыхание. Стреляем только для вида, куда попало, даже не выглядывая из укрытия, готовые ежеминутно бежать дальше. Видим, как гибнет капрал Монта; ему удалось установить на мосту свой пулемет и обстрелять овраг. Сраженный пулей Монта упал, на секунду он задержался на краю моста, а потом рухнул вниз вместе с пулеметом, за который тщетно пытался ухватиться. К счастью, подоспело подкрепление. Контратака. Я участвую в ней. Спускаемся к речке. Теперь, когда рядом свои, я больше не думаю о себе, а только о Доффени. Ни о чем другом думать не могу. Внизу — можно было поручиться заранее — ни души. Стреляем наугад. Битых полчаса прочесы-

ваем заросли кустарника. Никого! С той минуты как я сошел с моста, мне не пришлось ни разу выстрелить. Не было повода. Не запомню себя в таком состоянии. Я охвачен яростью!..

Назавтра я сам вызвался. Днем не сомкнул глаз. Хоть и пытался заснуть. Меня знобило. Я себя не узнавал. Первые ночи по возвращении в лагерь я тоже не мог уснуть, но тогда мешали пленные, они кричали и плакали, а временами заунывно пели что-то вроде молитв. Я увидел их, как только прибыл в лагерь. Они сидели на земле, в палатке. Им не разрешалось выходить даже за нуждой. Меня стошнило при виде струйки мочи, которая текла из-под палатки. Некоторые из них прикладывали к ранам камни. Не знаю почему, но струйка мочи, кровь что-то смутно напомнили мне. Никак не пойму, что именно. Во всяком случае, пленных мне было жаль. Их пение волновало меня, как те испанские песни, в которых слышатся то вздох, то жалоба, а сквозь них прорывается мелодия. Завывание пленных приводило меня в трепет, хватало за душу. Вчера все было по-другому. Они больше не пели, не кричали, не плакали, и я подумал: «Так лучше! По крайней мере не привлекают к себе внимания! Не такое время!»

При отъезде лейтенант Барра произнес настоящую речь, он призывал нас быть храбрыми, мстить за товарищей, говорил, что рассчитывает на нас. Я понял его так: они нам сполна заплатят за все!

Мы окружили гору. Поднимались пешком. Чертовски опасный участок. Мысль о Доффени не оставляет меня. Воспоминания о нем, еще живые, заслоняют все остальное. По дороге натыкаемся на пустую хижину. На всякий случай обыскиваем ее. Никого. Но я нахожу электрический фонарик. Беру его. По крайней мере, когда буду в карауле... Кувэн застигает меня врасплох. «Ну,— думаю я, — теперь он воспользуется этим, чтобы снова подложить мне свинью». Наоборот, он подмигивает мне... Мы шагаем уже несколько часов, никого не встречая на пути. Мало-помалу успокаиваемся. Теперь мы уже не так насторожены. Вдруг, как и вчера, начинается ужасная пальба. Сегодня *их* куда больше, чем накануне. Можно подумать, что, почувствовав себя окруженными, они сосредоточили все силы в одном месте, чтобы прорваться и бежать. Обычно в таких случаях выбирают самое слабое место. Боевой дух наших солдат от этого не крепнет. Стреляю с ожесточением, вчерашнего страха как не бывало. Неужели прошло всего лишь пять минут? Минуты боя кажутся такими длинными... Затем мина заставляет меня укрыться в пещере между скалами.

Только я захотел подняться — просвистела пуля. Снова прячусь. Через минуту опять пытаюсь высунуться. Пулеметная очередь дробит скалу во всю длину укрытия. Ну и влип. Боюсь шелохнуться. Судя по выстрелам, мне кажется, наши отходят. Неужели они бросят меня? Делаю еще одну попытку: поднимаю ружье так, словно собираюсь выпрыгнуть из укрытия. Пуля, раздробив ствол ружья, выбивает его из рук. С этой минуты я больше ни о чем не думаю. Я словно ополоумел от страха. От бессилия. Ничего больше не соображаю. Бой откатился куда-то далеко. Может быть, наши пытаются сомкнуть кольцо где-нибудь подальше? Время от времени, даже когда я не высовываюсь, шальная пуля или пулеметная очередь заставляют меня забиться еще глубже. При желании *они* могли бы взять меня в плен. Но, может быть, *они* предпочитают убить меня... Через полчаса выстрелы приблизились. Ребята вытаскивают меня. Как груду тряпья. Совершенно ошалелого.

Противник потерял троих. Двое ранено и один убит. У нас двумя убитыми больше. Я чуть не стал четвертым. Но Доффени еще не отомщен. Ни Доффени, ни Сальмон, ни Вильгрен, ни другие...

Вечером я немного пришел в себя. На сбор вокруг знамени капитан сам привел или, вернее, притащил какое-то подобие человека. Тоже груда тряпья. Весь в крови. Лицо разбито. Руки в сплошных кровоподтеках. Он не держался на ногах. Волочился коленями по камням. Капитан, ухватив его за джелабу, встряхивал, приговаривая:

— Вот один из виновников, один из врагов Франции! Один из тех бандитов, которые не останавливаются ни перед чем, лишь бы помешать осуществлению нашей славной цивилизаторской миссии. Он скрывал у себя главарей банды, которые вчера так подло убили наших товарищей! Сегодня он понесет заслуженное наказание! Кто хочет разделаться с ним?

Несомненно, при других обстоятельствах не нашлось бы желающих. Но сегодня вызвался я. Сам себе удивляюсь. Гляжу на себя как бы со стороны... вот я подхожу к капитану, беру протянутый им револьвер. Среди товарищей пробегает шепоток. Воспринимаю его как одобрение. Капитан по-отечески кладет мне руку на плечо. Я, пожалуй, слегка польщен.

— Уведи его туда,— говорит капиган.

Мгновенно спрашиваю себя: «Что ты делаешь?..» И отвечаю: «*Доффени!*» Капитан передает мне араба. Это старик. Можно подумать, что я имею дело только со стариками. Толкаю его, мне удается заставить несчастного идти. Все смотрят на нас... Мы исчезаем с ним в кустарнике.

Сам не знаю, что делаю. Но вижу перед собой заходящее солнце, один из тех восхитительных закатов, когорые все здесь окрашивают в бледно-розовый цвет — камни, землю, лица... Вижу отсвет заката и на лице у этого человека, хотя оно все в крови. И тут же узнаю его. Это тот самый старик, который однажды приходил к нам на ферму за врачом для своей жены. Вспоминаю свою первую боевую вылазку! И в то же время думаю: «*Не надо было ему вести двойную игру.*— И еще думаю: *Он так истерзан, что его следует прикончить просто из жалости...*»

Минута-другая, и солнце закатится. Но еще слишком светло, чтобы я мог сделать это тут же на опушке, где мы стоим. Можно подумать, что я боюсь самого себя. Тащу моего старика в кусты. У него нет сил говорить. Он еле слышно стонет. Ставлю его лицом к дереву, на этот раз боюсь промахнуться. И обновляю свой электрический фонарик. Включил. Он еле-еле светит. Трясу его. Отвинчиваю и вновь завинчиваю линзу. Медлю? У меня у самого такое ощущение. Слабый колеблющийся свет фонарика пляшет по листве, и кажется, что он тут же исчезнет. Это тоже что-то напоминает мне... Свечу, детство, я иду один ночью в сарай...

И все же света было достаточно. Я не промахнулся.

На следующее утро узнаю, что Доффени жив. Он тяжело ранен и находится в госпитале.

VII

АЛЬБЕР

— Нет, я не пойду туда,— говорит мать.— Мне это не пристало. Но что-то надо сделать.

— Мне это тоже не слишком по душе... И все-таки я пойду.

Клара не сразу отозвалась, но я видел по ней, что она меня не одобряет. Когда мы снова очутились в кухне, она сказала:

— Нечего вмешиваться в чужие дела.

— Конечно, ведь он не твой брат.

Я не пошел к Колетте, а поджидал ее неподалеку от завода, где она работает. Ну и вонища там от этого завода! Во всяком случае, снаружи. Если и внутри так!..

— Эй, Колетта, можно тебя на минутку?..

— Глянь-ка, Альбер...

От волнения она сглотнула слюну и тут же сошла с велосипеда. Я приподнялся на своем. Колетта начала первая:

— Догадываюсь, о чем ты хочешь со мной говорить.

— Пойми, Колетта, я его брат. Знаю, что виноват он, но мне бы очень хотелось...

— Альбер, он поступил со мной подло. Поиграл мною. И уехал. Видно, хотел поскорее избавиться.

Глаза ее наполняются слезами. Мне хочется переменить положение. Пересаживаюсь с седла на раму. Делаю это неловко и нечаянно задеваю звонок. Сразу же глушу, положив на него руку.

— Он написал тебе, Колетта?

— Да, месяц назад. Потом несколько раз кряду на прошлой неделе. Я не ответила. Из Германии он прислал только одно письмо, в самом начале. Полгода он вообще молчал. Из Алжира...

— Ему там, должно быть, не сладко. Он, видимо, над всем этим хорошенько поразмыслил. Вот уже больше трех месяцев как он там.

— А до того история с радиопередачей. Да и с Жаном-Батистом нехорошо получилось. Об этом все судачили. Письма тоже вызывали толки. Ведь почтальон догадывался...

Колетта старалась удержать слезы, но они снова появились в уголках глаз. Я осторожно спросил:

— Какой такой Жан-Батист?

— Жан-Батист Кювелье, знаешь его?

— А! Вот оно что...

— Разве ты не слыхал?..

— Слыхал бы — не пришел, поверь мне, Колетта.

— Да, теперь, когда я встретила Жана-Батиста... И он от меня не отвернулся...

Опять слезы. Они высыхают и снова навертываются. На сей раз слеза из правого глаза катится по носу. Катится медленно, потому что кожа Колетты покрыта легким пушком. Хороша она, Колетта! Про себя думаю, не от сожаления ли она плачет... Написал бы ей Бернар до того, как она встретила этого Жана-Батиста... Если бы Бернар сейчас вернулся... Она словно угадывает мои мысли...

— Не буду уверять тебя, что все это мне безразлично,— говорит Колетта.— Он был у меня первый, ты хорошо знаешь... Но я ему не отвечу. Все кончено, и навсегда.

— Но послушай, Колетта, раз уж ты сказала мне о Жане-Батисте... Я ничего не стану говорить, ты понимаешь?.. Не хотел бы, чтоб ты думала... Жана-Батиста я хорошо знаю. И тем более не хочу, чтобы он...

— Но если Бернар по-прежнему будет писать... Тогда мне придется попросить его, чтобы он перестал...

— И все-таки... Все-таки, Колетта, не можешь ли ты подождать, пока он приедет? Трудно ему там. Впрочем, если будешь говорить об этом с Жаном-Батистом, скажи ему, что я ни на чем не настаивал...

Новая слеза покатилась по той же дорожке. Но мне кажется, эта слеза говорила о другом. Колетта положила свою руку на мою:

— Понимаю тебя, Альбер.

Она вымученно улыбнулась:

— Я могла быть твоей невесткой, а ты моим деверем...
Разговор закончен. Снова сажусь на седло. Колетта говорит:
— Да... Ну ладно, на нас уже смотрят.

* * *

— Твоя мать,— заявила Клара,— невыносима, другого слова не подберу.

— Ты пойми! Целый день она одна. Сама с собой разговаривает. Вот почему, когда ей удается поймать кого-нибудь...

— ...она этим пользуется, согласна! Но все-таки она не должна...

— ...повторять десять раз одно и то же? Правильно! Все дело в том, что она разговаривает с другими, как сама с собой. Ведь себе она постоянно твердит: «Ах! Только бы мне не забыть про то, да про это». А разговаривая с тобой, она и тебе вдалбливает: «Не забудь того. Не забудь этого. Ты не забыла?..»

— По десять раз в день повторяет одно и то же. В конце концов начинаешь сомневаться...

— Сомневаться? В чем?

— Тише, вот она!

Мам Анжела заглядывает в комнату. Она пришла из сарая.

— Опять кот нагадил в твой уголь,— говорит она и снова уходит в сарай.

— Ну вот, к примеру,— продолжает Клара,— эти вечные страхи, как бы ты не погиб... Постоянные замечания: «Вы должны жить скромнее...» И все остальное в том же роде!.. Что ты обо всем этом скажешь?

— Конечно, я не стану уверять, что ее причитания приятно слушать. Но ведь это не вечно.

— Знаешь, Альбер, я уже такого от нее наслушалась, что должна тебе сказать... не думай только, что я хочу настроить тебя против матери. Но если тебе угодно, чтоб мы жили, ничего не покупая, чтобы в доме у нас было пусто, что ж, пожалуйста!

— Вот ты и рассердилась, разве нет?

— Потому что в конце концов она меня довела!

Я обнимаю Клару. Она слегка сопротивляется. Хочу поцеловать ее в глаза. Но мать снова выходит из сарая и, направляясь в кухню, кричит на ходу:

— Да! Смотри не забудь про кота! Вонь-то какая!

Мы с Кларой смеемся. Все улажено.

Уголь в сарае поделен на две части. Наш и тот, который получает мать. Если бы кот нагадил в ее уголь, мать все молча бы убрала, но к моему углю она не прикасается. Конечно, она права, убрать необходимо. Не то попадет кошачье дерьмо вместе с углем в топку и вмиг отравит воздух во всем доме. И чем сильнее разогреется... Но не так уж это страшно. Кот всегда гадил в сарае... Знаю об этом с тех пор, как живу на свете. Бывало, струйка кошачьей мочи течет из угля под дверь сарая, и я до сих пор помню, что в детстве, бегая босиком по двору, то и дело попадал в нее ногами. А когда в школе я впервые узнал, что моча содержит кислоту, что достаточно облить ею мел и он тут же зашипит, то не мог удержаться, чтобы не пошевелить в башмаках большими пальцами ног.

— И все-таки мать больше всего говорит не о нас, а о Бернаре.

— Еще бы,— отвечает Клара.— Можно ли сравнивать?

— Мне кажется, теперь мам Анжелу главным образом донимает

эта история с Колеттой. Мать сказала как-то: «Знаю я Бернара, уж если у него что-нибудь не ладится... Еще неизвестно, что он там выкинет, что ему взбредет в голову...»

— Не кажется ли тебе, что он стал писать еще реже?..— спрашивает Клара.

Но вот мать собралась за покупками и на прощание повторяет:

— Так не забудь про кота... Если меня не будет дома, тебе никто не напомнит!..

Хватит разговоров о коте. Не стоит все время к этому возвращаться. Правда, я тоже с некоторых пор копаюсь во всякой ерунде. И не потому, что я стал грубее, а потому, что жизнь, как говаривал папаша Оффр, похожа на забой, в который попало дерьмо. Ну, а если это так, то хочешь не хочешь, убрать надо.

Я занялся этим и правильно сделал.

* * *

— Плохо тому, кто беззащитен!

— Вот и приходится самому себя защищать!

— Я не стану с тобой спорить, но пойми, что я хочу сказать... Будь у нас настоящий делегат, как у других, была бы все-таки и у нас защита.

Франси, Франси Оффр, вместе со мной перешел в новую шахту «Полина». Мы с ним всегда работаем в одной смене. Разборка крепи и подрубка пласта ведутся одновременно. И так как «Полина» шахта высокая, а стойки весят по шестьдесят килограммов каждая, то работа эта трудная, сама собой она не делается, и проводят ее в две смены. С нами вместе работает смена Гаспара Буржуа и его помощника Жана-Батиста, того самого Жана-Батиста Кювелье. Они отрабатывают вверху, а мы — внизу лавы.

Бегая взад-вперед по штреку, Жан-Батист как-то остановил меня и сказал:

— Послушай, Альбер, мне надо поговорить с тобой!..

Я не сразу понял, что кроется за его словами — угроза или что другое?.. Но не стал расспрашивать. Продвигаться рядом неудобно. Я должен был идти между рельсами по шпалам и на каждом шагу рисковал угодить башкой в трубопровод сжатого воздуха, проходивший над нами.

— Хорошо,— ответил я.

Время от времени я поглядывал на него, но он ведь не из разговорчивых.

Хороший парень этот Жан-Батист. Во всяком случае, не хуже других. Но ему не повезло. Он четвертый ребенок в семье, а всего детей — шестеро. К тому же отец его тоже рано умер. Жан-Батист немного замкнут. Во всяком случае, они с Колеттой не пара.

В забое вспыхнул спор. Все здесь идет не так, как хотелось бы. Покидая «Мари-Терезу», мы мечтали попасть сюда. И вот «Мари-Тереза» умерла и, как говорит Франси, похоронена. Нельзя сказать, что мы о ней сожалеем. В пятидесяти сантиметрах высоты ее забоев ты был зажат, как ветчина между двумя ломтями хлеба. Высота гроба. Ложись в гроб с лампой на лбу и считай, что ты в «Мари-Терезе». Но и здесь не лучше...

Есть такая болезнь, говорит Франси, она называется агорафобия *.

---

* Боязнь пространства.

Иной человек, очутившись на площади, чувствует себя как парализованный. С нами, видимо, происходит то же самое.

Гаспар проводит рукой по пласту и, усмехаясь, говорит:

— Видел, сколько набралось воды?

— Это только сегодня.

— Да, но она здесь вообще легко просачивается! Помнишь, как мы вдвоем работали в старых штреках под самым прудом, извлекали оттуда крепежные стойки?.. Вода иной раз стояла по пояс!

— Да, но здесь главную опасность представляет не вода. Инженер...

— Инженер! Он тебе наговорит!..

И все же мы восхищались «Полиной». В этой шахте стоишь, как в музейном зале. А что за уголь она дает! Врубовая машина режет его, как масло. Только посредине есть одно поганое местечко — то ли трещина, то ли срез, то ли подбой... Чаще всего уголь скалывают целыми глыбами, но за это чудо приходится расплачиваться, и в первую очередь нам, подрывникам.

— Сейчас ты их увидишь, инженера и штейгера. Через минуту они будут здесь! Им-то на все наплевать.

С тех пор как «Полина» вступила в строй, они приходили каждый вечер к началу смены, их тоже беспокоит вода.

Вначале штейгер Зефир Мерсье даже отшучивается:

— Ну как? Еще не начинал? Волынишь! Что тебе сегодня — руки скрутило?

От штейгера обидно услышать такое.

— А почему бы тебе самому не сходить туда? — отвечает ему в тон Гаспар.— Там по тебе соскучились!

— Молчи,— обрывает его штейгер...— Уж больно ты речист, да без толку! Я тебе каждый день твержу, что так всегда бывает, когда начинают новую разработку. Ведь ты старый шахтер, не мне тебя учить.

— А ты все-таки сходи сам, посмотришь, другим пример покажешь!

Инженер и Мерсье пропускают сказанное мимо ушей. Они подходят к краю последнего ряда и, освещая лампой каждый уголок, осматривают, что мы сделали в предыдущие дни.

— Можете убедиться,— говорю я.— Их четыре. А если мы сегодня подобьем еще, будет пять!

Четыре ряда стоек. Полое шестиметровое пространство в полтора метра высотой и в сто пятьдесят длиной. Вот откуда агорафобия Франси. Он как бы мимоходом замечает:

— Больше трех рядов мы не имеем права делать.

— А я тебе говорю, что в начале разработки это допустимо! — возражает Мерсье.

— Подойди ближе! — смеется Гаспар.— Здесь место гладкое, как свежеоштукатуренный потолок. Ни один корж не отвалится.

— Корж! Скажи, пожалуйста, как ты стал разговаривать! — с иронией замечает штейгер.

— Ну, что будем делать? — спрашиваю я.

Инженер все-таки в нерешительности. Он бросает взгляд на Мерсье, а тот говорит:

— Погоди минутку, только посмотрим, что делается внизу, и вернемся.

— Учти при оплате! — напоминает Гаспар.— Когда будешь рассчитывать...

— Не волнуйся! Поработаешь, свое получишь.

Гаспар уже сидит, поджав по-портновски ноги, и тихо напевает.

Усаживаемся в такой же позе.

— По-моему,— говорит Франси,— было бы правильно, чтобы именно сейчас пришел сюда этот Вассёр! С ним бы мы столковались, уж поверь мне!

— Самое время и ему сказать свое слово,— соглашается Гаспар.

Инженер и штейгер вернулись.

— Ну как?

— Надо спускаться! — говорит штейгер.

— Так я и знал! — усмехается Гаспар.— Чужую шкуру не жалко!

Я подумал о Бернаре, но сдержался и промолчал.

— Ты обратил внимание на срез? — спрашивает Гаспар.— Вот где треснет.

— Ладно,— соглашается штейгер,— пожалуй, оставь в этом месте подпорку. Там видно будет.

Приходится спускаться. Инженер и штейгер посмотрели, как мы разобрали первую крепь, и ушли. Сама по себе работа не трудная, но опасная. Кровля не давит, распорки едва стянуты. Для порядка натягиваем цепь, хотя эти столбы легко выбить голыми руками. И они со звоном падают на землю. Самое утомительное — крепить первый ряд стоек. Стойки тяжелые, а подрубка... «Мари-Терезу», ту легко было насытить... Здесь же, при такой высоте забоя...

Казалось, пусть лучше все сразу затрещит и обвалится. Слишком уж здесь тихо. Эта кровля, такая тонкая, держится сама по себе. Все время боишься какой-нибудь неожиданности.

Вассёр приходит только к концу смены.

— Вот когда ты заявился! — говорит Гаспар.— Заждались мы тебя! Нас уже десять раз могло убить...

Тут и я подливаю масла в огонь:

— Ты все больше любишь обсуждать с инженером производственный план! Бумажные душонки!

Вассёра не боятся. Говоря со штейгером, приходится обдумывать свои слова. Хочешь не хочешь, а ты у него в руках. Штейгер рассчитывает наши заработки. А это особенно важно, когда случается что-нибудь непредвиденное, подземная катастрофа, остановка работ или другие неполадки. Наш дневной заработок зависит от него, от штейгера. А Вассёр зависит от нас. В принципе, конечно.

Не знаю, почему Вассёр обрушился на меня. То ли потому, что я самый молодой — Жан-Батист моложе меня, но он молчал,— то ли по какой другой причине.

— Придержи язык! — крикнул Вассёр.

— Это еще почему?.. Я имею такое же право говорить, как и ты.

— Прежде всего мне на тебя плевать!

Такая у него манера спорить. Он всегда задирает всех, кто с ним не соглашаются.

— Повтори-ка мне это в другом месте!

— Здесь или в другом месте, где хочешь!

Вассёр делает вид, что подбирает горбыль.

Но тут вперед выходит Жан-Батист и говорит Вассёру:

— Брось, Луи, не надо! С этим не шутят! Положи на место, говорю тебе!

Вассёр выпрямляется:

— Ты? Ты его защищаешь? Был бы тут твой отец...

— Оставь моего отца в покое! — отвечает Жан-Батист.— Его убеждения тебя не касаются. А к тому же отец никогда их не менял!

— Хватит! Получил свое,— примирительно говорит Гаспар Вассёру,— надевай рубашку и считай, что ты свое дело сделал!

До подъема мы с Жаном-Батистом так и не нашли времени объясниться. Это удалось нам только при прощании.

— Ты хотел мне что-то сказать? Кстати, неплохо ты поговорил с Вассёром. Взгляды наших отцов нам известны...

— Вот и выходит, что я уже сказал тебе почти все, что хотел...— отвечает Жан-Батист.

Вне работы — я часто это замечал — мы не знаем, куда девать руки. Левой я ухватился за отворот своей куртки, большой палец правой руки просунул под веревку сундучка. А Жан-Батист большой палец левой руки заложил за пояс, а правой все время придерживал свой берет. Он левша, этот Жан-Батист. Мы оба разом навалились на свои велосипеды. Торопимся домой.

— Колетта рассказала мне,— говорит Жан-Батист.— Мне понравилось, как ты с ней поговорил.

VIII

БЕРНАР

Дорогой Жак!

Пишу тебе, чтобы попросить об одной услуге. Прилагаю письмо к моему брату. Сделай одолжение, передай. Это должно остаться между нами. Я бы не хотел, чтобы мать прочла его.

Надеюсь, ты здоров. Мои дела идут так, как они могут идти здесь. Извини, что пишу мало, боюсь, как бы два моих письма не перегрузили авиапочту.

Твой приятель Бернар.

Дорогой Альбер!

Пишу только тебе, потому что мне надоело непрерывно повторять мам Анжеле: все хорошо, настроение бодрое — словом, тянуть одну и ту же песенку. Все это неправда. Ничего хорошего тут нет. Чувствую себя очень одиноким, вокруг никого, кому можно было бы раскрыть душу, кто понял бы меня. Поэтому не удивляйся моему письму и прости, что оно написано неразборчиво и карандашом. Мы в деле. Не перестаем маршировать. Я пишу на ружейном прикладе, укрывшись среди скал. Нам предстоит стычка, и она будет жаркой. Сам видишь, не то у меня сейчас настроение, чтобы написать тебе хорошее письмо, но и молчать я не могу.

Альбер, ты мой брат, и тебе я скажу, что дошел до точки. Повторяю — до точки. Не знаю, за что ухватиться. Я как потерянный. Бывают дни, когда сознаешь, что делаешь одни только подлости. В другие дни все кажется обычным. Спорить тут не приходится. Письма я получаю. Но они никогда ни о чем не говорят. Одни и те же приевшиеся фразы. Ты скажешь, что и мои письма таковы, но это лишь подтверждает то, что я говорю. Я сам себя не узнаю. Иной раз мне кажется, что теперь я думаю совершенно по-другому. Так оно и есть. Может быть, за последнее время переменились и ты, и наши товарищи; может быть, с вами происходит то же, что со мной, но я этого не знаю. И потому, что ни сделаю — все кажется подлым. Во всяком случае, представилась бы мне возможность покончить со всем этим, я постарался бы не прозевать ее Ты меня понимаешь? Возможно, нам дадут отпуск. Об этом снова поговаривают. Но я больше не верю. Ведь нас уже один раз обманули!.. Как бы там ни было, но если попаду во Францию, то сумею этим воспользоваться. Ты меня понимаешь... В связи со всеми обстоятельствами я снова стал думать о Колетте, что ты, конечно, заметил по моим письмам. Я ей писал, но она мне не отвечает. Чувствую, что куда-то качусь, а куда — не знаю. Мне кажется, я плохо кончу. Опять я стал бояться взрывов, помнишь, как ты отчитывал тех, кто пугали меня и заставляли со страху улепетывать. Скажешь, глупо сейчас вспоминать об этом, но в то время я не был одинок, а теперь мне необходимо поговорить с кем-нибудь.

Главное, ничего не рассказывай матери, если же в моих письмах к ней прочтешь, что настроение у меня бодрое, то будешь знать, что́ за этими словами кроется. Ответь обязательно! Напиши, что ты обо всем этом думаешь. Может быть, мне станет легче.

Твой братишка Бернар.

Никак не могу опомниться после расстрела старика.. В тот вечер я был как пьяный, ничем другим нельзя объяснить того, что произошло. Я потрясен. Каждый раз, когда я думаю об этом, все вокруг кажется мне нереальным. Даже окраска предметов, особенно этот розовый отсвет, который здесь лежит на всем. Это произошло как в тумане и до сих пор казалось бы сном, не будь электрического фонарика, который оттягивает мне карман, хотя работает из рук вон плохо; придется сменить батарейку.

Первые дни я был в полном отчаянии. Но сделанного не вернешь. Никогда в точности не знаешь, почему ты совершил то, что совершил. Всегда есть чувство неуверенности. Чтобы убить человека, надо быть твердо уверенным... Но это значит требовать невозможного. И я стал убеждать себя, что он был уже не человек, а полутруп, что я лишь избавил его, глубокого старика, от страданий. Жалость заговорила потом, ее растревожило чувство стыда, оно все во мне перевернуло.

Началось с того, что товарищи изменили свое отношение ко мне. Я это почувствовал на следующее же утро. Никто не хотел разговаривать со мной. И это было еще хуже, чем *вонючий доброволец*. О чем только они не болтали... Услышать можно было всякое. Были среди них такие, каким вначале был и я сам, они, разумеется, участвовали в операциях, но не скрывали своей пассивности и открыто не сопротивлялись лишь потому, что побаивались ареста... К примеру, Монтюэль, он верующий и в бой идет всегда без ружья; конечно, меня, говорит он, могут убить, но зато я уверен, что сам никого не убью, а если у тебя ружье... ни за что поручиться нельзя. Пожалуй, такие, как он, правы. Достаточно положить палец на курок... Эти со мной совсем не разговаривают. Так даже лучше. Другие ворчат: да, нам приходится рыскать в горах, воевать, тут уж ничего не поделаешь. Но сперва «обработать» старика... а потом послать его «в лес по дрова»... это подлость!

Был бы хоть Доффени со мной... Но он в госпитале, и надолго. Кто знает, а вдруг он тоже оказался бы с ними заодно. Он, ради кого я это сделал. Поддержку я мог бы получить и у капитана. Он вдруг начал ко мне хорошо относиться. И лейтенант Барра, и даже Кувэн тоже изменили свое отношение ко мне. Чем-то они всегда мне были противны, а сейчас просто омерзительны!

Долго терпеть такое невозможно.

Видя, как я удручен, со мной начали постепенно заговаривать то один, то другой. Даже те, кто меня и знать не хотели... А Булье, Рюкар открыто пытались меня подбодрить:

— Главное, чтобы это не повторилось. С кем не бывает ошибок!

Но во мне что-то надломилось. Мне теперь всегда не по себе. Ни на чем не могу сосредоточиться. От любого пустяка вздрагиваю и в ужасе озираюсь. В довершение всего снова начались перестрелки. Особенно страшно в горах, когда грохот эхом перекатывается среди скал. Я готов удрать куда угодно. Бежать куда глаза глядят...

Если бы нас не разделяло море... Я начинаю подумывать о побеге. Очутившись во Франции — пилотка на голове, шнуры через плечо и охотничий рог в петлице,— я бы на все плевал. Я не думаю о том, что дезертировать опасно, что мне пришлось бы скрываться. У меня только

одна мысль — бежать отсюда. Кроме того, во Франции я мог бы снова увидеть Колетту. Она мне не отвечает, но, может быть, она хоть выслушает меня... Когда мы увидимся... Я обниму ее, как бывало... она не станет долго противиться... Но море мне казалось непреодолимой преградой. Меня охватывала ярость. Надо либо ждать отпуска, либо скорее кончать со всем. На кого, на что я злился? На войну, на армию, на товарищей, на самого себя... и больше всего на алжирцев. Об этом я и писал брату, хотя прежде никогда так не думал. Именно они повинны в том, что мы здесь, вместо того чтобы находиться в казарме где-нибудь во Франции, а может быть, уже и демобилизоваться. По их вине я стал убийцей. Порой я так неистовствовал, что даже оправдывал свой поступок. А что, если этот старикан и в самом деле их сообщник?.. Я совершенно лишился покоя.

И написал Альберу.

Это привело к тому, чего я вовсе не ожидал. Все случилось почти одновременно.

Письмо Колетты доконало меня. В приступе тоски я в течение трех дней послал ей три письма. И разумеется, ни словом не обмолвился о старике. Я до того тосковал по ней, что в одном из писем пытался даже сочинить для нее стихи, сложить песню...

Колетта ответила, чтобы я больше ей не писал... Жан-Батист Кювелье... Подумать только, Жан-Батист... Могла бы заменить меня кем-нибудь получше. Бритая голова, низкий лоб с какой-то шишкой посредине, вечные угри, а в детстве он носил башмаки на деревянной подошве, в общем — жалкий тип... Все кончено. Навсегда. Отныне хозяин положения не я.

Во мне снова вспыхнула ненависть к Колетте, к Жану-Батисту. В первую ночь я в бешенстве кусал подушку... Об этом я тоже не мог, да и не хотел никому говорить.

А на следующий день — капитан... Он вызвал меня в канцелярию, как и в тот раз, положил мне руку на плечо и сообщил, что за участие в бою на мосту я представлен к награде, за то, что, подвергшись неприятельскому обстрелу, я тут же пошел в разведку и на следующее утро сам вызвался участвовать в операции. В ту минуту мне все было безразлично. Я просто удивился. Чего угодно я ждал, только не награды. Но мало-помалу...

Вечером в столовой мы снова встретились с капитаном. Он совсем уж разошелся. Поставил бутылку шампанского, чтобы вспрыснуть представление к награде меня и еще троих посмертно: капрала Монта — вот кто заслужил! — сержанта Вильгрена и младшего лейтенанта Сальмона. Из всех четверых только я остался в живых. И на том спасибо. Тут же были неразлучные Барра и Кувэн и капрал Мануврие. Они выпили за мое здоровье и в память погибших. Нас даже сфотографировали. С поднятыми стаканами. За стойкой виден Мохамед в своей шешиа*. Он пялит на нас глаза, для него это необычное зрелище.

— Эй, Мохамед! Поторапливайся! Неси-ка еще!

Конечно не шампанского, оно было мне не по карману, но анисовой, рома, чего душе угодно. Распив бутылочку, начальство удалилось. А я остался. И угостил ребят. Тех, кто пришли. В компании кто-нибудь всегда не прочь выпить. Одни выпивали и уходили. Другие приходили. Я же оставался и пил со всеми. Ждешь денег, Мохамед?.. Там видно будет. Ведь награда чего-нибудь да стоит. А стоит ли она вообще чего-нибудь? Я чувствовал, как постепенно разговор обострялся.

---

* Феска *(арабск.)*.

— Что особенное ты совершил?

— Если завтра тебя кокнут, хорош ты будешь со своей наградой.

— С двумя!

— Да, повезло тебе, еще и вторая на примете. И все за то, что ты укокошил старика!

— Если награждают, стало быть, есть за что!

Вначале я пытался защищаться, хотя довольно вяло, и даже притворялся, что соглашаюсь с ними.

— Не могу понять, почему не наградили Клавеля?

Тут они захохотали, а я не сразу понял почему. Черт меня дернул брякнуть это, вот я и попался им на язык. Сообразил я, в чем дело, только когда Бернарди, опершись на стойку, коснулся пальцем края своей пилотки и, надвинув ее на глаза — так удобнее подмигивать окружающим,— медленно процедил в бороду на своем корсиканском наречии:

— Клавель, скажешь тоже,— тот никого не водил «в лес по дрова».

— Вы что, обалдели? Ведь не за это же меня представили к награде, черт возьми! Капитан...

— Конечно,— вмешался Клавель,— открыто за такие вещи не награждают.

Его обуяла зависть, это ясно.

Здесь угощал я, и щедрой рукой. По себе знаю, сколько они выпили. И мне не хотелось, чтобы последнее слово осталось за ними.

— Черт вас побери! Кто-то в конце концов должен был это сделать!

Вот когда они надо мной поизмывались... Я это смутно понимал, но сделать ничего не смог. И лишь потом упрекал себя за эти слова. Вино ударило мне в голову.

— А ты, оказывается, парень решительный! Я бы так не сумел.

— Как это у тебя получилось?

Я взял автомат, который Фремен положил на стол, и сказал:

— Когда в руках у тебя такая штуковина или нечто схожее, все обстоит гораздо проще, чем кажется потом. Тебе это хорошо известно.

— А все-таки, что ты тогда чувствовал?

Я вернул автомат Фремену, облокотился на стойку и, глядя Бернарди прямо в лицо, сказал:

— Не стану уверять, что в первый раз это легко, но...

Слово *«первый»* я произнес так, будто мог быть и второй, и третий раз. Я хвастал. А они, решив, что уже достаточно покуражились надо мной, перестали смеяться. И ушли один за другим. Я остался в полном одиночестве, если не считать маленького Мохамеда, который по-прежнему бессмысленно таращил глаза на меня. Он даже не пытался просить денег. Правильно сделал. Досталось бы ему, если бы посмел...

Выйдя из столовой, я прошел мимо канцелярии. Капитан стоял на пороге. Уже стемнело, но все же он сразу узнал меня.

— Ты чем-то удручен, Давэн?

— Кое-кто попрекает меня стариком.

— Кто же это?

Я все-таки не хотел называть имена. Капитан приказал мне войти.

— Они тебя попрекают, ну и что?..

На письменном столе лежал револьвер, тот самый, который он сунул мне в руку, чтобы я пристрелил старика.

— Теперь ты знаешь, как это делается. Теперь ты мужчина. А они? Слюнтяи!

Он заметил, что я уставился на револьвер.

— Это немецкий. Сопротивление... Маки...

Разговаривая, капитан щелкал собачкой, поднимал и опускал ее, насколько это возможно, когда спущен предохранитель. Что и говорить, чудесное оружие.

— Не позволяй себя запугивать, старина Давэн. В жизни солдата есть много тяжелых обязанностей, их надо уметь выполнять. Для общего блага! С военной точки зрения, главное сейчас — разведка. Отправить на тот свет туземца не так уж весело. Но при этом удается кое-что из него вытянуть. Ведь не пожертвуешь же ты жизнью двадцати товарищей ради какого-то жалкого старикашки? Прав я, отвечай?

Моя постель, разумеется, была скатана. Я не доставил им удовольствия, не стал с ними препираться. Тихо проскользнул к себе и лег как ни в чем не бывало. Пусть все они против меня, а я все-таки не одинок. Награда... Капитан... Что ни говори, идет война. Допросы... Капрал Шото всем тычет в нос фотографии, хотя никто его об этом не просит. Головы на пике... Когда они пытают пленных электрическим током, те воют, как шакалы... Один откусил себе язык, чтобы ничего не сказать, да, да, откусил и разжевал его... У него, вероятно, было что́ сказать. А другого, который рассказал, все равно потом расстреляли... Война есть война.

Едва я заснул, как мне приснился чесальщик шерсти. Он приходил к нам во двор, когда я был ребенком. Разложив посреди двора свою дерюгу, как рыбак сети, он садился верхом на скамью, которая была приделана к его станку наподобие седла. Летали хлопья шерсти, пыль забивала горло. Валяться на шерсти нам запрещалось. А мы все-таки валялись, стоило только взрослым отвернуться. Однако этого нельзя было скрыть: шерстью были полны и волосы и платье. Но ничего не поделаешь. Не убивать же нас за это! А мы веселились вовсю. Станок напоминал маленькие качели, он раскачивался вручную. А под качелями торчали зубья, как у щуки. Верхние и нижние зубья ходили в разные стороны. При каждом движении качелей мастер левой рукой пропихивал между зубьями шерсть как можно глубже. Однажды — это было у нас во дворе — ему чуть не отхватило руку. Пальцы оказались раздробленными, вся рука побелела до синевы. Сначала кровь не показывалась, но это длилось одну секунду, а потом как хлынет...

Через час нас разбудили и погнали на операцию. По крайней мере их чертова постель не успела мне надоесть.

IX

БЕРНАР

Дорогие вы мои!

Наконец отпуск получен. Я долго не писал, и вы поймете почему. Мне надо так много рассказать вам, но встреча не за горами, пожалуй, лучше я подожду. Во всяком случае, не волнуйтесь. В боях я больше не участвую. Составляю оперативные сводки и нахожусь вне опасности. В общем, до скорого, а это самое главное.

Обнимаю вас, мам Анжела, Альбер, Клара. Горю нетерпением поскорее очутиться дома.

Бернар.

Не объявили бы нам об отпуске, черта с два сел бы я писать в этот вечер. Больше месяца не посылал ни одного письма домой. Зачем писать? В письмах матери — всегда одна и та же песенка. Каждое почти полностью повторяет предыдущие. Только одна две фразы о том, что у них произошло нового. Как те бутерброды, в которых много хлеба и

почти нет масла. Альбер, в общем, тоже ни о чем не пишет. Мы обменялись с ним двумя-тремя письмами, но и в них одни только ничего не значащие фразы. Может быть, опасаясь цензуры, он не решался ни о чем говорить. Во всяком случае, мне показалось, что ему что-то мешает. Короче, письма домашних мне ничем не помогали. Я чувствовал себя совершенно одиноким.

Я видел, как один наш парень начинал свои письма такими словами: *«Дорогие вы мои»*. Мне это понравилось — звучит живо и вместе с тем спокойно и просто. Сразу же появляется какая-то непринужденность. *«Дорогая мама»* — как-то не звучало и уже начало приедаться. Уж очень это сентиментально, особенно когда ты среди парней, которые очень быстро стали мужчинами, и к тому же весьма толстокожими... Есть такие розовые кусты, что в первое же лето грубеют, в то время как другие остаются еще совсем зелеными и нежными... *«Дорогие вы мои»* как-то более подходит. Конечно, лучше бы я сам придумал что-нибудь новенькое, а не списал, но все равно дома об этом никто не узнает, а впечатление произведет.

Если бы не предстоящий отпуск, я, конечно, и сегодня не писал бы, а возился со своими ящерицами.

Последние дни солнце так жарит, что камни трескаются. Дома, по дороге в школу, я видел однажды двух старых каменщиков, которые перекладывали мостовую. В наших деревнях дороги, экономии ради, лицуют, как старую куртку. Камни от времени сгладились по углам, стали скользкими и блестящими. Каменщики выкапывали их, складывали в кучи по краю канавы и, усевшись на них, обтесывали коротким молотком. При каждом ударе старый песчаник раскалывается, брызжет искрой, белый надлом чуть поблескивает, дымится легкой, будто серебряной, пылью... Часто это происходило на солнцепеке. И с тех пор, когда стоит невыносимый зной, мне всегда сдается, что кругом все трещит, как больные суставы. И во мне самом тоже.

С позавчерашнего дня непрерывно думаю о ящерицах. Я никогда не любил ящериц, их кожу, которая кажется слегка потной, все их повадки. У нас, детей, была такая игра... Чтобы изловить ящерицу, срывали былинку, самую тонкую, самую нежную. Очистив кончик, из нее делали крохотное лассо, петлю, сквозь которую мог пройти мизинец. Ее смачивали слюной. Получался пузырик, который свисал с петли, лассо подносили к ящерице, как в цирке подносят к тиграм бумажный обруч. Все это мы проделывали, сидя на каменной стене, обожженной солнцем. Ящерица подползала все ближе. Страх душил ее. Бока ящерицы то вздувались, то опадали, казалось, видишь пред собой ее обнаженное сердце. Но жажда превозмогала страх. Этой игре нас научил сынишка одного шахтера итальянца. И чего только они не знают, эти чужаки... Солнца у них хоть отбавляй, они к нему привыкли так же, как и здешние. У нас же ящерицы появлялись только в разгаре лета. Можно подумать, что в другое время их вообще не существует, что они рождаются и умирают в августе, как бабочки. Ящерица высовывала свой раздвоенный язычок — мне помнится, он был раздвоенный — и начинала лизать пузырик из слюны, моей слюны... Мне было противно, что она пьет мою слюну, но в то же время совестно убить ее. Почти успокоившись, она утоляла свою жажду и лишь изредка, когда пузырик лопался, торопливо отползала, но потом снова возвращалась лизать травяное лассо. Резким движением мы высоко поднимали его, и оно затягивалось на шее ящерицы, потом описывали несколько кругов и совершенно оглушенную ящерицу бросали на камень. Вот она, скорее! Самые смелые среди нас брали ее в руки, она же, придя в себя, билась, как рыба,

вытащенная из воды; самые трусливые убивали ее палкой. Я никогда не решался взять в руки живую ящерицу, я их даже мертвых терпеть не мог.

Ящериц напомнили мне люди, которые позавчера погибали от жажды на солнцепеке посреди лагеря.

Подумать только, что́ мы здесь натворили за один месяц... Иной раз посмотрю на себя со стороны и снова впадаю в отчаяние. Вот и стараюсь глядеть на себя как можно реже. До того дошло, что даже глядеть на себя не хочется. Когда тебя обуревают тревожные мысли, а вовсе не совесть, как любили выражаться в школе,— ох уж эти мне громкие слова!..— и какой-то холодок сквозь неприметную щелку закрадывается тебе в душу, надо тут же заставить себя отвлечься или заняться чем-нибудь, словом, как бы отвернуться от происходящего. Иной раз это удается. И тогда живешь «grosso modo» *, несмотря ни на что. Вероятно, это присуще всем людям в той или иной степени. Всем ли?.. При обстоятельствах, какие сложились у меня, я, конечно, перешел границу дозволенного. И вместе с тем могло быть хуже. Если теперь, после истории со стариком, я попаду в число тех, кто действительно пытают людей, в этом не будет ничего удивительного. Я пробовал сопротивляться. Никто не знает, как я сопротивлялся. Никто меня за это не похвалит. Так оно всегда бывает. Но я противился. Видеть только, что я в конце концов поддался,— несправедливо. А каким был бы любой другой на моем месте, зажатый в тиски, как я? В тиски? Так всегда говорят, когда все уже свершилось. Какие тиски? Быть может, я просто стараюсь оправдаться. Провинился я один раз или много раз? Сам полез в тиски или позволил себя зажать? Хотя бы в одном я могу быть спокоен. Больше я за себя не отвечаю. Меня зажали. А между тем есть предметы из железа, стали, фарфора, даже из дерева, хоть они и не живые, но попробуй-ка, зажми их в тиски, они вырываются, скользят, выскакивают, их скорее разобьешь, чем...

Много ли есть людей, способных посмотреть самим себе в лицо? При дневном свете, широко раскрытыми глазами? Или ночью, когда все проступает с еще большей ясностью, когда перед твоими закрытыми глазами сузившийся мир словно пронизан электрическим светом, а ты втиснут в четыре голые белые стены, и места в обрез для одного человека... Остальные, может быть, не лучше меня, все, сколько их есть. Все виноваты... Но бывает ли так, что бы все оказались виноваты?

Доффени? На него я, пожалуй, зол больше, чем на других. Все началось из-за него... А когда он вернулся и ему рассказали... по правде говоря, его еще в госпитале настроили против меня, постарались... Он тоже стал смотреть на меня косо, как на зачумленного. Но если я действительно зачумленный, то ведь подхватил-то я чуму из-за него. Однако, прав ты или неправ, самое ужасное, когда от тебя все отвернутся. Даже Доффени... И Колетта, там, далеко... С нею-то, во всяком случае, все разладилось... И с Рюкаром, и с Булье... Однажды Рюкар сказал мне, кривя губы:

— Неужели будешь продолжать? Чего ты добиваешься, ста...

Он хотел сказать «старина», но осекся. Даже это показалось ему излишним.

По существу, ты в тисках именно тогда, когда ты одинок. А остальные? Все далеки от совершенства. Поначалу ни один не хотел воевать, сейчас все так или иначе, но воюют. Они тоже, по существу, поддались,

---

* В общем *(лат.)*.

и нечего им нос задирать. Я сделал только одним шагом больше, чем они, в самом начале — и оступился. Но они держатся друг за дружку.

Как же мне быть, если даже их я боюсь? А ведь они мои товарищи! Пришлось бы мне теперь вместе с ними участвовать в боях, я ждал бы выстрела в спину. Как Кувэн. Пришлось бы часто оглядываться. Шальная пуля летит быстро. Представляю себе, что они обо мне говорят, с тех пор как избегают меня! И что думают, не смея высказаться вслух! Они, конечно, считают меня «вонючим»... Ну и черт с ними! Тем хуже для них... Я могу рассчитывать на капитана, на лейтенанта Барра, не говоря уж об этом отъявленном мерзавце Кувэне. С ними я не буду одинок. Вокруг творится такое, что и не поймешь, кто все-таки прав. Всюду сплошной кавардак. Каждый делает, что ему вздумается. И ничего хорошего в этом нет. Никто мне не причинит зла. В спину мне никто из них не выстрелит. Впрочем, как знать?.. Главное, я сам себе лгу. До чего ужасно убедиться в том, что лжешь самому себе. А когда начинаешь докапываться, утрачиваешь доверие к себе, и все ползет, словно грунт, лишенный опоры. Ты очутился в обвале. Ты сам его вызвал. Но все-таки как не солгать себе? Как признаться, что тебе страшно — ведь каждому бывает страшно. Это ощущение быстро проходит. Все может случиться. Еще в шахте я с этим примирился. Но вечно помнить, что ты сознался в своей трусости... нет, это невозможно. Надо либо обманывать себя, либо изменить положение вещей. *Страх? Согласен, я боюсь, но ведь это необычный случай, потому что и сам я попал в необычное положение. Выстрел в спину... Ложь. А что тогда остается? Те двое, которые перебежали две недели назад?.. Не верится, что допустили их побег из лагеря, ну просто не верится. Так или иначе, но они бежали. Перешли на сторону противника. Они знают, что старика прикончил я. Если я пойду в бой и попаду в плен, если эти двое меня увидят и опознают...* Опять необычный случай! Опять ложь. Почти как в приключенческом романе. Что же нужно, чтобы не было лжи? Сознаться, что я боюсь, но чего? Просто-напросто боюсь войны. А что в этом особенного?

Недавно я укрылся в ущелье, и эти полчаса показались мне длиннее всей моей жизни. Я был совершенно один, прикован боем к своему убежищу. Пулеметные очереди, словно частокол, загородили мне выход... и выстрел в старика — тоже. С тех пор я еще не пришел в себя. И никогда не приду. Боюсь огня. Обыкновенного огня.

Я в отчаянии. Ящерицы, те все-таки не так ужасны. Когда вспоминаешь о них, чувствуешь легкое отвращение. Холодок по коже, но он быстро проходит. Сейчас у меня такое же ощущение, как при виде ящериц... Они мне противны, но мне их жалко, стыдно, что я причинил им зло, и потому я их ненавижу.

Пленные — это те же ящерицы. Замученные, предательски схваченные, ослепленные солнцем и страхом, валящиеся набок от удара палкой, с побелевшим животом и лапками, похожими на крохотные дрожащие ручки... Отвратительно. Смерть человека всегда отвратительна. Да, чужого, но не своего. Или, скажем, ящерица, пока с ней ничего не случилось, пока она трепещет при виде травинки, быстрая, как взгляд, неискушенная, подвижная, настороженная, еще полная надежд...

К мерзостям тоже надо привыкнуть. Примириться с ними. На то война.

Наверно, и у противника то же самое. Как ни верти, война — это гниение и все, что ему сопутствует. На войне люди перестают быть людьми. Как-то раз в бою один крестьянин... Он шагал рядом со мной по пашне, всходы едва показались из земли. Я с возмущением сказал:

— Небось дома ты так не топтал бы!..

Он пожал плечами и продолжал топтать посевы.

Бывало и почище. Убили из пулемета добрую сотню коров. Настоящий бой с прочесыванием, с окружением местности, все как полагается; на участке длиной в три и шириной в четыре километра эту операцию провели так, точно там были люди, а не животные. Пули вонзались в самую гущу, как в масло. Причина: коровы могли пригодиться феллахам. Но самое примечательное — ведь и мы не воспользовались добычей, потому что лагерь находился в пятнадцати-двадцати километрах от места происшествия. Между тем наш паек в то время был очень скудным. А среди стрелявших были и крестьяне. Не один, десятки...

Человек перестает быть человеком. Бернарди сам видел, как один священник... Я никогда не верил их басням, но все-таки священник в моих глазах — человек добрый, мягкий и уж во всяком случае миролюбивый. Бернарди однажды видел, как он, отрезав уши арабу, намеревался перерезать ему горло. Служитель церкви...

· А на что стал похож лагерь... Пройдешь по нему — и почувствуешь себя больным. Особенно в зной, по солнцепеку. Всюду в палатках, вернее, в жалком подобии палаток — пленные. Тех, кого уже *обработали,* держат вместе. Мимо таких лучше вовсе не проходить... За нуждой их не выпускают. Из палаток текут струйки мочи. Иногда смешанные с кровью. Все это напоминает мне кота, который дома гадил в уголь... Пленные в палатке жалобно стонут. Тянут заунывные молитвы. Меня такие напевы всегда тревожат. Я пытался подавить это чувство, убеждал себя, но безуспешно. Трудно совладать с собой, когда всего тебя переворачивает. Мне становилось неловко, если рядом со мной стоял человек более черствый. Никто не любит своих слабостей. Все это действует на меня, как взрыв. Теряю власть над собой. Хоть это безрассудно, но я готов бежать.

Весь ужас в том, что и вне лагеря не лучше. Нас так упрятали, что податься некуда. Послушать людей, то и на родину возвращаться тоже страшно. Недавно Доффени сказал:

— Зря ты себя так ведешь! Что о тебе подумают, когда там, в наших краях, узнают о том, что ты себе позволяешь.

А между тем, если не считать убийства старика, я ничего особенного не сделал, но такая уж у них манера разговаривать со мной! Вернее, не разговаривать!.. Можно сказать, они сами толкают меня на этот путь...

Да и вне лагеря положение нисколько не лучше. Взять хотя бы лейтенанта Барра. Рассказывают, что, до того как он попал сюда, у него дома — от нашей базы это далеко — происходило то же, что и здесь. В то время такое скрывали от солдат. Во всей округе дом Барра был единственным по-настоящему отстроенным домом. Лейтенант вызвал из Безансона свою жену. К счастью, детей у них не было. Дом стоял на отшибе. Допросы велись главным образом по вечерам. Случалось, что после допроса какой-нибудь пленный — трудно было различить, жив он или мертв,— оставался лежать в коридоре. Когда жена лейтенанта вставала по утрам, чтобы сварить кофе, и, выйдя в халате, домашних туфлях и с папильотками, натыкалась на тело, то отпихивала его ногой, если оно загораживало дверь. Парни, видевшие это, не верили своим глазам. Почище, чем в кино.

В первый раз меня послали сторожить пленных ночью. Они сидели в одной из заброшенных минных галерей, какие еще попадаются здесь на тунисской границе. Это, как я уже говорил, напомнило мне мою юность, и притом удивительно живо. Некоторые пленные, те, кто уже

подверглись допросу, вытирали кровь, прикладывая к ранам камни, так как ничего другого у них не было. Я смотрел на них с удивлением, еще не сознавая, какие это вызовет у меня воспоминания. И вдруг что-то поднялось во мне, неукротимое, как позыв к рвоте. Ведь точно так бывало в шахте...

Даже сторожить пленных и то мне было стыдно. Но что поделаешь, во время боев случалось немало такого, чего следует стыдиться... Всюду одно и то же. Взялся за гуж, не говори, что не дюж... Пребывание на ферме было короткой передышкой, но ураган всюду настигает тебя, и, где бы ты ни находился, с ним приходится считаться. К примеру, Кувэн знал, что после боя арабы ищут своих убитых, и он подкладывал под трупы гранаты. С еще большим удовольствием он то же самое проделывал с ранеными. Казался себе весьма хитроумным...

И вот однажды эта женщина... Ее обнаружили в хижине одну с шестимесячным ребенком... Кувэн был уверен, что благодаря ей удастся захватить мужчин. Следовало ее допросить. В нашем присутствии Кувэн не посмел ее тронуть. Но нашел выход из положения. Велел взять у нее ребенка и предупредил:

— Рассказывай, а не то убьем его.

Она отказалась. Кувэн считал до трех. Потом снаружи раздался выстрел. Женщина потеряла сознание. Мы тоже поверили... Чуть было не набросились на Кувэна, но он засмеялся и сказал:

— Шуток не понимаете. Надо же заставить ее заговорить!

Когда женщина пришла в себя, он и ее успокоил. А все для того, чтобы показать, что с таким добряком она может говорить откровенно, ничего не утаивая. Кувэн пообещал и мужчинам ничего не делать худого.

Но женщина по-прежнему молчала, и он взялся за нее снова. С ним было десять человек. Чтобы утихомирить нас, он крикнул:

— Дурачье! Если не узнаем у нее, где мужчины, то на обратном пути попадем к ним в лапы! И тогда — кто кого! Каждому дорога своя шкура.

А женщине сказал:

— На этот раз поблажки не жди...

Он сосчитал до трех. Раздался выстрел — и снова холостой. Но женщина впала в такой длительный обморок, что ее и в самом деле сочли мертвой.

Когда Кувэну удалось привести ее в чувство, он только взглянул на нас и сразу понял: на сей раз хватит. Женщину подняли, отдали ей ребенка и увели...

* * *

А здесь... Разница лишь в том, что здесь все происходит на более высоком уровне. Ванна, электроды... Классика, так сказать... Да и капрал Мануврие — знаток своего дела. Вне работы он корректен, как лорд. Третьего дня после одного из сеансов он переоделся во все свежее и слишком близко прошел мимо пленного, который лежал на полу совершенно мокрый. На свою беду пленный случайно прикоснулся к нему.

— Ах негодяй! Испачкал мне брюки! Я тебе покажу!

И Мануврие приказал снова погрузить несчастного в ванну. Вовсе не для того, чтобы заставить его говорить, а просто так.

Тот же Мануврие велел закопать живьем человека в отхожем месте.

Всего этого я боюсь не меньше, чем участия в операциях. Как бы это сказать? В одном случае — страх охватывает изнутри. Когда же я попадаю в джебель — страх идет откуда-то извне. Я боюсь, как бы меня не вовлекли против моей воли. Вот что меня тревожит больше всего: на худой конец я согласен сторожить пленных, но только это, больше ничего. Я прекрасно понимаю... Они, мои начальники, не без умысла приготовили мне такой «подарок» — оставили меня в лагере. В известном смысле это провокация. Если раньше иной раз мне удавалось обойти их, отбрехаться, здесь, в лагере, это невозможно. Вся беда в том, что никто ничего не принимает близко к сердцу. До какой степени? Вот в чем вопрос для всех и для меня тоже. Ко всему привыкаешь. И еще как! Никогда бы я этому не поверил. Видеть, как изменяется все, что привычно. Видеть из месяца в месяц, изо дня в день, во что превращается это привычное... Ничего не поделаешь, приходится приспосабливаться. Тебя вынуждают к этому. Во всяком случае, для меня выбора нет. Неправда, будто я готов на все, чего от меня требуют. Совсем не так! Сердиться на меня не за что. Начальство? Ясно, чего оно хочет от меня... Вот мне и приходится быть всегда настороже более, чем кому-либо. На меня наступают со всех сторон. А если я все-таки выкарабкаюсь?.. Каждому своя шкура дорога — это верно! Шкура прежде всего. Лишь бы она была цела, остальное все наладится. Только мертвые не выздоравливают.

Позавчера привезли новеньких. Эти не были рабами! Они не хныкали, не смотрели в землю, у них не подгибались колени, они были такие же молодые, как я, и словно братья — не по внешнему сходству, а по тому, как они себя держали. Высоко подняв голову, они смотрели нам прямо в лицо. А между тем уже по дороге сюда немало вытерпели... Вначале к ним приставили нас двоих. Вторым был Дерьен из Лиона. Мы осторожно поглядывали друг на друга, не решаясь заговорить, так как подозревали, что эти трое кое-что понимают по-французски. Не следовало все-таки выказывать перед ними свои опасения, спрашивать друг у друга: *что начальство заставит нас предпринять?* Впрочем, разговаривать с Дерьеном не было необходимости. Нам и так было ясно, что готовится.

В этот день предполагалась вылазка. Где-то не очень далеко раздавались выстрелы. На западном склоне среди деревьев вились дымки. Когда стрельба усиливалась, мы с Дерьеном переглядывались. Пленные это ясно видели. Они не спускали глаз с меня и Дерьена, все трое сидели на земле в одной и той же позе, охватив руками колени. Временами у меня возникало желание сказать им: «Хватит пялить на нас глаза! Мы стережем вас, не вы нас!»

Это было похоже на то, как если бы они не соблюдали правил игры... Мне даже хотелось пригрозить им оружием, чтобы почувствовать свою силу, но ни в коем случае не бить, нет, такого желания у меня и не было, а вот чуть пофорсить — другое дело. И Дерьен, конечно, вел себя так же, и у него и у меня было такое чувство, что они сильнее нас, хоть мы и вооружены карабинами. Хорошо, что никто в лагере этого не видел.

«Ну,— думал я,— сами они, может быть, этого и не понимают, не следует их наталкивать на это, ведь никогда не знаешь...» И я молчал.

Вскоре появились Барра и Мануврие. Мы считали, что они, как обычно, отведут пленных одного за другим в специальную палатку, а мы останемся здесь. Но нас заставили двоим из них связать ноги — до сих пор у пленных были связаны только руки, третьему Барра и Мануврие приказали подняться. Не стоит рассказывать, каким взглядом мы

обменялись с Дерьеном. И все-таки у нас была еще какая-то надежда. Барра и Мануврие стали издеваться над пленным. «Может быть,— подумал я,— они все-таки скоро уберутся, прихватив его с собой».

— Ты только погляди на эту рожу!

— Твоя мать, наверно, путалась с павианом, а?

— И к тому же они тебя недоделали!

Дернуло же нас с Дерьеном в эту минуту рассмеяться. Надо же примкнуть к какой-нибудь стороне!

— Ты что молчишь, когда с тобой разговаривают?

И Барра ногой ударил по ногам одного из пленных. Тот, пошатнувшись, невольно толкнул Дерьена, который растерялся, а потом отпрянул назад. Барра посмотрел на него. Он надеялся, что теперь Дерьен тоже пихнет пленного, и приказал ему:

— Не спускай с них глаз!

А мне:

— Свяжи-ка этого понадежнее!

Сомнений не могло быть. Все всегда начиналось с таких штучек. Мануврие был в рубашке с засученными рукавами. Позднее нам стали известны слова командира роты: «Делайте с ними, что хотите, но только заставьте их говорить».

Всего, что было потом, и не расскажешь. Для начала оплеухи... Потом удары кулаком... Потом палкой... От нее на спине пленного вздувались огромные шишки... Потом палка сломалась... Меня послали за лейкой, а Дерьена за деревянным ящиком, который хранился в шкафу над ванной в их знаменитой палатке. И, разумеется, за солью. Они заставили одного из пленных съесть полфунта соли. Понадобилась еще вода. Парень не издал ни звука. Мануврие вытащил нож. Парень, конечно, уже валялся на земле. Мануврие сел на него верхом. Он вонзал в пленного нож на четыре-пять сантиметров. Короткими ударами. Затем сыпал горсть соли на рану и растирал рукой. Парень, до тех пор не раскрывший рта, стал кричать:

— Убейте меня, но не мучайте! Мне нечего сказать! Я ничего не знаю!

Вдруг Мануврие приказал нам:

— Держите его за ноги, он мне осточертел!..

Мы с Дерьеном снова переглянулись.

Хоть это и не особенно важно, но первым поддался Дерьен, а вслед за ним и я. Впрочем, будь я один, ничего не изменилось бы. Но если бы Дерьен сказал «нет», мне кажется, что и я бы сделал то же. Я даже позволил себе передернуть плечами, желая показать, что не одобряю его, а сам в это время опустился на колени, чтобы держать пленного за ноги...

И тут, это было неизбежно, я снова подумал о своем отце. Вспомнил, что он рассказывал нам о коммунистах, о том, как они вели себя во время войны. Но я быстро отогнал от себя эти мысли. *Тут нет ничего общего. То была война, немцы... А эти? Да они же вовсе не коммунисты. Нельзя валить всех в одну кучу.* Однако размышлять было некогда. Пленный отбивался. Он несомненно был левша! Я держал его за левую ногу.

Все трое прошли через это. Затем их швырнули в палатку. Связывать им ноги больше не было необходимости.

Но это оказалось только началом. Барра и Мануврие приказали мне и Дерьену вырыть в песке ямы в рост человека, да поживее! В довершение всего нам пришлось еще и надрываться. А солнце палило тоже без стеснения. Пленных столкнули в ямы, нам велели засыпать их

песком. Остались на поверхности только три головы. Пленные не могли уже ни отбиваться, ни кричать. Под конец рядом с каждой головой, сантиметрах в двадцати, поставили котелок с водой, после чего Барра и Мануврие ушли со словами:

— Если у кого-нибудь из них развяжется язык — придете за нами!

И опять ничего другого не оставалось, как только сторожить их. Теперь можно было разговаривать с Дерьеном. Пленные уже вообще не могли слышать. Но нам нечего было сказать. Мы избегали смотреть друг на друга.

Вот когда снова я вспомнил о ящерицах. Задыхавшихся на стене. А ящериц заслонило что-то другое, более важное, я никак не мог припомнить, что именно, но это тоже было связано с жаждой, мучительной, во сто крат более ужасной и когда-то потрясшей меня. Что же это? Я никак не мог вспомнить. Ни сразу, ни потом.

Пленные постепенно пришли в себя. Один из них начал стонать, потом выть, сначала тихо, а под конец так, что можно было сойти с ума. Этот вой, наверно, слышал весь лагерь. Но когда у пленного спрашивали, не хочет ли он что-нибудь сказать, он качал головой: «Нет!» Поэтому мы не решались позвать Барра. Наши ребята, проходя мимо — к счастью, их было немного,— отворачивались не только от несчастных, но и от нас. И только один, Фуре, кстати, призывник — и среди них встречаются мерзавцы,— пнул воющего пленного ногой в голову. Фуре был босой.

Я увидел это слишком поздно и не успел ему помешать. Уже после того, как он толкнул пленного, я крикнул:

— Это ж все-таки люди!..— не то Фуре ударил бы и других. Надо же быть таким негодяем!.. Его-то ведь никто не заставлял...

Солнце поднималось все выше. Там, где мы стояли, оно давало себя знать. Мы сносили его палящие лучи, как сносили их когда-то в детстве на каменной стене.

X

АЛЬБЕР

Когда с человеком должно что-нибудь случиться, он это словно предчувствует. В тот вечер я, против обыкновения, ушел на работу не побрившись. Вид у меня был не слишком бравый. Я походил на сонную муху, но вовсе не от усталости. Все мне осточертело, ну просто все.

Я даже не взглянул на себя в зеркало. И, только выйдя из ворот, почувствовал обрывки паутины на щеках. Возвращаться было уже поздно, да и не стоило. Небритому всегда как-то неловко, но и только. Ладно, в темноте никто не разберет.

Вечер был тоже необычный. Когда я добрался до Большого Камня, огромная низко нависшая туча заволокла почти все небо. В десяти шагах ничего не было видно. Зато на горизонте, где-то далеко за прудом, в ярко-оранжевой полосе можно было разглядеть маленький самолет над ясными очертаниями деревьев.

Позже, в забое, перед глазами у меня мелькала рука Франси, крепкая, как гороховый стручок, и глянцевитая от пота; я прислонился мокрым плечом к плечу Франси, и мы вместе подняли крепежную стойку. Эти игрушки как будто нарочно созданы для меня. Выбирать не приходится. Все или ничего: либо не начинай крепление, либо доводи его до конца. С первой же минуты было ясно, с чем мы имеем дело. А уж если взялся, то работай, как машина, словно тебе ничто не угрожает. Стойка скользит в руках Франси. Я недостаточно силен, что-

бы одному удержать ее. Она падает совсем рядом с моей ногой, как трамбовка каменщика. Еле успел отдернуть ногу. Но что все это значит по сравнению с тем, что ждет нас впереди?..

«Полина» вроде образумилась. После первых трудностей она в одну прекрасную ночь стала выдавать уголь как полагается, и в течение недели работать было — одно удовольствие. Она повиновалась малейшему прикосновению. После каждой выбитой стойки покорно шла в руки, как рослая ленивая девка. Затем пласт пошел вкривь и вкось, и «Полина» — тоже. Раньше она была прямая, как коридор. А теперь, когда смотришь издали на все ее подъемы, спуски и наклонные пласты, когда видишь, как она опирается на стойки, тоже слегка наклонные, то так и кажется, что «Полина» ковыляет на костылях. Всего пять дней как образовалась эта трещина, она прорезала шахту насквозь. В двадцати пяти метрах от нижнего штрека, как раз на нашем участке. Наверху, в секторе Гаспара и Жана-Батиста, все идет как полагается. У нас тоже, но только над трещиной. А вот ниже, между нею и штреком, повисла глыба, какую не часто увидишь. Мы оказались на каверзном участке. В свое время старики говорили: такой пласт ищет ссоры. Это была самая крепкая скала, на какую только можно наткнуться... Во всяком случае, за десять дней здесь ничего не откололось. Даже взрывчатка не помогла. Разве только немного мелочи.

Дело не только в пространстве, которое не укреплено. В этом огромном пространстве — десять метров глубины на двадцать пять метров ширины в передней части забоя и тридцать, тридцать пять метров по глубине обвала, происшедшего десять дней назад,— образовалась трещина. Впрочем, случались вещи и похуже. Мы твердо знаем, какое здесь гиблое место и как оно неподатливо. Нетрудно понять, что оно может нам преподнести. Каждый день мы твердим себе: «Такая глыба долго не продержится: сегодня она обязательно расколется!..» Она действительно раскололась сегодня вечером, когда забои готовили для утренней смены. Раскололась по всей длине площадки. Хорошенькая щель, туда может пройти рука почти до плеча. В одном месте, неподалеку от трещины, на расстоянии не более метра или двух, глыба провисла, а стойки осели в почву. Это было лишь первое тревожное предупреждение. Забойщики ушли, а нам оставили такое наследство.

Было ясно, что нас ждет сегодня. Пласт давал о себе знать повсюду. Последние три часа он непрестанно давил на переднюю часть забоя, особенно у трещины. В этом месте высота достигала не более метра тридцати сантиметров. Но теперь, когда мы увидели границы, все стало понятным: подпертый тремя рядами стоек на расстоянии трех метров в глубину и двадцать пять метров в ширину забой был еще свободен, но раскрепленная позади на семь метров в глубину и больше чем на тридцать метров в ширину кровля пласта была уже нарушена. Когда сегодня мы выбьем нашу линию крепления, она расшатается еще сильнее. Нет уверенности, что она расколется вдоль последней линии стоек, которых мы не тронем, и сама спокойно осядет. Всей своей тяжестью кровля будет давить, прижмет крепление и опрокинет его в переднюю часть забоя... Тогда все повалится сразу.

Зефир Мерсье уже неделю болен. Вместо него штейгером работает Оскар Валле. Это совсем другой человек. Он брат Шарлеманя, того, что с завода; хотя сложения они одинакового, но мыслят по-разному. По правде говоря, Оскар мало чем отличался от своего брата, но не был таким горлопаном и бузотером. Коммунистом он стал скорее по семейной традиции. Но потом опустился, и его приручили. С возрастом ему захотелось выдвинуться, что всегда губит неустойчивых людей. У него два

сына-школьника. Года два-три он был неплохим штейгером, но постепенно превратился в такого же дьявола, как все другие. С той лишь разницей, что он не такая тряпка, как Зефир Мерсье. Валле остался шахтером. Он не боится работы, умеет, когда нужно, подсобить, не накладывает в штаны, когда вокруг начинает потрескивать...

Он сам сказал:

— Ребята, дела сегодня плохи! Я остаюсь с вами!

Он не только говорит, но и делает. Не прячется от опасности, а разделяет ее вместе с нами. Каждый раз, когда мы выбиваем стойку, Валле подходит совсем близко, чтобы посмотреть, как все выглядит. Но в нашей среде — уверен, что Франси думает то же, что и я,— недолюбливают Валле. Может быть, не так, как других, но... Мы все чувствуем, что он как бы понуждает нас следовать его примеру.

— Раз кровля заупрямилась и не хочет взрываться,— говорит он,— то лучше бы удержать глыбу до послезавтра.

Послезавтра, когда передний край забоя отодвинется, ряд поддерживающих стоек дойдет до трещины, образовавшейся сегодня. На два других ряда стоек по ту сторону трещины кровля больше давить не будет. И тогда, в случае нужды, нам обеспечено укрытие.

— Невиданное дело, чтобы этакая глыбина держалась, как говорится, на честном слове. Без подпорок!..

Я был далеко не уверен в правоте своих слов, но продолжал работать. А все-таки добавил:

— Послушай, как ее толкает.

Ударяю кувалдой по металлической стойке. Она звенит, словно наковальня, и вместе с тем чуть по-иному. Наковальня видится мне в ясное утро на свежем воздухе. Здесь — это ночной звук, мрачный, густой, он в плену у породы, нависшей над нами, в плену у горы, поглощающей эхо... Как бывало в старой шахте «Паскье» — черной скале на берегу пруда: легкий удар молотка — и в ту же секунду в воде подпрыгивают тысячи серебряных рыбок.

Чем ближе подбираемся к трещине, тем ближе держится к нам Оскар Валле. Он готов полностью принять на себя опасность.

Машинально касаемся кровли, как будто на ощупь можно что-то узнать. Сверху падает тонкая блестящая корочка, ломкая, как фитилек оплывшей свечи, она рассыпается под пальцами. По-прежнему — ничего! Мы целиком прикованы к верхней части, к этой гигантской глыбе, гладкой и твердой. Внизу под ней почва кажется мягкой, жирной, ноги тонут, словно в кофейной гуще. А что, если бы пришлось бежать?..

— Так или иначе,— говорит Валле,— а выбора нет. В таком положении ее нельзя оставить.

Они могли, конечно, хотя бы на время пожертвовать крепежными стойками. Через два дня все выяснится. Но они предпочитают жертвовать людьми. А мы... Мы так погружены в работу, что рискуем собой до предела. Валле говорит неправду, будто нет выбора, но выбор этот мы делаем сами.

Стараемся не думать об опасности. Нам даже не приходится принуждать себя. Во всем этом есть своего рода азарт, он возникает сам по себе. Укрываемся. Угольная пыль похрустывает на зубах. Мне снова восемь лет. Я сижу на краю черной ямы перед домом и то поднимаю, то опускаю босые ноги в грязь, а пальцам моим щекотно. В эту яму мы и наши соседи выбрасывали пустые ракушки от моллюсков. Играя, мы воображали, что обедаем, и грызли маленькие белые сухожилия, которыми моллюски прикреплены к ракушке, взрослые этого обычно не

едят... Сухожилия до такой степени сохранили вкус моллюсков, что нам казалось, будто мы в море, но к ракушкам пристало немного грязи: на зубах у нас похрустывал песок.

И угораздило же Валле, перед тем как мы выбили предпоследнюю стойку, сказать:

— А ну-ка, давай! Нажми! Заработаешь полную дневную выручку! Я тебе кладу по триста франков сверх положенного за две последние стойки.

— Триста на двоих или на брата?

— На брата.

Обычно они нам платят по-царски: за выбитую стойку — семь франков, а за сохранную — девять. Каждый раз продаешь свою жизнь за семь франков. Даже если ты это делаешь больше ста раз — все равно не окупается. Все решают премиальные. Недаром говорят: заработок зависит от штейгера.

Но у последней стойки что-то мне подсказывает — не тронь ее. Я не слышу, чтобы где-нибудь хоть что-то шевельнулось. Не слышу. Но знаю...

И говорю:

— Когда кровля на подпорках, она предупреждает заранее. А вот такая — никогда.

— Неужто боишься? — спрашивает Валле.

— Эту стойку я ни за что не трону.

Валле пожимает плечами:

— Дай-ка сюда балду, сейчас увидишь!

— Зря ты это делаешь, Оскар. Неправильно поступаешь!

Что они ему пообещали? Должно быть, и для штейгера существуют премиальные. А может быть, подействовали угрозой? Все приходит в голову. Штейгеры как будто должны заботиться о нас... Возможно, там, повыше, на них тоже нажимают...

Валле вырвал у меня из рук кирку...

— Сейчас увидишь.

С такими плечами, как у него и у его брата... Им, можно сказать, ничто не страшно. Они как статуи, что поддерживают балконы. Так же, как эти статуи, Валле слегка согнулся под провисшей кровлей, которая почти касается его спины. Он и сам, должно быть, считает, что ему при его силе все нипочем. Любая нагрузка нипочем. Франси и я вскрикнули одновременно и подались назад.

— Оскар!

Но попробуй уломай его!

Валле ударил по шпонке, стойка зазвенела, и тут же поддалась кровля, раздался звук, напоминающий звон разбитых тарелок, его узнаешь безошибочно. Затем в верхней части загрохотал настоящий гром, под угольными сводами началась гроза, всю крепь перекосило. Я почувствовал это по своей руке, которая держала стойку!..

Не помню, как меня отшвырнуло. Мы с Франси устояли, но податься нам — узникам — некуда; почва осела у нас под ногами, и мы почти по колено провалились в нее.

Каждую секунду она может осесть еще ниже. Гром продолжается.

В голове пронеслось: «А ведь я предупреждал!»

Франси тоже остался цел и невредим.

Надо спасаться...

Если после завала высота забоя по колени, можно ползти на животе; когда чуть повыше колен — на спине. Проползти нужно двадцать пять метров вниз, чтобы очутиться на нижнем штреке.

Если и там не завалило, если грунт и дальше не будет опускаться...

«А ведь я предупреждал!»

— Э-эй! Эй, Франси! — кричит Гаспар как бы издалека, стоя по ту сторону трещины, возможно, на расстоянии двух-трех метров... Он там с Жаном-Батистом. Они ничего не могут сделать для нас. Гаспар дружен с Франси больше, чем со мной. Поэтому он зовет его.

— Э-эй! — отвечаем.— Мы целы! Мы в забое!

Но выйти не решаемся.

Однако, если мы хотим добраться до штрека, нам нужно поспешить. Это, пожалуй, вопрос всего лишь нескольких секунд.

Согнувшись в три погибели, мы с Франси начинаем ползти ногами вперед... Вокруг все хрустит, как уголь на моих зубах.

— Господи, вы не подождете меня? — взывает к нам Валле.

«А ведь я говорил...»

Он, видимо, уже не раз кричал. Но крик его тонул в шуме, а может быть, Гаспар заглушил его своим криком.

— На помощь! Завалило ногу! На помощь, Альбер!

Он зовет меня, *а ведь я ему говорил!*

Мы с Франси больше не видим друг друга. Не знаю почему, нс в забое мы взялись за руки, вот так и ползем. При каждом выкрике Валле пожатие наше крепнет, словно мы переглядываемся.

«Ведь его предупреждали, негодяя этакого!»

Он сделал по-своему и, может быть, угробил всех троих.

Кричу Франси:

— Но он же человек!..

Теперь мы оба, как два прикованных друг к другу узника, ползем не к нижнему штреку, а к Валле. Потеря времени может стоить жизни всем троим, а не ему одному. Но мы не были бы людьми, если бы поступили иначе.

Подползли. Высвободили. Берем его за руку и втроем скатываемся вниз, к нижней части забоя... Там мы, пожалуй, будем лучше защищены, да и ползти там легче.

Добравшись до штрека, мы в три голоса кричим Гаспару, Жану-Батисту и всем, кто только могуг нас услышать:

— В порядке! Целы! Спасены!

У Валле нет перелома, только ушиб. Он в состоянии двигаться. Когда мы наконец очутились в штреке, моим первым движением было ударить его.

«Негодяй, я тебя предупреждал!»

— И зачем это надо было?..

Он ответил только:

— Спасибо, товарищи!..

«Товарищи»! Хорош товарищ, нечего сказать!..

Валле схватился за голову...

— Что я наделал! Боже мой, что я наделал!

Вот тебе и могучие плечи... Человек часто гораздо глупее, чем кажется; видя его в таком состоянии, я все же говорю:

— Перестань! Не погибли, выкрутились. Могло быть хуже.

Мы с Франси больше не держимся за руки, но не можем расстаться, потрясенные, взбудораженные. Он притрагивается к моему плечу, я прикасаюсь к нему пальцами, словно оба мы хотим убедиться, что живы. Нас тянет все время ощупывать друг друга. Кричим Жану-Батисту и Гаспару:

— Целы, невредимы! Все кончилось благополучно!

Еще никогда в жизни мы не были так счастливы. Руки у нас дрожат от радости.

— Мы тоже! — кричит в ответ Жан-Батист.— Здесь все устояло!

Проходчики с нижнего штрека слышали шум и видели столб пыли. Когда они прибежали, Оскар тут же сказал им:

— Все из-за меня! Я один виноват!

Будто в этом было все дело...

* * *

Дома я застал Доффени, он хотел поговорить со мной о моем брате.

XI

БЕРНАР

На вокзале, хоть я и знал заранее, что так получится, поскольку не мог предупредить ни о дне, ни о часе приезда, мне все-таки было неприятно... Никто меня не встречал, ни мать, ни Альбер, ни Клара. Вокруг куча народу, а мне одиноко и тоскливо.

В трамвае я ждал, не войдет ли кто-нибудь из знакомых. Никого. Как нарочно. Людей, которые входили, я почти не знал, да и они не обращали на меня внимания, разве могли, смеясь, помахать мне рукой — и только. Им было весело...

На трамвайной остановке у Большого Камня наших тоже никого. Ясно почему... Значит, всю дорогу до самого дома мне придется идти одному. Но тут уж я был уверен, что непременно повстречаю знакомых — либо на пороге их дома, либо на улице. Что скажут они? Что скажу я? Мне становилось все тоскливее.

Но даже улица была пустынна. Не иначе как, увидев, что я приехал, все попрятались по домам.

Норбер Трикар показался на велосипеде на другой стороне улицы. Он не сразу меня заметил и не успел свернуть в сторону; притворившись обрадованным, он закричал:

— Бернар, ты! Вернулся наконец?

Он хотел соскочить с велосипеда, но спохватился и крикнул:

— Хорошо приехать на побывку, а? Не обижайся, я и так опаздываю!

Опаздывает, куда? Скорее всего никуда. Но с ним я тоже мало знаком. В конце концов он не обязан...

Те же, кому следовало бы остановиться, поговорить со мной, не показывались. Наверно, смотрят на меня из-за оконных занавесок. Даже самые близкие соседи.

Ведь я у всех на виду! Когда мать со двора заметила меня на повороте у дома Жереми — должно быть, высматривала меня уже несколько дней,— она закричала:

— Альбер! Клара! Вот он!

И побежала, как безумная, продолжая кричать:

— Мой Малыш! Вот он, мой Малыш!

Ее синий передник развевался по ветру, а так как я, чтобы срезать поворот, перешел на другую сторону, где стоял дом Мели, мать тоже перебежала мостовую; спотыкаясь, не думая о машинах и велосипедах — к счастью, их здесь в эту минуту не было,— вся растрепанная, она упала, еле дыша, мне на грудь, и сил у нее хватило только заплакать. Я поцеловал ее и, слегка озираясь, прижал к себе так сильно, словно искал у нее защиты.

И все повторял:

— Полно, полно, я здесь, приехал...

Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь нас увидел, был свидетелем нашей встречи... Может быть, мать и чересчур разволновалась, но по-человечески это легко понять...

— Идем, мой Малыш,— говорит она и тащит меня в дом.— Идем же!

Она хотела понести мой мешок, но я не позволил. Вот и Альбер появился у калитки, он делает несколько шагов нам навстречу, радостно помахивает мне, однако не торопится, и вид у него такой, будто он ждет, чтобы я первый подошел к нему. Мы целуемся с ним. Он берет у меня из рук мешок. Смотрит на меня! Как он смотрит... Клара сделала только несколько шагов нам навстречу.

— Бернар! Ах, Бернар,— сказала она, прежде чем поцеловать меня, чего раньше никогда не делала. Как приятно пахнет от нее. Я уже забыл, что от кого-нибудь может так хорошо пахнуть. От прикосновения ее волос я вздрагиваю. Мне тоже хочется плакать. Нет, только не это... Еще чего не хватало...

— Матильда! Грегуар!— кричит мать.— Все в порядке! Приехал!

Над решеткой садовой ограды тотчас же показывается голова Матильды:

— Все в порядке, Бернар? Небольшое путешествие в родные края? Здорово, а? Знал бы ты, как мать боялась за тебя!..

— Послушай, Матильда,— говорит мать,— не мог бы твой Альфред слетать на велосипеде предупредить Селину?

Можно подумать, что они хотят выиграть время.

— Он спит,— отвечает Матильда,— но это неважно, он поедет, Анжела. Пойду разбужу его и тогда покричу тебе...

Под этим предлогом Матильда уходит к себе в кухню и больше не показывается.

Грегуар, тот провожает нас до дома, но он еле передвигает ноги... Как он постарел!.. Теперь это настоящий скелет... А как потемнела у него кожа... Не только рубцы, те всегда были темными, но вся кожа сплошь, особенно там, где выпирают кости. Уголь попал в кровь... Или что-то в этом роде... Глаза глубоко запали, а веки такие же черные, как прежде, когда он плохо промывал их. Промытые или непромытые, они теперь всегда такие. И это особенно поражает потому, что у него еще много волос, правда совсем седых... И брови седые, и длинные волоски в ушах и ноздрях... Перейти мостовую — для него целое путешествие. А войдя в дом, он не знает, что сказать. Дрожит, всхлипывает, плачет навзрыд. Настоящая развалина! Как быстро все меняется, когда ты в отъезде!.. Грегуар дотронулся до меня, пальцы у него дрожат — так он нервничает. Я не решаюсь обнять его. От старика пахнет мертвецом. При нем можно говорить, будто его здесь и вовсе нет. Усаживаем его в кресло, то самое, в котором он всегда сидел. Не знаем, с чего начать.

— Я не мог сообщить ни о дне, ни о часе приезда...

— Потому мы и не пришли на вокзал,— сказал Альбер.

— Мой Малыш,— говорит мать.

Всем неловко... Надо знакомиться заново!

АЛЬБЕР

Я не хотел начинать разговор с Бернаром при матери. И при Грегуаре... Старику язык уже не повинуется, но слух еще не отказал. Я ждал, когда мы с Бернаром останемся одни.

Он пришел ко мне, и я тут же подмигнул Кларе. Она оставила нас вдвоем.

Вот он сидит на краешке стула у плиты, по другую сторону стола. Нас разделяет пустой стол под зеленой клеенкой с желтыми потрескавшимися клетками. На зеленом поле тоже есть трещины, но они не так видны.

— Удобно вы здесь устроились?

— Тесновато. В этой кухне втроем повернуться негде.

Я и теперь не хочу говорить. Во всяком случае не начну. Мне хочется, чтобы он это понял.

Он спешит воспользоваться отсутствием Клары, я вижу это по тому, как он то и дело с беспокойством поглядывает в окно, не идет ли она...

— Знаешь, Альбер... Я тебе писал... У меня было очень тяжело на душе.

Он говорит... Слушаю его, но как будто не слышу. Жду только одного. Если этого не произойдет, то остальное мне безразлично... Даже если он расскажет, сколько ему пришлось вытерпеть. Он мой брат, я этого не забываю. При первой же возможности я бы это доказал. Но прежде я хочу прощупать его... Заговорит ли он о том, что мне рассказал Доффени?.. Я предоставляю Бернару высказаться... Взгляд мой скользит по самым различным предметам: вот на стене рядом с зеркалом подушечка для булавок — ярко-красное бархатное сердечко, расшитое розочками, сине-бело-красный флажок Четырнадцатого июля, вылинявший красный флажок в честь Первого мая, штопальные иголки, самые толстые, для штопки носков, косо воткнутая английская булавка... Вязальная спица в лиловой шерсти, которая обвила ее, как... как что?.. Как позавчера паути-на мои небритые щеки... Однако я слушаю Бернара... Как я его слушаю... Но он говорит не то, чего я жду. Он только жалуется. И я охотно верю — ему действительно было трудно. Но пусть он сперва расскажет то, чего я от него жду. А если... Если нет, буду ли я по-прежнему считать его своим братом?.. Доффени, кончив свой рассказ, сказал мне: «Нельзя не сообщить об этом ребятам. Они должны знать... К тому времени, когда он вернется, когда они его увидят, надо, чтобы они уже знали...» Для этого Доффени проделал двадцать километров. Чтобы предупредить. «Сначала вас,— сказал он,— а потом товарищей». Я ответил: «Будь спокоен. Но прошу тебя, предоставь это мне. Я сделаю, можешь мне поверить». В конце концов он согласился. Не проболтался ли Доффени? Слухи все-таки начали просачиваться. Может быть, они шли от кого-то другого, не от Доффени. Может быть, почтальон?.. Между тем я не сдержал своего обещания. Даже матери ничего не рассказал. Она, вероятно, ничего не знает. А что касается ребят, то, давая такое обещание, я выигрывал время... Хотел предоставить Бернару все возможности. Если он признается, если объяснится, тогда другое дело. Говорить об этом безусловно придется, но по-иному. А если он захочет скрыть, тогда... Тогда действительно дело плохо. Тогда он сознательный убийца...

Бернар говорит резко, обвиняя, возмущаясь, но не чувствуется, чтобы он собирался заговорить о самом главном, ни малейшего намека на это. Короче, то, о чем он говорит, не имеет никакого значения. Это увиливание, бегство, особая манера лгать... Однако он что-то чует. Сам говорит, а глазами как бы спрашивает меня. Должно быть, подозревает, что я догадываюсь... Ему, конечно, невдомек, что Доффени...

Вначале я видел только пеструю подушечку, ее мягкие очертания. Постепенно мое внимание начали привлекать булавки и иголки, вернее, точки, куда они вколоты... Когда Клара втыкает их, то жесткая набивка всегда слегка сопротивляется, бархат начинает морщиться, как живая

кожа, и слышен звук «пик», «пик»... Я всегда слежу за рукой Клары, когда она подходит к подушечке... Сейчас, глядя на иголку и слушая голос Бернара, который жужжит где-то совсем близко от меня, я стараюсь подавить в себе внутреннюю дрожь, словно эта иголка вонзилась в меня. И я слегка заерзал на стуле.

— Так вот, Альбер... Как видишь, все это не весело!

Он кончил. Теперь говорить буду я. Но сначала не с ним. Ведь у него было достаточно времени, Клара все еще не вернулась... Вечер не холодный, хотя в воскресенье уже начнется охота. Встаю, высовываюсь в окно...

— Клара, нет ли кофе?

АНЖЕЛА

Альбер старался улучить минуту, когда Бернара не будет дома. Это никак не удавалось. Бернар не любит выходить на улицу... а еще удивляется, что никто к нему не заглядывает... И все-таки он вышел в сад за домом погулять немного...

— Мам,— сказал мне Альбер, сжимая пальцы,— до сих пор я не хотел тебе говорить. Но сейчас это неизбежно. Две недели назад я сказал тебе, будто Доффени привез поручение, касавшееся Колетты, и именно поэтому избегал тебя, помнишь?.. Все это неправда...

У нас было мало времени. Бернар мог с минуты на минуту вернуться, и это меня пугало. Нам надо было договориться, что сказать ему, если он нагрянет. Тут было не до слез. А главное, это слишком потрясло меня. Я упала на стул и так ударилась, что чуть не лишилась сознания. Думала, конец мой пришел. Стул, конечно, уцелел. Он был крепче меня. Я держалась за сиденье обеими руками, не понимая, что говорю, и только твердила:

— *Позор хуже смерти... Хуже всего не смерть, а позор...*

Речь, разумеется, шла уже не о смерти... Бернар здесь, в саду, в безопасности, он смотрит на пруд, а может быть, срезает тростник... Когда он был ребенком, я всегда боялась, как бы он не свалился в воду, ведь тростник рос далеко от берега, но теперь это уже не страшно, теперь Бернар — мужчина... Только бы не вздумал принести его домой и поставить в вазу. Тростник сейчас цветет, и цветы его похожи на огромные одуванчики. Ворсинки разлетятся по дому, попробуй их потом собрать... Но что со мной? Я схожу с ума, ведь он уже не маленький... Все перепутала. Я на него зла. Могла бы даже ударить его... Убить бы могла... А что, если Доффени наврал?.. Бернар... Нет, не может быть!.. А если даже это и правда, зачем понадобилось Доффени приходить сюда и сообщать Альберу?.. Нет, это уж слишком. Как мне стыдно! Что сказал бы Фернан, если бы был жив и узнал обо всем? Что скажут те, кто знают, каким был Фернан?.. Что мне делать? Малыш... Мой Бернар... Мой младшенький...

— Ты,— предупредил меня Альбер,— пока помалкивай...

Да, настоящий мужчина Альбер. Поговорю-ка я с Христианой. Ее брат недавно пошел в армию, может быть, она поймет. А что будет потом? Не знаю...

БЕРНАР

Все кругом смотрят на меня так, что мне хочется сию же минуту уехать обратно, не дожидаясь конца отпуска!.. Теперь даже мать и та... При встрече с Альбером я это почувствовал в первую же минуту. А из

ребят ни один не перешагнул порога нашего дома... Знают ли они что-нибудь? Неужели и здесь меня сторонятся так же, как сторонились там? Куда же мне деваться в таком случае? Как же мне при таком отношении гулять, показываться на улице, где я рискую встретить Колетту?.. Сегодня я пользуюсь удобным случаем, хочу попытаться скрыть свой страх, а может быть, даже и побороть его. Я взял ружье — проверил, в порядке ли затвор, и пошел, крадучись, низами вдоль садов и зарослей камыша. Позавчера я приходил сюда проверить, существует ли еще тропинка.

Кроме того, мне лучше побыть на воздухе. Дышу полной грудью и даже чуть-чуть зябну. Солнце еще только всходит. Руки у меня покрылись гусиной кожей, и волоски на руках стали топорщиться... Смотрю на задворки домов с таким чувством, будто захватил их врасплох, узнал их подноготную... Курятники, незанавешенные окна кухонь, кое-где раскрытые двери, ряд новых сараев, белье, что сушится на проволоке... Отворачиваюсь. Смотрю на пруд. Глядеть на воду спокойнее. В первую минуту сам не знаю почему, потом начинаю понимать... Когда я смотрю на дома, мне кажется странным, что в руках у меня ружье... Была бы по крайней мере со мной собака... Тогда легче разговаривать с самим собой. Может быть, поохотиться? Нет! К тому же сегодня мне так же хочется охотиться, как... Если бы что-нибудь и вспорхнуло у меня из-под ног, я и тогда не подумал бы выстрелить. Достаточно представить себе, какой переполох вызвал бы выстрел, какие взгляды устремились бы сюда из этих домов. Говоря по правде, я и не посмел бы стрелять. Я слишком люблю все вокруг. Выстрел вызвал бы здесь страшный переполох.

Отсюда виден дом Макроттов, одинокий, затерявшийся в низине, вероятно до отказа набитый жильцами; тут надо перескочить через яму, потом перелезть через стену, спрятав руки в рукава, чтобы не оцарапаться о колючки, и выйти на старую дорогу, которая сейчас перекрыта. Когда-то она вела к мосту Шарло, в 1914 его взорвали немцы. Вдруг слышу, как в размокшей траве по краю дороги чавкают чьи-то деревянные башмаки. Останавливаюсь, прячусь в кустарнике, зажав ружье между колен. Пытаюсь разглядеть, кто это. Только бы не свернул сюда... Если свернет, я как ни в чем не бывало продолжу свой путь. Если пройдет мимо, я выжду, пока он отойдет подальше, и тогда пересеку дорогу.

Я увидел старого Жереми. Не знаю, куда он идет этой дорогой. Он и не подозревает, что я близко, что вижу его. Он смотрит вперед и думает о чем-то, покусывая былинку. При каждом его шаге мокрая трава хлюпает у него под башмаками, словно кто-то сплевывает. Меня разбирает смех — я слежу за ним, а он этого и не подозревает.

Когда я услыхал голоса, отступать было уже поздно. Вероятно, и мои шаги были слышны. Нам пришлось столкнуться лицом к лицу и сделать вид, что мы рады встрече. И вот после первых восклицаний: «Совсем вернулся?», «Почтальон мне сказал, что ты приехал!», «Да, я здесь, очень рад!» — мы уселись втроем: Жюст Морель, старый Жереми и я. Охотничья собака Жюста что-то нашла в ольшаннике, должно быть, лягушку...

Мы уселись и не знаем, о чем говорить.

— Я уже слышал два выстрела,— пробует завязать разговор Жюст.— Сам я еще ни на что не напал. Теперь здесь не то, что раньше!

Жюст тоже постарел. Стоит только ненадолго уехать, и все так меняется в родном краю...

Жереми сидит на большом булыжнике, который блестит, как отполированный; я уселся на пне и прислонил к нему ружье; Жюст устроился по-шахтерски, поджав под себя правую ногу. Его толстый заштопанный

носок вылезает из сабо, ружье он держит между колен, как я только что держал свое.

— Вот хотел пройти по мосту Шарло, в Паскье! — говорит Жереми, пытаясь прервать молчание.— Но вода поднялась выше камней. Мне пришлось вернуться и сделать большой крюк.

После длительной паузы Жюст вдруг взглянул на меня и начал:

— Умереть — это еще не самое страшное. Не так ли? А вот мучиться...

Я не отвечаю. Даю ему договорить.

— Никогда не забуду Фернана, твоего отца. Как он кричал: *«Пить! Жюст, пить!..»* Кажется, я и по сей день его слышу. Он сильно страдал...

Жюст ждет, чтобы я заговорил. Пусть ждет...

— Я всегда его помню. Всю жизнь слышу его стоны. А ведь я перед ним ни в чем не повинен. Наоборот, я помогал ему... *«Горю!* — кричал он.— *Огнем горю! Боже милосердный, одну каплю, если только вы люди!..»*

Куда клонит Жюст? Чего добивается?

— Правда, один глоток следовало ему дать. Но если бы мы дали, то были бы последними мерзавцами. Ты понимаешь, как тяжело было смотреть на его мучения?

Жюст не отступает. Известно ли ему что-нибудь, или это случайное совпадение? Но таких случайностей не бывает!..

— А? Понимаешь?

На этот раз Жюст намеренно смотрит мне прямо в глаза. Смотрит, как в воду глядит. Он все знает. И даже хочет дать мне это почувствовать.

Он доходит до того, что начинает поглаживать мое ружье, как бы говоря: «Если бы все зависело только от меня!..» Или: «Был бы ты, парень, моим сыном!..» Он поглаживает его не как ружье, а скорее как палку. Жюст, вероятно, считает, что у него есть на меня какие-то права, раз он видел, как умирал мой отец...

Нет. Я себе всегда что-нибудь придумаю. Это — совпадение. Возможно, он далек от подобных мыслей. Ведь такие слова, как *«Понимаешь?.. Ты понимаешь?»* — их произносят по сто раз в день.

Тем не менее взгляд мой прикован к его рукам, поглаживающим ружье. Я хотел бы посмотреть в другую сторону, ну, скажем, на Жереми. Возможно, и он что-нибудь знает. Было бы любопытно заглянуть в его глаза, но я не могу оторвать своего взгляда от Жюста.

А ружье у него заряжено?

И вдруг... Голова что ли у меня закружилась, никак не пойму, где я? Колени подгибаются. Хорошо еще, что я сижу, а что подо мною? Пень? Но почему же он качается, как колченогий стул? Опираюсь о пень рукой, чтобы почувствовать себя более уверенно...

И тут рука моя, словно какой-то странный зверек, начинает сама собой скользить по дереву, норовит незаметно подобраться к ружью. Невыносимо. Вечные мои бредни... Но ведь, в конце концов, никогда не знаешь... Что со мной? Я схожу с ума? Страх это или что-либо другое?

Все во мне словно отмерло. Живы одни глаза. Они хотели бы спастись, укрыться на секунду. Мой взгляд отрывается от рук Жюста, чтобы встретиться с его взглядом. А его глаза, я это вижу, следят за моей рукой. За ее еле заметным движением... Нет, застигнутая врасплох, она ослабела, обмякла, больше не движется.

— Эй, эй!.. Чем вы там занялись оба? — громко крикнул старик Жереми и сразу вскочил со своего места.— Уберите-ка руки, вы, оба! Думаешь, не вижу, что ты делаешь?..

Значит, что-то действительно было. Значит, это не просто игра моего воображения. Жереми что-то видел. Но, может быть, угрожал я, а Жюст оборонялся?..

— Перестань, слышишь, Бернар! Не то будешь иметь дело со мной!..

Жереми встал между нами во весь рост, мешок с травой для кроликов по-прежнему висит у него на руке. Он кажется высоким, потому что мы сидим.

Дело не в его силе... Он так стар! Но он вмешался, и этого оказалось достаточно, чтобы я пришел в себя.

— А что случилось, Жереми? Ничего особенного! Вам что-то почудилось!

Я в самом деле верю в то, что говорю. Могло сложиться впечатление, что Жюст и я... Обманчивое впечатление, независимо от того, кто начал, а уж потом...

— М-да!..— восклицает Жереми.— Ну что ж, тем лучше!

Но все-таки он по-прежнему стоит между нами.

Желая показать, что мне хочется все уладить, я говорю робко, чуть кривя душой.

— Жюст прав. Мой отец не мог быть на него в обиде. Он всегда хорошо о вас отзывался, Жюст.

В ту минуту я сказал то, что думал. Но что со мной? Я погиб. Не понимаю, что делаю.

Через некоторое время, возвращаясь той же тропинкой среди камыша, я еще сильнее боялся дороги, людей, велосипедистов, трамвая, который, проходя мимо, тоже, казалось, глазеет на меня... Дойдя до кустарника, я пустился бежать, обеими руками сжимая перед собой ружье; если бы оно висело через плечо, то цеплялось бы за все. Странно, теперь я больше всего злился на Жереми. Ах ты развалина этакая! Может быть, между мной и Жюстом и в самом деле ничего не было. И только он, Жереми, заронил подозрение. *Мало сказать развалина, просто ожившая мумия... До чего же надоели мне эти старики. Вот где они у меня сидят! Из-за них я пропадаю!..*

Впрочем, и молодые не лучше... Вспомнился вдруг Жан-Батист, и мне стало страшно. Ружье тут ни к чему... До этого я бы не дошел. Но все же у меня мелькнуло в голове: пойти к Жану-Батисту, обругать его за Колетту, сказать ему, что я еще до него спал с ней, и таким образом все им испортить.

По саду я больше не мог бежать. Меня могли увидеть, а этого я никак не хотел.

Но вот наконец я дома. Альбер, вместо того чтобы лечь спать, куда-то ушел, Клара отправилась за покупками, а мать на минутку забежала к Грегуарам. Тем лучше! Я упал на кровать. Хотелось не плакать, а драться. Плакать! Еще чего не хватало... Я встал и запер дверь.

С этого и начались все неприятности. Первой вернулась мать, за ней Клара, потом Альбер. Мать, даже не заметив, что я дома, хотела войти в мою комнату. Дверь была заперта. Мать все поняла безошибочно.

— Бернар!

Я не ответил.

— Бернар!

Чтобы не взволновать ее еще больше — во второй раз она крикнула громче,— я отозвался:

— Оставь меня на минуту в покое.

Когда человек запирается в комнате, это всегда вызывает опасения. И мать, пытаясь обмануть меня, схитрила:

— Мне нужно в подпол...

Спуститься в подпол можно только из моей комнаты. Вот почему у меня так часто бывает сыро и холодно — щель в люке слишком велика. Матери, конечно, подпол сейчас ни к чему. Она думает только обо мне. Мне хочется выйти, успокоить ее. Не знаю, что меня удерживает.

— Альбер! — вдруг закричала она во весь голос, и слышно было, как она побежала в кухню Клары, шлепая туфлями.

Целая драма из-за запертой двери.

— Бернар, что с тобой? — спрашивает Альбер. По его голосу слышу, что он старается сдержать себя. Кулак его коснулся двери, но не бьет по ней.

Этой двери грош цена. Она тонка, как папиросная бумага. Легкая застекленная дверь с двумя занавесками, сквозь которые мне видны Альбер, мам и чуть подальше — Клара. Меня они не видят. В комнате темно, ставни, как всегда, закрыты...

— Что со мной? Ничего! Оставьте меня хоть на минутку в покое.

— Господи! — кричит мать.— Что он там собирается делать?

— С ума ты сошел, что ли? — возмущается Альбер и начинает колотить в дверь. Кулак его дрожит. Дверь тоже дрожит на своих петлях. Дрожат дверные стекла.

— Говорю вам, не бойтесь! Ничего я над собой не сделаю!

— Правда? — спрашивает Альбер.

— Бернар! — снова восклицает мать.

— Мам, не кричите так! — замечает Клара.— Соседи удивятся...

Звук моего голоса, вероятно, успокоил их. Этого я и хотел. Я тихо настаиваю на своем, почти умоляю:

— Оставьте меня... Я сам выйду... Через одну минутку...

АЛЬБЕР

Это уж слишком. Я был на пределе. Возвращаясь домой от Христианы — все неожиданности в одно утро,— я столкнулся с сыном Марслена Биро, руководителем Союза молодежи. Вторая неожиданность — Жюст. По правде говоря, в этой встрече ничего случайного не было, Жюст поджидал меня у своей двери, вероятно, жена его сообщила ему, что встретила меня на улице. Он рассказал мне историю с ружьем. А дома произошла эта история с запертой дверью.

Христиана и Жераль Биро действуют мне на нервы. И надо же придумать такое имя, Жераль... Сперва кажется, что ты не расслышал, что его зовут по-человечески — Жерар, нет, оказывается, он — Жераль. Хорошенькое имечко для секретаря Союза коммунистической молодежи... Не простое, а надуманное имя. Правда, он в этом не виноват. Не понимаю, что нашло на здешних жителей. С некоторого времени они выкапывают какие-то допотопные имена: кругом одни Армелы, Мюриэли, Жозианы, Жоэли и тому подобное. Можно подумать, что ты попал куда-то в Турцию или читаешь молитвенник.

Но, конечно, не этим меня расстроили Христиана и юнец Биро. Я пришел чуть ли не защищать своего брата. Подготовился к кровавой схватке и... Они сказали все, что полагается, ладно, но потом они стали изображать меня каким-то фанатиком... *«Конечно, надо было попытаться спасти Бернара... Надо было узнать, что он там натворил...»* Но ведь я это уже знал и ответил, что если твой родной брат стал подлецом, то и на тебя самого смотрят как на подлеца, рассказал им о своей матери, об уважении к памяти покойного отца. Тогда они стали обвинять не Бер-

нара, а меня. Спросили, не сказал ли я Бернару это прямо в лицо. Конечно нет. Я даже твердо решил не делать этого. Несмотря на то, что он действительно стал подлецом. Если с ним не поговорить перед его отъездом, значит, оказать ему плохую услугу. Нужно крикнуть ему в самое ухо. Да, крикнуть, чтобы он проснулся: *«Так-то оно так, но будь осторожен... Это скорее принесет вред, чем пользу...»* И об этом я думал. Но без конца сдерживать себя — самый верный способ взорваться! Вот почему, когда Бернар, молча, с упрямым видом вышел из своей комнаты и как ни в чем не бывало направился, минуя кухню, во двор, будто бы за нуждой, я догнал его, взял за руку и тихо сказал:

— Нам надо поговорить с глазу на глаз.

Бернар повел плечом и отстранился. Мне это не понравилось. Но я не показал виду. Хорошо бы зайти к нам в кухню. Клара опять оставила бы нас одних, и мы бы объяснились. И все-таки, стараясь удержать его, я сказал:

— Раз ты не пришел поговорить, то пришел я.

И я добился своего. Он посмотрел на меня.

— Что ты делал в Алжире?

Он сразу насторожился. Я уверен, что он отвечает не то, что думает.

— Делал, что полагается.

Это слишком общий ответ. Слова у меня опережают мысли. Видимо, с ним происходит то же самое.

Матильда у себя во дворе начинает исподтишка поглядывать на нас сквозь садовую решетку. Бернар это тоже заметил, и мы по молчаливому соглашению уходим, но не в кухню, а в сарай. Там почти темно, на земле у стены навалены две кучи угля, вокруг валяются кирпичи, бревна, всюду полувековая пыль.

Но тон нашего разговора по-прежнему резкий. Я нарочно ответил не по существу, вроде не совсем понял его!

— Эх, если б ты делал только то, что полагается!..

Клара и мать, конечно, насторожились, особенно мать. Они не показываются, но готовы ко всему.

— А тебе-то что?

Снести такое? Кричу:

— Не желаю иметь брата подлеца! Слышишь?

Он проглатывает это. Бледнеет, как мертвец. Я страдаю от того, что дело обернулось не так, как следовало бы, и мне становится невыносимо тяжело. Смертельно ненавижу себя, но продолжаю:

— Слышишь? Ты подлец! Если бы отец твой!..

Бернар вытягивает сжатые кулаки, чтобы прервать меня... Угроза?

И вот мы стоим лицом к лицу, сойдясь почти вплотную, готовые схватиться друг с другом. А все потому, что стараемся не кричать, ссоримся вполголоса: Матильда, соседи...

Все произошло очень быстро...

Он ударил меня.

Не сильно и конечно тут же пожалел об этом. Но я никак не ожидал, ни за что не подумал бы, что он способен на такое. Меня охватило бешенство, смешанное с удивлением. Как он смеет, меня, старшего?

Даю оплеуху. Сильно, как взрослый ребенку.

Бернар делает шаг назад. Как он поведет себя? Уступит? Начнет плакать? Побежит к матери жаловаться?

Нет, он взбунтовался.

Идет на меня.

Схватываемся.

Падаем на землю. С криком вбегают мам и Клара.

Я вижу только мать. Ее руки беспомощно подняты, растопыренные пальцы словно чего-то ищут.

Все это длится несколько секунд. При виде матери и Клары мы приходим в себя.

Но все-таки я успеваю повалить его и доказать, что я сильнее. Какое-то мгновение я крепко держу его, прижимая затылком к углю. Почему вдруг так завоняло?

Он встал, и я вижу что кошачье дерьмо, раздавленное, желтое, пристало к шерсти его вязаного пуловера.

Он выходит из сарая первым. Нет уверенности, что Матильда не поняла...

Мать из-за его спины смотрит на меня. Я делаю знак, что во всем виноват Бернар. Он возвращается к себе в комнату. Мы за ним. Он закрывает дверь, на этот раз не на задвижку.

— Боже мой! Альбер!..— шепчет мать, словно упрекая меня.— Он станет бандитом!..

Я знаю, о чем она думает. Еще вчера она сказала мне: *«Да, верно. Мы слишком баловали его, нашего Малыша. Но все-таки нас винить нельзя...»* Останься он с нами, был бы не хуже других... А если он вернется домой головорезом...

Я вынужден ответить:

— Его надо вышколить!

Слова эти я произнес, но свои мысли оставил при себе. Я положил руку на задвижку двери... Сейчас открою... Вхожу, как в клетку.

XII

БЕРНАР

Почему нам приказывают ходить на цыпочках? Как ходят на похоронах вокруг гроба... И к тому же соблюдать тишину. Микрофон установлен в трех метрах от нас, посредине барака, точно гроб... Как только один кончает свое выступление, другой начинает. Подкованные ботинки так стучат по дощатому полу, что микрофон дрожит. Должно быть, поэтому нам все время знаками указывают на ноги: тише! Еще тише!.. Но каждый, когда приближается его очередь, забывает о своих ногах. У него другое в голове. Все мы, разумеется, знали, что *не тут*, не сразу же за микрофоном, а где-то в необъятном пространстве, очень далеко от барака и вместе с тем гораздо ближе, чем вот эта глухая стена без окон, сидят у радиоприемника наши родные: отцы, матери, сестры, невесты, товарищи... И даже старики и малые дети — все встали чуть свет и, не успев одеться, не успев сварить кофе, сидят необутые, с бледными вытянутыми лицами в этот предрассветный час, когда бывает особенно прохладно; передача идет вне расписания, вне программы, как бы тайком, чтобы ее слышали только те, кого она касается,— в шесть часов утра.

А что можно сказать? Каждый имеет право на три-четыре фразы, не больше. Только бы, как говорится, голос услышать. Больше никак нельзя. Пение не в счет. Если кто-нибудь отважится сказать то, что думает, микрофон немедленно выключат. Вот почему, посоветовавшись между собой, мы заранее приготовили две-три фразы и все время повторяли их, как молитву в церкви.

«Пользуюсь возможностью сообщить вам, что я в добром здравии и, надеюсь, вы тоже. Шлю поцелуи через моря...» Особенный успех имели слова «через моря». По крайней мере человек шесть произнесли их, но очередь моя подходит, и я слишком волнуюсь, чтобы придумать

другие. Хорошо еще, что нашлись слова, которые мне нравятся... Когда мы искали и обсуждали, мимо проходил сержант Бюффе... Мы спросили его... Он рассмеялся и крикнул на ходу:

— Пожелайте всем счастья и благополучия!

Я ухватился за это... Теперь я боялся только, чтобы мне не отказал голос. Долговязый Жюлиан — он стоял впереди меня на два человека — не сумел и двух слов связать. Он расплакался, все перезабыл и вообще отказался говорить. Такой верзила, кто бы подумал? Представляю себе, какое впечатление это произведет на его родных... Жюлиан вернулся, чтобы стать в хвост и еще раз попытаться... Они посмотрели на него с яростью, но все-таки разрешили. Все это не придало мне смелости. К счастью, маленький Шабрийе, у которого зад напоминает корзину для слив,—он стоял через одного человека от меня — захотел показать, что у него бодрое настроение: он взял губную гармонику, сказал на своем наречии: «Здравствуйте»,—и сразу же заиграл песенку «Маленький Кэнкэн» *. Шабрийе тоже робел, слышно было его прерывистое дыхание, вот почему «Маленький Кэнкэн» прозвучал жалко и беспомощно, а тут еще они сделали знак поторапливаться, и песня у Шабрийе оборвалась на полуслове, казалось, бедняга задыхается, как рыба без воды. Слышу как в тумане, что Анри Рамэй — он стоял передо мной — заканчивает свое выступление. Теперь моя очередь. Подхожу к микрофону. Хватаю трубку. Мне знаками показывают, чтобы я положил ее обратно. Кладу. Микрофон закачался. Выжидаю немного и потом начинаю:

— У микрофона Бернар Давэн. Желаю счастья и благополучия всем: моей матери, тебе, мой брат Альбер, Кларе, соседям и друзьям. Все хорошо, настроение бодрое. Надеюсь, скоро увидимся.

Я неуклюже отхожу. И хоть огорчен, но все-таки испытываю чувство облегчения. Получилось лучше, чем я ожидал. Я искал, что бы мне такое сказать специально для Альбера, но ничего не находил. Во время выступления у меня непроизвольно вырвались слова *«тебе, мой брат Альбер»,* уверен, он поймет, что я хотел этим сказать. После Клары я чуть было не назвал Колетту. Но в то же мгновение решил — лучше не надо. Думаю, что был прав... Не столько из-за Жана-Батиста, сколько ради самой Колетты... С Колеттой кончено... И виноват в этом я... После слова «соседям» я чуть было не сказал «и товарищам»... Однако я себе этого не позволил... Они способны вырезать это слово. Я вовремя спохватился. Может быть, лучше было сказать «ребятам», но с языка у меня сорвалось «друзьям»... Это звучало чуточку высокопарно, могло показаться слишком изысканным, но... Неважно, сойдет и так. В общем, я неплохо вышел из положения.

Только когда все закончилось и микрофон выключили, мы поняли, как все это нас взволновало. Все радовались: передача уже позади. Кроме тех, кто провалились и боялись, что там это слышали. Другие чувствовали себя как после устного экзамена на право получения стипендии. На таком экзамене в свое время провалился я. Не повезло... Если бы меня тогда приняли, может быть, я все-таки... Но без стипендии, когда мать у тебя вдова... И я, и другие были тогда очень возбуждены, каждый считал, что хорошо ответил. Сейчас мы успокаивали оплошавших. Говорили им: никому не заказано волноваться. Перекидывались шутками, заставляли Шабрийе повторять «Маленького Кэнкэна». Вдруг Гурдон расхохотался.

— Подумать только, нашлось-таки четыре болвана, которые подхватили слова Бюффе — «счастья и благополучия».

---

* Народная песня, популярная среди шахтеров Севера.

— Ведь то была шутка! Ты что, не понял? Бюффе крикнул это, издеваясь над вами!

— Так не поступают. Это слишком серьезные слова, чтобы бросаться ими!

Доффени отвел меня в сторону:

— Оставь его, пусть болтает. Конечно, все это показное, но они там будут довольны. Тебя слышали, ты хорошо говорил, не подкачал.

С тех пор как мы снова подружились с Доффени, я готов верить каждому его слову. Поэтому сказанного им было достаточно, чтобы я успокоился.

— Правда? — спросил я и добавил: — А вот ты не боялся, ты говорил совершенно спокойно.

Доффени хотел что-то ответить, но сдержался. «Я его и так достаточно поучаю!..» — вероятно, подумал он.

Час спустя мы вместе с Дейаном делали уборку у капитана. В соседней комнате прослушивали запись, чтобы установить, можно ли отправить пленку в таком виде. Нам тоже все было слышно...

Теперь я понимаю, почему они так боялись стука наших башмаков. Получился бы ужасный грохот. Хватит того, что микрофон рычит, ворчит, трясется!.. А им надо заметить повторы.. И тех, кто оробели. Была одна вещь, которую я не расслышал, когда Готье совершенно запутался, субъект из радиовещания тихонько подсказал ему: *«Поцелуйте их хотя бы! Пошлите им поцелуй»*. От *«Маленького Кэнкэна»* в самом же начале ничего не осталось. Еле слышная тоненькая ниточка мелодии, заглушенная, стертая, разорванная на клочки. У меня, что верно, то верно, голос до некоторой степени поставлен. Я не хвастаю, да и нечем, но жалкого впечатления я все-таки не производил...

А все вместе получилось плохо. Нельзя сказать, что такая радиопередача может кого-нибудь воодушевить. Даже если они вырежут из пленки тех, кто плакали, все равно там никто не запляшет. Там будет еще больше слез. Здесь, в компании, парни держат себя в руках, стараются не выказывать свои чувства. Вот почему так холодны слова, сказанные в микрофон... Хуже, чем в открытке... Или в телеграмме... Если сравнить это с тем, что у каждого из нас на сердце... Даже у тех, кто больше всего злились на меня... Им было что сказать... Матери, отцу, у кого он еще есть, всему свету.

Странно устроен человек... Этот жалкий «Маленький Кэнкэн», такой невыразительный, потонувший в этом несусветном шуме, почему-то напомнил мне веселую историю. Сын Шарлеманя, Робер, в прошлые каникулы... Парень этот совершенно не приучен к физическому труду. Но ему хотелось тоже быть полезным. Он взялся вскопать землю перед домом, чтобы мать могла посадить цветы. Работал охотно, как все, кому это внове. И вот Робер говорит своей матери:

— Здесь что-то очень твердое. Похоже, что это корни какого-то растения! Откуда бы им взяться?

Он нажимает ногой на лопату, чтобы никто не подумал, что он отлынивает.

Через час Берта, его мать, слышит крик у калитки:

— Что там у вас со звонком, испортился, что ли?

Звонок у них электрический. То, что Робер принял за корни, было проводкой от звонка. Не удивительно, что кабель показался ему твердым... Одному богу известно, как тяжело у меня на душе. И все-таки я смеюсь. Если не сквозь слезы, то, во всяком случае, невесело, мрачно. Почему — сам не знаю...

Дорогой товарищ!

Пишу только тебе, и хотя до вас уже, наверно, дошла эта горестная весть, я хочу рассказать, как все произошло на самом деле. Тебе Бернар был братом, а мне товарищем. И еще потому я пишу только тебе, чтобы вашей матери было не так тяжело. Лучше, если ты сам ей расскажешь, как мы с тобой уже однажды договорились, когда я приходил к вам, правда по другому поводу.

И если я пишу тебе, то только потому, что мы тогда по-настоящему поняли друг друга. А главное, хочу тебе сказать, что Бернар, вернувшись сюда после отпуска, сразу же покончил с тем, что было раньше... Я уже писал тебе об этом месяц назад. Он совершенно переменился. Взял себя в руки. Старался искупить свою вину. И, может быть, поэтому и погиб. Он больше не делал того, что прежде, ты понимаешь? Делал все, как другие. Война — войной, но вести ее тоже можно по-разному. Он устроился водителем грузовика. И я тут же решил, что должен быть рядом с ним. Я сказал ему об этом. И остальные согласились со мной. Он обрадовался, приободрился. Он очень старался держать себя в руках. И это было заметно. Беда его состояла в том, что ему было страшно, страшнее, чем многим другим. Однако он превозмогал себя. Хотел доказать нам, что мы не ошиблись, возобновив с ним дружбу. Тех же, кто по-прежнему его избегали, он явно старался расположить к себе. Заметь, мы никогда больше не вспоминали о случившемся. Зачем? Все друг друга поняли, словно договорились.

Когда произошло несчастье, меня с ним не было. Я его увидел уже умирающим. Подробности мне рассказали потом. Это случилось седьмого. Вместе с ним в грузовике сидело десять парней. Их окружили в каком-то ущелье, засыпали пулями. Как всегда в таких случаях, больше всего стреляли по шоферу.

Несколько человек из сидевших в кузове было ранено. Бернар мог бы прыгнуть в ров, укрыться вместе с остальными. Тогда раненых, которые уже не могли выпрыгнуть, прикончили бы в грузовике. Война — страшная вещь, но война есть война для обеих сторон. И Бернар остался на посту. Хотел спасти своих. Проскочить. Ему это удалось. Но он принял весь огонь на себя. Его уже несколько раз ранило, а он продолжал вести машину. Как только они выбрались из ущелья, выскочили из полосы огня, он вынужден был остановиться. Упал на баранку. Кто-то из раненых заменил его. Он-то мне все и рассказал. Он не знал, как благодарить Бернара. Поднял его, уложил на сиденье рядом и, хотя нельзя было терять ни секунды, все-таки, прежде чем погнать машину, крепко поцеловал его. Затем крикнул раненым, сидевшим позади: «Спасибо Бернару, он всех нас вызволил! Он нас вызволил!» В такие минуты сам не знаешь, что говоришь, все время повторяешь одно и то же.

Мы надеялись спасти его. Положили в бараке вместе с теми ранеными, которых не решались отправить в госпиталь; меня привели, потому что он произнес мое имя. Он был в беспамятстве. Не открывал глаз. Не говорил. Однако, когда его перекладывали с носилок на койку, он застонал и пробормотал мое имя. Все решили, что он зовет меня. Но сколько я его ни окликал, сколько ни обращался к нему, он молчал. Возможно, он слышал меня, но не смог мне этого показать, потому что уже не говорил и не шевелился.

И вот сейчас, товарищ, я скажу тебе, пожалуй, самое тяжелое. Сперва я не хотел сообщать об этом до нашей встречи, потому что писать мне труднее, чем говорить, но я не имею на это права. А кроме того, кто знает, что будет со мной самим.

Бернар умер, не сказав того, что хотел. Мы не думали, что он умрет, надеялись, что он придет в себя. Пытались его успокоить, заставляли лежать неподвижно. Он открыл глаза, взглянул на меня, слегка приподнялся, и я вдруг с ужасом понял — это конец. Из последних сил пытался он заговорить. Было у него что-то такое на душе, с чем ему не хотелось умирать. А чувствовал, что умирает. Я взял его за руку, а он сжал мою, точно все понимал. Я не припомню такого сильного рукопожатия, вовек его не забуду Затем глаза Бернара помутнели, я почувствовал, как тело его отяжелело. Он упал на койку. Все было кончено.

Прежде всего я хочу сказать тебе, что он не был на тебя в обиде. Он считал, что ты с ним говорил слишком резко. Но не сердился на тебя. Особенно он был рад тому,

что ты сказал ему потом. Ты знаешь, у него была своя гордость, он не хотел сознаться, что упреки, которых он наслушался во время отпуска, помогли ему многое понять. Бернар уверял, что все произошло само собой, на охоте, когда он однажды бродил с ружьем по местам, к которым привык с детства, и все думал о человеке, отнявшем у него Колетту. Он так много говорил мне о ней. И вот тогда-то, по его словам, он взял себя в руки.

Я занялся его вещами, позаботился, чтобы их отослали на твое имя, а не на имя матери, ей это было бы слишком тяжело. Вещей осталось мало, но мы все здесь так живем. Маленький календарь с зачеркнутыми днями, вплоть до последнего, фотография этой девушки, ваши письма, его одежда. Все это не составило большого багажа.

Теперь, когда он умер, так ничего и не сказав, мне очень тяжело, ты понимаешь?.. К тому же, сам не знаю, как это выразить... Тебе и твоей матери я могу признаться, что для меня это большое горе. Думаю об очень многом. Я не лучше других, у каждого есть свои недостатки. Так легко забыть о том, что ты человек, и так легко стать жертвой. Ты и твоя семья можете считать, что я несчастен не меньше вас. Если еще получу отпуск, то сразу же приеду повидаться с вами.

Прими, дорогой товарищ, уверения в моих братских чувствах.

Доффени Фернач.

P. S. Только что узнал, что могу отправить это письмо с отпускником, он пошлет вам его по почте уже во Франции. Если бы я знал об этом заранее, написал бы более откровенно. Хотя и в этом случае уверенности не было бы. Но я должен отдать письмо немедленно.

АЛЬБЕР

Дата не обманывает. Седьмого — указывает в своем письме Доффени. Значит, когда мы слушали по радио голос Бернара, его уже три дня как не было в живых. То была передача, записанная на пленку.

Вижу все, как если бы это произошло сегодня.

В четыре часа утра моя мать была уже на ногах. Вернее, она совсем не ложилась. Прикорнула одетая, не позволив себе даже погасить свет. Мы с Кларой слышали, что ночью она раз десять поднималась. В пять часов постучала к нам. Всех соседей предупредили накануне. В половине шестого включили радио. Еще ничего не было слышно, даже позывных, которыми всегда возвещают начало передачи. Вскоре, завидев свет у нас, пришел Грегуар. В его возрасте люди спят мало. Мы посмотрели, светло ли у соседей. У всех еще было темно, но в шесть часов свет зажегся у Матильды в столовой, где у них стоит радиоприемник. В четверть седьмого осветились окна Ванды, она живет рядом, мне это видно со двора.

Все ждут позывных.

— Господи! — воскликнула мать.— Опять ты скажешь, что я глупая, но это похоже на сигнал тревоги во время войны... Вот о чем я думаю...

Что ей ответить? Она продолжает:

— Только бы это не принесло ему несчастья!

Каждый четверг, когда в полдень раздаются гудки заводов и мэрии, на краю поселка начинает выть овчарка Марселя Менара. Совсем как по покойнику. Мать считает, что это плохая примета.

Когда мать узнает, она непременно скажет: «Видишь! Недаром у меня было предчувствие!»

Звучит «Марсельеза». Сейчас начнется передача. Вот она. Вот они.

Выступают первые... Одни говорят, другие плачут. Кто-то из наших земляков играет на гармонике. Напряженно ждем — сейчас услышим Бернара. В сущности, бесчеловечно так мучить людей. Может быть, луч-

ше, если бы этого и вовсе не было. Мать все ближе и ближе подходит к репродуктору. Наконец она останавливается у шкафа, на котором он стоит. Она не может удержаться, чтобы не потрогать рычаг усилителя громкости. Другую руку она прижимает к груди.

«У микрофона Бернар Давэн...»

Клара поднялась со своего места. Она готовилась к этому уже целую минуту. Я видел, как настороженно сидела она на краешке стула. Клара взяла мать за плечи, но та сделала движение, чтобы отстранить ее. Казалось, чужое прикосновение могло помешать ей слушать Бернара. Клара все-таки поддерживала ее.

Пальцы матери на рычаге усилителя задрожали так, словно она наделяла своего сына голосом и боялась, что не сумеет этого сделать...

— ...надеюсь, скоро...

И все закончилось. Матери не верится. Она спрашивает:

— Уже другой?

Следующий называет себя. Начинает говорить. Однако мать не унимается:

— Ты думаешь, это другой? Вслушайся хорошенько!.. Ну точно Бернар, не правда ли?

В ответ я лишь отрицательно качаю головой, чтобы не мешать ей слушать, и даже притворяюсь, что слушаю вместе с нею. И тоже как бы сомневаюсь. Пусть это иллюзия, но она все-таки продлевает радость...

Мать становится совершенно белой. Ей хочется заплакать. С нею это началось с тех пор, как Бернар уехал. Но плакать она не может. Слез нет. Ей необходимо сесть.

— Судя по голосу,— говорю я,— у него все в порядке. Особенно по сравнению с другими, ты слышала?..

Мать понемногу приходит в себя:

— Ах, Грегуар! И чего только люди не придумают. С другого конца света, а слышно так, будто он говорит из соседней комнаты!

Грегуару никак не удается сказать то, что он хочет. Он не плачет, но глаза у него полны слез — от старости. А мать продолжает:

— Чего только не изобрели, а воевать — воюют.

Матильда уже стучит в дверь.

— Вы слышали его, Анжела? Хорошо слышали, а? В этот час всегда хорошо слышно! Пока нет трамвая, от которого все вокруг дребезжит. Это и вправду был он, а? Его голос!

— Я как раз говорила Грегуару: столько изобрели, а все еще...— замечает мать.

Она не заканчивает, но Матильда, как бы соглашаясь с нею, кивает головой.

Я спрашиваю:

— Матильда, а твой Фред тоже слушал?

— Как же! Конечно,— отвечает она.

— Странно, что это тебе пришло в голову? — спрашивает мать, удивленная моим вопросом.

Она не могла знать. Еще три недели назад Альфред — я в этом уверен — не слушал бы. При первом удобном случае я рассказал ему о письмах, полученных от Бернара после его возвращения в Алжир.

Письма шли одно за другим. Бернар писал теперь много чаще. Боялся оторваться от семьи? Цеплялся за нас? Каждое письмо было как бы канатом, который он бросал, чтобы подтянуться поближе к нам? Уж это одно было хорошим признаком.

Потом он написал, что работает на грузовике.

А главное, пришло первое письмо от Доффени.

Я тоже писал чаще. Отвечал на каждое письмо. У меня было такое ощущение, что я спасаю чьи-то жизни. Одну во всяком случае, но не только одну. Я оказался дальновиднее Бернара. Были люди, которым он мог причинить зло. Ведь его однополчане находились рядом. Дурные примеры заразительны. Ничто не могло помешать мне ответить ему на письмо. Лучше недоспал бы. Я пишу медленно, мне трудно выразить свои мысли, да и писать о чем-нибудь серьезном не решался. Но я понимал, к чему стремится Бернар. Мне хотелось крикнуть издалека, через всю Францию, через моря: *«Не поддавайся им, держись крепко! Теперь уж держись изо всех сил, братишка!»* И каждый раз я находил способ дать ему это почувствовать.

Дело не только в братской преданности. Это трудно понять, это меня самого удивляло, но я, несмотря ни на что, испытывал своего рода благодарность к Бернару. Он тут ни при чем, но, как говорится, обстоятельства сложились так.

Едва он уехал, я стал примерять все к самому себе. Все то, что с ним произошло. Мы подрались, а потом поговорили, и тут выяснилось нечто такое, что меня поразило. Он не видел зла, настолько он в нем погряз. А с другой стороны, он не был и настолько слеп: *«Я не герой!* — говорил он, и еще: — *Впрочем, попробуй поищи героев в такой войне! Конечно, они есть, но у них, а не у нас!»* А под конец, когда я начал переубеждать его, он согласился: *«Сам не знаю, но меня словно захлестнуло. Все произошло так быстро! Вначале я не хотел участвовать в боях, клянусь тебе! А потом оглянуться не успел — как меня втянуло. Я не отдавал себе отчета. Чего только они нам не говорили!.. Постепенно мы ко всему привыкли... Словно сами потеряли способность думать, тебе этого не понять!—* Он помолчал немного, а затем добавил: — *Сидя здесь, и я перестал понимать...»*

Понимать? Но это ему следовало понимать! Речь шла не о том, можно ли его простить, а о том, будет ли он по-прежнему творить зло. Я все еще возмущался им. Еще немного — и я бы, возможно, снова ударил его...

Через некоторое время после нашего разговора я сказал себе: *«Вот так человек и попадается! Наступает минута, когда обстоятельства берут верх над тобой, стоит только допустить, отдаться на их волю».*

Целую неделю я ни о чем другом не мог думать. С каждым днем это нарастало. Вначале мне самому было неясно, чего я хочу. С Кларой я еще не говорил. Лишь на третий день решил все обсудить вдвоем с ней.

— Как ты думаешь, Клара, только ли война может так изменить человека?

— Война,— говорит Клара,— больше, чем что-либо другое, но и все остальное тоже.

На другой день, когда она пришла будить меня, я решился:

— Ты видишь, на какую глубину я опускаюсь каждую ночь, чтобы...

— ...чтобы заработать какие-то жалкие гроши! — закончила Клара.

— Такая работа... Как ты считаешь?.. Она тоже?..

Если б мы заговорили об этом после смерти Бернара, то можно было подумать, что нас охватил страх. Но мы говорили три недели назад. Тогда речь шла не о смерти. Это был вопрос совести. Это было то, о чем порой напоминала мать.

Клара даже не добавила: *«Я тебя никогда не принуждала».* А я не сказал: *«В этом больше виноват я, чем ты».* Прошел еще день, и я снова вернулся к нашему разговору:

— В сущности, я примирился... Когда я опускаюсь под землю, чтобы заработать на жизнь, то забываю обо всем остальном. Значит, меня это устраивает. Люди, вероятно, удивляются: «А ведь отец его был такой боевой!»

В ушах у меня еще звучали слова этого юнца Биро, сказанные им в то памятное воскресное утро, когда я встретил его у Христианы.

«Даже здесь,— сказал Биро,— легко дают себя опутать! Иной готов за дневную получку продать хозяевам свою душу, шкуру и кости. Точь-в-точь как Фауст! Зато потом, когда у него ничего не остается, он убеждается, что нищ духом, что ему не для чего жить, думать, бороться, надеяться — словом, быть человеком. Тогда он лезет в пасть к волку. А там, в Алжире, в эту пасть бросают молодежь!..»

В ту минуту я не принял его слов на свой счет, и Биро, без сомнения, не относил их ко мне. Он не посмел бы сказать мне такое в лицо. Но потом, когда я вспомнил об этом, по мне как бы холодок пробежал с головы до пят. В тот самый день я впервые заговорил об этом с Кларой. Фауст! Не знаю, что маленький Биро хотел этим сказать. До сих пор не знаю. Фауст! Я далек от музыки... И к тому же... Но все остальное, безусловно, относится ко мне.

Мы были в кухне. Клара, уже отяжелевшая, подошла ко мне. Голубой фартук прикрывал ее налитую грудь и тугой живот. Она поцеловала меня крепче, чем обычно, в волосы, в ухо... словно говорила со мной.

Может быть, такой способ беседы не всем по вкусу. Может быть, он кажется глуповатым. Так лошади в своем вынужденном молчании целуют друг друга в гриву. А что, если лошади умнее нас?... Во всяком случае, есть вещи, которых лошади не сделали бы...

На следующий день я сразу попросился на другую работу. Мне хочется сказать: *«Я тоже»*. Хватит с меня обвалов.

И вот сейчас это письмо, которое я не в состоянии дочитать — уже первые его строки сразили меня,— это только что вскрытое письмо сообщило еще об одной смерти в нашей семье. Доффени ошибается. Мы еще ни о чем не знали. Он написал сразу же. Я узнал обо всем только из его письма. Придется сказать матери.

Придется сообщить соседям и всем... Доффени ошибается — еще предстоит многое.

Он пишет, что пришлет нам его вещи, но еще должны привезти и самого Бернара. Когда нам вернут его тело, возникнет вопрос: придут ли они — коммунисты, молодежь, придут ли они хоронить его, как других солдат? Со своими знаменами... Придут ли они?

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РАБИНДРАНАТА ТАГОРА

Джавахарлал Неру: *«Для большинства из нас, родившихся в Бенгалии, имя Рабиндраната Тагора — синоним всех достижений бенгальской литературы. Люди моего поколения росли и, сознательно или бессознательно, формировались под влиянием его выдающейся личности. Перед нами был человек, похожий на древнего Риши, глубоко постигший нашу многовековую мудрость и в то же время близкий к проблемам сегодняшнего дня, обращенный в будущее. Он писал на бенгали, но широту его ума невозможно было ограничить какой-нибудь одной частью Индии. Его духовный мир был специфически индийским и в то же время охватывал все человечество. Тагор был национален и интернационален, и встречая его или читая все им написанное, вы испытывали ощущение, будто восходите на горную вершину человеческого опыта и мудрости.*

При всем своем величии Рабиндранат Тагор не замыкался в башне из слоновой кости. Он принимал жизнь и хотел прожить ее полно, да и вся его деятельность тем или иным путем связана с жизнью. Как писал он одному из своих друзей: «Правда хороша и полезна, если она так или иначе связана с жизнью человека».

(Из предисловия к «Истории бенгальской литературы»)

Гопал Халдар

«ВСЕ, ЧТО Я ВИЖУ,— ЧУДЕСНО»

(Тагор о Советском Союзе)

Во имя дружбы народов

ДВИЖЕНИЕ по «золотому мосту» между Индией и Советским Союзом в наши дни все растет, все больше проходит по нему дружески настроенных путешественников. И первым перебросил незыблемую и великолепную арку этого моста инженер дружбы между народами поэт Рабиндранат Тагор (1861—1941), столетие со дня рождения которого отмечается 7 мая этого года. Он пользовался уже всемирной славой, когда на семидесятом году жизни посетил Советский Союз и провел в нем две недели — с 11 по 25 сентября 1930 года. Хотя поэт был уже стар и плечи его ссутулились под бременем лет, он, однако, сохранил юность духа и с жадной любознательностью стремился понять как можно больше в величайшем в истории человечества эксперименте, начало которому положил Ленин.

«Я бы считал цель своей жизни не достигнутой полностью, если бы не приехал сюда»,— писал он.

Рабиндранат Тагор был впервые приглашен в Советский Союз в 1926 году Луначарским, а затем еще раз — три года спустя. Но только в 1930 году здоровье позволило поэту осуществить свою мечту. Эти две недели сентября были заполнены встречами и экскурсиями по Москве и ее окрестностям. Покидая советскую столицу, Тагор увез с собой образ замечательного будущего, твердую веру в дружбу с советским народом и искреннее восхищение революционной смелостью и дерзанием советской власти.

Рассказ о пребывании Тагора в Советском Союзе можно найти в изданном П. Ч. Махаланобисом «Висвабхаратин бюллетин» № 15 («Рабиндранат Тагор в России»).

Дом-музей Р. Тагора в Шантиникетоне

Фото А. Ушеридзе

Еще большую ценность и интерес представляет рассказ самого поэта, сообщавшего в письмах к сыну, друзьям и родственникам о том, что он увидел в Советском Союзе, и о своих впечатлениях. Этот подробный рассказ в форме писем («Письма о России») вместе с тремя приложениями, имеющими прямое отношение к содержанию книги, был впервые опубликован под названием «Расияр читхи» в 1931 году, когда праздновалось семидесятилетие поэта. Кроме того, в других письмах и заметках Тагора есть много упоминаний о его поездке в Россию, а возникшие в результате этой поездки мысли и идеи разбросаны в его позднейших произведениях. Все эти крайне важные и интересные отрывки объединены в индийском собрании сочинений Тагора «Рабиндра раханавати», в которое включены и «Расияр читхи». Интересные сведения об этой поездке и о той роли, которую она сыграла в жизни поэта, содержатся в различных воспоминаниях о Тагоре и в записях его бесед. Многое, разумеется, можно почерпнуть и из его поздних стихов (1931—1941). В них ясно выражен радикальный гуманизм поэта, его жгучая ненависть к фашизму и обновленная вера в творческую роль простого человека. Эти мысли и чувства приобрели особую четкость после знакомства Тагора с Советским Союзом. Его поездка в СССР не только способствовала укреплению дружбы между народами обеих стран, но и помогла самому поэту глубже разобраться в сложных процессах современности.

Страна, уничтожившая эксплуатацию

УЖЕ в начале первого письма, посланного из Москвы 20 сентября 1930 года, говорится о главном, что произвело особое впечатление на поэта в Советском Союзе.

«Наконец я приехал в Россию. Все, что я вижу,— чудесно. Не похоже на другие страны. В корне отлично. Они всколыхнули всех».

Во все века, пишет Тагор, большая часть населения каждой страны выбивалась из сил, чтобы содержать незначительное избранное меньшинство. Это меньшинство располагает досугом для создания духовных ценностей, в то время как у трудящихся масс отнимают все, их угнетают, попирают их человеческое достоинство. Эксплуатация считается законом цивилизованного мира: эксплуатация одного народа другим, как, например, Индии — англичанами, и эксплуатация внутри каждой страны человека человеком.

«В России эту проблему стараются разрешить в самой основе. Еще не пришло время делать окончательные выводы, однако все, что я видел, не могло не поразить меня».

Тагор понимал, что в 1930 году Советский Союз еще не был богатой страной, но его особенно радовало отсутствие того контра-

ста в материальном положении различных слоев населения, с каким он сталкивался во всех капиталистических странах, где ему довелось побывать. В Советском Союзе не чувствовалось той приниженности, которую подобные условия порождают у обездоленных масс в других странах. Вот почему, утверждает Тагор, хотя население в России относительно бедно, на улицах Москвы не увидишь безобразных сцен льстивого заискивания, столь унизительного для человеческого достоинства.

Поэт и философ много раз возвращается к вопросу об уничтожении эксплуатации человека человеком и страны страной, считая разрешение этой проблемы главным и самым замечательным достижением Советского Союза. Разумеется, Тагор не имел никакого представления об экономической теории коммунизма, он не знал также, какую роль играют в истории классы. Однако знакомство с советской системой помогло ему осознать смысл слов, которые незадолго до того он услышал в Токио от молодого корейского революционера: общность судьбы и общность борьбы дает эксплуатируемым массам мира силу порвать цепи эксплуатации, в то время как эгоистические, корыстные побуждения эксплуататоров заставляют их враждовать между собой. Так поэт понял, в чем сила пролетариата.

Равенство между людьми и нациями

РОДИНОЙ Тагора была Индия, закабаленная колонизаторами. Вот почему забота Советского Союза об отсталых народах Средней Азии, превращенной царизмом в колонию, явилась для него неопровержимым доказательством искренности стремления советской власти к установлению равенства между людьми и нациями. Он с радостью увидел, что идеи интернационализма и гуманизма с честью выдержали здесь проверку. Деятельность советской власти, направленная на то, чтобы уничтожить в отсталых областях неграмотность, создать там промышленность, ввести передовые методы сельского хозяйства, поднять уровень жизни кочевых племен и малых народностей, а главное — искреннее желание советской власти дать ранее угнетенным народностям, таким, например, как башкиры и туркмены, свободу определять собственную судьбу, означали, по мнению Тагора, подлинную революцию во взаимоотношениях народов. История не знала ничего подобного.

Будучи индийцем, Тагор, вполне естественно, не мог забыть лицемерие и ложь, к которым всегда прибегают империалисты, когда речь заходит о благосостоянии народов. Колонизаторы смотрели на Индию только с одной точки зрения — с точки зрения «наведения порядка». Когда индийцы требовали права на образование или здравоохранение или любого другого улучшения условий жизни, английские империалисты неизменно ссылались на «огромные трудности», словно трудности были особой чертой, присущей только Индии! Неужели советская власть не наталкивалась на трудности, когда взялась за ликвидацию неграмотности, социально-экономической отсталости и религиозных предрассудков? Она действовала, а не подыскивала оправданий бездеятельности, подобно англичанам. В ранее отсталых народах — скажем, башкирах или туркменах — она видела своих братьев. Вот почему русский народ прилагал все усилия, чтобы поднять их до своего собственного уровня.

«Это могло бы показаться невероятным...»

ТАГОР с большим интересом и вниманием знакомился с системой образования в Советском Союзе и неоднократно отзывался о ней с самой высокой похвалой.

Поэт хорошо знал, какие препятствия стоят на пути его народа к образованию, поэтому его восхищала твердая решимость советской власти полностью искоренить неграмотность и невежество по всей стране, без всяких различий между русскими и нерусскими. Это казалось настоящим чудом даже с точки зрения масштабов: ведь число неграмотных в России было очень велико. Но и достигнутые результаты оказались очень обнадеживающими. Все это подтверждало глубокую уверенность поэта, что в Индии неграмотность и невежество также могут быть уничтожены — если этого действительно захотят ее правители. Но Тагор ни на секунду не забывал, почему английские «опекуны» не желали этого. Они боялись народа, боялись, что народ, получив образование, осознает свои права, свое человеческое достоинство.

Кроме того, Тагору очень понравилась советская школьная система, теоретические положения советской педагогики и их применение на практике — со всем этим он познакомился лично, посещая многие учебные заведения. Собственно говоря, отчасти ради этого он и поехал в Советский Союз, ибо поэт сам был великим просветителем. Большую часть своей жизни и значительную долю своего состояния он отдал народному образованию. Его собственные взгляды на вопросы просвещения и его опыты в этой области были во многих отношениях близки к тому, что он увидел в Со-

ветском Союзе. Так, например, в школе и в университете, которые Тагор основал и которыми руководил в Шантиникетоне, придавалось большое значение тому, чтобы предоставить молодежи как можно больше свободы в развитии ее способностей. Учащиеся объединялись для занятий и самообслуживания в своеобразную республику. Тагор хотел заменить принятое в индийских школах «книжное образование» живой деятельностью, приобретением опыта и изучением природы; нужно было связать учебу с жизнью ради поощрения творческой деятельности каждого учащегося.

Многие страницы писем Тагора посвящены советскому образованию, сопоставлению различных идей и принципов в этой области. Поэт приходит к выводу, что в советских учебных заведениях приняты принципы, сходные с его собственными. Семь из четырнадцати писем посвящены описанию различных аспектов и методики советской системы образования и пестрят многочисленными похвалами советским достижениям, которые привели к полной ликвидации неграмотности на советской земле. Уже на закате своей жизни в протесте, адресованном члену английского парламента и ярой защитнице империализма миссис Радбоу, Тагор привел убийственные для колонизаторов сравнительные данные о британской политике в области образования в Индии и о советской системе образования. Тагор описал много советских учебных заведений. Большое и необыкновенно радостное впечатление произвела на него поездка в первую пионерскую коммуну в 1930 году. Он провел там больше трех часов, и дети разговаривали с ним охотно и откровенно. Тагору хотелось, чтобы в его собственной школе дети были так же свободны и жизнерадостны. Он всегда с гордостью считал себя близким другом подростков, чувствовал себя таким же молодым, как они.

Конечно, наибольшее впечатление на Тагора произвел факт, который «мог бы показаться невероятным, если бы я сам его не видел»: за какие-нибудь десять лет советская власть не только научила миллионы людей читать, писать и считать, но и воспитала в них чувство собственного достоинства и самосознание. Тагор писал своим индийским друзьям, что индийцам следует посещать Советский Союз хотя бы для того, чтобы ознакомиться с советской системой образования.

Искусство принадлежит народу

ТАГОР был прежде всего художником. Естественно возникает вопрос, что́ именно в Москве заинтересовало его как художника. Он побывал в драматических театрах, в опере, в музеях и картинных галереях. Но особенно впечатляющей показалась Тагору смелая политика советской власти в области искусства. Он видел, с какой заботой сохраняют в СССР произведения искусства, имеющие историческое значение, независимо от того, носят они религиозный или светский характер, созданы они народными мастерами или порождены досугом обеспеченного класса. Он с большой симпатией говорил о том, что в СССР искусство принадлежит народу и прилагаются все усилия для развития народных талантов. Это не удивительно, ибо Тагор одним из первых оценил значение народных песен и народного искусства Индии. Поэтому его восхищало серьезное изучение поэтического фольклора и народной музыки в Советском Союзе. Он был убежден, что народ обладает врожденной способностью воспринимать произведения искусства и создавать их. Искусство, утверждал он всегда, это не оранжерейное растение, но все же оно требует заботы и культивирования. Советская система открыла перед народом широчайшие возможности. Тагор видел, что в новые музеи и картинные галереи в Москве приходят десятки тысяч людей. Он был удивлен, что выставка его собственных картин привлекла большие толпы посетителей.

Театры и концертные залы открыли свои двери для всех, и Тагор был восхищен тонкостью вкуса и художественной требовательностью советских людей.

«Советы добьются этого...»

ИНДИЙСКИЙ поэт не был поверхностным наблюдателем или бездумным поклонником советской системы. Это был зрелый, умудренный опытом человек. Его философские взгляды, однако, складывались под влиянием идеалистического воспитания и религиозных традиций, передававшихся из поколения в поколение. Его восхищение советской страной было восхищением честного гуманиста, а критические высказывания — критикой столь же честного идеалиста. Он убедился, что Советский Союз предпринимает «форсированный марш», чтобы наверстать потерянное время, а затем двинуться вперед. Этого требовали обстоятельства, и Тагор одобрял такую политику как вполне оправданную. Однако, следуя гандистскому учению, он считал, что необходимость прибегать к насилию чревата последствиями. Кроме того, он не соглашался с тем, что пропаганда коммунистических идей входит как обязательная часть в систему советского образования, хотя сама эта система, как уже говорилось, вызывала

у него восхищение. В то же время материалистическое учение коммунистов и атеизм не вызывали у поэта осуждения. Будучи индийцем, Тагор хорошо знал, что самые жестокие тираны всегда пользовались религией, чтобы превращать народ в слепого покорного раба. «Пусть религиозные люди в других странах осуждают их (Советы) сколько угодно. А я не буду их осуждать. Атеизм гораздо лучше, чем ханжество».

Это было очень смелое заявление. Клеветники и враги Советской России не сидели сложа руки. Из приложения к «Письмам о России» видно, что на поэта пытались оказать давление влиятельные лица, которым не нравилось его дружеское отношение к Советскому Союзу. Тагор отвечал на их возражения твердо и терпеливо, проявляя редкую беспристрастность. Нет, ему не нравится диктатура. Диктаторы-тираны стараются сохранить свою власть, обрекая народ на нищету и невежество. А в России особая диктатура, указывает он. Она, по-видимому, стремится в конечном счете к своему уничтожению. Такова диктатура пролетариата! Тагор был сторонником свободы личности и считал нежелательным любое ее подавление. Он, однако, совершенно не соглашался со сторонниками «свободного предпринимательства», что частная собственность, особенно на средства производства, якобы является обязательным условием развития и свободы человеческой индивидуальности. Наоборот, стремление к прибыли (он называет его «лобх» — склонность к приобретательству) Тагор считает основным социальным злом, которое подрывает общественные устои, искажает и уродует личность, в том числе и самого собственника. Уничтожение частной собственности и института крупного землевладения в СССР он принял как нечто само собой разумеющееся, потому что это открыло перед советской властью подлинную возможность построить новый мир.

По мере того как шли годы и над человечеством все сильнее нависала фашистская угроза, Тагор все больше и больше убеждался, что Советский Союз — величайший оплот народов и гуманизма в борьбе против фашистского варварства. Его ненависть к реакционерам усиливалась с каждым днем и не давала ему покоя, ибо он чувствовал, что наступает «кризис цивилизации». Почти на смертном одре он узнал о вторжении Гитлера на советскую землю и стал одним из первых основателей общества друзей Советского Союза в Индии. Незадолго до смерти он спросил у профессора Махаланобиса о положении дел на советских фронтах и, услышав, что дела, видимо, складываются в пользу Советского Союза, взволнованно заявил: «Они (Советы) добьются этого» — совершат подвиг и разобьют врага. Эти слова, сказанные в августе 1941 года, были последними словами великого гуманиста о Советском Союзе.

Поэт яснее увидел будущее

В НАШЕ время все дороги ведут к коммунизму. Во всяком случае, дорога гуманизма, по которой шел Рабиндранат Тагор, привела его к беспристрастному и очень дружескому отношению к советской стране. Он увидел, что среди идей, которые советская власть стремится воплотить в жизнь, немало его собственных чаяний, что в СССР добиваются свободы для каждого человека и осуществления естественного права на образование, равенства между людьми и между нациями, международного мира и дружбы. Он увидел, что народ советской страны разделяет его горячий интерес к жизни, его веру в человека, в присущее человеку творческое начало, хотя и не верит в его идеал социальной гармонии.

Тагор заявил на весь мир о честных и разумных намерениях Советского Союза. Он положил начало дружбе между народами Индии и СССР, ибо после того, как Тагор сказал свое слово, сколько бы ни лгали клеветники и реакционеры, народ Индии уверовал в то, что Советский Союз — друг всех угнетенных, сражающихся за свободу.

Те, кто читали последние произведения Тагора, чувствовали, что после поездки в Советский Союз высказывания поэта по социальным вопросам стали более решительными и четкими. В его поздних стихотворениях можно заметить новые реалистические ноты, кое-где более глубокое понимание истории. Он в какой-то мере начал принимать идеи рабочих-коммунистов: в стихотворении, озаглавленном «Амирт» («Бессмертие», около 1936 года) рабочий-коммунист, который призывал служить народу, тем самым указывал путь к бессмертию. В известном стихотворении «Они работают» поэт заявляет, что главная сила истории — народные массы; цивилизация создана руками трудящихся, а угнетатели толкают ее к гибели. Тагор мечтает о будущем, когда придет истинный поэт и расскажет о жизни простых крестьян и рабочих. Он пишет замечательные стихи, обличающие фашизм и империализм, и создает великолепное приветствие «Африке» (1937). Разумеется, и сама эпоха помогла Тагору осмыслить современные ему события, но поездка в Советский Союз многое определила в мировоззрении поэта и оказала на него самое глубокое воздействие.

Р. Самарин

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

Я
всю свою
звонкую силу поэта
тебе отдаю,
атакующий класс.
В. Маяковский

У Вилли Бределя есть очень хорошая привычка — приезжая в Москву, наведываться к студентам Германской Демократической Республики, которые учатся у нас.

Голубоватый зимний московский полдень. Светлая аудитория университета на Ленинских горах полна молодежи. Судя по разговорам, здесь собрались студенты самых различных профессий — машиностроители, энергетики, геологи, врачи. С завидным энтузиазмом и единодушием приветствуют они появление Вилли Бределя — так хлопают только тому, кого хорошо знают и любят. На него смотрели улыбающиеся молодые лица. Радостно и застенчиво улыбался и он — коренастый, плотно сбитый, обаятельный, веселый, добрый человек. Кто-то спросил гостя, как он стал писателем. И Бредель, который виртуозно владеет нелегким искусством непринужденной беседы, стал рассказывать о себе.

Вилли Бредель вспомнил о юности в портовом Гамбурге, о первых классовых боях, в которых он, семнадцатилетний мальчик, получил боевое крещение, о том, как веймарская демократия в первый раз «почтила» его тюрьмой, и о том, как, попав в тюрьму вторично — в 1929 году, по обвинению в «государственной измене», обычной для веймарской фемиды статье, по которой преследовали коммунистов,— он начал писать всерьез. В тюрьме был написан роман «Машиностроительный завод Н и К°», появившийся в печати в 1931 году. Молодой профессиональный революционер, сын и внук гамбургских рабочих взялся за ремесло писателя.

Я вслушивался в живую с гамбургским акцентом речь Вилли Бределя и думал о том, как значителен его путь, как неразрывны в нем революционер и художник.

Уже его первые романы «Машиностроительный завод Н и К°», «Улица Розенгоф» (1932) полны жгучей актуальностью, ощущением приближающейся бури. Бредель звал своих братьев по классу к единству для отпора коричневой чуме, об опасности которой он предупреждал прямо и резко. Он разоблачал фашизм еще до того, как Гитлер пришел к власти. Вопреки нацистской демагогической пропаганде, писатель утверждал, что существуют две Германии — Германия коммунистов, рабочих, создававших антифашистское подполье, и Германия нацистов, стремившихся осуществить бредовые планы немецких монополий ценой крови и жизни народов.

В ранних произведениях Бределя традиционный жанр немецкого рабочего романа получил новое направление, стал подлинно боевым жанром революционной литературы, открывшим увлекательные перспективы перед многими немецкими писателями. Вслед за Бределем обратились они к неисчерпаемо богатой теме жизни и борьбы немецкого рабочего класса.

В 1934 году, бежав из нацистского концлагеря, Бредель печатает роман «Испытание», который с полным правом может быть назван классическим антифашистским произведением немецкой литературы 30-х годов, не утратившим актуальность и в наши дни.

В те годы было написано немало талантливых книг, говоривших правду об ужасах фашистской диктатуры. В самом разнообразии этих произведений сказалось богатство немецкой антифашистской литерату-

ры — здесь и роман «Семья Оппенгейм» Фейхтвангера, трагический, во многом безнадежный; и мужественные очерки Г. Манна о Фите Шульце, об Эдгаре Андре, полные гордости за немецких рабочих, оказавших героическое сопротивление фашизму. Возникает даже особый жанр литературы, получивший название «Ка-Цет-литератур»: это книги о концлагерях. Однако «Испытание» занимает особое место — роман написан во славу мужества и стойкости немецкого рабочего класса и его партии, он полон надежды на его победу.

Да, и в этой книге есть страшные сцены пыток, издевательств, мучений. Писатель изображал участь своих героев такой, какой она была на самом деле. Но недаром роман называется большим словом «Испытание»: господство фашизма и его кровавая политика — испытание, в котором проверяются качества людей, рождаются характеры бойцов. Книга Бределя звала к сопротивлению, воспитывала волю к борьбе. Вновь возвращается в строй герой романа молодой коммунист Крейбель, поддержанный примером старшего товарища — ветерана рабочего движения Торстена. Фашистский застенок их не сломил.

Заслуживает внимания и то, как изображены в «Испытании» нацисты. Тогда, в 1934 году, это была первая попытка дать в художественной форме широкую характеристику общественных слоев, вовлеченных в нацистское «движение» и становившихся после 1933 года опорой разбойничьего нацистского рейха. Раскрыв классовую сущность нацизма, Бредель с искусством художника-психолога отметил неоднородность нацистского лагеря, чувство неуверенности, жившее среди палачей. Нет, не им принадлежит будущее — таков вывод романа. Но чтобы смыть с немецкого народа позор фашизма, нужны объединенные усилия рабочего класса, всех честных людей, нужно единство антифашистского фронта. Бредель страстно призывал к этому единству.

«Испытание» стало вехой в развитии немецкой литературы социалистического реализма.

Тогда, в середине 30-х годов, многим не верилось, что нацизму удастся закрепиться в Германии — «стране мыслителей и поэтов» — на длительный срок. Некоторые эмигранты, жадно следя за событиями на родине, участвуя в подпольном движении, ждали революционного взрыва, который сметет с лица земли Гитлера и его клику. Эти иллюзии свойственны были и Бределю: они чувствуются в таком его произведении о борьбе антифашистского подполья, как, например, «Твой неизвестный брат» (1937). Роману, пожалуй, не хватало трезвой оценки реальной обстановки, которая сложилась в Германии после того, как были разгромлены наиболее мощные очаги антифашистского движения, после того, как нацисты сумели запугать и развратить миллионные массы немецкого народа. В книге А. Зегерс «Седьмой крест» больше горькой правды, ее герою приходится гораздо труднее, чем подпольщикам из романа Бределя. Но и «Твой неизвестный брат» привлекает горячей верой в человеческое достоинство немецких трудящихся.

Неукротимая жажда бороться против фашизма не только словом, но и делом привела Бределя в Испанию. Вместе с немецкими бойцами интернациональных бригад писатель сражался за свободу испанского народа.

В прямой пропорции к большому количеству немцев антифашистов, воевавших в Испании против Франко, Гитлера и Муссолини, находится и могучая группа произведений немецкой антифашистской литературы, посвященная испанской войне: стихи Эриха Вайнерта, романы «Зеленые оливы и нагие горы» Эдуарда Клаудиуса, и «Лейтенант Бертрам» Бодо Узе, и замечательная книга Людвига Ренна «Война в Испании». К их числу относится до сих пор мало известная у нас «Встреча на Эбро» * Бределя.

Вспомним о тех далеких и незабываемых днях: республиканские войска после нескольких месяцев неудач перешли в наступление, форсировали Эбро, отбросили итальянские и франкистские части, начали развивать успех, достигнутый в первые дни сражения... Наступление захлебнулось. Но в битве на Эбро было продемонстрировано мужество защитников испанской демократии. «Встреча на Эбро» — книга, обращенная к тем, кому вскоре пришлось принять на себя новый удар нацистов. Она призывала народы Европы к бдительности, к боевой готовности, славя уже сложившиеся к тому времени традиции интернациональ-

---

* Законченная в 1938 году, «Встреча на Эбро» была существенно переработана в 1948 году.

ного антифашистского движения, столь ярко выраженные в подвигах интернациональных бригад.

Герои книги Бределя — испанцы, французы, американцы, немцы — люди, которых по-братски объединяет великая идея социализма. Писатель делится с нами нелегким опытом военного комиссара: не просто превратить многоязычную бригаду в подлинно боевую часть, сплотить воедино людей различных подчас убеждений. Но можно и должно выковать боевое единство народов против фашизма, утверждает Бредель своей смелой и честной книгой. Уверенно и искренне звучит тема любви к Советскому Союзу, вера в его силы. Бойцы интербригады, встречающие на фронте праздник Октябрьской революции, думают о том, что происходит в этот день в Москве: «За тысячи миль к востоку маршировали под звуки революционных маршей войска Красной Армии по улице Горького и Красной площади: колонны танков громыхали вдоль кремлевских стен; а Красный Воздушный флот пролетал над городом. Выше головы, рабочие земного шара: первое победоносное государство рабочих празднует свое двадцатилетие!» «Выше головы, рабочие всего земного шара!» В этом призыве сказался весь Бредель. Для него, эмигранта, первое в мировой истории социалистическое государство было родиной.

Интернационализм Бределя теснейшим образом связан с демократическими традициями своего, немецкого народа. Об этом говорят новелла «Комиссар на Рейне» (1939), переносящая читателя в эпоху французской буржуазной революции 1789—1794 гг., и исторический очерк «Шарнхорст, Гнейзенау, Клаузевиц и буржуазная революция 1789 года» (1940). Оба произведения направлены против нацистской фальсификации истории Германии. В новелле «Комиссар на Рейне» Бредель писал о том, что тщательно замалчивалось фашистскими авторами: о героях французской революции, о ее значении для отсталой, косной Германии конца XVIII века.

В книге о трех немецких офицерах-патриотах периода освободительных войн Бредель разрушал нацистскую легенду о «прусском» характере освободительного движения в Германии в 1809—1816 гг. и показывал связь передовых военных и патриотических идей Клаузевица, Гнейзенау, Шарнхорста с революционными идеями эпохи. Бредель напоминал также немецкому читателю, что Гнейзенау и Шарнхорст внушали страх и недоверие правящим кругам Пруссии, что националистическая легенда о «преданности монарху» была создана после их смерти.

К июню 1941 года писатель закончил роман «Отцы» — первую часть трилогии «Родные и знакомые». Так было положено начало повествованию о судьбах трех поколений рабочего класса Германии. Дописывать эту книгу Бределю пришлось уже после 1945 года.

С первых месяцев Отечественной войны он деятельно борется против нацистского нашествия, работает в комитете «Свободная Германия», постоянно бывает на передовой. Голос В. Бределя слышали немецкие солдаты в Сталинграде: Бредель обращался к ним с призывом прекратить бессмысленное сопротивление, терпеливо рассказывал правду о положении на фронтах и в Германии.

Фронтовые впечатления немецкого коммуниста — участника боев с фашистскими полчищами, опыт работы с пленными солдатами и офицерами вермахта отразились в рассказе «Завещание фронтовика» (1942) и в повести «Зондерфюрер» (1943), в которой дан острый сатирический портрет нацистского борзописца—газетчика Оцхаузена, попавшего в плен под Сталинградом. Правдиво изображая агонию и гибель фашистских дивизий в этой беспримерной исторической битве, Бредель сосредоточивает внимание преимущественно на изображении нацистских офицеров. Читатель видит, как день за днем в ходе битвы меняется их настроение, их внешний вид, как гауптманы и оберсты, теряя внешний лоск, обнаруживают свою истинную сущность — инстинкт хищного зверя, затравленного, мечущегося, насмерть испуганного... Толпе нацистских оккупантов, вынужденных сложить оружие и просить пощады, противопоставлены образы советских военных: Бредель дает их через восприятие немецкого полковника Мальца — боевого офицера, до мозга костей преданного традициям старой немецкой армии, но человека неглупого и многое переоценившего за месяцы Сталинградской битвы.

«Все внимание Мальца было приковано к русскому генералу, он изучал каждую

черточку его лица и следил за каждым движением. Кряжист и удивительно прост... Обветренное широкоскулое лицо, ясные светло-серые глаза... Полковнику казалось, что он уже не раз видел это лицо... В Альтмарке, в Померании, среди батраков в Лихтерфельде или еще где-то, среди металлургов и каменщиков... Невольно он перевел глаза на тех, кто стояли напротив него: штабисты, в большинстве потомственные военные... Холеные, ничего не выражающие лица.

Опершись обеими руками о стол, русский генерал твердо и решительно заявил, что даром терять времени он не намерен. Поторапливайтесь, господа!..»

Отметим важную черту в этой сцене: Мальц, потомственный военный, резко ощущает в советском генерале чуждого ему человека. Сам Бредель видит в советском полководце братски близкое воплощение народной мощи, и потому сравнение генерала с немецким рабочим или крестьянином звучит как запоминающееся выражение чувства родственности, часто возникающего у Бределя, когда он говорит о советских людях.

Многообразный творческий талант Бределя — писателя и общественного деятеля полностью развернулся после 1945 года, когда он с присущей ему энергией взялся за великое дело созидания новой, демократической Германии

Чем только не пришлось ему заниматься в том приморском городе на севере Германии, где писатель работал первые послевоенные годы, не боясь самых трудных больших и малых задач и поручений! Вот что, например, рассказывал Бредель о своей деятельности в университете города (со временем он стал почетным доктором этого университета).

С огромным трудом наладив все для того, чтобы можно было приступить к занятиям, он пришел послушать одну из первых лекций. Это была лекция по германской филологии, и, к своему глубокому разочарованию, Бредель услышал давно знакомые фиоритуры на тему об «общегерманском культурном наследии», о коренном различии между романскими и германскими формами мышления и т. д., и т. п. Профессор, читавший лекцию, не был нацистом, нет, но он казался как бы восставшим из гроба призраком старой буржуазной филологии, к тому же в провинциальном издании. Мало было поднять из руин аудитории, собрать и накормить одичавших за годы войны студентов, выхлопотать пайки для преподавателей — нужна была такая профессура, которая не оказалась бы тормозом в жизни молодого университета демократической Германии. Писателю Бределю пришлось взяться за решение и этой проблемы.

Бредель организовал журнал «Хойте унд морген», издававшийся на плохой бумаге и малым форматом, но содержащий интересный, актуальный материал. Там начали свою литературную карьеру немало молодых немецких писателей. Бредель участвовал также и в создании журнала «Нейе дейче литератур», который в значительной мере способствовал объединению писателей ГДР и превратился сегодня в один из ведущих органов немецкой демократической печати.

Блестящий публицист В. Бредель пишет статьи «Против военной истерии», «Деятели культуры клеймят атомное оружие», «В единстве с Советским Союзом», «К 30-летию Октябрьской революции». В. Бредель выступает и как теоретик литературы — страстный противник ревизионизма. Среди его статей, собранных в книге «Семь поэтов» (1950),— исследование художественных особенностей творческого метода М. Шолохова. Горьковед, изучающий освоение наследия великого русского писателя в Германии, не пройдет мимо работы о Горьком, помещенной в той же книге. Для пушкиниста представляет серьезный интерес статья о Пушкине и Гете, замечательная подлинным беспристрастием в сопоставительной оценке двух великих поэтов.

За годы, истекшие со дня победы над нацистской Германией, Бредель написал и новые художественные произведения.

Трилогия «Родные и знакомые» («Отцы» — 1941, «Сыновья» — 1949, «Внуки» — 1953) широко известна советскому читателю. Бредель работал над нею долго и упорно, он возвращался к уже изданным частям, переделывал и совершенствовал в них то, что казалось ему слабым и недостаточно выразительным. Роман-эпопея — монументальное повествование о жизни и борьбе немецкого рабочего класса, охватывающее почти целый век его истории, огромная панорама жизни немецкого общества от франко-прусской войны до рождения новой,

свободной Германии, полная живого художественного и познавательного значения.

Среди жанров литературы социалистического реализма в мировой литературе XX века особое значение имеет, как об этом уже писалось у нас не однажды, жанр романа-эпопеи, представленный такими примечательными произведениями, как трилогия Пуймановой, романы А. Зегерс «Мертвые остаются молодыми» и «Решение», «Коммунисты» Арагона, серия романов Ж. Амаду и некоторые другие произведения, близкие к ним по принципу изображения действительности.

«Родные и знакомые» Бределя занимают заметное место среди этих романов-эпопей. Трилогия глубоко своеобразна по решению общей задачи — прошлое, настоящее и перспектива развития немецкого народа даны в ней через жизнеописание гамбургской рабочей семьи. Писатель проявил глубокое знание психологии немецкого рабочего. Он запечатлел родной ему мир в движении, в изменении: отсюда жизненность и правдивость повествования. Поражает богатство интонаций романа, умение писателя связать воедино трагизм и задушевность, героику и юмор.

Мне довелось видеть коллекцию фотографий из жизни старого пролетарского Гамбурга, собранную Бределем. Вот пожилой рабочий-табачник Гардер — крепкий строгий широколицый старик в парадном сюртуке; вот крохотное табачное «дело» — лавочка в рабочем квартале, где покупали табак и собирались поболтать герои первого тома «Родных и знакомых». Вот товарищи из социал-демократического ферейна «Майская зелень» за традиционными кружками пива и при жестких воротничках — среди них и будущий лидер гамбургских социал-демократов, мужчина с заметными претензиями на элегантность. Затем идут другие снимки: молодых гамбургских парней обрядили в кайзеровскую форму, они угрюмо глядят из-под касок. Многие из «сыновей» не вернутся в родной Гамбург из-под Вердена или из Польши и Литвы. Наконец вот и «внуки» — они носят берет интернациональной бригады, лихо сдвинутый набекрень. Чьи это знакомые глаза смотрят из-под берета? Это сам Вилли, политкомиссар батальона Тельмана в Испании... Я рассказываю об этом замечательном альбоме Бределя для того, чтобы читатель понял, как тесно переплелись в трилогии Бределя автобиографическое начало и художественный вымысел, поэзия и правда, нелегкий жизненный и политический опыт немецкой рабочей семьи XX века. Из этого сплава разнородных жизненных материалов, увиденных глазами писателя-революционера, рождается художественное своеобразие «Родных и знакомых» — книги о сынах немецкого рабочего класса, нашедших путь к социализму, строящих демократическую Германию. Трилогия глубоко характерна именно для немецкой литературы XX века — литературы страны с могучим рабочим классом, имеющим вековые боевые традиции.

Стиль трилогии отличается от стиля других произведений Бределя. Отражая общий замысел повествования, он вместе с тем не един во всех ее частях. В первой и второй книгах, посвященных событиям, отделенным от нас десятилетиями, это плавный, входящий в детали обстоятельный рассказ, не чуждающийся развернутых описаний, изобилующий самыми различными оттенками. От тома к тому нарастает сатирическая линия, сменяясь гневным разоблачением предательства социал-демократов.

В третьей книге, насыщенной событиями, нередко трагическими, изменяется и характер повествования. Оно становится торопливым, состоит как бы из цепи эпизодов, различных по эмоциональной окраске, порою приближается к сценарию. Таково веление содержания: жизнь героев развивается на фоне титанической борьбы двух миров, книга рассказывает о падении гитлеровского рейха и рождении новой Германии. Спокойный и порою многословный лад повествования о конце XIX века и заре нашего столетия здесь был бы неуместен.

Бредель предпочитает краскам графику. Трилогию можно было бы сравнить с серией гравюр и рисунков, очень различных по содержанию, но составляющих единое целое. При этом все богатства, открывающиеся перед художником в средствах графики, использованы с полнотой и искусством, свидетельствующими о подлинном мастерстве. Манера повествования, найденная Бределем, своеобразна, нова, гибка, отвечает замыслу романа и тем обогащает опыт эпического искусства современности. Широчайшая популярность трилогии в рабочих читательских кругах ГДР свидетельствует о ее народности.

Видный немецкий литературовед и писатель А. Абуш в статье «Роман Вилли Бределя — трилогия о пролетарской семье» (1952) пишет о том, что именно Бределю удалось с наибольшей полнотой показать в «Родных и знакомых» историческую миссию немецкого рабочего класса. Трилогия Бределя, разоблачая политику немецких монополий, зовет к единству рабочий класс, она напоминает, что отсутствие этого единства было одной из причин, приводивших в прошлом Германию к национальным катастрофам. В наши дни, когда лидеры социал-демократии в ФРГ вновь капитулируют перед возрождающимся германским фашизмом, а идущие за ними рабочие массы опять становятся жертвой трагического обмана, повествование звучит особенно актуально.

В трилогии «Родные и знакомые» с наибольшей полнотой проявились черты Бределя—художника пролетариата, связанного со всей могучей традицией социалистического реализма в международных масштабах, с традицией Горького и Андерсена Нексе.

Книга Бределя «Эрнст Тельман» (1948) также относится к группе произведений нового жанра, созданных литературой социалистического реализма, в которых героические биографии вождей рабочего класса раскрываются вместе с историей рабочего движения в данной стране.

Бредель долго вынашивал замысел книги о Тельмане. Многое из живых впечатлений писателя от встреч с Тельманом было использовано им в ранних романах «Параграф в защиту собственности» (1932) и «Испытание», в 1934—1935 гг.— в нескольких очерках и рассказах: «Листовка», «В зале ожидания», «Наш первый комсомолец». Чувствуется, что это наброски к будущей большой работе. Но нужно было накопить политический опыт 30—40 гг., пройти дорогами войны, чтобы книга о Тельмане созрела. Это повесть о героических делах немецких коммунистов, написанная вдохновенно и просто. Бредель сумел передать и человеческое обаяние Тельмана, показать его историческую роль. Образ Тельмана не заслоняет подвигов коллектива, исторической перспективы. На основе книги о Тельмане в содружестве с известным киносценаристом Михаэлем Чесно-Хеллем писатель создал сценарий фильмов «Эрнст Тельман — сын своего класса» (1954) и «Эрнст Тельман — вождь своего класса» (1955). Известный французский критик Жорж Садуль назвал фильм, снятый по сценарию Бределя и Чесно-Хелля, «национальным памятником» Тельману.

Бредель гордится немецким рабочим классом, трудовым немецким народом и его успехами. Он видит в литературе великое средство воспитания нового поколения немцев — тех, кто строят социалистическое отечество, кто создали Германской Демократической Республике славу бастиона мира в Европе.

Однажды в Союзе немецких писателей завязался спор о первоочередных задачах современной немецкой литературы. Некий литератор вяло и многословно бубнил о необходимости вновь и вновь разоблачать в литературе «немецкое убожество» — «дойче мизэ́рэ».

Бредель спорил сначала сдержанно. Вдруг он сверкнул глазами и стукнул кулаком по столу:

— «Дойче мизэ́рэ»! — передразнил он своего оппонента.— Да ты по́мнишь, что ты пишешь для слесарей, для трактористов, для строителей, для ученых — для тех, кто живут в социалистической Германии? Для чего им снова напоминать о твоем проклятом «дойче мизэ́рэ», которого они, слава богу, уже не знают? Пиши о них самих, а они-то уж, во всяком случае, не «дойче мизэ́рэ»!

О трудовых подвигах немецкой молодежи, о сложных духовных процессах, происходящих в ней, рассказывает повесть-репортаж Бределя «50 дней» (1950), бодрая, правдивая книга, в которой много и большой жизненной правды и задорного юмора.

В 1959 году появился роман В. Бределя «Новая глава». Это действительно новая глава в истории немецкого народа — та глава, которая началась в мае 1945 года, после того как отгремели последние залпы в честь победы над фашистской Германией.

Действие «Новой главы» развивается в приморском немецком городе. Он разрушен войной, запуган нацистским террором и слухами. Народную немецкую власть встречает вражда недобитых нацистов, страх обывателей, настороженность изголодавшихся и измученных простых людей. Впереди — неопределенность первых послевоенных месяцев, разруха, оставленная в насле-

дие гитлеровцами, грозящие городу голод и холод... Со всем этим вступают в борьбу люди, олицетворяющие в романе будущую демократическую Германию: ветеран антифашистского движения Петер Бойзен и молодой активист Томас Вайс, юноша, прошедший жизненную школу в рядах Красной Армии. «Молодой жизнерадостный баварец Томас Вайс был любимцем советского полка. Никто не называл его «фрицем», он был Томас, их Томас, особенный немец, честный противник фашизма. Каждый солдат, каждый офицер в полку знали, что Томас Вайс еще в октябре 1941 года, когда Гитлер уже считал себя победителем, оставил ряды нацистской армии под Москвой и перешел на сторону Красной Армии. О его неустрашимости в боях против фашистов рассказывали чудеса; но, вероятно, бывало и так, что поступки, которые считались бы обычными для советских солдат, оценивались особенно высоко, когда их выполнял перебежчик-антифашист»,— так описывает В. Бредель Вайса, первого демократического бургомистра старого города.

Бредель тепло говорит о братской помощи советских людей немецкому народу, подчеркивает значение их вклада в дело восстановления нормальной жизни.

Писатель находит простые и точные слова для того, чтобы рассказать, как оживает старый город, как он изменяется и хорошеет, как объединяются общественные силы, честные люди, берущиеся за трудную работу. Вместе с тем «Новая глава» немецкой истории полна драматических подробностей: борьба продолжается, ушедшие в подполье или убежавшие на Запад нацисты не теряют надежды вернуться в город хозяевами, они всеми способами стремятся помешать новой жизни, которая уже сложилась в городе, уже дала свои результаты.

То новое, о чем рассказывает Бредель, выступает в различных формах: оно заключается в новом подходе к труду у рабочих, восстанавливающих заводы и верфи, в новом понимании искусства, рождающемся у актеров, когда они впервые выступают на сцене народного театра, в подвиге крестьян, спасающих от смерти беженцев, больных сыпным тифом.

Разрушаются вековые предрассудки, мораль старого немецкого общества, особенно извращенная годами нацистского режима, медленно начинает отступать под натиском новой, подлинно человечной этики, возникающей в условиях трудовой жизни.

Особое достоинство книги в том, что она написана с глубокой верой в неисчерпаемые силы народа, разбуженные борьбой во имя лучшего будущего. Все больше людей объединяется вокруг Бойзена и Вайса, находятся и способные руководители, и неутомимые труженики, и талантливые специалисты, горячо участвующие в общем деле.

Бредель вновь и вновь говорит о том, что вместе с немцами, восстанавливающими нормальную жизнь в стране, самоотверженно трудились советские люди — офицеры, солдаты, врачи. Так закладывались основы той прочной дружбы, которой теперь гордятся наши народы.

Как своевременна книга Бределя, в которой звучит тема советско-германской дружбы! Ведь всем известно, что определенные круги в ФРГ прилагали и прилагают немало усилий, чтобы посеять вражду между «Западом» и «Востоком», чтобы раздуть огонь расовой ненависти, чтобы оклеветать и очернить советских людей. Правдивая картина мирного сотрудничества, из которого вырастают взаимное доверие и дружба, картина, нарисованная Бределем,— красноречивый ответ клеветникам. Мирный восстановительный труд в восточных областях Германии противопоставлен возне американских дипломатов и милитаристов, принимающих решение сбросить атомную бомбу на Хиросиму. Августовский день, когда сотни тысяч людей погибали на улицах японского города от огня и смертельной радиации, был для немецкого города, описанного Бределем, днем мирного труда, который стал опять привычным...

«Новая глава», с которой советские читатели уже знакомы в русском переводе,— это книга не только о возвращении жизни в Германию, опозоренную нацистами и доведенную ими до национальной катастрофы. Это роман и о битве за право на новую жизнь — той битве, которая в разных формах кипит ежечасно и в наши дни.

Вилли Бределю исполняется шестьдесят лет, а он написал книгу, которая называется так молодо и которая уверенно зовет к будущему. В этом выражена сущность его жизнерадостного таланта, его стремление быть всегда на переднем крае борьбы за коммунизм.

Впереди у Бределя много замыслов, много ненаписанных книг. Об одной из них он рассказывал мне в просторной и скромной рабочей комнате своего домика в зеленом предместье Берлина. Это будет книга о его родном городе — о старом Гамбурге, о вечно меняющемся, как сама жизнь, огромном городе, который много помнит, в котором живут великие традиции гамбургских повстанцев, боевые традиции немецкого рабочего класса. В книге о Гамбурге будут собраны и старые сказки этого города у моря и эпизоды из его вольнолюбивой хроники — от древних времен до грозных событий XX века, в которых принимал участие когда-то юноша Вилли Бредель.

* * *

Первый роман Бределя, «Машиностроительный завод Н и К°», заканчивается памятным эпизодом: группа рабочих, только что выпущенных из тюрьмы, проходит, возвращаясь домой, через кварталы вилл и особняков, принадлежащих «хозяевам» города. Мертво отсвечивают зеркальные стекла, за чугунными решетками зеленеют сады, у подъездов дожидаются роскошные автомобили. Все здесь кажется необыкновенно прочным, солидным, подчиненным некоему вековому мещанскому порядку. Но рабочие, шагающие через богатый квартал, знают, что этот порядок не устоит под их натиском, что будущее принадлежит им, а не хозяевам особняков и вилл. И вот они — узники, только что вырвавшиеся на свободу,— запевают «Интернационал», звучащий среди респектабельной тишины как вызов.

Как не вспомнить об этой странице, написанной молодым рабочим в тюрьме, когда думаешь о том, что ныне существует государство германских рабочих и крестьян, где строится новое общество, где успешно развивается социалистическая национальная немецкая культура! В первых рядах тех, кто все свои силы отдали этому государству, стоит выдающийся немецкий писатель наших дней Вилли Бредель.

О РОМАНЕ «ВСТРЕЧА НА ДАЛЕКОМ МЕРИДИАНЕ»

Константин Симонов

В ИНТЕРЕСАХ СВОЕГО НАРОДА

Это не статья, а всего лишь несколько мыслей вслух о романе Митчела Уилсона. И первая из них — не о художественных достоинствах или слабостях романа и не о правильности тех или иных поступков его героя — доктора Реннета. Первая возникающая у меня мысль — о поступке автора книги Митчела Уилсона.

Я лично, пожалуй, впервые читаю роман американца о Советском Союзе, роман, появившийся как прямой результат поездки писателя в нашу страну. Написать такую книгу сегодня в далеко не безоблачной обстановке отношений, сложившихся между двумя государствами, значило совершить поступок очень серьезный в жизни писателя и человека.

Вопрос о возможности мирного сосуществования и мирного соревнования между Советским Союзом и США — один из коренных вопросов современности. Он из тех, что требуют прямого ответа — «да» или «нет».

Если человек убежденно отвечает на него «да», то я вовсе не испытываю душевной потребности, чтобы его ответ сопровождался безоговорочным приятием всего, что этот человек видит в нашей жизни.

Но если на подобный вопрос отвечают «нет», то сколько бы ни было рассыпано вокруг этого «нет» похвал в наш адрес по тем или иным частным поводам, они все равно ни на йоту не позолотят для меня заключенную в таком ответе пилюлю.

Митчел Уилсон своим романом говорит «да!». Говорит убежденно и страстно. Он считает, что мирное сосуществование и возможно и необходимо, что оно отвечает потребностям людей и у нас и в Америке, что это единственный путь, по которому обязаны идти и мы и они. И когда человек отвечает на этот вопрос убежденно и страстно и в решении его делается моим единомышленником — для меня отходят на второй план те или иные несогласия с ним по разным другим проблемам, таким, скажем, как проблема любви и того, что понимать под этим словом.

Мы читаем в русском переводе роман, написанный американцем для американцев и говорящий им о том, что мы, советские люди,— люди, достойные уважения и доверия, люди, у которых слово не расходится с делом и которые действительно хотят мира и дружбы с американским народом.

Для нас это аксиома. Но чтобы оценить роман Уилсона как поступок и знать цену

Выполняя обещание, данное нашим читателям, мы публикуем в этом номере статьи о романе «Встреча на далеком меридиане». Выступления К. Симонова и Б. Леонтьева, на наш взгляд, взаимно дополняют друг друга в характеристике основных достоинств и недостатков нового произведения Митчела Уилсона.

этому поступку, надо ясно понимать: все то, что является для нас аксиомой, много лет бешено отрицалось и продолжает отрицаться многими людьми, располагающими и силой, и влиянием, и, к нашему огорчению, все еще большим доверием широких кругов американцев.

Роман Уилсона — акт борьбы с очень мощными в Америке силами, продолжающими ставить под сомнение возможность мирного сосуществования.

Весь тон романа, многие и многие его страницы, посвященные и нашим достижениям и нашим трудностям, позволяют говорить о том, что автор книги написал ее с позиций человека, относящегося к людям нашей страны с дружеским уважением.

Но Митчел Уилсон американец и прежде всего — это естественно — заботится о судьбах американского народа. Он считает, что эти судьбы во многом зависят от взаимопонимания между американцами и советскими людьми, и подчеркивает необходимость такого взаимопонимания с точки зрения интересов собственного народа.

Он в первую очередь делает это как сын своего народа и уже во вторую очередь — как человек, дружественно относящийся к нам. И то и другое переплетается в романе, но первое является главным.

Безусловно, длительная поездка Уилсона в Советский Союз, совершенная тогда, когда, уже побывав у нас до этого, он начал вынашивать в себе замысел романа, помогла ему со всей решимостью сказать в своей книге: «Да, мы можем сосуществовать, можем понимать друг друга, можем дружить, можем сотрудничать».

Я думаю, что он уже отправлялся в свою поездку именно с такой мыслью, но под влиянием наблюдений, встреч и разговоров с советскими людьми эта мысль все более обрастала плотью, все более обогащалась несомненными доказательствами ее верности.

Уилсон смог написать свой роман таким, каким он его написал, не только потому, что относился дружественно к нашей стране, но и потому, что чувствовал, как дружественно относятся в этой стране к нему — американцу. Он написал свой роман не только потому, что хотел взаимопонимания, но и потому, что с каждым днем все яснее чувствовал, как хотят этого взаимопонимания те люди, с которыми он встречался. Этот процесс нашел свое отражение в романе в истории доктора Реннета, но я убежден, что первоосновой его являлся процесс, происходивший в душе самого автора.

Не знаю, как будет встречена эта книга в Соединенных Штатах, кажется, она там уже вышла. Думаю, что у нее найдутся решительные противники, потому что и сам поступок Уилсона, сказавшего своей книгой: «Да, я хочу, чтобы мы понимали друг друга, дружили, сотрудничали»,— достаточно решительный поступок в политической атмосфере современной Америки. У любого человека, предпринимающего решительные шаги в этом направлении, в Соединенных Штатах всегда находились и находятся противники. Они, безусловно, окажутся и у автора романа «Встреча на далеком меридиане». Но думаю, что у него будет и много горячих сторонников. Говорю об этом вполне уверенно, как человек, совсем недавно побывавший в Соединенных Штатах и имевший случай убедиться в очень серьезном стремлении к взаимопониманию и дружбе с нами среди тех американцев, с которыми мне доводилось встречаться.

Меня порадовало, что новая книга Уилсона напечатана у нас в четырех номерах большого журнала с большим тиражом. Очень хорошо, что сотни тысяч, а может быть, и миллионы людей прочтут у нас этот роман американского писателя, во имя интересов своего народа отстаивающего идеи дружбы и взаимопонимания. И не беда, что они прочтут этот роман со всеми его несовершенствами и даже со всеми его неточностями в изображении нашей жизни.

Кстати сказать, этих неточностей в книге не так уж много, особенно если учесть всю новизну и даже неизведанность материала, с которым встретился автор, описывая нашу страну и ее людей. А в общем — это работа, проделанная не только с большим и искренним дружелюбием, но и с щепетильной добросовестностью, это ощущаешь, когда читаешь роман, и это вызывает дополнительное чувство симпатии к автору, и грех было бы не сказать об этом!

Меня всегда радуют людские поступки, продиктованные подлинным мужеством и подлинной верой в людей. Именно такой писательский и человеческий поступок совершил Митчел Уилсон, создав свою «Встречу на далеком меридиане».

Б. Леонтьев

«БЫСТРЕЕ, БЫСТРЕЕ ИДТИ ВПЕРЕД!..»

Новый роман Митчела Уилсона «Встреча на далеком меридиане» — смелое и оригинальное произведение. Мы не знаем другой книги, в которой бы так близко действовали, дружили и спорили, работали и любили русские и американцы — граждане именно тех двух держав, которые в наше время столь явно противостоят друг другу во множестве областей жизни. Герои романа показаны такими, каковы их прототипы в действительности, со всем их сходством и различием, со всей остротой взаимного непонимания людей «двух миров» и не менее отчетливым ощущением возможности и необходимости сотрудничества и дружбы.

«Встреча на далеком меридиане»—вещь современная, она посвящена людям и событиям наших дней. Но я немедленно разойдусь с литературоведами, назвав это произведение также и историческим. И как раз в том самом смысле, который принято вкладывать в понятие «исторический роман».

Изумительные достижения нашей науки, и прежде всего запуск первого советского спутника, явились этапом своего рода революции в представлениях рядовых американцев о Советском Союзе, о людях нашего общества.

Начало этой «революции» было положено в годы войны против гитлеровской Германии. Победа советского народа над гитлеризмом, по существу, впервые открыла глаза миллионам американцев не только на самый факт существования на земле другой, социалистической системы, но и на силу этой системы, ее способность противопоставить сокрушающую мощь натиску фашистских армий.

Реакционная американская печать послевоенных лет изрядно потрудилась, чтобы помешать проникновению правдивой информации о жизни советского народа, чтобы довести температуру советско-американских отношений до градуса «холодной войны». Спутник как бы взорвал эту плотину антисоветской пропаганды.

Заметное расширение советско-американских контактов в следующие три года — деловые и дружеские встречи ученых, студентов, экономистов, писателей, а в особенности взволновавшая всю Америку поездка за океан «коммуниста номер один» Н. С. Хрущева в 1959 году и его открытые беседы с миллионами американцев — все это укрепило и «уточнило» то подобное вспышке молнии впечатление, которое произвел спутник в октябре 1957 года.

Социалистическая система предстала перед глазами американских граждан уже не просто имеющей «право на жизнь», но и достойной соревнования с «наилучшей», как это им неуклонно внушалось, системой Соединенных Штатов. Выяснилось, что преданные своей стране и ее строю, убежденные в его преимуществах, советские люди очень быстро движутся вперед во всех областях знания и производства.

Эти-то «итоги» зафиксированы и эстетически осмыслены в романе Митчела Уилсона. Прежде всего и хочется сказать о большой заслуге писателя, откликнувшегося «полнометражным» художественным произведением на столь остро злободневную, животрепещущую тему современности.

Сделаем и обратный вывод: если явления, о которых мы читали до сих пор в газетных отчетах, в анализирующих отдельные события публицистических выступлениях, получили наконец свое отражение и в художественном произведении — значит, они охватили большой круг людей, реально характеризуют нашу эпоху. Ведь художник обобщает. Ник Реннет не мог бы появиться на свет, если бы не было множества реннетов, отличающихся друг от друга всевозможными частностями, но обладающих и некоторыми наиболее типичными чертами, взятыми автором за основу при обрисовке главного героя. Одна чья-то поездка в Советский Союз или одна серия встреч советских людей с американцами еще не дали бы материала для такого романа, как «Встреча на далеком меридиане».

* * *

Отдадим должное писателю. Человек Запада, американец, далекий от идей коммунизма, сумел во многом объективно и вместе с тем с несомненной симпатией проанализировать то, что он и его герои увидели у нас. На Западе, особенно в США, очень мало правдивых книг о советской стране. По существу, Митчел Уилсон вступил в героическое единоборство со всем «набором» представлений, доводов, аргументов, которыми орудует антисоветская пропаганда в США. Он противопоставил этому «набору» свое представление об СССР, свое отношение к нам, свой талант, помноженный на личные писательские наблюдения. В романе «Встреча на далеком меридиане» мы отмечаем желание осмыслить этапы нашего нелегкого, полного героизма пути, понять многие наши трудности, увидеть за малым и частным большое и значительное.

Важно отметить, что представление это оказывается отнюдь не схематичным — оно вовсе не декларируется автором, а складывается из самой логики развития художественных образов и прежде всего—из осмысления эволюции, которую претерпевает главный герой романа Ник Реннет. Духовное исцеление, обретенное Реннетом в результате поездки в Советский Союз,— закономерный и символичный итог этой эволюции.

Существенно и то, что автор не ограничивается анализом точки зрения некоего «среднего американца». Ник Реннет, Анни Робинсон, Леонард Хэншел — очень разные американцы и очень по-разному воспринимают советскую действительность. Митчел Уилсон пошел и дальше. Свою концепцию «советского образа жизни» он реализует и в художественных образах советских людей — в первую очередь в образах физиков Дмитрия Горчакова и Вали.

Вполне ли точна концепция Митчела Уилсона? Роман позволяет во всех деталях и частностях проследить происходящую в сознании писателя, а в значительной мере и не осознанную им борьбу двух противостоящих друг другу тенденций. Там, где его пером руководит собственный опыт, где совесть и честность подсказывают ему ту или иную оценку увиденного,— там он правдив и точен, там побеждает художник. Но в отдельных случаях те самые «штампы» антисоветской пропаганды, против которых он восстает, все же довлеют над писателем. И в этих случаях Митчел Уилсон неизбежно и неизменно терпит поражение или «частичное поражение».

Возьмем хотя бы явно прозвучавший в романе тезис об ученых — «заложниках» власти, контролирующей не только их деятельность, но даже мысли и чувства. Да. этот тезис верен в отношении физиков-атомщиков в США. Дело профессора Оппенгеймера, о котором так ярко рассказал Ярослав Путик (перевод его «Совести» напечатан в «Иностранной литературе» №№ 1 и 2 за 1961 г.),— убедительное свидетельство. Ведь современные инквизиторы судят профессора Оппенгеймера не только за «саботаж» в деле создания водородной бомбы, но и за «недозволенные мысли». Но он абсолютно ошибочен, этот тезис, если применить его к советским ученым. И хотя Митчел Уилсон в своем романе нигде не утверждает его прямо, но некий «знак равенства» как бы подсказывается читателю.

Ученый в США, работающий в столь новой области науки, как расщепление атома, открывающей перед человечеством невиданные возможности, неизбежно обнаруживает, что все его замечательные открытия пойдут только во вред людям, могут повести за собой гибель и всеобщее разрушение. Отсюда опустошенность и отчаяние, которые владеют и Ником Реннетом, постаравшимся «уйти» от исследований, непосредственно связанных со зловещими планами Пентагона.

Советского ученого никогда не покидает уверенность в том, что его открытия будут использованы только на благо человечества, родного народа, для скорейшего продвижения вперед по пути экономического строительства и прогресса. А если эти открытия окажут содействие и в военной области, то они могут быть использованы лишь в целях обороны, в целях отпора разрушителям — то есть опять-таки для защиты самой жизни, для спасения цивилизации, которую уже однажды отстояла от фашистских варваров героическая Советская Армия. Отсюда нравственное здоровье советских людей, ученых-физиков. Отсюда и спокойная уверенность в будущем человека социалистического общества, его оптимизм, его здоровый реализм (отвергающий, в

частности, все виды и формы современного абстракционизма в буржуазном искусстве Запада).

Образы советских людей, нарисованных Уилсоном, при всем несомненном стремлении писателя быть объективным, все же подчас заставляют вспомнить «теории» и легенды о «конформизме» людей социалистического общества, давно превратившиеся в разменную монету антисоветской пропаганды. Моральная опустошенность части современной западной интеллигенции, ее растерянность перед перспективой «апокалиптических» ужасов атомной войны, больное восприятие «мирового хаоса» — вот что зачастую выдается за подлинную «свободу утонченного интеллекта».

Думается, что при изображении советских людей Митчел Уилсон в какой-то мере остался под влиянием ошибочных представлений. Так, хотя Горчаков нарисован с несомненной авторской симпатией, как личность цельная и волевая, у читателя складывается все же впечатление о некоторой его прямолинейности, душевной бедности по сравнению с Реннетом. В известной степени это можно сказать и о Вале. По-настоящему глубоко проникнуть во внутренний мир советского человека писателю так и не удалось.

Попытка поставить «знак равенства» незакономерна и в тех случаях, когда в романе разговор заходит о неких «контролирующих организациях» в США и в СССР. Митчелу Уилсону должны быть известны тысячи фактов нарочитой «шпиономании», изуверского, инквизиторского вмешательства всяческих комиссий «по расследованию антиамериканской деятельности» в частную жизнь человека, в его внутренний мир.

Природа определенной настороженности советских людей по отношению к иностранцам — представителям буржуазного мира совсем иная. На протяжении более чем сорокалетия советский гражданин сталкивался с дикой враждебностью правящих кругов Запада к советской социалистической стране: от времен вооруженной интервенции — до шпионского полета пресловутого Пауэрса.

Изображая беседы, особенно первые беседы Реннета с Горчаковым или с Валей, Митчел Уилсон в какой-то мере находится под влиянием пропагандистских статей «Лайфа», в которых многократно расписывалось, как советские люди «боятся» встреч с иностранцами.

И все же эти частности не могут заслонить главного. В целом в романе побеждает правда жизни, наблюдательность и честность художника, его личный опыт вдумчивого исследователя. Какие бы натяжки ни отметил наш читатель в изображении мотивов поведения обаятельной советской девушки Вали, мы видим, что ее разрыв с Ником жизненно оправдан. Это люди «разных миров». Не случайно, закономерно Ник Реннет «возвращается» к Анни. Его возглас, обращенный к ней: «Я вернулся»,— глубоко символичен. Скажем в скобках, что вообще «лирический план» романа представляется нам наименее удавшимся писателю. Три достаточно похожие одна на другую «роковые ситуации» с Мэрион, Анни и Валей — три вариации одной и той же истории — трудно назвать всерьез любовью, как мы ее понимаем. В чем-то, на наш взгляд, изменил здесь художнический такт писателю. Намек на подлинное чувство есть в книге — там, где речь идет о союзе и разрыве Ника с женой Руфью. Но эта линия оказалась реализованной, по существу, лишь в подтексте.

* * *

Итак, Митчел Уилсон честно изобразил один четко очерченный период советско-американских отношений — период 1957—1960 гг., когда впервые после долгого перерыва, после многих лет «холодной войны» лучшие, передовые люди Запада начали свои поиски правды о советской стране, поиски все еще робкие, сдерживаемые предрассудками, неоправданными страхами, предубеждениями. Пока признано (героями романа — американцами) не так уж много: сближение с советскими людьми возможно и полезно, в жизни обеих стран много сходного, даже недоверие всесильно господствовало в «равной мере» и тут и там. И в ненавистной и ненужной «холодной войне» повинен не один коммунистический Советский Союз, но «в такой же мере» повинны Соединенные Штаты Америки. Хотя мы решительно не можем согласиться с подобным «уравниванием», надо понимать, что для широкого круга американцев и такое признание шаг вперед. Каков же должен быть следующий этап?

Сама художественная логика романа подводит читателя к выводу: нельзя останавливаться на достигнутом, «быстрее, быстрее идти вперед!» — этот временно утраченный, но вновь обретенный после поездки в СССР девиз Реннета вполне уместен и в данном контексте.

И здесь необходимо сказать о главном, с моей точки зрения, достоинстве произведения. Оно заставляет задуматься о будущем, оно порождает много новых мыслей, открывает безграничное поле для широких сопоставлений и обобщений. А что может быть лучше? Ведь самая ценная книга та, закрыв которую хочется развивать подсказанные ею идеи.

Всей тканью своего повествования о жизни советских людей, о Москве и других увиденных им районах нашей страны писатель свидетельствует: Советский Союз — страна искреннего, глубочайшего, «коренного» миролюбия. Она миролюбива в основе своей. Вся история ее напряженной борьбы с прошлой, совсем еще сравнительно недавней экономической и культурной отсталостью (ведь еще дед крупного ученого Горчакова был неграмотным, а отец его учился, уже будучи взрослым, вместе с Дмитрием), история ее также недавней кровавой и опустошительной борьбы против жесточайшего агрессора — все свидетельствует о любви к миру, о ненависти к войне. И об этом же говорит ее сегодня: люди полны творческих забот, они все имеют для построения лучшей жизни на своей собственной земле, они не нуждаются ни в завоеваниях, ни в покорении чужих стран и народов. Советские люди живут пафосом созидания.

Даже Леонард Хэншел, «бывший ученый», перешедший на службу американской атомной дипломатии, этот «злой демон», все время искушающий душу Ника Реннета, в откровенном разговоре с ним в Москве признается: «...они в гораздо большей степени обороняются от нас, чем мы от них, что бы мы себе там ни внушали».

Но если и хэншелы приходят к выводу, что «они», то есть СССР, «в гораздо большей степени обороняются от нас, чем мы от них», то, значит, политика «с позиции силы», политика гонки вооружений и стремления достигнуть «решающего превосходства» терпит поражение и в глазах ее испытанных сторонников.

Значит, вот куда надо идти «все быстрее вперед», если иметь в виду более широкий план романа — саму жизнь: к следующему этапу на пути к мирному сосуществованию двух систем, к сотрудничеству между народами СССР и США.

Вот оно, это «дальше», эта следующая ступень сближения. Надо идти к разоружению, возможно более полному, ибо война означала бы опустошение, уничтожение того, что любят и американцы и русские. Только отказ от «соревнования» в количестве и качестве средств истребления откроет новую эру в отношениях двух стран и, значит, в конечном счете позволит любому Нику проникнуть гораздо глубже в душу Дмитрия или Вали, сблизит их воистину почеловечески.

Весь пафос образа Ника Реннета, обрисовке которого посвящены многие и лучшие страницы романа,— в страстном «нет» угрозе атомного уничтожения. Реннет участвовал в создании первой атомной бомбы, он видел грибообразное страшное облако. Нечто от комплекса, терзавшего американского летчика Изерли, сбросившего бомбу на Хиросиму и позднее сошедшего с ума, навсегда травмировало Реннета. Чувство вины и ответственности за трагическое и роковое «первенство» США в гонке атомно-водородных вооружений не покидает американского физика, хотя он давно отошел от «той» деятельности и посвятил себя «чистой» науке.

Мысль о необходимости ликвидировать, уничтожить атомные и водородные бомбы, навсегда запретить их изготовление, испытание и применение прямо не сформулирована в романе, но она живет за его строками, она стучит в сердце читателя.

Роковой смертоносный «гриб» висит над землей не только в потрясенном сознании Ника Реннета. Он как бы закрывает весь горизонт, он незримо мешает взаимному доверию, раскрытию сердец, искренности людей. Он бросает мрачную тень на все самые солнечные картины мирной жизни, красочно и любовно нарисованные автором в самых милых и добрых сценах дружеских встреч советских и американских граждан.

Эта тень должна быть устранена.

* * *

Как убедительно показывает роман Митчела Уилсона, рядовые американцы и со-

ветские люди действительно могут быть замечательными товарищами и соратниками по работе, они могут по-настоящему дружить, им равно ненавистна война. Сегодня еще далеко не до конца реализован возможный потенциал доверия и взаимопонимания. Есть некий сильный «тормоз», «срабатывающий» помимо, а порой вопреки желаниям рядовых американцев.

Политика государства решает проблему мирного сосуществования, диктует пределы «доверия» и «взаимопонимания». Не только ученый-физик Реннет, но и чиновник правительства Хэншел называет себя лишь «консультантом».

Хочется надеяться, что та убедительная «консультация», которую дает в своем новом произведении тысячам американцев Митчел Уилсон, дойдет и до тех кругов в США, от которых зависит основной вывод: какой путь изберет Америка. А путей только два: или таким образом «приспосабливаться» к великим переменам на земном шаре, чтобы препятствовать им более «искусно» на дорогах «холодной войны», могущих привести к войне «горячей», или осознать и осмыслить эти изменения, идти в ногу с веком, с требованиями всех народов, чтобы помочь ускорению исторического процесса объединения всех сил, всех достижений науки для коренного улучшения жизни человечества в условиях мира и мирного сосуществования всех государств и социальных систем.

Е. Трущенко

ГЛИНЯНАЯ ПЛОШКА ИЛИ СВЕТИЛЬНИК РАЗУМА

Деятели французской культуры о назначении художественного творчества

Каково назначение художественного творчества? В чем миссия художника и поэта? Какими бы хотели видеть литературу, театр, кино сами деятели этих областей культуры в шестидесятые годы двадцатого века? Не утрачивает ли поэзия свою былую роль в формировании взглядов, сознания людей в условиях, когда физика свершает чудеса, опрокидывает складывавшиеся веками представления? Не ограничивает ли сферу воздействия искусства стремительное развитие политических событий в нашу эпоху?

Эти вопросы часто дебатируются на страницах периодической печати многих стран. Активно обсуждаются они и французской литературной прессой. В спорах участвуют романисты, поэты, драматурги, критики, философы, деятели театра, кино, живописцы, композиторы.

Вопрос о роли искусства в общественной жизни в век расщепленного атома и бурной технической революции постоянно занимает умы творческой интеллигенции. Острые проблемы настоятельно выдвигает и сама художественная практика. Заставляют задуматься противоречивые процессы и тенденции художественного развития. Многие деятели культуры осознают, что разного рода модернистские направления заводят искусство в тупик, оказываются бесплодными. В то же время неуклонно возрастает влияние прогрессивного, реалистического искусства во всех его формах.

Для характеристики сегодняшнего этапа развития идейно-эстетической мысли Франции особый интерес представляет специальный номер марксистского журнала «Нувель критик», в котором опубликованы материалы анкеты, проведенной среди французской интеллигенции.

Журнал обратился к мастерам культуры Франции, представляющим различные направления, попросив ответить на вопрос, как они понимают задачи и цели своей творческой деятельности в настоящее время, в чем видят ее смысл. Вопрос был сформулирован прямо и обнаженно: «Чему, по вашему мнению, служит ваше творчество в 1960 году?»

«В сегодняшнем мире, который, казалось бы, повинуется единственно законам экономики, политики и техники,— говорится в редакционном введении,— когда влияние ценностей литературных и художественных может показаться более ограниченным, чем прежде, многие деятели культуры (от писателей до музыкантов) задумываются над тем, имеет ли их творчество какое-либо значение помимо его узкопрофессионального смысла. Между тем современная эпоха раскрывает перед ними невиданные возможности дойти до самых широких кругов читателей, зрителей, слушателей в своей стране и за ее пределами. Разве не должны были бы произведения искусства завоевать новую огромную аудиторию и содействовать движению мира вперед?»

Реализация этого интересного замысла дала возможность редакции собрать весьма ценные свидетельства.

Более восьмидесяти представителей французской творческой интеллигенции — писателей, художников, архитекторов, скульпторов, композиторов, режиссеров театра, кино, телевидения — откликнулись на обращение

редакции. Их ответы и составили специальный номер журнала. Перед читателем развернулась целая панорама современной эстетической мысли Франции, предстали ее различные направления, обнажились тенденции.

Любопытные сведения о составе участников форума «Нувель критик» приведены в заключительной статье редакции. Три поколения французской интеллигенции представлены авторами опубликованных откликов: поколение тех, кому было примерно двадцать лет накануне первой мировой войны; поколение, которое в 20 лет встретило вторую мировую войну; и поколение тех, кому сейчас 20—30 лет.

На страницах журнала состоялась необычная встреча художников, разных по профессии, социальной принадлежности, манере творчества, образу мышления. Здесь и представители Академии (А. Моруа, Р. Клер), и члены «братства литературных кафе», Союза пластических искусств. Среди корреспондентов — выходцы из крупной буржуазии и представители трудовых классов. Их политические убеждения охватывают, как пишет автор редакционной итоговой статьи Роллан Дене, «все горизонты французской демократии». Форум обошелся, как говорится в этой статье, «лишь без подстрекателей войны в Алжире и тех, кто подписывали петиции в противовес «Манифесту 121» *.

* * *

Не всегда легко неискушенному читателю разобраться в разноголосице эстетических суждений французской прессы. Пестрота претенциозных формулировок нередко выдается здесь за богатство и интенсивность творческой мысли, многообразие средств ее выражения. Тем важнее начинание журнала «Нувель критик», задавшегося целью представить в общей публикации различные взгляды, убеждения, теории, а вместе с тем — помочь читателям осмыслить их, поместив свой комментарий и выразив свою точку зрения.

Инициаторы анкеты, говорится в заключительной статье, отнюдь не стремились противопоставлять одно поколение деятелей культуры другому, их задача была выявить наиболее характерные черты облика живой современной французской культуры.

Результаты анкеты и реакция на нее во французской литературной прессе дают, однако, основания сопоставлять и противопоставлять. Да это и необходимо, чтобы отделить живое биение творческой мысли, подлинное многообразие ее оттенков от фальшивой претензии, рассмотреть плодотворные художественные искания в их настоящем свете, отделить их от саморекламы, прикрывающей скудость целей и реакционность позиций. Материалы и отзвук анкеты дают право говорить как о направлениях французской литературы и искусства, устремленных к будущему, так и о тенденциях увести их вспять.

В буржуазной прессе идея форума вызвала явно недоброжелательную реакцию. И это, быть может, лишний раз свидетельствует о том, насколько остро поставлен вопрос марксистским журналом, как задевает он за живое. Трудно иначе расценить реплику автора статьи еженедельника «Экспресс», который писал: «Существует же эта ужасная и стерилизующая идея, будто литература должна быть полезной, служить чему-то» («Экспресс» от 12.I.1961). (Прочитав внимательно ноябрьский номер журнала «Нувель критик», автор из «Экспресс» мог бы узнать, что эта «ужасная» идея не только существует, но и активно поддерживается, отстаивается многими виднейшими представителями творческой интеллигенции Франции.)

Эстеты спешат отвести поднятый коммунистами вопрос. Но он тем не менее требует ответа от всех мастеров культуры, задумывающихся над ее судьбами.

Своеобразная перекличка с форумом марксистского журнала угадывается в речи Сен-Джон Перса, произнесенной в королевской Академии в Стокгольме в связи с вручением ему Нобелевской премии. Эта речь была опубликована вскоре после выхода специального номера «Нувель критик».

Будто прямо отвечая на вопрос анкеты, Сен-Джон Перс размышляет о судьбах поэзии атомного века, сравнивает миссию поэта с миссией ученого.

У Сен-Джон Перса своя концепция, свои позиции. Он отдает дань заблуждениям,

---

* Документ борьбы против войны в Алжире, названный по числу подписавших его видных деятелей культуры. См. «Иностранную литературу» № 11, 1960 г.

говоря о независимости поэзии от идеологии. Одну из задач поэзии он видит в исследовании сверхреального. Сен-Джон Перс оправдывает сюрреалистическую затемненность поэтической формы (в определенной мере она свойственна и его стихам). И все же сквозь эту ограниченность воззрений пробивается высокий гуманистический пафос его речи о поэзии.

Сен-Джон Перс хочет видеть поэзию гордой за человека, «под тяжелой ношей бытия идущего к открывающимся горизонтам нового гуманизма». Поэтическое воображение, говорит он, в наш век, как и в прежние времена, призвано побуждать народы к высоким устремлениям навстречу свету.

Есть, может быть, нечто принижающее поэзию в сравнении, к которому обращается Сен-Джон Перс. «Перед лицом ядерной энергии достаточна ли глиняная лампа поэта для его целей?» — спрашивает он. Сен-Джон Перс оптимистически отвечает на свой вопрос. И все же сам образ глиняной лампы никак не согласуется с нашим представлением о светоче поэзии.

Развитие творческой мысли в самой Франции ведет на практике не к изоляции искусства от идеологии, а к осознанию ясности и силы поэзии, ее роли в художественном исследовании реального мира, в освещении жизненных путей человечества.

Все более настойчиво говорят сегодня мастера культуры Франции о необходимости освободить поэзию от зауми сюрреализма, субъективистской зашифрованности, вернуть искусству большое и ясное социальное содержание там, где оно утрачено.

«Сюрреализм, постсюрреализм — сегодня они уже не осмеливаются выступать под своим именем,— писал недавно Мишель Бютор.— Это доказывает лишь то, что они уходят в прошлое и должны быть заменены. Поэзия должна вернуть себе ясную форму, восстановить интеллектуальное содержание, которое нередко выражается таким образом, что становится недоступным для понимания». Это суждение тем более примечательно, что исходит от представителя школы «нового романа».

Мишель Бютор выразил мысли, которые беспокоят не одного его. Известный драматург Арман Салакру, начинавший в свое время творческий путь в русле сюрреализма и ныне создающий реалистические пьесы, напомнил недавно о все более настойчиво звучащих требованиях сделать театр в полном смысле слова «театром нашего времени, актуальным, как наши заботы, как сообщения газет и радио».

Широко известен резонанс, который вызвала последняя выставка живописи в Осеннем салоне в Париже. В этот салон получила доступ молодежь, и она вытеснила абстракционистов реалистическими работами. Прогрессивная критика оценила итоги этой выставки как большое и симптоматичное событие в художественной жизни Франции. В прессе стали говорить о возрождении французской живописи, страдавшей от засилия абстракционизма и сюрреализма. «Реалистическое искусство утверждается сегодня с большой силой у художников, достигающих зрелости»,— писала газета «Юманите».

Буржуазная пресса пытается преуменьшить значение этого важного процесса, противостоять влиянию передовой эстетической мысли, поднимая на щит эстетские проповеди. Но как бы ни иронизировал «Экспресс» по поводу идеи социального назначения искусства, его влияния на развитие событий, различные круги французской творческой интеллигенции выступают в защиту этой идеи, против эстетской стерилизации художественного творчества.

Эти тенденции культурной жизни Франции с необычайной убедительностью и раскрывает форум журнала «Нувель критик».

* * *

Искусство должно служить прогрессу. Есть нечто глубоко закономерное в том, что эта идея получает все более решительную поддержку в стране Виктора Гюго. Неоспоримость общественной роли художника утверждает подавляющее большинство ответов на анкету. В этих выводах, сформулированных в заключительной статье редакции журнала «Нувель критик»,— главный результат форума, то, что делает его особенно значительным.

Не в попытках проникнуть в сверхреальное, к чему, например, призывает Сен-Джон Перс, а в художественном исследовании реального мира, в раскрытии чувств, мыслей и судеб современников, в отображении социальных конфликтов и потрясений видят смысл творческой деятельности многие поэты, романисты, драматурги, худож-

ники. Участвовать средствами искусства в общественной борьбе, влиять на ход событий, помогать людям жить, находить пути к лучшему будущему — таково их призвание.

Луи Арагон на вопросы анкеты ответил отрывком из новой поэмы. В стихах, обращенных к соотечественникам, с которыми поэт живет «в одном аду» и вместе с ними «истекает кровью» в общей борьбе, Арагон говорит: «Как я хотел бы вам помочь». Эти слова звучат как девиз.

Стихи, исполненные горечи и трагизма,— они аккумулируют трагизм жизни и борьбы всех, с кем вместе идет поэт,— выражают в то же время благородный идеал, рожденный беспредельной любовью к людям — согражданам и соратникам. Суровые условия борьбы не мешают поэту видеть ясную цель:

Полезным быть вам, пусть ваш путь
Вам облегчат мои невзгоды.
(Перев. М. Кудинова)

Сознанием высокой ответственности художника перед обществом продиктованы слова Пьера Гаскара: «Когда я говорю о жизни,— замечает Гаскар.— Писатель здесь должен прежде всего искать сюжеты своих произведений».

Размышляя о роли писателя в наше время, Веркор указывает на ее двоякий смысл: «определение политического выбора в современной исторической обстановке», с одной стороны, и «объяснение самих условий развертывающейся великой эпопеи человека» — с другой. Замечая в своем ответе, что «люди стоят перед тайной бытия», Веркор видит и необходимость «раскрыть эту тайну всеобщими усилиями, заставив ее отступить перед разумом, чтобы постигнуть, в чем заключается роль человека на земле». Писатель верит в действенность слова художника, в его влияние на судьбы мира. Хотя эта мысль и соседствует в его высказываниях с мотивами фатализма, смутными сомнениями, все же на прямо поставленный журналом «Нувель критик» вопрос Веркор отвечает: «В любое время, в 1960 году, как и во всякую иную эпоху, писатель, хочет он того или не хочет, оказывает влияние на своих читателей, а тем самым постепенно и на события».

Веркор допускает возможность творчества «просто так», без всякой непосредственно осознанной цели. Вместе с тем размышления о живых традициях французского искусства и о собственном писательском опыте заставляют его, быть может, с еще большей убежденностью признать правомерность искусства целеустремленного, когда художник сознательно ставит своей задачей влиять на умы современников. Особенно плодотворной эта устремленность художника оказывается в тех случаях, когда его мысли и чувства совпадают с чаяниями миллионов других людей, по-своему их выражают. Искусство действенно и наиболее полезно, если оно отвечает духовным запросам времени и людей или, как говорит Веркор, «настроениям читателей». Именно этим объясняет Веркор популярность и своей книги «Молчание моря», появившейся в годы гитлеровской оккупации Франции и выразившей дух сопротивления французов. Желание действовать, реагировать привело Веркора к созданию книги, «которую ждут люди». «Сопротивление сделало меня писателем». Это признание Веркора делает особенно убедительными его суждения о значении традиции, которую продолжила литература Сопротивления,— о значении традиции мужественной гражданской литературы.

Пьер Гамарра размышляет о месте «физиков и лириков» в современной жизни. В наше время, говорит он, трудно представить себе общество без «рассказчиков» — романистов, поэтов,— без книг, библиотек, кино, телевидения. Да, нам нужны доктора точных наук, математики. Но просим не забывать и «профессоров» литературы. Это было бы опасно для будущих поэтов, так же как и для будущих ученых — исследователей и открывателей.

Общество, которое не смотрит в будущее, умирает, продолжает Пьер Гамарра. Мир должен смотреть в будущее. Романы, повествующие о прошлом и настоящем, помогают смотреть в будущее.

С самых разных сторон, каждый глубоко по-своему рассматривают многие участники форума «Нувель критик» назначение искусства, задачи и роль художника. Поэт Гийевик, например, пишет: «Мне кажется, роль поэта по самой своей сути заключается в том, чтобы нести людям *праздник,* и в том, главное, чтобы его подготавливать. Мне кажется, каждый поэт призван внести — в меру таланта и возможностей —

свой вклад в это неотложное и необъятное дело. В 1960 году это, быть может, мучительнее, чем в иные эпохи, но зато вернее и надежнее».

«С помощью произведений искусства мы хотим будить мысль,— говорит режиссер Жан Вилар.— В отличие от других искусств и других наук, театр — это действие, вызов... Театр — это мысль в действии».

Филипп Супо отмечает, что поэты играют в обществе весьма важную роль, признает поэтическую мечту частью жизни. Мечта позволяет «постигать реальность». В настоящее время, когда некоторые события напоминают возрождение фашизма, пишет Супо, «поэзия — это линия сопротивления».

«...Какое течение в современной литературе я считаю главным? Я уже говорила и писала, что, на мой взгляд, социалистический реализм — передовая литература наших дней»,— отвечает на вопрос анкеты Эльза Триоле.

Она прямо заявляет о своей поддержке передового искусства современности, с наибольшей полнотой и последовательностью развивающего традиции социального реализма классиков.

Задумываясь над тем, какие факторы формировали ее как писательницу, Эльза Триоле называет прежде всего революционные события 1905 года в России, передовую художественную мысль — прозорливый взгляд Толстого, Чехова на социальные процессы, образы революционеров, созданные великими русскими писателями и живописцами.

Триоле подчеркивает глубокую специфичность сферы художественного творчества, этой сложной области духовной деятельности: «Пути, которыми идет к нашему сердцу искусство, неисчислимы и, я бы сказала, неуловимы». В искусстве нет и не может быть единых правил, определяющих раз и навсегда форму и содержание. К этой бесспорной истине Эльза Триоле прибегает в разговоре о социалистическом реализме. Нетрудно увидеть здесь прямую полемику с теми, кто склонны толковать социалистический реализм как сковывающую художника догму. «Если я сейчас стою за метод социалистического реализма, то вовсе не думаю, что он предполагает строго определенную форму или содержание. Он предполагает лишь определенный *результат*». Целеустремленность, идейность отнюдь не подразумевают отказ от художественного многообразия. Наоборот, придают ему смысл, утверждает писательница.

Участники форума ведут профессиональный разговор, охватывая различные аспекты творческой деятельности, обнаруживая различный подход и к существу вопроса и к форме ответа. В трех строках уместился ответ члена французской Академии Марселя Ашара. Две элегантно-непринужденные фразы: «Я служу тому, чтобы заставить людей смеяться. А как говорил мой великий предшественник, наш общий учитель Мольер: «Это очень любопытное занятие заставить смеяться честных людей...»

Жан Эффель, художник, ответил на анкету своим языком, изобразив Саваофа, восседающего на облаках и изрекающего истину: «Тот, кто существует только для самого себя,— не существует...». Художник назвал свой рисунок «началом начал».

Художник Сине тоже ответил карикатурой. Подпись под ней гласит: «Чему я служу?.. Показываю людям подлинное лицо сегодняшней Франции». Рисунок запечатлел «официальное выражение» этого лица: две куклы-марионетки — бравый вояка с обнаженной шпагой и размахивающий крестом клерикал,— которыми управляет некая фигура с засученными рукавами.

За лаконичными строками ответа Мориса Дрюона: «Читать — это жить, ибо это значит узнавать, признавать и понимать. Писатели пишут, чтобы их читали. Этим они и полезны»,— улавливается чувство большой ответственности писателя перед читателем, ответственности за свое призвание. Быть художником — значит нести людям знания, заставить чувствовать, мыслить.

* * *

Во многих столь отличных по существу и по форме суждениях, касающихся самых разных жанров искусства, обнаруживается общность исходных позиций. Передовые представители французской культуры выступают против ориентации искусства на субъективистскую замкнутость, изолированность от общественной жизни и борьбы. При всей субъективности характера творческого акта, творческого процесса субъективизм чужд большому искусству. Говоря о субъективном характере акта

художественного творчества, художник Карзу подчеркивает в то же время объективный общественный смысл и значение его результатов. «Художник,— пишет Карзу,— прежде всего стремится выразить свои чувства, свое отношение к тому, что его восхищает или ужасает. Когда это радость — художник старается передать ее другим. Но если это выражение тревоги перед угрожающими явлениями эпохи, его усилия творца направлены на то, чтобы заставить других разделить эту тревогу».

«В том ли назначение искусства, чтобы услаждать отдельную личность, или оно должно также стремиться возвысить человека, сделать его лучше?» — ставит вопрос Карзу. Его глубоко тревожит тот факт, что в современном искусстве буржуазного мира все чаще и чаще появляются индивидуалистические, выражающие лишь узкосубъективистские идеи их авторов, а потому примитивные произведения, взывающие к животным инстинктам человека. У таких произведений нет идеала. Их цель — низвести человека на низшую ступень, где не будет места гуманизму, замечает Карзу. Такое искусство грозит превратить человека в материально обеспеченного «обесчеловеченного робота». Оно не совместимо с общественным прогрессом. Карзу резко выступает против этих тенденций. «Даже если бы в этом направлении развивалась история, художнику следовало бы попытаться изменить подобный ход развития, так как в конечном счете историю делает сам человек».

Отвергая искусство, которое основывается только на инстинктах, Карзу призывает вернуться к понятию искусства гуманистического, «участвующего в строительстве вселенной по воле человека», помогающего познать и создать новый мир.

Ответ на вопрос, в чем должен быть сегодня смысл деятельности художника, многим участникам форума подсказан событиями, потрясающими Францию. Война в Алжире, угроза нового наступления реакции, милитаризм, нарастание социального протеста в различных слоях общества — все это не вправе обойти писатель, художник, деятель кино, театра, чье призвание — формировать взгляды и чувства, воздействовать на умы и сердца. Всколыхнувший общественное мнение не только во Франции «Манифест 121» — лишь одно из наиболее ярких коллективных проявлений тревоги французской интеллигенции, ее воли преградить путь войне, неофашизму. Воздействовать на развитие событий! Осуждая войну в Алжире, поддерживая справедливые жизненные требования алжирского народа, способствовать установлению мира, торжеству гуманизма! Этими идеями проникнуты ответы многих участников анкеты журнала «Нувель критик».

«Присоединив свой голос ко многим другим голосам,— пишет драматург Артюр Адамов,— я буду хоть в какой-то мере полезен в борьбе против войны и фашизма. А это — задача первоочередная, потому что продолжение войны в Алжире и торжество фашизма во Франции помешали бы нам всем приносить какую бы то ни было пользу».

Книга известного романиста Жюля Руа «Война в Алжире» стала в глазах многих деятелей французской культуры примером мысли и действия, которых требуют от французской интеллигенции время и события. Побывав в Алжире, где он родился и рос, Жюль Руа написал страстное и гневное произведение, раскрывающее роль французских колониалистов в разжигании истребительной войны. Это книга об алжирцах и французах, находящихся по обе стороны фронта, виновниках и жертвах творимой несправедливости. Жюль Руа посмотрел на кровавую трагедию открытым взглядом, рассказал неприкрашенную правду увиденного, понятого. Естественно, что участники анкеты «Нувель критик» говорят о книге Руа как о мужественном гражданском поступке, называют примером для подражания. «Могучую волнующую и покоряющую силу» книги отмечает Франсуа Нуррисье, видя в ней «настоящий удар по лжи». Именно так и должен действовать писатель, заключает Нуррисье. Жюль Руа, как видим, во Франции не одинок.

Подобный же взгляд на роль писателя перед лицом событий, потрясающих страну и общественное сознание, выразил В. Познер. Он также написал книгу о войне в Алжире, стараясь, как он говорит, разоблачить предубеждения и небылицы. «Если мне удалось заставить задуматься хоть какую-то часть моих читателей, побудить к действию хоть немногих,— пишет Познер в своем ответе на анкету,— тогда, пусть в самой малой мере, и я помогу быстрее покон-

чить с этой войной. А это значит — я спасу от смерти хоть нескольких человек, все равно французов или алжирцев».

* * *

Было бы упрощением представлять форум журнала «Нувель критик» лишь как трибуну единомышленников. Это в значительной мере и арена идейно-эстетического «многоборья». Редакция журнала, может быть, права, делая упор в заключительной статье на том, что объединяет или же в чем-то сближает участников форума, имея в виду прежде всего общие интересы развития национальной культуры. Отмечая, например, признание ответственности художника перед обществом, прозвучавшее во многих ответах на анкету, автор заключительной статьи усматривает определенную общность в высказываниях Арагона и Жана Дютура, Артюра Адамова и Натали Саррот.

«Мы различаем в ответах две концепции полезности художника,— говорится в статье,— полезность политическая, непосредственная, такая, как ее понимают Синэ, Адамов, Лапужад («Необходимо, чтобы живопись участвовала в политических действиях»), и полезность менее непосредственная: прекрасно, если писатель, как Брехт, прямо влияет на преобразование общества. «Но и те писатели, к которым не подходит данный случай, могут быть революционны, хотя это и не столь очевидно» (Н. Саррот)».

Мы, однако, не погрешим перед истиной, если укажем прямо и на те суждения участников форума, которые трудно принять и признать плодотворными.

В контрасте с приведенными выше многочисленными высказываниями об активной роли искусства особенно явно обнажается стерилизующий смысл позиции тех авторов, которые стремятся отгородиться от событий общественной жизни и борьбы, свежих ветров и бурь эпохи занавесом предубеждений, уйти в тесный мирок эгоцентризма. Подобное ощущение не покидает, когда читаешь, например, ответ Роже Вайяна Известно, что этот писатель совершил в прошлом эволюцию, которая привела его к созданию прогрессивных реалистических произведений (лучшее из них, на наш взгляд, «Пьеретта Амабль»). В последние годы Вайян отошел от собственных завоеваний. Его недавно вышедший роман «Праздник» был воспринят прогрессивными писателями и критиками как «аморальная книга».

Что касается его ответа на анкету журнала «Нувель критик», то создается впечатление, будто Вайян стремится оговорить право на безответственность.

Вайян до бессмысленности упрощает. «Прежде всего,— пишет он,— надо попытаться определить, в чем отличие предмета обихода (вилка, бутылка, автомобиль) от произведений искусства (картина, роман, поэма). В том, очевидно, что произведение искусства ничему *непосредственно* не служит». Вайян подчеркивает слово «непосредственно». «Непосредственную» пользу он признает лишь за прикладными искусствами, вещами и отказывает в ней явлениям духовной культуры. Вайян соглашается с тем, что писатель «сознательно или несознательно» доказывает, убеждает и т. д. Вайян допускает и принимает все: добро и зло, черное и белое, бунт и смирение «Писатель,— рассуждает он,— принадлежит к определенному классу общества, поднимающемуся или переживающему упадок, он восстает или не восстает против своего класса. Он переживал, переживает или не переживает битвы своего времени. Он счастлив или несчастен, здоров или болен...»

Так эквилибристикой слов снижается серьезность вопроса. Вайян подходит к художественному творчеству с «технической» стороны, судит с точки зрения «отношения создателя художественных ценностей к материалу и технике». И в итоге делает вывод, что «искусство ничему не служит и служит всему», что оно сочетает «бесполезность и необходимость».

Трудно извлечь из подобного ответа определенный смысл в пользу ясно направленного искусства.

У некоторых деятелей культуры вопрос, поставленный журналом «Нувель критик», вызывает борение противоречивых чувств и мыслей, одних озадачивает, других побуждает выступить с возражениями. Так, например, оптимистические ноты в ответе Жана-Луи Бори соседствуют с выводами, порожденными крайней неуверенностью. Бори видит роль литературы в том, чтобы она «будоражила, пробуждала и побуждала» людей. «Я хочу, чтобы мои произведения впивались, как заноза, чтобы они, по-

добно камешку, попавшему в ботинок, заставляли вновь посмотреть, проверить и ботинок, и ногу, и походку». Мысль замечательная и афористичная.

Но не вызывает ли разочарования соседствующее с этими словами утверждение, будто каждый деятель культуры — писатель, композитор или художник — приносит пользу тем, что просто «будоражит», «смущает» людей хотя бы и без ясной цели: задает вопросы, оспаривает ответы, подвергает неустанному сомнению любое решение, борется против привычной манеры думать, видеть, слышать...

Во имя чего же будоражить, беспокоить, звать? — хочется найти ответ в словах Жана-Луи Бори. Писатель отвечает: «Чтобы противиться всеобщему оцепенению, которое нас подстерегает и на которое работает все...» И далее: «Мы должны добиваться не того, чтобы люди постоянно были начеку, это задача непосильная,— но хотя бы того, чтобы они время от времени просыпались». Не веет ли от этих слов безнадежностью?

Художник Франс Мазереель не подвергает сомнению пользу и общественную роль искусства, хотя и пишет: «У каждого деятеля искусства, который следит за тем, что происходит в мире, будет искушение на ваш вопрос ответить: «Искусство не служит ничему». Мазереель выражает тревогу за тех коллег, которые «только развлекают, забавляют, занимают», а вместе с тем и тревогу за условия развития искусства там, где бизнес и коммерция грубо вмешиваются в его судьбы. Надежды на прогресс искусства Мазереель связывает с откликами на его работы в среде не только утонченных интеллигентов, но и самых простых людей из различных стран — США, Советского Союза, Китайской Народной Республики.

«Еще весной,— пишет поэт Тзара,— я бы ответил на ваш вопрос довольно мрачно. Я сказал бы: сорок лет я посвятил литературной деятельности и всегда думал, что она в какой-то мере оказывает влияние на общество, а теперь вынужден признать, что не принес никакой пользы... Сегодня я отвечаю на ваш вопрос с большей надеждой: я вижу, что наперекор всему голос тех, кого называют интеллигентами, постепенно доходит до широких масс». В этих словах мы воспринимаем и отражение сложной поэтической биографии Тристана Тзара, отдавшего столько лет увлечению дадаизмом и сюрреализмом, и оптимистический взгляд старейшего представителя французской поэзии, связывающего свои надежды с прогрессивным движением мысли, общественной борьбой.

* * *

Прямая постановка вопроса: «Чему служит ваше искусство?» — не устраивает эстетствующих литераторов. Одни из них ее отвергают, другие с иронией комментируют. Объявляя себя противниками искусства, преследующего ясно осознанные идейные задачи, эти люди определяют свою цель исключительно как «служение самому искусству».

«Вопрос «Чему я служу?» не может и не должен стоять перед художником, будь он писателем, живописцем или музыкантом. Не должен стоять в 1960 году, как и во всякое другое время»,— утверждает Ален Роб-Грийе, один из лидеров школы «нового романа». Вопрос об общественной роли искусства Роб-Грийе выносит за пределы самого искусства. «Если художник творит серьезно, терпеливо, честно, мужественно, он, может быть, в конечном счете послужит своим творчеством чему-нибудь вне искусства... Но каким образом — он этого не видит». «Себе самому,— продолжает Роб-Грийе,— я могу ответить только одно на вопрос, чему я служу в 1960 году. Я служу литературе, во всяком случае стремлюсь служить».

Натали Саррот, представляющая то же направление во французской литературе, вторит Алену Роб-Грийе. Она, по ее признанию, не спрашивает себя, «чему она служит»,— когда работает. «Я не принадлежу к числу писателей, «обязанных» служить в том смысле, как это представляется сторонникам «обязательств» в литературе. Я считаю, что всякое искреннее литературное произведение непременно подчинено каким-то целям, но эта подчиненность обнаруживается лишь со стороны. Она не может рассматриваться как цель, к которой должен сознательно стремиться писатель. В противном случае,— тенденциозно заостряет Саррот,— он сильно рискует упустить свою истинную цель, на которой должен сосредоточить все внимание, все усилия, рискует оказаться вне литературы».

Саррот более обстоятельно, чем Роб-Грийе, излагает свое эстетическое кредо. «Для меня,— говорит Саррот,— цель творчества состоит в том, чтобы извлечь на свет частицу доныне неведомой реальности и найти форму, которая позволит эту крупицу реальности уловить, сделать ее ощутимой для читателя». Найти доступ в область подсознательного или же не поддающегося осознанию, где только и может произведение «пустить корни, питаться и обрести жизнь». Сопоставляя, подобно тому, как это делает и Сен-Джон Перс, миссию ученого и писателя, Саррот находит, что поиски формы выражения как раз и отличают творческие усилия писателя от исследовательских усилий ученого.

Заметим, впрочем, что Саррот находит (хотя и странным образом) и общность в деятельности писателя и ученого, объясняя ее как характерную черту интеллектуальной деятельности в атомный век: писатель, по ее мнению, ныне уже не в состоянии исследовать мир в целом. Он должен расщепить его на частицы. После Джойса и Пруста, резюмирует Саррот, «произошла революция в литературе: мы стали свидетелями настоящего расщепления материи романа». Саррот могла бы сказать и определеннее — разрушения романа. Она дала довольно меткое определение экспериментаторства представителей школы «нового романа».

Нужно отдать ей справедливость, Саррот идет кое в чем дальше некоторых своих единомышленников и коллег. Она признает «нравственную силу» за произведением, созданным в результате стремления автора «раскрыть новые стороны действительности». Не без предосторожностей, но все же Саррот признает, что «иногда писателю удается оказывать прямое влияние на преобразование общества», опрокидывая «незыблемые представления», предубеждения и условности. Она признается, что принадлежит к буржуазным кругам и «исследует душевные движения, из которых складываются слова и поступки» людей круга, наиболее ей известного. В своих произведениях Саррот видит «косвенную критику буржуазии». Саррот можно уважать и за откровенность. Она не тешит себя большими надеждами. «В настоящее время мои книги привлекают ограниченное число читателей»,— пишет она. Саррот не уверена в том, что это число когда-нибудь возрастет, хотя и думает, что в будущем, когда у людей окажется больше досуга, трудные книги найдут более широкую аудиторию.

Творчество без большой веры, цели и перспективы. Так воспринимаются откровенные суждения и признания некоторых участников анкеты журнала «Нувель критик».

«Я надеюсь, что я служу удобрением,— признается, иронизируя, Жан Дютур.— Быть может, через двадцать, сорок, сто лет оно вскормит несколько кустов. Что до настоящего, то здесь, кажется, дело гиблое... Найдется, может быть, несколько человек, которые меня читают или читали вчера — и то по ошибке... Если меня не будут читать и те, на кого я рассчитываю в будущем, что ж, я буду доволен тем, что писал для себя». Сознание отрешенности писателя от больших социальных проблем порождает ноты безнадежности, изолированности от читателя.

Лишний раз убеждаешься, что искусство, лишенное света, простора и большого дыхания, бескрыло.

* * *

В материалах анкеты встречаются и неожиданные парадоксы. Предложенная редакцией формулировка вопроса об общественном назначении искусства шокировала некоторых авторов в ином плане, они возражают, так сказать, «слева». Представляется, что именно этой тенденцией отмечен ответ художника Лоржу. В своем заявлении он, хочется думать, по недоразумению упрекает коммунистов из «Нувель критик» в том, что они якобы подвергают сомнению полезность деятельности творческой интеллигенции вообще. Лоржу ломится в открытую дверь, с пафосом доказывая марксистскому журналу, что призвание художника — служить «непреходящим целям», противостоять использованию искусства в целях порабощения человека. «Мы служим тому, чтобы помочь человеку понять его величие, воспитывать любовь к жизни, радость самопознания и чтобы в своих произведениях воплощать все, что есть самого здорового и человечного». Вряд ли возможно всерьез заподозрить журнал «Нувель критик» в намерении оспорить или поставить под сомнение эти справедливые идеи.

Кажется, что будто специально художнику Лоржу адресованы слова его коллеги художника Жана Пикар ле Ду, который в ответе на анкету поддерживает постановку вопроса редакцией.

Проблему целеустремленности творчества неизбежно выдвигает жизнь перед каждым художником, пишет Жан Пикар ле Ду. «В наше время, когда политика, экономика и техника, казалось бы, господствуют в мире, может показаться, что искусству в его различных формах — по крайней мере в капиталистическом обществе — не остается ничего другого, как услаждать чрезвычайно узкий круг людей. Это положение объясняется не только самими позициями деятелей искусства — всей социальной атмосферой». К концу XIX века, говорит Жан Пикар ле Ду, нежелание буржуазии понимать искусство заставило художника замкнуться и искать убежища в индивидуализме. «В наши дни снова и снова возникает вопрос: какова цель искусства? Что такое искусство — лаборатория, где ведутся поиски средств выражения; зеркало, в которое вечно глядится художник и не находит ничего, кроме самого себя? Или, напротив, искусство должно быть исполнено глубокого смысла, должно быть свидетелем своей эпохи или даже проще — должно выражать человека и окружающий его мир?.. Этот вопрос,— подчеркивает Жан Пикар ле Ду,— становится тем более настоятельным, что живопись, уже много лет назад ушедшая в поиски линий, цветовых эффектов, сочетаний тонов, примитивных или изысканных звучаний, все больше и больше превращается в своего рода тайную религию, доступную лишь узкому кругу посвященных... Можно ли не заметить, что искусство, лишенное подобным образом общественного дыхания, умирает от нехватки воздуха»,— заключает художник.

Легко понять пыл души и надежды, вложенные Жаном Пикаром ле Ду в слова: «Я думаю, что лишь общество, построенное на более человечных и братских отношениях, только бесклассовое общество позволит художнику придать смысл его творениям, слиться с коллективом, с людьми, в полной мере почувствовать, что он приносит пользу».

Та же тревога и те же надежды определяют пафос отклика Андрэ Фужерона, считающего вопрос о направлении творчества жгучим для живописцев. Об этом заставляет задуматься обстановка, когда «ложные ценности ставятся на место подлинных, которые могли бы явиться свидетельством нашего времени». Фужерон подходит к решению вопроса «от противного».

«Можно было бы спросить,— говорит он,— чему я не хочу служить, когда известно, какая постыдная спекуляция царит на рынке произведений искусства, какие грязные комбинации совершаются, каким образом создаются репутации, какой ценой удается сохранить честное имя. В этой атмосфере, губительной для искусства и деятельности художника, главная цель в том, чтобы защищать традиции национальной культуры, воспитывать вкус к подлинной красоте, противостоять всплывающим на поверхность абстракционистским тенденциям.

Я горю желанием бороться за социальную идею, за определенную красоту. Мне нравится быть борцом. Я служу своей борьбе»,— пишет Фужерон. И сколь закономерным представляется его признание: «Я никогда, собственно говоря, не испытываю чувства бесполезности».

Заостренная и прямая постановка вопроса о том, куда идет французское искусство в наши дни, куда ведут художников их идейные и эстетические искания (слышится в этих вопросах перекличка с памятным горьковским «С кем вы, мастера культуры?»), заставила передовых представителей французской творческой интеллигенции дать столь же прямой и нелицеприятный ответ тем коллегам, которые в силу предубеждений, предрассудков или заблуждений говорят о сковывающем влиянии на художника «идеологических доктрин», требований идейного характера.

Область художественного творчества не из тех, где все заранее известно, ясно и бесспорно. Полемический пафос размышлений Андре Стиля, Луи Дакена, Робера Мерля и ряда других участников форума, коммунистов и некоммунистов, направлен против упрощенного и вульгаризаторского толкования позиций прогрессивных представителей французской культуры.

«Есть люди,— говорит с иронией Андре Стиль,— которых весьма устраивает, когда писателей-коммунистов представляют больше всего занятыми заботами о своей полезности и выпячивают лишь их рвение «служить».

«Каким целям мы служим, сказать нетрудно,— замечает Стиль.— Но, говоря об этом, следует противостоять упрощенному, вульгарному, равно как и сектантскому, толкованию проблемы». Андре Стиль озабочен тем, чтобы отвести несправедливые упреки, опровергнуть нелепые и клеветнические домыслы. Он излагает свои взгляды на творческий процесс, раскрывает его сложную диалектику. В акте творчества, совершаемом писателем-коммунистом, нет ни противопоставления, ни разделения чувства и долга, того, что требует сознание и что рождается в душе. «Я стал писателем потому же — в самом главном,— почему и коммунистом,— пишет Стиль.— Я увидел и узнал страдания, унижения, душевные и иные раны людей, которые заслуживают лучшего... Средствами искусства и обогащая само искусство, я хочу способствовать тому, чтобы этих людей, класс, который несет в себе будущее и помогает ему родиться на свет, все узнали, поняли и полюбили». Стиль подчеркивает, что ему не приходится заставлять себя подчиняться этой цели, чем-либо жертвовать. Эта убежденность органична и непосредственна. Но чтобы видеть и изображать людей, воплощающих лучшие надежды, нужно поставить себя на их место, а тем самым побудить и читателей смотреть на вещи их глазами, чувствовать их сердцем.

Писатель в трактовке Андре Стиля — человек, расчищающий путь к будущему, выразитель «авангарда чувств и авангарда сознания».

Помогать людям жить в мире, который еще плохо устроен, и служить красоте. Эти два тезиса, кажущиеся несовместимыми для эстета, в понимании Андре Стиля неотделимы один от другого. Он исходит не из метафизического толкования понятия красоты. Красоту, достойную пера писателя, кисти художника, Стиль видит в развитии жизни, «во всем, что идет вперед». Поиски красоты в процессе творчества «вопреки сложившимся канонам» связаны в его представлении не с бегством от «решающих тем», социальных, политических, а в углублении их, в «разработке открытым и подземным способом».

Так в концепции художественного освоения мира писателя-реалиста занимает свое место индивидуальное и общественное, красота и политика.

* * *

В правомерности постановки вопроса в том виде, как его сформулировала редакция журнала «Нувель критик», усомнился Пьер Гамарра. Не отпугнет ли это интеллигентов? Не озадачит ли кое-кого без нужды? В обстановке острой идейной и классовой борьбы не служит ли такой подход к искусству поводом для идейных противников, чтобы лишний раз напасть на образ мышления и действия прогрессивных представителей французской культуры? А кроме того, в практическом плане, не может ли требование «служить» помешать собственно художественной деятельности, сбивать на упрощение, схематизм в творчестве?

«Я нахожу вопрос плохо сформулированным и опасным в том смысле, что молодой писатель, прочитав его, рискует задуматься: в самом деле, приношу ли я пользу? Заметим, что это может быть вполне честный человек, честный гражданин. Но он рискует поддаться тревоге, начнет придираться к самому себе, принуждать себя. Он захочет выполнить свой долг в узком и прямолинейном значении этого слова, как школяр, а не в широком гуманистическом плане, в плане искусства. Он придет к схематизму».

Почти подобное беспокойство возникло у Пьера Дэкса. («Известно, к чему приводит понятие об обязательном служении в нашей области: к правоверным утверждениям, к разделению понятий художника и гражданина»,— замечает Дэкс.)

Но есть ли действительные основания для подобной тревоги и беспокойства? Реальны ли опасения, что замысел «Нувель критик» можно истолковать как идею вульгаризаторскую, сектантскую? Такой оборот дела конечно не принес бы пользы ни журналу, ни французскому искусству. Но весь дух и характер анкеты как раз иной. Ее цель и пафос в том, чтобы помочь творцам художественных ценностей полнее осознать требования, предъявляемые нашей эпохой к искусству, помочь преодолеть сковывающие представления тем, кто еще в их власти.

Редакция журнала прямо говорит об этом в заключительной статье. «Сам факт, что журнал воинствующего марксизма ставит в 1960 году перед мастерами искусства вопрос о смысле, который они вкладывают в свое творчество, никого не смущает и не ужасает. Наша анкета оказалась лучше принята, чем это представлялось некоторым

нашим друзьям, боявшимся иного (и они теперь порадуются вместе с нами)».

Редакция видит причины этих опасений в неверном восприятии замысла анкеты.

Организаторы форума преследовали не «узкоклассовые» цели. Он вызван заботой о расширении фронта передовой демократической культуры.

Размышляя над сомнениями по поводу прямой и открытой постановки вопроса анкеты, невольно задумываешься и о другом: объяснимо ли проявление застенчивости в борьбе, когда находишься на передовых позициях прогрессивной культуры? Уместно ли не говорить об этом открыто, с полным сознанием происходящего, когда сама практика общественного и художественного развития настоятельно выдвигает на первый план требование искусства реалистического, искусства большого социального содержания и гражданского пафоса?

Возражая Пьеру Гамарра (анкета журнала «Нувель критик» обращена в нашем понимании не к новичкам, а к зрелым мастерам культуры), хочется присоединиться к кинорежиссеру Луи Дакену, который видит угрозу передовому искусству Франции конечно же не в открытой защите его принципов, а в полицейских и цензурных преследованиях, в политике удушения прогрессивной творческой мысли. Нельзя не разделить тревоги, которую испытывают он и его коллеги по поводу грубого и беспощадного вмешательства властей в творческие дела. «Мы испытываем такое политическое, экономическое и обскурантистское давление, что обречены говорить намеками, вполголоса, шепотом». «Кинофильм с метафизическим названием,— говорит Дакен,— оказывается в более завидном положении, чем фильм с названием реалистическим. Можно беспрепятственно выпускать развлекательные и пустые ленты, но возводятся всевозможные преграды на пути к зрителю картин, поднимающих общественные социальные проблемы. Существующая сегодня во Франции система позволяет вводить декрет, лишающий права на творческую деятельность всех, кто подписали «Манифест 121». «Не превратится ли завтра в тюремную камеру та башня из слоновой кости, в которой мы все склонны позволить себя запереть?» — гневно заключает Луи Дакен.

Пьер Дэкс афористично сравнивает выпущенную писателем книгу с брошенной в море бутылкой: попадет ли она в чьи-либо руки и поймут ли, что в ней заключено,— дело случая. Этот образ — свидетельство горестных раздумий писателя об условиях распространения литературы в буржуазной стране, где путь книги от ее творца до читателя «почти всегда полон случайностей» («...к тому времени, когда роман окажется в руках читателя, реклама, критика, продавец уже дадут ему оценки, более или менее пристрастные, более или менее искаженные...»)

Трудно не согласиться с впечатляющей картиной, нарисованной Дэксом. Но трудно согласиться с Дэксом, когда он из этих размышлений делает вывод, что «возможность содействия движению мира вперед» от автора произведения не зависит. Поставим уточняющий вопрос: если автор не вложил в свою книгу огня души, увлекающей мысли, явится ли она хорошей духовной пищей, когда все же попадет к читателю? Придаст ли ей кто-то другой, кроме автора (критика, реклама, продавец), качества идейного, морального и иного путеводителя? Требуется ли отвечать, что сила воздействия книги зависит от автора, его таланта, образа мышления, способа художественного выражения, знания жизни.

Дэкс в конечном счете приходит к признанию того, что в начале ставит под сомнение. Если писатель хочет быть гражданином и художником, он делает выбор, приходит к осознанию ответственности, берет ее на себя. Выбор позиции, сознание ответственности художником во многом определяет смысл и содержание его творчества.

От этого зависит, будет ли оно полезным или ненужным для людей.

* * *

В заключительной статье редакция уточняет свою концепцию назначения искусства: исходить в толковании проблем художественного творчества не из категорий «неизменной вечности» или «непосредственной актуальности» — исходить из интересов современников, живущих в нашу эпоху, действующих, изменяющих мир и самих себя. «В результатах творческого акта заинтересован не только художник, но и все люди, которым он помогает в поисках нового, современного, в преобразовании действительности, воспитании человека».

Редакция указывает, что в этой перспективе понятие культуры приобретает новый смысл. «По-новому начинают понимать сущность искусства и наши современные художники, каких бы идеологических и политических убеждений они ни придерживались. Поль Валери не задает больше тона... Концепция сущности и роли искусства в свете требований современности теоретически сформулирована социалистическим реализмом. Социалистический реализм согласует художественное творчество с научным, материалистическим пониманием природы и общества». «Мы включаем художественное творчество,— говорит автор заключительной статьи,— в ритм исторического движения, который определяют люди. Марксистская теория искусства, социалистический реализм считают главным для творчества художественное отражение социальной действительности. Чем шире аспект этого отражения и чем ближе оно к реальности, тем ценнее произведение.

Эта теория не является монополией пролетариата, его партии или же художников-коммунистов. Она представляет основу научной эстетики. Она стала эстетической теорией коммунистов только потому, что она научна, как научна их общая концепция жизни. Принимая социалистический реализм, наша критика открыто провозглашает свои цели. Мы хотим служить вместе с нашими читателями, вместе с художниками и писателями делу защиты и развития культуры нашей страны».

Некоторые авторы откликов, парируя вопрос, адресованный им, предложили самим инициаторам ответить, как они рассматривают поднятые проблемы. Редакция сочла своим долгом выступить в заключение с обстоятельным разъяснением своих позиций — идейных, политических, эстетических. Редакционная статья помогает деятелям французской культуры полнее понять экономическую, идеологическую и политическую атмосферу, которая оказывает влияние, во многом определяет развитие художественной мысли во Франции.

Марксистская критика, говорится в редакционной статье, не отделяет художественное творчество от всего того, что способствует или мешает успеху произведения, тому, чтобы оно стало достоянием читателя, зрителя, частью его мечтаний, его надежд или его гнева. Когда деятели искусства испытывают в своей работе невыносимые ограничения, давление монополий, старающихся выжать из всего прибыль, «...наша обязанность объединить свои усилия с их усилиями, с усилиями наших читателей, в борьбе за устранение сковывающих препятствий».

«Культура, литература, искусство обогащают жизнь своим вкладом. Нам ничто не чуждо из того, что создает художник, если его произведения в какой-либо мере учат лучше жить. Мы хотим, чтобы нас поддерживали создатели художественных ценностей, а не выступали против нас. Поэтому мы не ограничиваем свои симпатии одним классом, одной группой или одной тенденцией, принимаем и защищаем художественные богатства, которые создает все общество». Таков широкий взгляд марксистского журнала на проблемы литературы, искусства, культуры.

Панорама французской эстетической мысли и вытекающие из материалов анкеты выводы не в пользу «олимпийцев», которые, по словам Робера Мерля, «приспособленчески убегают от действительности» и которые склонны считать поэзию не более чем тусклой глиняной плошкой. Художественное творчество сегодня — это светильник разума, который может и должен служить человечеству, его будущему.

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

Мера таланта и мера ответственности

Можно без всякого труда представить себе, что среди наших читателей найдется немало людей, которые предпочтут следующим образом видоизменить поставленный здесь заголовок: мера таланта определяется мерой ответственности.

Именно это, в конечном итоге, и имеет в виду чешский критик **Сергей Махонин**, когда в статье, напечатанной в **«Литерарных новинах»**, категорически настаивает: «Писатель обязан помнить, что он пишет не для себя, а для людей».

«Писать не для себя, а для людей» — это, по существу, означает проникнуться по-настоящему чувством ответственности перед читателем.

Ряд статей, опубликованных за последнее время в чехословацкой печати, свидетельствует о том, что писатели этой страны все больше постигают решающее значение того требования, которое выражено словами «писать для людей».

Представляется, например, знаменательным тот факт (о нем сообщил в своей статье в **«Литерарных новинах»** известный поэт **Вилем Завада**), что созданный в стране «Клуб друзей поэзии» насчитывает сейчас уже более двадцати тысяч членов.

Совершенно естественно, что в критических статьях немало места уделяется таким проблемам, как появление новых писательских имен, творческий рост и настроения литературной молодежи. Тот же Завада с удовлетворением констатирует, что в литературу пришло много новых писателей и что все они были встречены со вниманием и в издательствах и в журналах. Тем не менее он же вполне правильно, как нам кажется, напоминает, что, хотя «забота о приливе новых сил в литературу» является одной из главных забот, уже с первых шагов следует у этой молодежи воспитывать высокое чувство ответственности и потому «перед ней не надо заискивать и не надо ее похлопывать по плечу».

Принято считать, что молодежь является носительницей и провозвестницей новых форм в литературе, что молодые таланты — всегда поборники ультрасовременного новаторства. Касаясь в своей статье в журнале **«Пламен»** этого весьма острого и злободневного вопроса, критик **Иржи Гаек** имеет все основания вновь и вновь подчеркнуть:

> «Самыми ультрасовременными бывают обычно те, кто мало заботятся об этой ультрасовременности, а всю свою силу художника направляют на то, чтобы как можно ярче выразить дух, ритм и ощущение жизни своего времени».

Это, разумеется, вовсе не означает, что молодым писателям заказаны пути поисков в области формы, если они подчинены решению главной задачи, о которой упоминает выше Гаек, и если, следовательно, формальный эксперимент не становится самоцелью.

> «Поэтому,—отмечает далее в той же статье Гаек,— я совершенно не намерен подозревать молодую чешскую прозу в склонности к субъективизму, к литературщине и прочим порокам, я вижу, как усиленно она ищет средства выражения того, что автор намерен выразить...»

Эти поиски особенно понятны и законны, если иметь в виду, что в наше время судьба каждого человека в значительно большей степени связана и переплетена с судьбами всего человечества, чем это было, скажем, в XIX веке. Таким образом, считает Гаек, можно утверждать, что молодые чешские писатели ведут в своем творчестве диалог со временем, в котором они живут, с эпохой, современниками которой они являются. И при этом они неустанно и неуклонно пытаются найти для этого содержания адекватную форму.

> «Я уверен,— замечает Гаек,— что молодая чешская проза, хоть ее путь и не всегда будет вести к успехам, хоть она и не избежит ошибок,— оправдает доверие социалистического общества, доверие своих читателей».

Под знаком неменьшей заинтересованности в правильном и плодотворном курсе развития литературы проходила дискуссия о молодых и на страницах венгерской печати.

Участники дискуссии уделили главное внимание положительным явлениям в творчестве молодых. По авторитетному мнению первого секретаря Союза венгерских писателей **Имре Добози**, высказанному им в статье **«Мерило честности»**, напечатанной в газете **«Элет эш иродалом»**, молодое поколение венгерских писателей идет по верному пути, а перспективы его творческого роста, несмотря на отдельные срывы и частные неудачи, являются благоприятными. С удовлетворением констатирует Имре Добози, что молодые писатели — участники дискуссии выступали с боевых социалистических позиций. Можно считать, отметил И. Добози, что «социализм стал сутью их творчества». Это, однако, не означает, что молодые писатели уже научились отображать действительность с достаточной глубиной и художественной достоверностью.

> «Писатель должен,—подчеркивает Добози,— не только исследовать земную кору у себя под ногами, но и идти вглубь, докапываться до тех слоев, где все еще кипит и только образуется».

Вдумчиво анализируя материалы этой дискуссии, нельзя не заметить, что тема воспитания молодого писателя в духе ответственности перед обществом и современностью занимает в ней весьма видное место.

Так, скажем, критик **Роберт Фалуш** считает необходимым ясно сказать, что идейные взгляды некоторых молодых писателей Венгрии еще не свободны от противоречий, и это не может не сказываться на их творчестве, а иногда даже и на общественном поведении. Автор считает, что одних лишь патетических ссылок на творчество Шандора Петефи и Аттилы Йожефа недостаточно. Важно следовать их нестареющим традициям, их благородному примеру в своем творчестве. Только на этом пути можно добиться настоящих успехов.

«О рабочих — но как?» — выразительно озаглавил свою острую статью участник дискуссии молодой венгерский писатель **Андраш Табак.** Он решительно выступает против тех, кто не прочь принять за литературу о рабочем классе книжонки, полные «лирических излияний» и «самодовлеющей эротики».

Книга, в которой рабочий изображается даже в качестве центрального героя, не является в любом случае произведением социалистического реализма. Точно так же изображение жизни отдельного рабочего далеко не всегда идентично изображению рабочего класса в целом.

Ибо, подчеркивает Табак, дать до конца правдивый коллективный портрет рабочего класса в литературе может лишь писатель, обладающий социалистическим мировоззрением.

Далее Андраш Табак напоминает о советах, данных в свое время А. М. Горьким советским писателям, когда речь шла о решении темы рабочего класса в литературе. По мнению Табака, ошибка некоторых молодых писателей Венгрии состоит и в том, что они недостаточно изучают опыт советской литературы в этой области.

Острота и принципиальность высказываний многих участников проведенной дискуссии сама по себе свидетельствует, как подчеркивает газета «Элет эш иродалом», не только об их идейной зрелости, но и о том, что воспитание молодого поколения венгерских писателей идет в верном направлении

Способность писателя осознать свою ответственность перед обществом, перед народом, мобилизовать все свои творческие силы, всю зоркость своего ума, всю стойкость своих идейных убеждений является в конечном счете показателем меры его подлинной талантливости.

На сцене и за кулисами

Не так давно в Гамбурге по негласному указанию властей запретили организованную ПЕН-клубом встречу деятелей культуры ГДР и ФРГ, на которой предполагалось заслушать доклад «Толстой, кризис культуры и мы», а также провести обсуждение ряда произведений, в том числе и одного из новых рассказов Арнольда Цвейга. Когда участники встречи, уже собравшиеся в Гамбурге и внезапно поставленные перед фактом запрета, пытались созвать пресс-конференцию, вмешалась уголовная полиция и произнесла сакраментальное «не допущу!». Подобные действия, как отметил еженедельник **«Зоннтаг»**, имели место в ФРГ чуть ли не впервые после 1945 года, то есть после свержения гитлеровского режима.

Почти одновременно с этим запретом в Мюнхене были арестованы деятели культуры ГДР, прибывшие по приглашению своих западногерманских коллег для дружеского обмена мнениями по животрепещущим проблемам духовной жизни страны.

Может показаться, что местные власти в ФРГ проявляют свой «крутой ндрав» только тогда, когда речь идет о деятелях культуры, прибывающих из ГДР. Иначе говоря, что они попросту страдают отсутствием «чувства гостеприимства». Прискорбное и наивное заблуждение! Боннские чиновники от культуры никак не жалуют и своих собственных писателей, режиссеров, актеров, художников, если те кажутся им хоть в какой-то мере «подозрительными».

Известный немецкий режиссер и актер Фриц Кортнер создал телепьесу по комедии Аристофана «Лисистрата». План постановки состоял в том, чтобы перенести действие в наши дни. Таким образом, Лисистрата оказывается женой химика, который открыл новый вид горючего, после чего получил приглашение отправиться в США на очень выгодных условиях. В этот момент Лисистрата, стремясь удержать своего супруга от столь опрометчивого шага, предупреждает его: «Чем бы ты ни занимался — горючим, удобрениями или еще бог знает чем,— все это бомбы».

Сразу же после появления этого телеспектакля словно по команде четыре крупнейших представителя телевидения ФРГ обрушились на Фрица Кортнера со всевозможными обвинениями. «Сплошная чепуха»,— заявил один из них. «Политическая узость»,— заметил другой. И третий воскликнул в сердцах, выдав, так сказать, с головой всех своих коллег: «Просто неприлично выставлять в столь карикатурном виде всех сторонников атомного вооружения». Здесь, как любят говорить немцы, и зарыта собака...

> «Сколь бы трагикомически ни звучала вся эта история,— пишет еженедельник **«Зоннтаг»**,— нам представляется все же очень не ко времени рассматривать ее лишь в юмористическом плане. Надо ясно отдать себе отчет в том, какую коварную игру ведут в данном случае боннские пастыри от культуры. Они прямо не говорят: «Это запрещено!» Они ведь демократы! И потому они инсценируют закулисную интригу, с тем чтобы заставить замолчать «неприличных» противников атомного вооружения. Угроза откровенно фашистского подавления мысли налицо!»

В итоге было официально признано, что постановка Фрица Кортнера проникнута «аморальностью» (!) и «чрезмерным антимилитаризмом»(!!). Известная западногерманская актриса Роми Шнейдер, исполнительница одной из главных ролей в «Лисистрате», заметила по данному поводу: «Аморально? Ну, это самая большая глупость, какую я когда-либо слышала». Той же красноречивой точки зрения на весь инцидент придерживаются и другие деятели культуры ФРГ.

Своеобразным «полем битвы» противоборствующих сил следует считать также и театральную афишу в ФРГ, эту витрину театрального репертуара. В ней можно, правда, иной раз встретить имя Бертольта Брехта. Но пестрит она именами Ионеско и Сэмюэля Бекетта, не говоря уже о тех, кто своими бульварными пьесами, по выражению газеты «Зоннтаг», «засоряют мозги зрителей».

> «Все эти пьесы, отрицающие смысл жизни, определяют лицо сегодняшнего театрального репертуара в ФРГ,— читаем мы в этой же статье,— они занимают в нем видное место и открыто помогают осуществлению политики Бонна. Как ни отрадны, таким образом, стремления некоторых деятелей театра следовать традициям критического реа-

лизма, следует все же подчеркнуть, что наряду с этим дают себя знать пассивное отношение к действиям реакции и политическая летаргия. Даже осуждая ремилитаризацию, неофашизм, атомное вооружение, многие делают это недостаточно активно.

...Сейчас боннское правительство,— продолжает «Зоннтаг»,— стремится разорвать связи с ГДР, чтобы таким образом облегчить себе борьбу против всех демократических и свободолюбивых сил и уничтожить последние признаки гуманистических устремлений.

...Клерикально-милитаристское боннское государство подготовляет тотальное подчинение всех деятелей культуры. Сейчас лишь немногие художники сопротивляются этой унификации. Вместо того чтобы вести активную борьбу, многие деятели театра уходят во внутреннюю эмиграцию... Они не стремятся увеличить свои силы в совместных выступлениях, а действуют изолированно и в одиночку. Вот почему, несмотря на отдельные прогрессивные тенденции, основная линия западногерманского театра сегодня лишена большой цели и сам он переживает период духовной и экономической нищеты, несмотря на неоновый блеск банковских дворцов и универсальных магазинов. Театр пал жертвой культа формальных изысков, поверхностного подхода к действительности и полон того же страха перед реальностью, каким объяты правящие классы. Там, где следовало бы вести прямую и последовательную борьбу, где нужно сжать пальцы в кулак, он подымает вверх указательный палец. Хотя тем самым театр якобы делает как бы предупреждающий жест, каким бессильным выглядит этот жест при слепящем свете большой лжи и на фоне походного марша неомилитаристов и фашистов».

«Писатель — тоже член общества»

Художник и общество... Тема, казалось бы, старая как мир, или, скажем точнее, как само общество, но вместе с тем и вечнозеленая тема, исчерпать которую не дано никому по крайней мере до тех пор, пока существует неутоленная и неистребимая потребность человека в искусстве, в культуре. В подтверждение этой истины можно сослаться на анкету, которую провела шведская газета **«Ню даг»**, добившись при этом результатов весьма весомых, убедительных и примечательных со многих точек зрения.

Перед тридцатью виднейшими деятелями современной шведской культуры были поставлены два исчерпывающих в своей лаконичности вопроса:

Какое значение для современности имеет ваше творчество?

Чего вам в настоящее время недостает для творческой работы?

Характеризуя писателей, приславших ответы на эти вопросы, газета «Ню даг» писала:

> «Мы обращались только к так называемым известным писателям и художникам — хотя запросы у них в общем довольно скромные,— то есть к тем, у кого годы самой тяжелой борьбы за существование, а порой и голода остались позади».

Поступая таким образом, редакция «Ню даг», видимо, стремилась к тому, чтобы ответы на поставленные вопросы не были продиктованы одними лишь личными невзгодами, не были окрашены в чересчур субъективные, горькие тона.

Нам представляется также, что анкета газеты «Ню даг» имеет немаловажное значение еще и по другой причине: в современном капиталистическом мире Швеция считается своеобразным «государством благоденствия», этаким «заповедником экономического благополучия». Нейтралитет, которого придерживалась Швеция во время двух мировых войн, потрясших мир в XX веке, дал ей возможность не только нажиться на этих войнах, но и добиться сравнительно высокого уровня жизни для довольно широких масс населения. Что представляет собой в этих условиях современная шведская буржуазная культура? Как чувствует себя в этой «сверхблагополучной» капиталистической стране писатель, художник, деятель культуры? На эти кардинальные вопросы анкета «Ню даг» дает поистине красноречивые ответы.

Пожалуй, наиболее отчетливо и откровенно, хоть и не без свойственной молодости прямолинейной горячности, высказывается одаренный и сравнительно недавно приобретший известность писатель **Ян Мюрдаль.**

«...Никак нельзя сказать, что Швеция находится сейчас на культурном подъеме. У нас царит дух враждебности к культуре, и ни те, кто властвуют в экономике, ни те, кто определяют нашу политику, даже не стыдятся этого.

Швеция, если брать положение в мировом масштабе, вее больше превращается в маленькое паразитарное государство, где нельзя вести настоящую конкретную дискуссию, ибо, как отмечал Стриндберг, здесь каждый интересуется только своими делами и жизнь развивается конформистски и мещански. Это не случайное наблюдение. Наоборот — оно довольно точно характеризует наше место в мире. В мире столь беспокойном, или, точнее, в мире, который освобождается и развивается в сторону достижения подлинного умиротворения, шведское спокойствие может закрыть, как наглазниками, любую мысль. И при таком положении дел мы все больше скатываемся — медленно, но верно — к культурному уровню, который отличал раздробленные немецкие княжества в восемнадцатом веке.

Маниакальное стремление к «спокойствию», дающее себя знать у нас в любой дискуссии, характеризует почти все, что говорит шведская пресса, оно представляет собой не только угрозу всей нашей культуре, оно подвергает опасности само наше существование. Ибо мнимое спокойствие ради сохранения ложных иллюзий приводит ко все более недвусмысленно враждебной позиции по отношению к тем народам, на угнетении которых основано это спокойствие».

Таким образом, «тихая заводь» шведского благополучия, застойная и затянутая тиной воинствующего мещанства, по мнению Мюрдаля, менее всего пригодна для развития культуры, так как содействует застойности мысли и угасанию творческого духа!

Если Мюрдаль ставит вопрос о состоянии современной буржуазной культуры в Швеции с позиций социально-политических, то другой, значительно более маститый его собрат по перу **Эрик Бломберг** стремится осветить ту же проблему скорее в моральном, бытовом и социально-этическом плане. Подчеркнув, что ему как писателю давным-давно «не хватает возможности внести в решение важнейших вопросов политики и культуры вклад, достаточный для того, чтобы завоевать широкие круги читателей и слушателей», Эрик Бломберг воссоздает в достаточной мере откровенную картину современного состояния литературной жизни Швеции.

«Как же могло получиться, что у нас не наблюдается расширения контактов с читателями, активизации творческой деятельности, что этому, наоборот, всячески препятствуют, во всяком случае тогда, когда речь идет о писателе, не желающем отказаться от своей независимости?

Причина, по-моему, коренится в недостаточной демократичности нашей культурной жизни. В стране господствует литературный монополизм. Одно могущественное издательство посредством печати и критиков определяет все литературные оценки и даже распространение произведений художественной литературы. Один литературный журнал, одна большая ежедневная газета благодаря своим экономическим ресурсам формируют общественное мнение.

...Монополизм достаточно эффективен, когда речь идет о том, чтобы превознести до небес какого-нибудь одного писателя, чье возвышение почему-либо считается выгодным с экономической или идеологической точки зрения; эффективен он и тогда, когда надо замалчивать, принижать или искажать творчество какого-нибудь другого писателя, с которым из каких-либо соображений хотят расправиться.

Если какой-нибудь писатель провинился в глазах правящих кругов, к примеру — из-за своих социальных или политических убеждений, и не желает отказываться от них, ему будут мстить всеми доступными средствами, в том числе и экономическим нажимом, ибо никто не может быть менее свободен, чем свободный художник. Для того чтобы издать свои книги и получить за них что-нибудь, ему потребуется не меньше времени, чем для написания их».

И далее в статье Бломберга следуют абзацы, уже само появление которых — независимо от воли автора — звучит как страстное, яркое обличение буржуазного общества. Вот они, эти строки, поистине облитые горечью и гневом:

«Что ж, выходит, писатели не должны жить по-человечески, терпя лишения ради того, чтобы издатели наживали миллионы?

Писатель — это вам не тот гордый бедняк, которому достаточно питаться доброхотными даяниями. Он точно так же, как и все, имеет право на достойное вознаграждение за свой труд и право заниматься своим делом, не прибегая к унизительным компромиссам.

Писатель — тоже член общества. В эпоху социальных изменений и битв он не может стоять в стороне от событий. Пытаться связать его, заглушить его голос для того, чтобы он почувствовал возмездие за свои действия, пытать-

ся изолировать писателя, обрубить его связи с людьми — значит лишить его кислорода, необходимого и для творчества и для материального существования».

Из приведенных высказываний можно сделать по крайней мере тот вывод, что действительно талантливому писателю, художнику, деятелю культуры, если он хочет служить обществу, а не прислуживаться перед теми, кто являются финансовой знатью и потому считают себя «солью земли», трудно живется в современной Швеции. Свои права художника он вынужден отвоевывать в тяжелой, сложной, почти всегда неравной борьбе, иной раз даже без сколько-нибудь значительных шансов на успех.

Один из самых известных сегодня в Швеции писателей **Ян Фридегор,** говоря о тех, кто, сидя на денежном мешке, полагают, что они и только они обладают правом «заказывать музыку» деятелям культуры, предупреждает:

«Мне кажется, что в последнее время наблюдается умышленный ажиотаж вокруг вопроса о замках и поместьях. Можете не сомневаться, что их владельцы не дремлют. Если им представится удобный случай, они немедленно ринутся в бой и постараются вернуть страну к временам феодализма, идейные устремления которого до сих пор дают себя знать в их партийной программе».

Этому наступлению реакции Фридегор противопоставляет весьма четкую литературную позицию, в том числе и тогда, когда речь заходит о так называемой «исторической миссии» шведской аристократии.

«Я не переоцениваю вклада, сделанного мною с помощью моих книг и устных выступлений,— пишет Фридегор,— но смею надеяться, что и я добавил крупицу соли в сваренную народом кашу. Тем более что моя литературная деятельность началась под недоброй звездой: мощные критические силы были пущены в ход, когда я начал изображать общество таким, каким оно представлялось мне и многим другим. Максим Горький дал мне решимость ничего не скрывать и не приукрашивать действительность. Помимо всего прочего, я рано осознал, что исторические сведения, которыми пичкают нас, приукрашены, если не сказать — в корне неверны; у нас никогда не было никаких оснований задирать нос перед другими народами и особенно в тех случаях, когда речь заходит об угнетении трудящихся масс; не было «героев» в жабо, высоких сапогах и при шпаге — ни на тронах, ни вокруг тронов; были просто обыкновенные люди, которые часто злоупотребляли своей властью».

При всем том Ян Фридегор отнюдь не переоценивает ни своих возможностей, ни удельного веса своих выступлений и написанных им книг.

«Когда я пишу о невероятных бедствиях прежних войн, таких, какими они встают перед нами со «страниц летописей», в данном случае — окружных отчетов, списков убитых, донесений и т. п. с начала XVIII века и далее, я льщу себя надеждой, что люди услышат мой голос хотя бы как комариный писк в тот момент, когда гром военного оркестра случайно затихнет, ибо дирижер собьется с такта или сделает передышку. Крохотный, совсем крохотный вклад в дело мира».

Фридегор ясно видит те препятствия, какие нагромождены на пути у каждого честного писателя в современной Швеции, в том числе и на его собственном пути. Об этом свидетельствует хотя бы то, как он сам рисует «интеллектуальный пейзаж» сегодняшнего книжного рынка этой страны.

«Серьезные книги теряются среди пестрых обложек искажающей действительность ерунды, которую больше всего импортируют из-за границы. Газеты и книги отлично приспособлены для того, чтобы человек держал их перед глазами — то есть между собой и действительностью».

И тем не менее Фридегор не намерен складывать свое писательское оружие и, так сказать, сдаваться на милость власть имущих. Он непримиримо заявляет: «...Ничто не помешает мне высказать или написать то, что я считаю разумным и справедливым,— ни законы, ни отдельные личности».

На первый взгляд, с несколько иных позиций, но, в конечном счете, все о той же общественной миссии писателя, о гуманной цели его творчества напоминает и другой известный шведский писатель **Свен Эдвин Салье.**

«Мне представляется наиболее важным, чтобы писатель как можно меньше показывал самого себя, чтобы его цель не всплывала на первой же странице, а чтобы читатель получил возможность постичь смысл произведения в процессе чтения. Смысл любого произведения заключается, на мой взгляд, в том, что оно — сознает это его автор или нет — должно беспокоить, будить,

обвинять, но одновременно исцелять и убеждать отдельных людей, социальные группы, народ.

Задача книг, пожалуй, заключается в том, чтобы уничтожить изолированность, создать общность, внушать уважение к отдельному человеку, ко всему, что живет на свете.

Так, по-моему, воздействует литература, если она современна.

Я хотел бы, чтобы так воздействовали мои книги.

После двадцати лет писательского труда мне совершенно ясно: книги важнее всего для тех, кто одинок, для тех, кому тяжело».

Такого рода ответы, весьма впечатляющие глубокой продуманностью взглядов и бескомпромиссной готовностью их отстаивать и защищать, составляют своего рода ядро всей анкеты «Ню даг». Не следует, однако, закрывать глаза и на то, что нелегкие условия, в которых живут современные шведские писатели, не могли, разумеется, не наложить отпечатка на их воззрения. Неверие в свои силы, скепсис, раннее увядание мысли, наивность, граничащая с цинизмом, и цинизм, прикидывающийся наивностью,— все это тоже до известной степени нашло свое отражение в отдельных ответах на анкету. Так, режиссер **Хампе Фаустман** и художник **Пер Фальк** на вопрос о том, имеет ли их творчество какое-либо значение для современности, словно сговорившись, отвечают: «Никакого».

Еще более показателен ответ, данный писателем **Мортеном Эдлундом:**

«Смысл моего так называемого «творчества» заключается в том, что я могу с его помощью жить более или менее сносно, насколько я этого заслуживаю. А кроме того, я не люблю рано вставать.

Дайте мне квартиру, и я переверну весь мир».

Мы далеки от мысли возлагать, так сказать, всю полноту ответственности за подобного рода высказывания только на их авторов. Более того, нам представляется даже, что образ мыслей такого рода «бесквартирных архимедов» порожден растлевающим воздействием буржуазного общества. Того самого общества, чье лицо, достаточно ярко охарактеризованное приведенными выше высказываниями, видно еще более отчетливо, если прислушаться к двум репликам — писателя **Ивара Лу-Юханссона** и композитора **Ганса Эклунда.**

«Страна, подобная Швеции,— с горечью констатирует Лу-Юханссон,— очень много делает для того, чтобы познакомить другие страны со своими техническими достижениями, но почти ничего для того, чтобы познакомить их со своей литературой».

«Хоть как-нибудь прожить» — вот лейтмотив высказывания Ганса Эклунда.

«Много говорится,— пишет он,— об условиях жизни деятелей искусства. Я, со своей стороны, считаю вопрос неразрешимым до тех пор, пока правительство не осознает, что мы — тоже граждане Швеции, страны, где искусство сегодня нужно больше, чем когда бы то ни было. Деятели искусства — люди непритязательные. Все, что им надо,— это возможность хоть как-нибудь прожить, и тогда они смогут всей душой отдаться любимому делу.

Я хочу закончить смелым предложением: хотелось бы знать, может ли, к примеру, инженер с большим стажем, работающий на большом предприятии, дойти до того, чтобы быть вынужденным, приработка ради, продавать в свободное время книги? Безумная мысль, не правда ли?»

Мы не случайно заключили наш обзор высказываниями тех участников анкеты, кто недвусмысленно напоминают о трудном материальном положении деятелей культуры в Швеции. Именно на этой проблеме сосредоточено внимание и заключительной статьи «Ню даг», подводящей итоги всей дискуссии. Газета требует создания государственного культурного фонда в Швеции в качестве неотложной меры помощи подавляющему большинству деятелей литературы и искусства этой страны.

«Создание такого фонда,— подчеркивает «Ню даг»,— было бы естественным следствием ответственности общества за развитие культурной жизни. Такой государственный культурный фонд реально отвечал бы не потребностям муз, а потребностям нации. Памятуя о том, сколь неслыханной покажется эта мысль тем кругам, которые именуют себя образованными, но на деле являются прежде всего привилегированными, мы не осмеливаемся просить больше одного миллиона крон.

Один миллион крон в год...— неужели это так много, если учесть, что на армию, флот и авиацию расходуется 3500 миллионов в год?»

В той же заключительной статье упоминается высказанная в ходе дискуссии мысль о необходимости более широкого общения

с «другими странами, другими идеями и точками зрения», в том числе и с бывшими колониальными странами, что послужит средством борьбы против «отсталости и мещанского самодовольства в Швеции».

«Являются ли наши восемнадцать (имеются в виду 18 «бессмертных», то есть члены шведской Академии, присуждающие Нобелевскую премию по литературе.— **Ред.**) теми законодателями вкуса и духовными вождями, которых заслуживает наш народ? Если да, если дело обстоит так печально, то тем больше у нас оснований расширять горизонты»,— заявляет в заключение «Ню даг».

О «хлебе насущном» и сорняках литературы

Случилось так, что под одним гостеприимным кровом, точнее — в одной из уютных и фешенебельных гостиных Парижа собрались однажды крупнейшие торговцы зерном, так сказать «теоретики» и «практики» этого вида коммерции. Начались горячие споры, возникла научная дискуссия, высказывались смелые и даже неожиданные мысли. Все свидетельствовало о том, что тут сошлись у барьера и скрестили клинки виднейшие знатоки своего дела. Но вот уже к концу беседы, протекавшей за богато сервированным обеденным столом, хозяйка дома преподнесла каждому из гостей небольшой символический подарок: букетик из нескольких колосков. И тут выяснилось необыкновенное, невероятное, фантастическое обстоятельство — ни один из участников обеда не мог ответить со всей определенностью, что ему преподнесли: рожь, пшеницу или ячмень.

Можно было бы, разумеется, не сомневаться в том, что любой из приглашенных был очень компетентным, очень эрудированным, очень опытным специалистом в области торговли зерном. Но зерно они представляли себе лишь в виде огромных партий, груженных в вагоны или трюмы пароходов. И никому из них не приходило в голову заинтересоваться им, так сказать, в масштабе одного колоска, растущего в поле, и тем более научиться отличать в натуре ячмень от пшеницы.

Французский писатель **Веркор** привел этот любопытный случай, свидетелем которого он сам был, в статье, озаглавленной **«Ячмень и пшеница»** и напечатанной в еженедельнике **«Леттр франсез».** По какому поводу Веркор счел уместным поделиться с читателем воспоминаниями об этом, на первый взгляд, полуанекдотическом, но в действительности весьма характерном происшествии? На этот вопрос отвечает сам автор статьи.

«А сколько писателей находится в том же положении,— замечает Веркор, имея в виду положение торговцев зерном, не умеющих в повседневной жизни «отличить ячмень от пшеницы».— Вот уже несколько лет я читаю с большим интересом выходящие из-под пера молодых романистов теоретические соображения насчет того, каким должно быть отношение писателя к своей профессии. Я обнаружил во всех этих рассуждениях большую эрудицию, множество мыслей, богатый опыт, немало умудренности и искренности... Но я не нашел во всем этом того, что искал...

Я не обнаружил суждений о том, что же такое искусство в **действительности** — какой глубокой потребности человека оно отвечает».

В итоге, суммирует Веркор, молодые романисты демонстрируют уйму всяческих познаний в области «теории зерноторговли» (читай: теории литературы), но не обладают способностью «отличить ячмень от пшеницы», то есть совершенно не видят связей литературы с реальной жизнью, не представляют себе точно и ясно назначения и смысла своей деятельности как писателя.

В этом положении, говорит Веркор, конечно же нельзя удовлетворительно ответить и на вопрос: зачем вы пишете? Одни утверждают, что пишут затем, чтобы писать. Другие — что пишут «для себя». Находятся и такие умники, которые считают, что пишут по той же причине, по какой курица сносит яйцо. «Что я стремлюсь сказать? Ничего»,— отвечает один весьма известный романист, имени которого Веркор не называет, видимо, из гуманного к нему отношения.

Человек, который считает себя писателем, справедливо напоминает Веркор, должен писать, «повинуясь какой-либо

убедительной причине. И для нас далеко не достаточно, если писатель говорит нам, что он пишет, «стремясь сохранить обреченное на гибель». Ибо мы ему ответим на это: «А зачем его сохранять?» Что касается всякого рода утверждений, будто «существование мира есть бессмыслица» и потому творчество также бессмысленно, то о них Веркор замечает: «Это крик отчаяния, или я в этом ровным счетом ничего не понимаю».

Итак, «прежде чем начать разглагольствовать о хлебе,— напоминает Веркор,— следует хорошо уяснить себе, что такое зерно».

Проблемы, связанные с «существованием мира» и «смыслом творчества», продолжает Веркор, еще пугают многих, причиняют им беспокойство, и потому люди стараются не обращать на них внимания.

«Наши бравые торговцы зерном, как мы видели, весьма благоразумны, они придерживаются законов рынка: для объяснения их деятельности им вполне достаточно того, что они зарабатывают много денег. Некоторые литераторы поступают так же: им достаточно того, что они пользуются успехом у читателей. Оставим их, пусть они себе пишут, как умеют, а умеют они это делать неплохо. Но, начиная с той самой минуты, когда у вас хватает смелости задуматься о смысле вашей профессии, об основах и границах литературы и торговли зерном, вправе ли вы останавливаться на полдороге?»

Настоящие писатели, утверждает Веркор, никогда не проповедуют, но все время ставят в своем творчестве важные проблемы, «ищут страдая».

«При всей строгости суждений, о них можно все же сказать, что они и своих читателей заставляют задаваться теми же вопросами, не впадать в ленивое оцепенение ума и не довольствоваться заемными идеями — и притом не только в области торговли зерном; эти писатели заставляют всегда стремиться к тому, чтобы отличить ячмень от пшеницы, ибо то, каким окажется облик будущего человечества, зависит от уровня наших знаний».

Имеется в виду, конечно, знание действительности.

В заключительной части своей интересной статьи, написанной, как мы видим, на весьма современную, даже злободневную тему, Веркор пишет, подводя итоги своим размышлениям:

«Писать романы или рисовать картины — это совсем не то, что снести яйцо: наоборот, это означает всякий раз заново провозглашать, что человек свободен и полон мятежного духа. Творческий акт — это всегда восстание Прометея, вечное 14 июля, знаменующее штурм укреплений Бастилии, этих крепостных стен отвергаемого нами невежества, против которого человечество восстает с тех пор, как оно научилось мыслить».

А. Макаров

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ОТКРЫТИЯ ГОСПОДИНА ГИБИАНА

Профессор колледжа Смита (штат Массачусетс) Джордж Гибиан сочинил книгу о советской литературе периода 1954—1957 годов. Он скромно посвятил ее «своим родителям». Однако «исследование» Гибиана вовсе не предназначено для чтения в узком домашнем кругу. Книга выпущена в Соединенных Штатах Америки издательством университета Миннесоты; в Англии, Индии и Пакистане — издательством Оксфордского университета; в Канаде — издательством Томаса Аллена (Торонто).

Как сообщает благодарный автор, Американское философское общество частично субсидировало его исследования, Комитет содействия путешествиям организовал для него поездку в СССР, а «Фонд Элизабет Эдвардс Чэйз» колледжа Смита частично финансировал подготовку книги к изданию.

Мы могли бы выразить сочувствие ученому, вынужденному в своей исследовательской работе рассчитывать на доброхотные субсидии. Но мы не выразим такого сочувствия, полагая, что отнюдь не филантропия, а совсем иные чувства направляли неоскудевающую руку дающего.

Господин Джордж Гибиан — не единственный автор, использующий литературоведение в целях, не имеющих ничего общего с литературой. Его книга — продукт той литературоведческой «школы», которая за последние годы немало потрудилась, чтобы скрыть от американского читателя действительную картину состояния советской литературы.

Сюда, о мастерицы сплесть навет,
Создать улики, если слухов нет!
О вы, чья память, сторожа порок,
Все, кроме факта, знает назубок!
Сюда, о клеветницы, стар и млад,
Ходячее злословье, станьте в ряд...

Деятели этой школы в своем искусстве далеко превзошли шеридановскую леди Снируэлл.

Мы уже знакомы с содержанием и характером трудов профессоров Симмонса и Мэтьюсона-младшего *, в которых извращались принципы литературы социалистического реализма, смысл и содержание лучших ее произведений. Но книга профессора Гибиана выделяется даже на этом фоне — как бы это выразиться поделикатнее? — «определенностью» цели и характером приемов.

Автор и не делает попытки сколько-либо объективно осветить четырехлетний сложный период в развитии советской литературы. Озлобленный противник социалистического строя, он не скрывает того, что его интересует не общая картина состоя-

---

* Об этих книгах см. статьи Т. Трифоновой (№ 3, 1959) и Л. Щепиловой (№ 4, 1960) в журнале «Иностранная литература».

ния литературы и художественное качество произведений, а лишь та «информация, которую мы можем наскрести из советской литературы этих», по определению Гибиана, «экстраординарных лет» и которая должна, по его мнению, составить «внушительный обвинительный акт против положения в России».

Как заметил читатель, выражения, к которым прибегает автор, малоуместны в работе ученого-филолога. Чтобы соблюсти некую видимость «научного труда», он предпосылает своему произведению краткий исторический обзор, в котором «запросто» разделывается с двумя десятилетиями советской литературы. Здесь мы встречаем обычный для книг такого рода «набор»: вульгарную трактовку метода социалистического реализма, ссылки на туманность его определения, клеветнические утверждения о казенной эстетике, сожаление о том, что советские писатели придерживаются реализма и не обращаются к «каким-либо другим приемам, близким к модернизму». «Социалистический реалист,— пишет Гибиан,— должен исходить из того, что все великолепно... Банальные, тошнотворно стереотипные романы — вот результат этих предписаний, умерщвляющих истинное искусство». Так характеризует он литературу тридцатых годов. Но тут же спохватывается. Ведь слишком многим зарубежным читателям известно, что именно тридцатые годы были годами расцвета творческих индивидуальностей таких замечательных художников социалистического реализма, как Шолохов, Алексей Толстой, Фадеев, Эренбург, Леонов, Федин. К этому времени сформировалось идейное единство советской литературы. Гибиан вынужден признать, что «некоторым выдающимся писателям тридцатых годов удалось создать первоклассные произведения». И тут же, конечно, оговаривается, что эти произведения написаны вопреки методу социалистического реализма, что они — всего лишь результат профессиональной опытности отдельных писателей.

Без особого труда «покончив» с литературой тридцатых годов, Гибиан уже совсем не церемонится с послевоенной литературой. Он утверждает, что «между 1946 и 1953 годом всякая независимость и оригинальность в литературе исчезла». Для него неважно, что именно в эти годы в литературу вошли или развернули свое дарование такие оригинальные писатели, как Галина Николаева, Вера Панова, Константин Симонов, Виктор Некрасов, Михаил Бубеннов, Борис Полевой, Эммануил Казакевич, Всеволод Кочетов, Владимир Тендряков, Сергей Антонов и многие другие. В эти годы создаются такие произведения, как дилогия Константина Федина, трилогия Федора Гладкова, романы Эренбурга, продолжают плодотворно работать и другие писатели старшего поколения — Пришвин, Сергеев-Ценский. Послевоенные годы были ознаменованы подлинным расцветом литератур братских республик, о произведениях которых в его книге вообще нет ни одного слова. Гибиан игнорирует факты, рассчитывая на то, что читатель, не знакомый с советской литературой, поверит ему на слово.

Чтобы в дальнейшем не повторяться, скажем здесь, что суть «исследовательского метода» Гибиана в том и состоит, чтобы старательно обойти факты. Одно голословное утверждение подкрепляется другим, столь же бездоказательным. Так, ни на чем не основанную характеристику послевоенного периода Гибиан использует для лживого утверждения, будто литература после 1953 года вообще ничего общего с произведениями предшествующего десятилетия не имеет.

Всем известно, что устранение последствий культа личности, восстановление ленинских норм общественной жизни благотворно сказалось на развитии советского общества в целом и его литературы. XX съезд партии был огромным шагом вперед в идейном развитии народа, ознаменовал собой новый этап роста народного сознания. Известно также, что идейная борьба в эти годы развернулась на два фронта — против ревизионизма и против догматизма.

Появление ущербных в идейном отношении произведений — романа В. Дудинцева «Не хлебом единым», некоторых произведений, опубликованных в альманахе «Литературная Москва», побудило писательскую общественность выступить с резкой критикой тех художников, которые хотя и руководствовались субъективно добрыми намерениями — помочь партии и народу в преодолении отрицательных явлений, однако пре-

увеличили, утрировали эти явления и потому изобразили действительность в искаженном виде.

Господин Гибиан не первый (и, наверно, не последний) из тех, кто используют такие произведения в качестве оружия в «холодной войне» и, опираясь на них, предпринимают попытку создать свою картину советского общества и его духовной жизни.

Чтобы дать читателю представление о том, как это делается, просто приведем целиком одно место из его «исторического обзора»: «Перемена климата наиболее явно обозначилась в тоне и содержании новых произведений — пьес, романов, стихов, рассказов, опубликованных летом 1956 года,— пишет Гибиан.— *В десятках* (подчеркнуто мною.— *А. М.*) этих произведений получили выражение новые острые тенденции. Характерный пример — «Геня и Сеня» З. Паперного, короткий хлесткий скетч, пародирующий типичную советскую пьесу, созданную по рецептам социалистического реализма. В этой написанной с великолепным чувством юмора пьеске автор осмелился сатирически изобразить методы антикапиталистической пропаганды, навязываемые советским драматургам, и высмеять излюбленные темы советской драмы — новаторство в промышленности и колхозную жизнь».

Ну что можно сказать в связи с этой «находкой» Гибиана? Среди русских читателей широко известна и популярна книга «Парнас дыбом». Манера русских (и не только русских) поэтов пародируется в этом сборнике стихотворениями на тему детских песенок о собаке, старушке и козлике и неудачнике Веверлее. Какую фантастическую историю литературы можно было бы создать, пользуясь одной этой книжечкой, доказав, что от Пушкина до Есенина и Маяковского русская поэзия была поэзией исключительно зоологической и воспевала одних козлов и собак! А если к тому же усмотреть в этих образах нечто аллегорическое: в козлике — козла отпущения или «черного козла», в собаке, бесконечно убиваемой попом,— жертву, подобную христианскому агнцу,— то можно создать целую теорию о демонологической или какой-либо другой ритуально-культовой сущности русской поэзии. Да мало ли что может придумать изобретательный ум, было бы желание!

Но вот с введением покончено. Гибиан объявляет о своем намерении продемонстрировать, как в 1954—1957 годах советские писатели решают темы науки, любви, проблему отрицательного героя. При этом он имеет в виду только одну цель — «наскрести» материал, пригодный для подкрепления своей концепции. Вбить в головы читателей идею о «несостоятельности» советского строя, об антитезе между литературой, наукой и партийной политикой. Но как это сделать? Ничем здесь не брезгует господин Гибиан — ни подтасовками, ни извращениями, ни фальсификацией, ни клеветой, ни демагогией. Чтобы убедить в своей «объективности» американских читателей, он позволяет себе и критические «пассажи» в адрес Запада. Например, глава об образе ученого проникнута горькими сожалениями о том, что американская литература не уделяет внимания ученым, что «ученый — обычная фигура в советской художественной литературе, но не в американской». Гибиан констатирует, что «произведения Митчела Уилсона об американских физиках почти неизвестны в его стране и популярны в России», что научная фантастика в США служит только «развлекательным чтивом» и «лишь немногие считают», что такие произведения «заслуживают того, чтобы их воспринимали серьезно».

Гибиан даже довольно пространно рассуждает об огромном внимании, уделяемом в Советском Союзе науке. Но зато какая под это подводится база! «Официальная идеология Советской России обожествляет науку»,— пишет Гибиан. «...Это объясняется необходимостью индустриализировать отсталую страну». Особенно «убедительно» эта фраза об «отсталости» звучит сегодня, когда запущены советские спутники, когда советскими людьми осуществлен первый полет в космос!

Что касается тяги народа к науке, то и здесь все очень даже просто: «утрата надежды на политическое действие, разочарование в партийной работе заставляют советских людей искать прибежища в научной работе».

Нужно ли говорить о том, как дико выглядят эти рассуждения. Виртуозная техника подтасовок и лжетолкований понадобилась автору, чтобы подогнать под эту «концеп-

цию» романы советских писателей, рисующие образы ученых, поднимающие проблемы развития науки. Гибиан, конечно, замалчивает, что борьба с бюрократизмом как с наследием старого общества являлась неотъемлемой частью ленинской партийной политики с первых дней советской власти, что бюрократ был одной из фигур, всегда подвергавшихся обстрелу со стороны советских литераторов. Он умалчивает о том, что в глазах советских людей (в отличие от буржуазных понятий) политиком прежде всего является именно человек-творец, мастер, великолепно знающий свое дело, вносящий реальный вклад как в государственное руководство, так и в любую отрасль материального производства. Гибиан же утверждает, что в советской стране все обстоит якобы как раз наоборот: те, с кем борются партия и литература, те, кто мешают строительству социализма, и есть, на его взгляд, подлинные представители советского образа жизни. Те же, кто практически осуществляют строительство нового общества, активные труженики-творцы,— прямо или косвенно выступают якобы противниками социалистического строя. Подмена производится буквально на глазах читателя.

На таких же «тезисах» построена и глава о любви. Мы не будем подробно разбираться в том, что нагорожено Гибианом о проблемах семьи в советском обществе. Достаточно сказать, что он, например, утверждает, будто до конца двадцатых годов советское семейное право узаконивало «свободную любовь как форму отношений, наиболее характерную для нового общества», а позже — курс на укрепление семьи был продиктован требованиями... индустриализации. Все это понадобилось ему, чтобы заявить, что после Бориса Пильняка и Пантелеймона Романова «из советских романов постепенно исчезли проблемы пола и любви». И возвращение к этим проблемам было ознаменовано лишь появлением пьес С. Алешина «Одна» и Н. Погодина «Сонет Петрарки». «На страницы книг вернулась любовь в самых разных своих формах... В результате изголодавшееся воображение читателя получило пищу, которой не знало до 1954 года»,— вещает Гибиан.

Никто не станет отрицать, что в советской литературе, как и во всяком потоке живой литературы, и до 1954 года и после него было немало слабых романов, где человек изображался односторонне, но ведь не эти романы получали народное признание, а те, в которых отражались все сферы человеческого бытия, в том числе и любовь. Вспомним хотя бы героев «Хождения по мукам» и их любовь, поднятую на такую высоту революцией, вспомним страдания шолоховского Нагульнова, кружение сердца Давыдова. Вспомним произведения военных лет, где для героев в пору тяжелейших испытаний любовь являлась одушевляющей силой в их патриотическом подвиге,— «Молодую гвардию» А. Фадеева, «Дни и ночи» К. Симонова, повесть Э. Казакевича «Звезда». Вспомним, как тонко описаны сложные личные переживания героев в «Спутниках» В. Пановой, в «Счастье» П. Павленко. Но в книге Гибиана ни одно из этих произведений, конечно, не упоминается. Ведь его задача — не освещение действительной картины литературы, а коллекционирование «улик».

Никто также не будет отрицать, что советская литература послевоенных лет проявила большое внимание к проблемам семьи и семейных драм. Ведь война разрушила столько семей, исковеркала столько людских судеб! Залечив раны войны, советский народ перешел к практическому осуществлению великой цели — строительству коммунизма, общества, основанного на высшей справедливости, честности и чистоте личных отношений. Именно этими критериями, до которых, конечно, Гибиану нет никакого дела, руководствуются советские писатели, обращаясь к проблемам семьи и быта. И эти проблемы занимали их задолго до 1953 года.

Вспомним хотя бы Галину Николаеву и ее «Жатву» или романы «Товарищ Анна» и «Иван Иванович» Антонины Коптяевой. Гибиан утверждает, что все писатели тридцатых, сороковых и начала пятидесятых годов показывали, что «только мерзавцы оставляют жен (или мужей) и влюбляются в кого-нибудь помимо законных супругов». Вряд ли кому-либо придет в голову назвать мерзавцами героев романа «Иван Иванович», книги, вышедшей в 1949 году, отмеченной Сталинской премией, встретившей дружеский прием в печати.

В свете этих фактов, которые предусмотрительно замалчивает Гибиан, в дым разлетается создаваемая им легенда о некой проблемной исключительности пьес С. Алешина «Одна», Н. Погодина «Сонет Петрарки», романа Г. Николаевой «Битва в пути», которые Гибиан приводит в качестве примера этой якобы исключительности.

Он стремится уверить читателя, что пьеса С. Алешина — «проблемное произведение о любви, вопросах семьи и брака, которые столь важны для действующих лиц, что по сравнению с ними нужды общества и интересы партии теряют всякое значение». Однако разве не герой этой пьесы Платонов, переживая свою душевную драму, думает прежде всего о том, чтобы быть чистым именно перед партией? «Партии не нужно, чтобы я лгал. Партии нужно, чтобы я был честным. Чтобы я честно работал. Чтобы у меня семья была по любви. Вот что нужно партии. Чтобы я был всегда во всем честен... И кто лжет, тот обманывает и себя и партию».

И пьеса Алешина и пьеса Погодина по-партийному поднимают вопросы личной морали. Гибиан же трактует «Сонет Петрарки» как пьесу, в которой будто бы не Суходолов и Павел Михайлович, а высмеянная драматургом Клара представляет партийную точку зрения на вопросы нравственности.

Активный социальный гуманизм романа Г. Николаевой «Битва в пути» Гибиан толкует как гуманизм, покоящийся на субъективных ценностях любви. Скорбя о том, что писательница, готовя роман к отдельному изданию, внесла в него изменения, не устраивающие его, Гибиан заявляет, что это было сделано не благодаря внутренней потребности автора улучшить свое произведение, а по причине якобы «более суровой атмосферы» и непосредственно в результате... происков и «возражений советского критика Г. Ленобля» (!— *А. М.*).

Главный же свой «научный подвиг» Гибиан совершает, когда на основе «анализа» отрицательных героев в литературе пытается реконструировать историю советского общества и облик советского общественного строя. Попытка поистине умопомрачительная!

Отмечая, что в советской литературе задачей первостепенного значения является создание положительного героя, Гибиан советует своему читателю не придавать этому какого-нибудь значения. По его мнению, такие герои являются якобы неубедительными повторениями Павла Власова и Павла Корчагина. Таким образом, советская литература, покорившая миллионы читателей многообразием типов нового человека — борца и строителя коммунистического общества—на разных этапах развития социалистического строя, выступившая действенным помощником партии в воспитании новой коммунистической нравственности, в изображении Гибиана оказывается топчущейся на месте в выполнении своей действительно главной задачи.

Да, мы считали и считаем шолоховского Давыдова или фадеевского Сергея Тюленина духовными наследниками Павла Власова, людьми, родственными по их высокой нравственности и идеалам, и уважаем в них именно то, что они являются, как говорит Гибиан, «деловыми, сильными, несгибаемыми людьми действия», и мы не способны видеть образец человека ни в антисоциальном герое Джойса, ни в извращенно меланхолическом эстете Пруста (в пренебрежении к творчеству Джойса и Пруста Гибиан неоднократно упрекает советских писателей).

Мы гордимся тем, что положительный герой советской литературы связан «теоретически», как говорит Гибиан, с гуманистической традицией русской литературы. Но только с помощью фальсификаций, а не анализа можно утверждать, что фурмановские Клычков и Чапаев, Телегин Алексея Толстого и шолоховский Нагульнов, Вершинин, созданный Всеволодом Ивановым, и Черимов Леонида Леонова, гладковский Чумалов и катаевский Маргулис — образы, предшествовавшие появлению Павла Корчагина, а также появившиеся после него через многие годы молодогвардейцы Фадеева, симоновский Сабуров, некрасовский Керженцев, Воропаев из романа Павленко, Андрей Лопухов Бубеннова, Журбины Вс. Кочетова, леоновский Вихров или Юлия Дмитриевна из «Спутников» Веры Пановой являются лишь «неубедительными повторениями» Корчагина.

Гибиану ничего не стоит, выдвинув «тезис» (он объявил о тождественности всех положительных героев в советской литературе), тут же заявить, что в послевоенный период до 1954 года «отрицательные герои почти исчезли из советской литературы или ограничивались дореволюционными типами и иностранцами — представителями капиталистических стран». «После смерти Сталина,— пишет он,— одной из главных форм реакции писателей на увеличение свободы было создание серии образов «отрицательных героев», которых не осмелились бы показать в произведении, предназначенном для публикации в сталинской России».

В качестве примеров он приводит образы Дремлюги из пьесы А. Корнейчука «Крылья», Журавлева из «Оттепели» И. Эренбурга, Вальгана из романа Галины Николаевой, Крамова из романа Каверина и Дроздова из романа Дудинцева.

Между тем стоит вспомнить Абросимова из повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда», Корытова из «Счастья» Павленко, Хохлакова в романах С. Бабаевского, чтобы стало ясно, что ни один из названных Гибианом героев не был «сенсационной новинкой», как не была неожиданной в нашей литературе борьба против бюрократизма, злоупотреблений.

Несмотря на все ухищрения, Гибиан вынужден сделать в конце безотрадные для себя выводы. Последняя глава содержит горестные ламентации по поводу того, что советская литература остается верной советскому строю, политике партии и методу социалистического реализма. Он сокрушается о том, что «попыток выйти за пределы социалистического реализма в стиле или манере по существу не предпринималось». Что никто из писателей, оказывается, «не оспаривал партийного руководства в области культуры», не предлагал «рассматривать литературу как область абсолютно автономную». «Было бы ошибкой полагать, что все или даже большая часть рассмотренных здесь произведений написаны авторами, готовыми отречься от коммунистической партии». «Даже наиболее критически настроенные... исповедуют святое для них чувство неразрывной связи и единства с народом и его свершениями». Единственным, кто считает ошибочными и неверными основы советского строя, по мнению самого Гибиана, является, «быть может, лишь Борис Пастернак». Анализу романа «Доктор Живаго» он посвящает отдельную главу. Сам Гибиан пишет, что известное «письмо редакции «Нового мира» добросовестно излагает книгу» и в выводах совпадает с его, Гибиана, оценкой. По его мнению, этот роман — «аномалия» и не может рассматриваться «как принадлежащий к советской литературе». Тут опровергать Гибиана не приходится!

Не от хорошей жизни цепляются за литературоведение вдохновители «холодной войны». Чем дальше идет развитие советского общества, чем больше наши успехи, тем больше приходится выворачиваться наизнанку господам гибианам. И все труднее им сводить концы с концами.

Романо Ледда

Герой Африки

Встречи с Патрисом Лумумбой

— Вы итальянский журналист, желающий получить визу в Конго! А зачем вы хотите поехать туда! — вот первые слова, с которыми обратился ко мне Патрис Лумумба в Конакри, в резиденции президента Секу Туре.

Как зачем! Это было начало августа 1960 года. Бельгийские парашютисты занимали еще часть страны, Катанга отделилась, ООН вмешалась в дела Конго, весь мир устремил свои взоры на Лумумбу, и именно он, за кем около двухсот журналистов охотились по всей Африке, спрашивал меня: «Зачем!» Больше десяти дней я томился в гвинейской столице, пытаясь найти самолет, направляющийся в Конго, и уже начинал отчаиваться, когда приехал Лумумба, который объезжал столицы иезависимых африканских государств. Все свои надежды я возлагал на разговор с ним и поэтому подготовил длинную речь. Простой вопрос Лумумбы сделал ее ненужной, и я смог пробормотать лишь несколько слов, которые мне самому показались банальными; в частности, я сказал:

— Знаете ли, я журналист и коммунист, и мы с симпатией следим за вашей борьбой.

— Коммунист! — спросил он.— И вы можете доказать это!

Тотчас я предъявил документы специального корреспондента газеты «Унита». Тогда он сел и начал внимательно их просматривать.

Пока он читал, я наблюдал за ним. За несколько часов до того я видел его издали: улыбаясь, шел он рядом с Секу Туре сквозь расступившуюся огромную толпу. Он показался мне маленького роста и невероятно молодым. Потом я слышал его речь, обращенную к населению Конакри,— очень взволнованную, несколько сбивчивую речь, которая выражала чувства, воодушевлявшие его в тот момент. Это была речь, полная энтузиазма, но скорее агитатора, чем крупного политического лидера. И опять он показался мне неправдоподобно молодым.

Однако сейчас, на расстоянии двух шагов, он выглядел совсем другим: высокий, очень худой, изможденный страданиями, перенесенными в тюрьме, и напряженной работой главы конголезского государства. Строгий темный костюм придавал его элегантной фигуре и всему облику оттенок какой-то скромной, не кричащей импозантности. Но прежде всего привлекало внимание его лицо: маленькое острое лицо с короткой бородкой, придававшей ему лукавый и даже хитроватый вид, но это лицо становилось необычайно наивным и добродушным, как только губы раскрывались в широкой улыбке.

И потом глаза. Бесконечно живые, отражающие все волнения и переживания последних месяцев его жизни: страдания узника бельгийцев, гордость премьер-мини-

стра конголезской республики, любовь к народу, отвращение к несправедливости, ощущение пульса Африки, ярость борьбы, ответственность перед лицом истории. Было так, словно один образ набегал на другой: они изменяли представление о Лумумбе, которое я привез с собой еще из Европы, и первые поверхностные впечатления, но не позволяли пока составить твердое мнение об этом человеке.

— Извините,— сказал он, лукаво улыбаясь,— что я хотел удостовериться, действительно ли вы коммунист. Знаете, поскольку все думают, что я сам коммунист, ко мне приходят и просят о разных одолжениях, выдавая себя за коммунистов. Так что я вынужден быть начеку. К сожалению, я не могу дать вам никакой визы в Конго, потому что все аэропорты находятся там под контролем ООН. Все, что я могу сделать, это взять вас в свой самолет. Но вам надо будет набраться терпения. Придется прежде последовать за мной в Монровию, Аккру и Ломе. Потом мы отправимся в Конго.

Он весело улыбнулся. Я начал благодарить, но он перебил меня:

— Не благодарите. Напротив, ваше присутствие очень полезно. Меня сопровождает один американский журналист, один английский и два африканских. Не хватало коммуниста. Так будет понятнее, что я стою на позитивно-нейтральной позиции.

Он сказал это и опять весело засмеялся.

Вот таким образом мне выпала на долю большая удача — почти трое суток я путешествовал вместе с Лумумбой, практически мог видеть его в любое время дня. Таким образом я узнал, что этот человек, которого так ненавидели, на которого столько клеветали на Западе — больше, чем на любого другого,— был в действительности одним из самых великодушных, самых страстных людей африканского континента, одним из самых смелых борцов, одним из самых одаренных и современно мыслящих вождей национального, антиимпериалистического движения.

Я вспоминаю его встречу с Табмэном, президентом Либерии, самым старшим из африканских политических деятелей. Соблюдая строжайший этикет, нас отвезли в старинную резиденцию президента Либерии, построенную в викторианском стиле, где Лумумбе были оказаны всяческие почести. Чопорный церемониал был явно не по душе Лумумбе, который привык, чтобы к нему относились как к товарищу в борьбе за свободу.

* * *

Мощная волна жизни, веяния новой Африки ворвались в старинную залу викторианского стиля. Лумумба не называл Табмэна «ваше превосходительство», а просто — «африканский брат» и, обращаясь как будто лишь к нему одному, стал говорить о своем народе, о его страданиях, о рабстве, в котором народ удерживали силой, о нищенской заработной плате, о расовой сегрегации. Двадцать минут говорил Лумумба, и его слова потрясли всех нас. Его чистая, честная, прямая душа человека, не знающего языка дипломатии, но сумевшего передать голос своего народа, предстала перед нами во всем своем благородстве.

У меня сохранились некоторые заметки об этой речи. Лумумба закончил так: «Я приехал сюда, господин президент, в интересах своего народа. Если бы его свобода и независимость означали богатство немногих из нас и нищету остальных, если бы свобода и независимость означали продолжение колониальной эксплуатации в иных формах — я не был бы здесь, я не пришел бы просить африканских братьев о солидарности. Это значило бы предать Африку».

За обедом я заметил, что Лумумба произнес короткую молитву. Тогда я впервые узнал, что он был протестантом.

Официальными поводами для наших свиданий с Лумумбой были коммюнике о различных встречах — сначала с Табмэном, потом с Нкрума и, наконец, с Сильванусом Олимпио. Но часто в самолете или после официальных банкетов он искал нас, чтобы побеседовать, услышать наше мнение, иногда — если надо было — поспорить о том, что собирался написать тот или иной журналист.

В Ломе (в Того), например, политические встречи Лумумбы с Олимпио происходили на наших глазах. Враждебно относившийся к любым формам «протокола» (но отнюдь не пренебрегавший важным значением занимаемого им поста), Лумумба пожелал, чтобы мы сидели вместе с его делегацией в зале заседаний, заявив, что ему «нечего скрывать от мира». Поэтому, когда закончились переговоры, мы остались там и начали беседовать. Лумумба недавно вернулся из поездки в Соединенные Штаты, и Томас Брэди из «Нью-Йорк таймс» спросил, что он о них думает. Лумумба сказал, что Соединенные Штаты поразили его и что его там великолепно приняли.

— Впрочем,— заметил он,— ведь и Америка несколько сот лет назад боролась за свою независимость против иностранцев. И американцы никогда не должны были бы забывать об этом, а сейчас, кажется, забывают.

— Почему! — спросил Брэди.

— Подумайте, что происходит в ООН,— ответил Лумумба.— Мы смотрели на мир с доверием, на весь мир. Я не коммунист, хоть вы это и утверждаете. Но Америка — как бы ни обернулось дело — на стороне колониалистов. Может быть, не на стороне Бельгии, но ясно, что, используя ООН, она думает о наших богатствах. Это все равно как история с самолетом, из-за которого журналисты так на меня нападали. Я полетел в Америку на русском самолете. Это правда. Я просил самолет у американцев, но они мне отказали, после того как всячески уклонялись от ответа целых два дня. Что же я тогда сделал! Попросил самолет у русских, и мне его дали через два часа. Сейчас говорят, будто я коммунист. Но посудите сами — что было важнее: прослыть коммунистом или отказаться от возможности отправиться в ООН, чтобы защищать там наши интересы! Судите сами.

Многие говорили после этого, что Лумумба был эмпириком, что он в каждом отдельном случае лавировал, поворачивался то в одну, то в другую сторону, хитрил. Я не думаю этого. Лумумба в то время только учился управлять государством, государством, которое рождалось из ничего, и в каждом своем поступке он исходил из личного видения мира: «Человек — вот что самое главное. Все остальное — мистификация». Все люди любят свободу, поэтому все могут и должны помогать Конго. Единственным «но» могло быть следующее: помощь не должна ни в чем ограничивать свободу Конго. В соответствии с этой генеральной своей установкой он относился доверчиво ко всем, даже к авантюристическим дельцам, которые в погоне за рекламой притворялись, что хотят финансировать какие-то придуманные ими мероприятия. Так он поступал в первые недели после своего прихода к власти. Но сейчас, в августе 1960 года, он начинал уже делать выбор, продиктованный всем характером борьбы, целью которой была политическая и экономическая независимость страны. Этого не понимали в то время Томас Брэди и все, кто называли Лумумбу «исступленным коммунистом».

* * *

Страстный, восторженный, боевой в исполнении своей роли вождя конголезцев, Лумумба по темпераменту был спокойным и, несмотря на молодость, склонным к раздумью человеком. Ему было тридцать четыре года, но на них висел груз семидесяти пяти лет горя, рабства, нужды: он как бы впитал в себя все страдания своего народа, и они воплотились в его гордой и скорбной человечности.

Когда мы прибыли в Леопольдвиль, все правительство встречало его. Не было только Касавубу. Это обстоятельство не могло ускользнуть от нас, и мы спросили, в чем дело. Лицо Лумумбы помрачнело, но он ответил:

— Господа, таковы правила этикета.

Однако он, конечно, думал уже об интригах, начавшихся за тот месяц, пока он отсутствовал.

— Во всяком случае,— добавил он,— следуйте за мной, я устрою пресс-конференцию.

Я и еще несколько журналистов — нас было немного — приехали вместе с Лумумбой к нему домой. Это был аляповатый дом, в котором раньше помещалась канцеля-

рия бельгийского губернатора. Все было устроено по вкусу какого-нибудь фламандского колбасника: салоны в стиле барокко чередовались с маленькими гостиными колониального стиля, единственными красивыми вещами были трагические и гротескные тотемы африканских лесов. Лумумба отказался занять одну из великолепных расположенных на возвышенности вилл бельгийских дельцов. Он в буквальном смысле слова устроился здесь лагерем, разделив помещение на жилье и канцелярию.

У входа его ожидали жена и трое детей. В долгом и взволнованном объятии слились маленькая женщина, еще ошеломленная своей ролью жены человека, о котором говорил весь мир, и мужчина, на мгновение забывший все на свете. Он радостно представил мне своих детей: Франсуа, Жюлиану и самого старшего — Патриса, который тут же спросил, привез ли ему отец ковбойскую шляпу.

Несколько минут спустя (было уже одиннадцать часов вечера) Лумумба коротко проинформировал более чем двухсот собравшихся здесь журналистов об итогах своей поездки по Америке и Африке и затем собрал правительство, для того чтобы проанализировать сложившееся положение. Заседание закончилось около четырех часов утра. Позднее я узнал, что он работал по восемнадцать часов в сутки, потому что к нему обращались все, даже по малейшим пустякам. А он терпеливо старался удовлетворить всех. В этом я убедился лично. Когда мы прибыли в Леопольдвиль, у меня украли чемодан, и я попросил начальника протокольной части правительства Лумумбы произвести розыски, хотя понимал, что все это пустяки на фоне событий, которые мы в те дни переживали. Прошло несколько дней, я считал неудобным напомнить о розыске, хотя мне было неприятно, что вместе с чемоданом пропали некоторые нужные мне книги и путевые заметки. Однажды утром позвонил секретарь Лумумбы и пригласил меня зайти к премьеру. За несколько дней до того я просил об интервью и подумал, что меня приглашают с этой целью. Однако, к моему большому изумлению, выяснилось, что речь идет о чемодане. Все оказалось похищенным, кроме книг. Вор, обнаружив книги в чемодане и не зная, что с ними делать, отправил их Лумумбе с запиской, в которой говорилось, что, по-видимому, книги принадлежат кому-то из тех, кто путешествовали вместе с ним. Поскольку я был единственным итальянцем в его окружении — не вызывало сомнений, что книги принадлежали мне. Мы провели вместе с Лумумбой минут двадцать. Он просил меня извинить конголезцев:

— Среди нас тоже есть еще воры, как вы могли убедиться. Есть еще конголезцы, которые за десять франков продаются бельгийцам и распространяют их листовки против нас. А все пресловутое пиво, кнут и миссии! — добавил он с улыбкой.— И, вот видите, крадут чемодан, берут себе рубашки и посылают обратно книги. Вероятно, вор не умел читать. Наша страна — страна неграмотных, и это первая проблема, которую мы должны будем разрешить, когда настанет мир.— Потом он спросил, не могу ли я оставить ему несколько книг. К сожалению, все они были на итальянском языке. Это огорчило его, и он сказал: — В Леопольдвиле можно найти много колбасы, но мало книг. Бельгийцы не хотели, чтобы они водились у нас.

В его шкафу стояло немало томов: речи Секу Туре, Нкрумы, журналы «Presence Africaine», стихи, жизнеописание Симона Кимбангу.

— Все это,— сказал он мне,— получено за последние годы по тайным каналам подполья. Это был наш хлеб насущный в то время, когда мы, по счастью, не сидели в тюрьме.

Я попросил у него интервью. Он ответил, что у него мало времени и что по крайней мере сто пятьдесят человек просили об этом же до меня, но все же обещал постараться.

Однако на следующий день произошел случай, решивший судьбу моего интервью и давший мне возможность чаще встречаться с Патрисом Лумумбой. До тех пор я видел его почти ежедневно на обычной пресс-конференции, и это все. Пресс-конференции, бесспорно, были самой интересной частью нашей журналистской работы в Леопольдвиле. Как правило, они выливались в длинные собеседования, очень интересные потому, что не только позволяли судить об общем положении, но и помогали понять, каков был Лумумба.

Он быстро входил в большой зал, делал краткое сообщение, а потом около часа отвечал на все вопросы. Во время этих пресс-конференций каждый, обладавший минимумом объективности (но как не хватало ее тогда всем журналистам, находившимся в Леопольдвиле!), мог оценить государственный ум Лумумбы, несмотря на наивность и неопытность молодого премьера. Его идеи были современными идеями, рожденными в трудном опыте революции, современной по своему духу, но сталкивавшейся с действительностью, которая только еще кристаллизовалась, с племенными различиями, этническими противоречиями, с тяжким наследием колониального господства.

Я помню одну изумительную его пресс-конференцию в связи с некоторыми событиями, нарушившими спокойствие в городе и столкнувшими друг с другом группы, принадлежавшие к различным племенам. Тогда он говорил о национальном единстве, о чести сознавать себя конголезцем, а не балуба или балунда; он говорил о жертвах, которые должен принести народ, чтобы создать нацию, о терпимости, необходимой для преодоления укоренившегося недружелюбия. Он страшился войны между конголезцами и делал все, чтобы избежать ее. Поэтому Лумумба продолжал сохранять в составе правительства своих врагов, которые уже строили заговоры. Поэтому он никогда не произнес публично ни одного слова против Касавубу, даже когда тот, отправившись в чужую землю, в Браззавиль, напал на своего премьер-министра.

* * *

Хотя эти личные контакты и были значительными, все же каждый из нас хотел узнать еще больше, все стремились поговорить с Лумумбой лично, получить интервью, узнать его сокровенные мысли. Но это было невозможно: огромный объем его работы делал это неосуществимым.

На следующий день после истории с чемоданом мне случайно выпала на долю исключительная удача — возможность чаще встречаться с ним, помимо пресс-конференций.

Всех нас пригласили на четыре часа, но пробило пять, а Лумумба еще не появился. Журналисты нервничали, ворчали, и один из них, не помню откуда, но безусловно расист, заявил:

— Недопустимо, чтобы негр, даже если он премьер-министр, заставлял нас столько ждать.

Среди журналистов тоже иногда попадаются негодяи.

Там было человек тридцать, и мало-помалу все вышли вслед за расистом. Остались только я и один корреспондент из Восточного Берлина. Через несколько минут появился Лумумба, которому его секретарь сообщил обо всем, что произошло. Лумумба был явно возмущен поведением журналистов и очень резко отозвался о том, кто произнес постыдные слова. Потом, обратившись к нам двоим, он с изысканной учтивостью попросил нас сесть и сказал:

— Это идиотизм. Всякий расизм — белых или негров — это попросту идиотизм. Я знаю, что вы,— произнес он, обращаясь ко мне,— коммунист. Но дело не в этом. Вы воспитанный человек, как и ваш товарищ. Скажите, что я могу сделать для вас?

Вот тогда я и получил его интервью.

Я видел Лумумбу вблизи еще раз. Это происходило в аэропорту Леопольдвиля. Я сидел у себя в гостинице, когда мне позвонили из канцелярии Совета министров, попросили взять машину и отправиться в аэропорт. Я приехал туда одновременно с Лумумбой. С ним были Лундула, начальник генерального штаба, Мполо, министр по делам молодежи, и двое солдат. Он вышел из машины, один направился к ангару, распахнул дверь и крикнул:

— Именем конголезского правительства все вы арестованы.

Внутри ангара спряталось около шестидесяти до зубов вооруженных бельгийских парашютистов. Их охраняли шведы из ООН. Произошла сцена, вероятно, единственная

в своем роде. Премьер-министр, который лично производит арест,— такое случается не каждый день! Если безоружный человек, в сопровождении всего лишь нескольких спутников, отправляется арестовывать парашютистов, вооруженных до зубов, это значит, что он храбр, как лев. У Лумумбы было это мужество: трезвое, сознательное мужество, мужество рассудка, которое рождает подлинный героизм.

Делать было нечего. Через десять минут ошеломленные бельгийские парашютисты поднимались на грузовик для арестованных.

А еще пять минут спустя Лумумба, смеясь над этим происшествием, сказал:

— Если бы мы стали дожидаться, пока это сделает генеральный секретарь ООН, мы нашли бы парашютистов у себя дома под кроватью.

Лумумба, призывавший полностью доверять ООН, потому что хотел избежать кровопролитной войны, отлично понял, что поведение генерального секретаря было главной причиной существовавших беспорядков. Теперь он искал выхода из них. Настоящего выхода, а не компромисса, который нарушил бы территориальную целостность Конго или ограничил его экономическую и политическую независимость. И таким выходом был народ, его мобилизация, его непосредственное участие в борьбе Конго против старого и нового колониализма.

Народ, его народ. Мне кажется, никогда я не видел Лумумбу таким спокойным, таким веселым, таким уверенным, как во время путешествия по Восточной провинции, в Стэнливиле, когда я сопровождал его. Здесь во времена владычества бельгийцев Лумумба боролся, страдал, работал, чтобы создать первую и единственную современную конголезскую партию, стоявшую выше племенных раздоров, связанную с национальным африканским движением. Здесь на протяжении пяти лет он выступал каждый день, обучая кадры, основывая в каждой деревне секцию своей партии, объединяя всю провинцию вокруг программы «Congo uni et libre» *.

Я помню приезд туда: огромная восторженная толпа политически зрелых людей отличалась от толпы в других частях Конго. Это был подлинный триумф — Лумумба сливался со своим народом. Я помню его старого отца, с лицом, на котором отпечаталась нужда, с огрубевшими руками человека, добывающего себе пропитание при помощи лука и стрел. Теперь эти руки сжали в крепком объятии сына, которого несла на руках толпа молодежи, распевавшая: «Uhuru» — «Свобода».

А на следующий день мы были в лесу; к реке спускались из каждой деревушки женщины, старики, дети, чтобы праздновать, чествовать, говорить с Лумумбой, их «сыном, сыном земли, братом в горе и надежде». На него надели длинную мусульманскую сутану, символ власти, а он смеялся, пожимал всем руки и в каждой деревне говорил, пел и танцевал со своим народом, приглашая и нас танцевать с ним.

* * *

В этот вечер он произнес одну из самых значительных речей, которые ему привелось сказать за свою короткую жизнь. На стадионе в Стэнливиле, завязав оригинальнейшую беседу с людьми (крестьяне спрашивали, а он отвечал, он просил у них совета, и они давали ему эти советы), Лумумба говорил о глубоких преобразованиях, необходимых для того, чтобы огромные богатства Конго принадлежали народу, о новом государственном устройстве, при котором должны исчезнуть племена, о народной инициативе и освобождении Катанги, о будущем Африки — объединенной и миролюбивой. Он говорил на лингала, а для нас — троих или четверых европейских журналистов — переводил на французский. Неожиданно на аэродроме появились другие европейцы. Это были бельгийцы, которые отказались покинуть Конго и хотели сотрудничать с правительством Лумумбы. Счастливый, он позвал их к себе на трибуну, представил народу как братьев и, обращаясь к нам, сказал:

— Расскажите это всему миру. Мы не против белых, мы не желаем зла никому. Народы всех цветов кожи должны быть друзьями. К этому мы стремимся.

---

* Конго единое и свободное *(франц.)*.

Вечером мы ужинали вместе с ним в резиденции правительства провинции. Атмосфера была нервной, напряженной. Мне сказали, что ожидаются важные известия из Катанги. Час спустя послышался шум подъезжавшей машины, и Лумумба вздрогнул. Он поднялся, побежал к двери и крикнул:

— Это они!

Их было несколько человек из племени балуба, прибывших из Катанги. Чтобы ускользнуть от бельгийцев, они проделали весь путь, запертые в санитарном автомобиле. Целая неделя путешествия, один час свежего воздуха ночью, несколько бананов, составлявших весь рацион. Они казались призраками, оборванные, голодные, словно засыпающие на ходу. Я торопливо подошел к ним, и один из них, глава племени балуба, боровшегося против Чомбе, увидев меня с блокнотом, закричал:

— Мы здесь не для того, чтобы устраивать пресс-конференции. Лумумба, мы здесь для того, чтобы получить войско!

Лумумба обнял их, каждого по очереди, о каждом хотел все узнать, ухаживал за ними, как за детьми, с нежностью, какой я никогда в нем не предполагал. Между тем таков он был. На следующее утро колонна машин натолкнулась на большую группу оборванных солдат, с которыми шли женщины и дети. Лумумба остановил машину, пожелав узнать, кто они. Это были конголезские солдаты, переведенные в Руанда-Урунди, которые отказались впредь служить бельгийцам. Тогда бельгийцы реквизировали все их имущество и отправили пешком до границы, чтобы они вернулись в Конго. Тут я впервые увидел слезы в глазах Лумумбы. Он вытащил все деньги, которые у него были, опустошил карманы своих министров и все отдал этим людям. Одновременно он распорядился, несмотря на финансовый кризис в Конго и нехватку денег, срочно выделить им 50 000 франков на первоочередные нужды и обеспечить всех жильем, зачислив в национальное конголезское войско.

Таков был Лумумба. Он все делил со своим народом. Став премьер-министром, он не брал жалованья, питался очень скромно, ни в малейшей степени не использовал положения, дававшего ему высшую власть. Но, конечно, было немало министров, которые так не поступали. Были министры, которые совершенно беззастенчиво тратили деньги (до тех пор они денег никогда и не видали!), посещали роскошные кабаре и бары, впервые узнав об их существовании. Эти люди пользовались всеми благами власти. Их звали Деле, Илео, Мобуту. Все они на другой стороне — с бельгийцами, с колониалистами.

Я собственными глазами видел однажды, как живет Лумумба. Как-то раз в амбулатории, у врача, я встретил его жену с маленьким Патрисом и его шофера Мориса, молодого, преданного, умного парня, который сейчас умирает от побоев, нанесенных ему головорезами Мобуту. Морис сказал, что меня как раз ищут, потому что Лумумба получил в подарок итальянскую магазинную винтовку и хотел мне ее показать. Я отправился к нему домой и, как обычно, застал его занимающимся массой дел одновременно. Он пригласил меня в квартиру: маленькая комнатка с тремя кроватями для детей, другая, побольше, с кроватью, шкафом и комодом,— здесь помещался он с женой, были еще небольшая, очень просто обставленная столовая и кухня. Никакой прислуги не было. Жена Лумумбы, маленькая, беременная, стряпала сама для своей семьи, для Мориса и для Луи — брата Лумумбы. Должен был родиться еще один ребенок, и думали о том, как бы увеличить квартиру,— это были единственные семейные планы Лумумбы.

* * *

Показав мне винтовку и попросив объяснить ее устройство, которого я абсолютно не знал, он заявил, что готов дать интервью, спросив при этом, не будет ли мне неприятно, если для экономии времени он пригласит еще пять или шесть журналистов. Разумеется, я согласился, и он дал распоряжение позвать их. Потом интервью было отложено на несколько часов, но за это время мне удалось полчасика поговорить с Лумумбой.

Он спросил, как я расцениваю положение в Конго. И я ответил вполне откровенно. Меня поражало то обстоятельство, что враги конголезского единства, агенты бельгийцев, могли совершенно свободно вести свою пропаганду, что продолжали выходить враждебные газеты, как, например, «Курьер д'Африк», что велись всевозможные интриги и составлялись заговоры, а в это время правительство ничем не проявляло своей власти. Он спокойно ответил мне:

— Не вы один мне это говорите, и возможно, что вы вполне правы. Но это моя родная земля, мои враги — конголезцы, как и я. Я обязан выжидать, делать все возможное для того, чтобы объединять, а не разъединять. Наше будущее сложится хорошо, если мы станем действовать совместно. Все думают, что дело в моей слабости. Это не так. Если родина будет в опасности и появится риск, что все погибнет,— мы поднимем руку против некоторых наших братьев. Сейчас это невозможно. Здесь есть еще бельгийцы, здесь столько надо сделать, мы нуждаемся во всех, в энергии каждого. Я,— добавил он с горечью,— посвятил свою жизнь борьбе за единство Конго и за его независимость. Если нужно, я готов умереть, лишь бы это единство сохранилось.

Позднее я увидел Лумумбу на Конференции независимых государств Африки, где он произнес одну из великолепнейших своих речей. В ней полностью проявились его националистические убеждения, его всепоглощающая любовь к Конго, его идеалы объединенной Африки. Помню одну фразу из этой речи, в ней, пожалуй, полнее всего раскрылся смысл того, что он чувствовал и чего желал. Он сказал:

— Мы были поставлены перед необходимостью выбора: свобода — или прежнее угнетение. Друзья, не может быть никакого компромисса между свободой и рабством. Мы предпочли уплатить цену свободы.

Последний раз я видел его перед своим отъездом из Конго. Была суббота. Я отправился проститься с ним и поблагодарить за помощь, которую он оказывал в моей журналистской работе. Мне думается, он никогда не знал моего имени — для него я был просто итальянский журналист, корреспондент одной из немногих европейских газет, которые следили за борьбой конголезского народа с чувством симпатии и солидарности.

Я застал его, как обычно, за работой. Положение было не очень хорошим, но все же спокойным. Никто не мог ожидать замышлявшегося втайне государственного переворота (он произошел в понедельник). Лумумба работал в то время над двумя или тремя решающими вопросами: освобождение Катанги, взаимоотношения с ООН, помощь из-за границы, чтобы выстоять. Голод стучался в двери. Лумумба уделил несколько минут для беседы со мной, он говорил о будущем оптимистически. В нем жила глубокая вера в людей. Я пожелал ему успешной работы и долгой жизни. Он снова сказал, что его жизнь не имеет никакого значения, но он абсолютно убежден в том, что ни один конголезец не смог бы поднять на него руку:

— Все мы — братья по крови.

Его последние слова были:

— Когда-нибудь вы вернетесь в Конго, и мы опять встретимся. Вы увидите свободную, богатую, процветающую страну, без всяких пережитков рабства.

Этого он хотел больше всего на свете, и за это его убили.

КНИГИ
ЗАМЫСЛЫ
ТЕМЫ

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Журнал «Иностранная литература» уже не раз публиковал международные анкеты. Как показывают читательские отклики, такие анкеты вызывают живой интерес у советской общественности. Продолжая эту традицию, редакция обратилась к ряду зарубежных писателей с просьбой рассказать о своих творческих планах.

На обращение редакции охотно откликнулись литераторы самых различных взглядов, убеждений и творческих направлений В этом мы видим еще одно свидетельство роста международных культурных связей.

АВСТРАЛИЯ

Катарина Сусанна Причард

Какое поистине замечательное выражение дружеских чувств я вижу в интересе советских читателей к творческой деятельности зарубежных писателей!

Весь последний год я работала над мемуарами, которые меня уговорили написать. Однако через некоторое время почувствовала, что факты жизни одного человека значат очень мало в сравнении с величайшей важности событиями, происходящими сейчас в мире. И я отложила в сторону воспоминания о детских и юношеских годах. Начала писать новый роман, в котором надеюсь показать, как обыкновенный человек постепенно приходит к пониманию смысла и значения жгучих проблем своего поколения и века. Работа над романом шла очень успешно до приезда в Австралию по приглашению Общества австралийских писателей наших советских коллег во главе с Алексеем Сурковым. Это приятное и волнующее событие заставило меня отложить рукопись и с удовольствием посвятить свое время встречам и беседам с советскими гостями.

Представители Союза советских писателей приехали к нам впервые, и я хотела бы сказать о том большом впечатлении, какое они произвели на всех, кто слышали их. Они вызвали не только глубокую личную симпатию, но — что очень важно — сумели показать, сколь высок уровень культуры в Советском Союзе, как глубок там интерес к лучшим произведениям мировой литературы и велико стремление больше узнать о жизни и труде других народов.

Вслед за советскими писателями в Австралию впервые приехали Эсланда и Поль Робсон. Их приезд тоже явился для нас большим событием. Мы с гордостью принимали у себя этих замечательных борцов за права человека. Мне было поручено приветствовать их у нас в Перте от имени Комитета сторонников мира Западной Австралии.

Затем приехала талантливая советская пианистка Татьяна Николаева, и я только сейчас стала приходить в себя после шквала ее музыки и приемов в ее честь. Не удивительно, что она взяла Перт штурмом. Никогда не видели мы такой блестящей техники, такого безупречного мастерства в

интерпретации произведений великих композиторов. Концерты Николаевой в Мельбурне и Сиднее всегда заканчивались оглушительными овациями. Поэтому я считаю себя вправе назвать ее советским «спутником» в сфере культуры, запущенным в Австралию.

Теперь, когда все эти волнующие события и развлечения позади, собираюсь вернуться к работе над своим заброшенным романом. В прошлом году я написала брошюру и несколько листовок для движения сторонников мира, писала статьи и рассказы. В этом году я намерена сосредоточить свое внимание на избранной теме. Но ведь каждый день ставит передо мной новые задачи, требующие времени и сил. Поэтому будущее покажет, сумею ли я сделать свой роман «Неуловимое пламя» таким, каким мне хотелось бы его видеть.

Kathena Susanna Prichard

АНГЛИЯ

Шон О'Кейси

В моем возрасте — мне сейчас 81 год — основные творческие усилия направлены на то, чтобы оставаться как можно более молодым, по крайней мере духом. Я хочу иметь возможность иногда встречаться и беседовать с молодежью. Недавно один молодой человек двадцати пяти лет провел в нашем доме целую неделю. Пять лет назад он написал мне письмо, в котором задал несколько вопросов, касавшихся моей работы. Я ответил ему, и наша переписка выросла в тесную дружбу. Как и мне, моему молодому другу пришлось приобретать знания самоучкой; он — из рабочей среды. В девятилетнем возрасте этот юноша и его тогда еще шестилетняя сестра остались сиротами — родители погибли от прямого попадания в дом фашистской бомбы. Сейчас он преподает в Университете Родса. Это очень талантливый молодой человек, много знающий о наших двух странах — вашей и моей. Та поддержка, которую я старался оказывать ему с первого дня нашего знакомства, также стала для меня частью моей творческой работы.

Если же говорить непосредственно о литературной деятельности, то я только что закончил чтение гранок трех новых пьес, которые объединены общим названием «За зеленым занавесом».

В период работы над ними я написал несколько статей, которые надеюсь собрать в книгу раздумий и размышлений. Хочу назвать ее «Под цветной тюбетейкой» (кстати, речь идет о ташкентской тюбетейке!). Написал также много писем, в том числе американским студентам, и беседовал по телефону с Гонолулу, где поставлена моя пьеса. Это был мой первый опыт сотрудничества с новым американским штатом, причем опыт очень удачный. Таким образом, вы видите, что я погружен в самую кипучую деятельность. У меня остается совсем мало времени на размышления о том, как я стар.

И конечно, я интересуюсь делами своих детей, а также помогаю жене мыть посуду и чистить картошку. Занятой, чрезвычайно занятой человек!

Я с надеждой жду того дня, когда Соединенные Штаты начнут проводить более разумную политику в отношении СССР. Ведь столь многое зависит от их готовности «сосуществовать» и принять участие в совместных усилиях народов, чтобы сделать жизнь на нашей планете счастливой для всех. Советский Союз все время стремится достигнуть этой высокой цели. Надеюсь, что и я тоже кое-что сделал во имя этого идеала, поднимая свой голос и используя свое влияние среди тех, кого люблю и уважаю.

Горячий привет вашему народу и его руководителям.

Sean O'Casey

Соммерсет Моэм

Благодарю за ваше милое письмо. Ваше любезное обращение весьма тронуло меня и доставило мне большое удовольствие.

Преклонный возраст и неустойчивое состояние здоровья, к сожалению, лишают меня возможности заниматься литературной работой, поэтому мне не о чем рассказать вашим читателям.

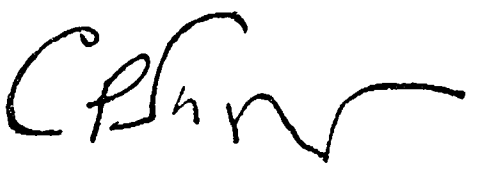
Чарльз П. Сноу

Очень рад рассказать на ваших страницах о своей работе. В этом году я выпустил небольшую книжку под названием «Наука и правительство», в которой говорится о некоторых важных научных проблемах, о том, как они были решены в Англии во время войны, и о том, как их следовало бы решать. Я рассказываю историю личных столкновений между очень крупным ученым Генри Тизардом и лордом Черуэллом, бывшим тогда советником Уинстона Черчилля по вопросам науки. Черуэлл постоянно совершал ошибки и тем приобрел печальную известность.

Работаю также над новым романом. Это будет девятая книга в серии «Чужие и братья». Новый роман — «Коридоры власти» — посвящен высшим сферам политической деятельности, в частности политической жизни членов английского правительства в период с 1955 по 1959 г. Я уже обращался к вопросам политики в своих книгах, но в этом новом романе впервые буду подробно говорить о людях, сделавших парламентскую политику своей профессией.

Задумал еще две книги, которыми закончу серию «Чужие и братья». Одна уже существует в набросках, а последняя, как я предполагаю, должна обобщать и разрешать проблемы, поставленные во всей серии.

Еще не знаю, к чему обращусь, когда будет завершена эта работа. Впрочем, думаю, что намеченного вполне достаточно на ближайшее время.



ВЕНГРИЯ

Клара Бихари

В ноябре вышел новый сборник моих новелл «Всеми уважаемые женщины». Несколькими неделями раньше, к празднованию Дня книги, я закончила работу над романом «Завтра». Героиня его — девушка Анна, будущая ткачиха одной из фабрик Будапешта — начала свой жизненный путь, как и ее мать, которая, ища спасения от бедности, при первом же сватовстве вышла замуж. Жизнь матери проходила в вечных мытарствах, в ссорах с мужем. Боясь, что дочь повторит ее судьбу, мать воспротивилась этому браку. Но ведь Анна росла уже в свободной стране!

Параллельно с судьбой Анны я показываю судьбу Норы, девушки из богатой семьи. Показываю, какой душевный кризис переживает Нора, воспитанная в затхлой атмосфере тесного буржуазного мирка, где все строилось на погоне за выгодой, как она вместе с Анной приходит на текстильную фабрику, вступает на порог новой жизни.

Следующий мой замысел — написать историю Сталинвароша, молодого города, которому всего десять лет. Хотелось внести что-то своеобразное в жанр документальной повести. Затем опять последует роман о новой жизни людей нового города.

Все, что я здесь написала, касалось уже готовых и готовящихся к печати вещей. У некоторых из них обозначились лишь контуры. Стало быть, теперь моя основная задача — облечь эти контуры в плоть и кровь. Поэтому, лишь когда эта задача будет решена, я смогу рассказать о новом романе более подробно.

Вилли Бредель

ГДР

Людвиг Ренн

В этом году в издательствах «Ауфбау» и «Киндербух-ферлаг» вышел мой новый роман «На обломках кайзеровской империи». Он написан для юношества и является попыткой дать молодежи наглядное представление о последних днях мировой войны 1914—1918 годов и о сложной обстановке революционных событий в Берлине. Роман охватывает период с октября 1918 года до гибели Розы Люксембург и Карла Либкнехта в середине января 1919 года.

Теперь я работаю над романом, действие которого развертывается в 1922—1923 годах, во время чудовищной инфляции и ее последствий, вызвавших рост революционных настроений в массах немецкого народа.

Это сложное, полное противоречий время совсем незнакомо нашему молодому поколению.

Людвиг Ренн

Эрвин Штриттматтер

Что я напишу в ближайшее время? Отвечая на этот вопрос, боюсь показаться болтуном даже самому себе. В последние два года писал мало. Был секретарем Союза немецких писателей. Как раз в это время меня часто спрашивали: «Какие у тебя планы? Что ты пишешь?»

Если на протяжении двух лет говоришь о планах, которые не можешь осуществить, становишься смешным самому себе.

Никто не спрашивал меня: «Что ты делаешь в качестве секретаря?» В конце концов можно было прийти к заключению, что работа секретаря была для меня как писателя потерей времени. Однако это не так.

1961 год застал меня снова за творческой работой. Сначала хочу подготовить для печати пьесу «Голландская невеста». Затем закончу повесть, которая будет называться «Поиски уток». Я работал над ней уже во время моего «секретарства» и поэтому мог посвящать ей лишь несколько часов в неделю.

Затем хочу написать вторую часть психологического романа «Чудодей», где представлю читателям моего героя Станислауса уже в современной Германии.

Читатели спрашивали, будет ли вторая часть романа так же остроумна, как первая. Другие читатели хотели бы узнать, будет ли вторая часть так же поэтична, как первая.

Да, вторая часть романа должна быть остроумной и поэтичной, потому что наша эпоха не менее остроумна и не менее поэтична, чем все другие.

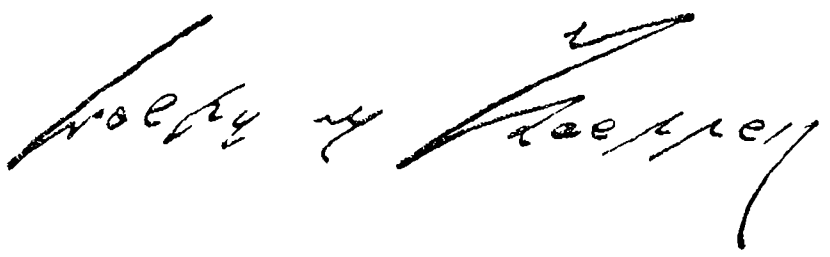
Эрвин Штриттматтер

ФРГ

Вольфганг Кёппен

Благодарю за дружеский интерес к моим литературным планам. После того как я закончил несколько книг путевых впечатлений от поездок по разным странам, снова хочу вернуться к работе над романом. Я задумал произведение, широкое по охвату, которое, вероятно, выйдет в издательстве Зуркамп во Франкфурте-на-Майне (западногерманский издатель Бертольта Брехта и Эрнста Блоха). В романе будет сделана попытка отобразить период с конца первой до конца второй мировых войн. Кроме того, мне хотелось бы обратиться к теме, которая, как мне думается, всех нас волнует, а именно к современности, и вынести ее на сцену.

Буду рад высылать вам мои произведения по мере их выхода в свет и надеюсь на дружеское к ним внимание.



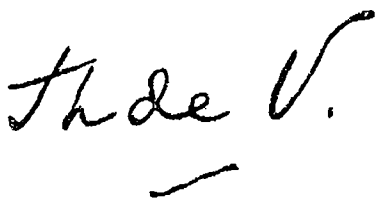
ГОЛЛАНДИЯ

Тойн де Фрис

Я продолжаю работу над циклом романов («Бег времени»), начатым в 1950 году. Книга, которую пишу сейчас, охватывает один из самых драматических периодов нацистской оккупации Голландии — февраль 1941 года. В этом месяце нацисты с помощью коллаборационистов начали массовые погромы голландских евреев. Рабочие Амстердама и близлежащих городов по призыву находившейся в подполье коммунистической партии поднялись как один человек и в течение двух дней проводили забастовку протеста. Эта антифашистская забастовка явилась первым массовым актом в движении Сопротивления в оккупированных странах Западной Европы. Надеюсь закончить роман нынешним летом.

В прошлом году написал пьесу на африканскую тему «Сигналы из темноты». В начале осени снова вернусь к этой теме, на сей раз в форме романа на материалах освободительного движения в одном из молодых африканских государств.

Пока продолжаю сбор материала для исторического романа о Спинозе. Очень хочу написать эту книгу, но наше бурное время не дает мне возможности сосредоточиться на ней, требуя внимания к более актуальным вопросам.



ИНДИЯ

Ахмад Аббас

В прошлом году закончил небольшой роман, который назвал «Пять зерен любви». Он посвящен дружбе между различными народами, населяющими Индию. Одна из пяти новелл, составляющих этот роман, рассказывает о дружбе и теплом чувстве симпатии, которые издавна связывают народы Индии и России.

Сейчас работаю над небольшим романом «Шишей ки диварен» о трагических судьбах людей, оторванных друг от друга в результате разделения Индии.

Пишу также серию рассказов о новом человеке свободной Индии, показывая его на фоне социальных и экономических изменений в стране — больших строек и ро-

ста индустриализации. Некоторые из рассказов уже напечатаны, например «Новые храмы», «Мальчик, который сдвинул гору», «Зеленый автомобиль» (эти рассказы были переведены на русский язык), а также «Саранча», «Вечер в Лакнау», «Новый муссон», «Три мусорщика» и другие.

После завершения последнего фильма «Четыре дороги» упорно работаю над новой картиной по мотивам моего рассказа «Тысяча ночей на каменной постели», который был напечатан в прошлом году в Советском Союзе. Рассказ и фильм посвящены жизни бездомных в Бомбее.

Также продолжаю, хотя и очень медленно, работу над второй частью трилогии, первая книга которой вышла в Советском Союзе под названием «Сын Индии».

Некоторое время назад мне довелось участвовать в очень своеобразном и примечательном литературном эксперименте: с целью сбора средств для прогрессивного еженедельника на языке урду «Авани дaур», который редактирует известный писатель и общественный деятель Саджад Захир, четыре писателя — Кришан Чандар, Махендранат, Пракаш Пандит и я — объездили пять городов штата Уттар Прадеш и читали рассказы на массовых собраниях жителей. Иной раз нас слушали до десяти тысяч человек. Таким образом были установлены непосредственные связи между писателями и читателями и создана новая литературная традиция.

После выхода в свет моей книжки о встречах с Хрущевым (она была издана на английском, урду, хинди, малайалам и немецком языках) читатели стали требовать от меня большой книги о Советском Союзе, где были бы собраны мои впечатления от многих поездок. Я, однако, считаю, что, поскольку в жизни советского народа все время происходят быстрые и важные изменения, мне не следует браться за эту работу до того, как я еще раз побываю в Советском Союзе и познакомлюсь более подробно с современными условиями и настроениями в стране моих больших друзей — народов советской страны.

Лучшие пожелания всем моим друзьям среди советских писателей и читателей.

К. А. Аббас

ИСЛАНДИЯ

Халлдор Лакснесс

Прошлым летом закончил роман «Обретенный рай», над которым работал тридцать два года. Переписывал книгу несколько раз, и она все время получалась длинной. Сейчас я довел роман до очень скромного объема — в нем всего 300 небольших страниц. Опираясь на художественные традиции исландской национальной легенды, исторической хроники и плутовского романа, я создал книгу антисимволистскую и антипсихологическую по духу.

Мне давно перевалило за пятьдесят, и я подумал, что, пожалуй, настало время взяться за комедии. Уступая этому желанию, набросал в декабре легкую и забавную пьеску. Поскольку по ходу действия на сцену время от времени выскакивает черная, как сажа, мумия, вы, вероятно, отнесете мое произведение к жанру «комедии не без ужасов». Она называется «Пьеса о печной трубе».

Как вы уже знаете по прошлому опыту, я никогда не говорю о книгах, которые мог бы написать, но еще не написал, так как не мастер строить воздушные замки.

Надеюсь поэтому, вы извините мне нежелание распространяться о моих творческих планах.

Халлдор Лакснесс

Дайсон Картер

КАНАДА

Вы делаете мне честь, спрашивая о моей работе и творческих планах.

Они таковы:

Сейчас делю свое время между статьями для журнала «Северные соседи» и работой над планом большой книги.

Книга эта посвящена проблеме «свободы», и мы с женой, моим соавтором, рассматриваем в ней различные аспекты «свободы» в Канаде и отражаем наш опыт изучения свободы в СССР. Книга будет называться «38-я свобода», но мы не сразу говорим читателю, что это такое.

Работа над книгой потребует много времени и сил, так как мы решили написать о каждой из 38 свобод, с тем чтобы любая глава могла также быть выпущена в виде отдельной брошюры. Как только мы завершим книгу, я намерен заняться собиранием материала о науке в странах капитала и в социалистическом мире.

Мне бы очень хотелось писать новый роман. Мои «Сыновья без отцов» имели довольно значительный успех, особенно в Германии. Однако сейчас я не располагаю временем для такой работы. Экономическое положение в Канаде ухудшается, все время растет интерес к идеям и странам социализма, мне приходится больше заниматься общественной, журналистской деятельностью. Но я считаю, что это самая увлекательная и благодарная работа для современного писателя. Каждый раз, когда слышу жалобы на перегрузку работой, я вспоминаю замечательные слова Горького о том, что хорошо работать значит хорошо жить.

Мария Домбровская

ПОЛЬША

Редакция «Иностранной литературы» спрашивает зарубежных писателей об их творческих планах. Обратилась она и ко мне. Обычно я оставляю такого рода анкеты без ответа, так как неохотно говорю о планах и замыслах. В творчестве имеют значение не планы, а их реализация. Почему же, однако, я отвечаю на анкету? Может быть, чтобы напомнить о себе тем многочисленным, всякий раз новым читателям, которые время от времени шлют мне сердечные письма из всех уголков Советского Союза. Я иногда не могу разобрать их от руки и по-русски написанных адресов и поэтому не имею возможности ответить непосредственно.

Хочу подготовить том рассказов, из которых только два готовы полностью.

Вернулась к работе над начатым несколько лет назад романом, отрывки из которого были напечатаны в различных литературных журналах, а один под названием «Где ты, Иоанна?» был переведен на русский язык Натальей Модзелевской и напечатан в журнале «Польша». Мне бы хотелось в 1961 году закончить этот роман. Очень хочу собрать и дополнить репортажи о моих давних и нынешних путешествиях, а также в отдельном томе собрать небольшие публицистические работы последних лет, разбросанные по журналам.

Какой же вывод можно сделать из моих широких планов и намерений? Они позволяют читателям надеяться, но эти надежды могут оказаться обманутыми. Значительную часть названных тут работ я собиралась закончить в 1960 году. Однако весь этот год я болела, и поэтому он был потерян для творческой работы, а может быть, мне только кажется, что в этом причина. Не в полную силу и под постоянным утомительным контролем врачей вновь приступаю к работе в дни, когда напор событий и проблем столь велик, что его не могут вместить рамки литературы и искусства (а может быть, рамки моих творческих возможностей). И все же буду писать, буду пытаться работать терпеливо и с надеждой в сердце, пока хватит сил.

Казимеж Брандыс

В конце прошлого года вышел из печати сборник моих рассказов «Романтика». Он содержит четыре рассказа, в общем двести печатных страниц, над которыми я работал в течение последних двух лет. Намерен продолжать работу над прозой этого рода также и в нынешнем году.

С момента выхода книги «Мать Крулей» в 1957 году к роману я не возвращался. В этом году хотел бы начать работу над книгой, главным героем которой был бы современный человек, а темой — его жизнь. На материале этого романа думаю раскрыть жгучие проблемы современности: как человек сам творит свою судьбу, действительность и ее восприятие, поиски равновесия между окружающей действительностью и внутренним миром героя.

Наряду с чисто литературной прозой (или, как говорится в Польше, беллетристикой) уже довольно длительное время, хотя и с некоторыми перерывами, продолжаю работу над циклом «Заметки о современности». Это — цикл эссе, писем, заметок и свободных личных суждений (порой полемических или очерковых и всегда высказываемых от первого лица). В последнее время из этого цикла вышли две книжки «Писем к пани Z», адресованных анонимной собеседнице. Так как я много лет постоянно работаю в этом жанре, позволяющем поддерживать живые контакты с читателями, хотел бы продолжать работать в нем и дальше.

Затем кино и телевидение. Закончил диалоги для экранизации «Самсона» — романа, написанного довольно давно, по которому лишь теперь сделал сценарий.

Кроме того, готовлю сценарий по моему рассказу «Как быть любимой» из сборника «Романтика». Главная героиня фильма — актриса, которая не имела успеха на сцене, но прославилась на радио, правда только к старости.

Для телевидения делаю три пьесы, которые будут поставлены в Варшавском телевизионном театре. Кроме того, хотел бы инсценировать для телевидения один из моих рассказов «Интервью с Бальмайером». В нем говорится об интервью, которое дал американскому журналисту бывший гитлеровский генерал. Действие происходит в маленькой деревушке под Мюнхеном и основано на подлинном факте.

Казимеж Брандыс

Густав Морцинек

В этом году мне исполняется 70 лет.

У меня такое впечатление, что хотя я и начал писать лишь на 36 году жизни, все же не потратил даром отпущенное мне время и написал немало романов. Сколько, не знаю точно. Но, во всяком случае, больше тридцати. Герои моих книг — прежде всего шахтеры и шахта, так как когда-то я сам был шахтером, мой отец и дед были шахтерами, и я вырос в шахтерском районе Карвине в Силезии (Шленск).

Из последних моих работ могу назвать роман под очень своеобразным названием «Семь часов копидола Иоахима Рыбки» («копидол» на старопольском силезском наречии означает «могильщик»). Книга выходит на днях. До того она печаталась отрывками в трех польских журналах.

В этом году выйдет новым изданием мой роман для юношества под названием «Рождение сердца», а также новый сборник силезских преданий под названием «Удивительные шленские поверья».

Закончил монографию о Цешинской Силезии и отдаю ее издательству «Шленск» в Катовицах.

Потом займусь шленскими легендами для юношества. Они выйдут в издательстве «Наша ксенгарня» в Варшаве.

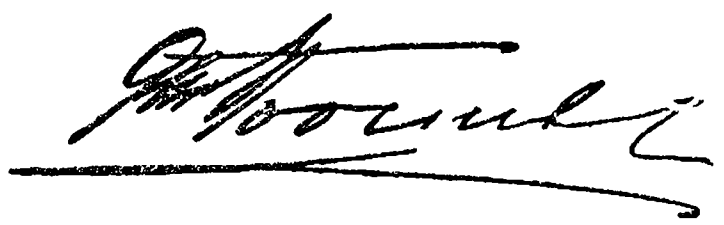
И еще в этом году намереваюсь написать роман о знамени силезских (шленских) повстанцев, которое во время войны путешествовало через Венгрию, Югославию, Грецию, Северную Африку, Фрацию, немецкий концлагерь, чтобы снова вер-

нуться в Верхнюю Силезию, откуда и было увезено в начале войны.

Кроме того, мечтаю написать сагу о силезских крестьянах, в которой пойдет речь о шести поколениях одной крестьянской семьи из Цешинской Силезии.

Это, кажется, все.

А в заключение шлю мой сердечный привет всем читателям журнала «Иностранная литература».



РУМЫНИЯ

Титус Попович

Писателю, видимо, очень трудно планировать свою деятельность. Когда ему кажется, что это удалось, появляются известные «объективные факторы». Так происходит и со мной. С некоторых пор работаю над романом (о нем речь будет идти ниже), который надеялся закончить этой зимой.

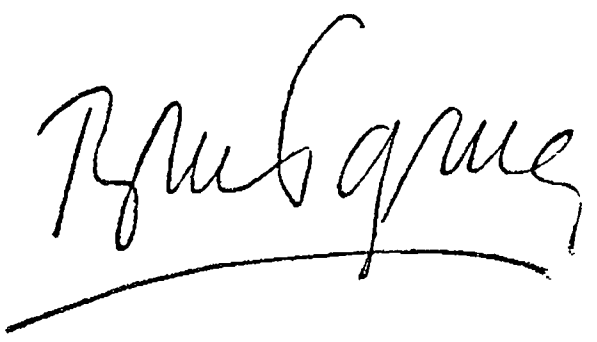
Но 30 декабря мне посчастливилось выехать на Кубу, на празднование второй годовщины победы революции. Я находился на Кубе в полный напряжения период, совпавший с окончанием «правления» Эйзенхауэра в США. Знание испанского языка помогло мне подробнее познакомиться с бытом кубинцев и почувствовать дух этого маленького и героического народа, готового с оружием в руках защитить свои революционные завоевания, свое национальное достоинство, во имя которого он принес столько жертв. Я ощутил, как глубоко запали в сердца кубинцев слова Фиделя Кастро о том, что «скорее наш остров опустится на дно моря, чем мы согласимся стать чьими-нибудь рабами». Я на деле убедился, как глубока и полна значения ленинская теория мирного сосуществования. Видел своими глазами, что всюду можно остановить войну, видел, как мощь лагеря мира во главе с Советским Союзом превращает **возможность** отказа от войны в качестве средства решения вопросов на международной арене в конкретную **действительность** наших дней.

Обо всем этом я пишу теперь книгу под названием «Звезда не одинока» (на кубинском флаге, как известно, изображена одна звезда, и кубинскими поэтами не раз воспевалась эта «одинокая звезда»). Надеюсь вложить в эту книгу все, что увидел и почувствовал на Кубе, все, что так живо и свежо в моем сердце.

В центре романа, о котором упомянул в начале, партийный работник. Я и мои товарищи по перу глубоко задумались над словами нашей партии о том, что в создании образа нового человека (можно было бы добавить — самого интересного и самобытного для писателя-реалиста) литература все еще плетется в хвосте у жизни.

В одном романе, который я намеревался написать, мне хотелось показать путь интеллигента к революции в годы народной власти, человека честного, но еще по-мещански сомневающегося. В ходе работы я, однако, убедился, что потерял интерес к этому сюжету. Считаю, что силы, главенствующие в жизни, должны стать главными и в литературе. Жизнь коммуниста, его мысли и борьба гораздо интереснее, богаче, глубже, чем всевозможные духовные переживания человека, который «выбирает», куда идти.

За этот период написал и комедию «Это можно назвать судьбой», но над ней еще предстоит потрудиться. Участвовал также в дискуссии на страницах нашей литературной печати вокруг некоторых «спорных» произведений.



США

Эрскин Колдуэлл

Самая последняя моя работа — новый роман, который я закончил в январе. В марте он вышел в свет в Лондоне и Нью-Йорке. Я назвал его «Женщина по природе...».

В этом романе я хотел по возможности логично подвести читателя к пониманию того, что происходит сейчас в южных Штатах Америки в области сегрегации и интеграции негров.

Мне представляется, что причины, вызвавшие к жизни современное положение вещей, не менее существенны для понимания обстановки, чем сами события. Разумеется, после того как они проанализированы, нужно перейти к фактам современной действительности, а для этого потребуется новое произведение.

Теперь, когда роман закончен, мы с женой намерены отправиться в различные страны Европы, чтобы посмотреть, как живут люди на другом континенте, по крайней мере там, где нам удастся побывать.

Эрскин Колдуэлл

Уолтер Лоузнфелс

В своей последней работе «Гражданская война Уолта Уитмена» (вышедшей в ноябре 1960 г. в издательстве Кнопф) я предпринял попытку собрать в одном томе прозаические и стихотворные произведения Уитмена о Гражданской войне, разбросанные в различных книгах, неопубликованных рукописях, газетных статьях, письмах и т. д. Через десять лет после окончания Гражданской войны сам Уитмен писал: «Короткое время я носился с мыслью составить и написать на досуге историю Гражданской войны в одном томе». Но поэту не было суждено осуществить свое намерение. Хочу подчеркнуть, что «Гражданская война Уолта Уитмена» не книга об Уитмене, а новая книга самого Уитмена. Он был очевидцем событий: несколько раз побывал на фронте и последние три года войны регулярно посещал раненых солдат в вашингтонских госпиталях в качестве так называемого «утешителя». Каждое слово в этой новой книге написано Уитменом. Моя работа состояла в том, что с помощью Нэна Брэймера я собрал и систематизировал опубликованные и рукописные материалы в связное и полное повествование.

Книга была хорошо принята критикой. Известный критик Брукс Аткинсон назвал ее в «Нью-Йорк таймс» «глубоким и волнующим портретом народа в годину суровых испытаний».

Моя следующая книга — сборник стихов за период с 1930 по 1960 г. Хочу подготовить ее к печати к началу лета.

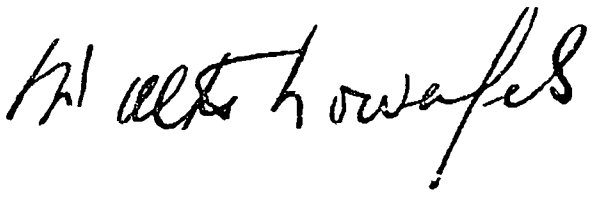
Сейчас работаю над документальной автобиографией. Она наполовину готова, и надеюсь ее закончить в 1962—1963 гг. Я использую в ней письма и другие документы, относящиеся к тем годам, когда я работал в маслобойной фирме моего отца, и к тому времени, когда я жил и писал в эмиграции в Париже.

В своей биографии я не делаю попытки вспомнить прожитую жизнь. Рассказываю о прошлом, лишь опираясь на факты, содержащиеся в документах. Надеюсь, что книга покажет, каким путем в течение последних двадцати шести лет я пришел к тесным связям с рабочим движением в Соединенных Штатах и во всем мире. Другими словами, в моей биографии нет тоски по «старым, добрым временам», она обращена не в прошлое, а в будущее.

Занят также работой, которая рассчитана по меньшей мере на пять лет и находится сейчас лишь в самой начальной стадии изучения материалов. Это будет попытка воссоздать «лицо» Соединенных Штатов с помощью документов, оставленных очевидцами, начиная со времен Колумба и кончая 1910 годом.

Уитмен сказал когда-то, что Соединенные Штаты сами — величайшая поэма. Я пытаюсь рассказать об этом с помощью писем,

дневников, записей, автобиографий и других документов, написанных рабами и рабовладельцами, пионерами и индейцами, рабочими и капиталистами, героями, героинями и злодеями, мучениками и самоубийцами — людьми самого разного склада, в столкновении которых сложился облик современного жителя Северной Америки.



ФРАНЦИЯ

Андре Вюрмсер

Прошло уже четверть века с тех пор, как я стал коммунистом. Мои планы не в ладу со временем, которым я располагаю. Но наступает час, когда время больше не терпит. Однако не страх смерти подгоняет меня — слишком много дел не закончено, чтобы думать о ней. Не хотелось бы покинуть свой письменный стол, оставив незавершенной работу, на которую ушло столько лет жизни.

Отчасти поэтому я задумал опубликовать в нынешнем году довольно значительную (по объему) работу под названием «Бесчеловечная комедия», которой я посвящаю, начиная с 1945 года, то небольшое время, какое оставляет мне журналистская и критическая деятельность. Эта «бальзаковская панорама», очевидно, так расширится, что там найдется место всем мыслям, которые волновали меня когда-то и волнуют сейчас. В книге не будет ни одного нового документа, никаких не опубликованных до сих пор высказываний. Это не будет книга для эрудитов. Но, может быть, точка зрения на некоторые вопросы покажется читателям несколько необычной, особенно там, где говорится о роли денег в «человеческой комедии». Надеюсь, что моя книга не будет догматической, но мое заветное желание (пусть оно вам не покажется претенциозным), чтобы каждый ее читатель стал хотя бы на шаг ближе к французской коммунистической партии.

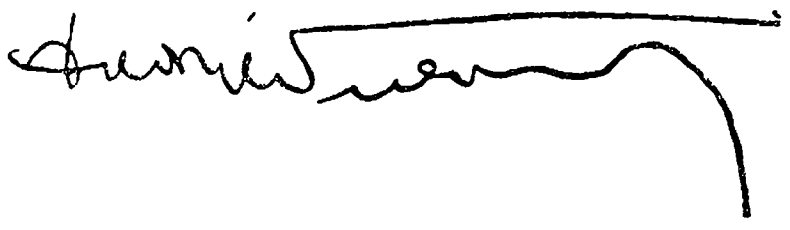
Работаю еще над двумя книжками, одна из которых почти закончена; другую я еще не начал писать.

В этом году будет опубликован сборник моих статей, печатавшихся в «Юманите». Думаю заимствовать для него название у Мольера — «Из любви к человечеству». Заслуживают ли эти статьи, написанные на злобу дня, того, чтобы войти в сборник? На мой взгляд, вопрос нужно ставить по-другому. Это коротенькие заметки, которые изо дня в день как бы иллюстрировали политику французской компартии. Я рассчитываю выбрать из них наиболее характерные (все мои статьи, написанные за один год, составили бы книгу в 1000 страниц), расположить в хронологическом порядке, сопроводив краткой характеристикой событий, по поводу которых данная статья была написана. Подобная хроника, заменив серьезную статью, поможет читателю с высоты птичьего полета обозреть историю политики. Ведь хроникеры пишут историю так же, как люди ее творят: сами того не сознавая.

Что касается моих самых отдаленных планов, то я задумал книгу, дополняющую серию романов «Человек приходит в мир». Я хотел бы показать в ней путь интеллигента, представителя мелкой буржуазии, проследить эволюцию его личности, начиная с детства до зрелых лет. В книге пять-шесть новелл, в которых вновь появляются персонажи моих старых романов, а главный герой — родной брат автора. Эта книга охватит промежуток между 1934 годом (концом серии «Человек приходит в мир») и... кануном моей смерти.

Но книга эта, над которой я могу работать только в редкие свободные минуты, имеет мало шансов появиться раньше конца семилетнего плана. Что же мне еще сказать о ней?

Может быть, она будет вариантом книги «Россия с открытым сердцем».



Пьер Гаскар

Только что вышел мой большой роман «Беглец». Действие его протекает в послевоенной Германии. Основные проблемы романа — мир и взаимопонимание между народами — раскрываются в сюжете через историю любви. Главный герой книги, француз, оказывается неспособным разобраться в социальной и политической обстановке и терпит поражение в поисках смысла жизни, который людям приходится снова открывать для себя после окончания войны.

Эта книга, написанная год назад, должна в какой-то мере отражать определенный этап в развитии моего мировоззрения. Огромные проблемы, стоящие перед человечеством, все больше и больше занимают меня, и иногда мне кажется, что рамки романа не могут вместить все то, что меня волнует.

Поэтому, закончив роман, я посвятил себя научной работе, которой продолжаю заниматься и по сей день. Имея в виду, что философия и психология тоже относятся к области науки, я упорно работаю над тем, чтобы разгадать механизм человеческих отношений. Современный уровень науки позволяет направлять эти отношения либо по правильному, либо по ложному пути, хотя многие представители нашего общества вообще не заинтересованы в «направлении» сознания масс.

Различные средства психологического воздействия, фальшивое морализаторство, ложная теория так называемой «умственной гигиены», проповедуемой сторонниками психоанализа, распространение успокоительных таблеток — «пилюль счастья», действие которых еще недостаточно изучено медициной,— таково сегодня, а возможно, еще в большей степени завтра оружие тех, кто хотят добиться «послушания» масс, добиться не силой и притеснениями, как это делалось еще вчера, а ловкими методами психологического воздействия. И в этом главная опасность.

Усиленно сотрудничая сейчас с биологами, философами, невропатологами и психологами, я надеюсь, что в своей будущей книге смогу показать опасность психологической обработки, которой мы подвергаемся.

На днях по договоренности с французской Лигой гигиены я прочитал лекцию об итогах моих первых научных исследований.

Научные занятия так поглотили меня, что на некоторое время я вынужден оставить работу в области художественной прозы. Я хотел бы приехать в Советский Союз, чтобы познакомиться с работами русских психофизиологов, очень интересными, насколько мне известно, но, к сожалению, очень редко публикуемыми у нас. Кроме того, мне бы хотелось поговорить с советскими учеными и писателями о некоторых проблемах нашей цивилизации, волнующих сейчас Запад.

Арман Лану

В апреле этого года в издательстве «Ашетт» вышло мое историческое эссе под названием «Любовь 1900 года». Это — написанное в легкой, иронической форме исследование о закулисных нравах так называемой «прекрасной эпохи», периода «абсолютистского» господства буржуазии.

В середине года в издательстве Галлимар в серии «Плеяда» выйдет второй том «Ругон-Маккаров». В сотрудничестве с Анри Миттераном я руковожу изданием и пишу предисловие к этому произведению, первый том которого был очень тепло встречен французской публикой.

В конце года издательство «Ашетт» выпустит исправленное и вновь отредактированное переиздание моей книги «Здравствуйте, господин Золя!».

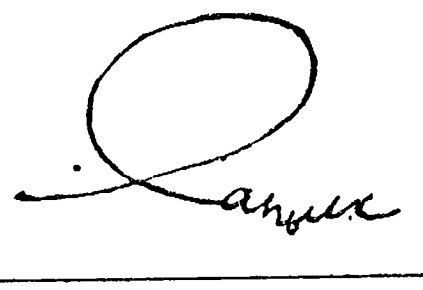
Что касается моих более далеких планов, то я продолжу работу над романом «Когда море отступает». Это третья, завершающая часть трилогии, начатой «Майором Ватреном» и «Свиданием в Брюгге». (Кстати, в Польше вышло прекрасное издание «Свидания в Брюгге».)

В моем последнем романе рассказывается история солдата канадца, вступившего добровольно в армию в 1944 году во время

высадки в Нормандии. В наши дни, размышляя о пережитом, он спрашивает себя, прав ли он был, вступив шестнадцать лет назад в армию. После долгих и тяжелых раздумий герой приходит к выводу, что, если бы все повторилось снова, он вновь поступил бы так же. Все это близко по теме «Майору Ватрену». Книга уже наполовину написана, и я надеюсь закончить ее в этом году, чтобы она могла выйти в следующем.

Рассчитываю также закончить уже написанную наполовину биографию Мопассана «Мопассан — Милый друг», над которой работаю четыре года.

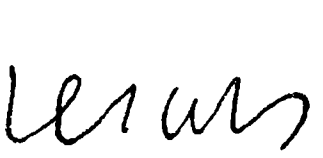
Наконец, но это уже совсем далекое будущее, мне бы хотелось написать серию романов о Парижской коммуне.



Веркор

К сожалению, мои литературные планы в данный момент, что называется, на мертвой точке. Мой последний роман «Сильва» выходит во Франции, а затем почти одновременно в Англии, Германии и Соединенных Штатах. Новой темы, к которой я мог бы обратиться, я еще не вижу.

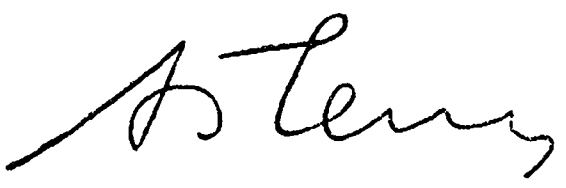
Роман «Сильва» продолжает линию, начатую переведенной в Советском Союзе книгой «Люди или животные?». В романе та же тема — «человеческое начало в человеке»: человек вытесняет животное в примитивном существе, и, наоборот, трусость и пассивность постепенно приближают человека к уровню животного. Я надеюсь, что моя книга, написанная в развлекательной фантастической форме, является прогрессивным произведением, поможет читателю осознать свое «положение человека» и заставит его задуматься над тем, к чему это положение обязывает.



ЧЕХОСЛОВАКИЯ

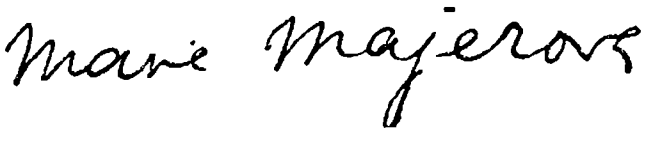
Людвик Ашкенази

Закончил работу над пьесой для театра, хотя она еще не имеет названия. Скоро сдам в издательство книгу, которая называется «Вот, извольте». В ней около тридцати коротких рассказов, написанных за последние двадцать лет. Это как бы маленькие трагикомедии, своего рода этюды, наметки для какого-то более значительного произведения. Вот и все. А дальше — видно будет.



Мария Майерова

Получила ваше письмо и благодарю за интерес к моим творческим планам. Одновременно посылаю вам номер журнала «Пламен», где напечатана моя новая повесть. В настоящее время работаю над книгой очерков, отражающих современную действительность Чехословакии.



ЯПОНИЯ

Тадао Урю

В ближайшее время я намерен работать над тремя проблемами, о которых расскажу по порядку.

Проблема первая — разработка новой теории кино.

В период немого кинематографа Сергей Эйзенштейн и Всеволод Пудовкин создали поистине выдающиеся произведения, которые оказали огромное влияние на все мировое киноискусство. Наряду с трудами этих замечательных мастеров советского кино большую роль сыграли теоретические работы француза Леона Муссинака и многих других.

Все эти работы, а также известная «Звуковая заявка», составленная Эйзенштейном, Пудовкиным и Григорием Александровым, принесли много пользы и в новой, «звуковой» эре.

До какой-то степени, может быть, и правы те, кто утверждают, что, несмотря на появление звука, теория кино не раскрыла сама по себе новые горизонты. Теория, необходимая для дальнейшего развития искусства кино, должна начать с того, чтобы, отделив этот самостоятельный вид искусства от других, определить его характерные черты.

В ходе второй мировой войны наибольшую известность завоевали короткометражные документальные фильмы. Кинокамера показала свои поистине потрясающие возможности отображения.

После окончания войны в прогрессивном кино началось теоретическое осмысливание уроков военных документальных фильмов. Именно этой проблемой я и намерен заниматься особенно серьезно. С апреля 1960 года я читаю курс лекций в университете Мэйдзи на театральном отделении филологического факультета, посвященный наиболее значительным вопросам теории современной кинематографии.

Проблема вторая — роль капиталистических монополий в японском кино.

За последние годы наша страна заняла одно из первых мест в мире по количеству выпущенных на экраны художественных фильмов. Объективно это усугубило и без того острые противоречия, корень которых в низкой покупательной способности масс. Киноконцерны ведут ожесточенную борьбу, чтобы подавить своих конкурентов. Нечего говорить, что острая борьба на кинорынке приводит к катастрофическому падению качества кинофильмов. Вот почему, анализируя и вскрывая эти вопросы, мы пытаемся показать характерные особенности японской кинематографии.

Начиная с июля прошлого года мною было опубликовано в крупнейшем японском теоретическом журнале «Искусство кино» шестнадцать статей. В ближайшее время я намерен собрать и переработать их и на этой основе выпустить отдельную книгу. Если мне удастся воплотить в книге свои творческие замыслы, то я покажу, как правящий класс и стоящий за его спиной американский империализм подчиняют себе не только кино, но и прессу, печать, радио, телевидение — одним словом, все средства идеологического воздействия на массы.

Проблема третья и последняя. Я собираюсь написать серию популярных статей о японском кино и прежде всего о так называемом развлекательном кино, которое захватывает и подчиняет своему влиянию огромные массы сельской молодежи.

По сей день японская деревня остается оплотом наиболее реакционной части консервативных кругов. Сельская молодежь еще очень отстала, именно поэтому реакции удается с такой легкостью привлекать ее на свою сторону. С сожалением приходится отметить, что развлекательные фильмы, которые являются наиболее эффективным средством воздействия на зрителя, в своей подавляющей массе далеко не прогрессивны по содержанию. Именно поэтому нашей неотложной задачей является разъяснение подлинного характера японских развлекательных картин.

Вот вкратце те три проблемы, над которыми я работаю в настоящее время.

Репортаж

Пинту Феррейра

Одиссея «САНТА МАРИИ»

Восстание на лайнере «Санта Мария» под руководством известного португальского писателя и политического деятеля капитана Энрике Галвао — важный эпизод нарастающей борьбы патриотов Португалии против фашистской диктатуры Салазара.

В те дни, когда лайнер, переименованный повстанцами в «Санта Либердади» («Святая Свобода»), встал на рейд бразильского порта Ресифи, редакция журнала «Иностранная литература» связалась с видным бразильским публицистом профессором Пинту Феррейра, который, встретившись в Ресифи с руководителями восстания, написал для нашего журнала публикуемый ниже репортаж и прислал фотоснимки.

Этот репортаж, не претендующий на глубокий политический анализ событий, связанных с восстанием на «Санта Марии», содержит, по мнению редакции, фактический материал, представляющий интерес для советских читателей.

Первые шаги

Весь мир был поражен необычайным событием: группа португальских повстанцев захватила роскошный лайнер «Санта Мария». Казалось, в Карибское море вернулись времена пиратства с их живописными и драматическими сценами.

Но это не было пиратским налетом или бунтом, столь обычным для бурных тропических морей в прошлые века. Это было восстание, организованное по тщательно задуманному и разработанному плану.

Итак, первая цель достигнута: внимание всего мира привлечено к политическому режиму, который господствует на Пиренейском полуострове. Профессор Жункейра Дамбриа, правая рука капитана Галвао, сказал мне:

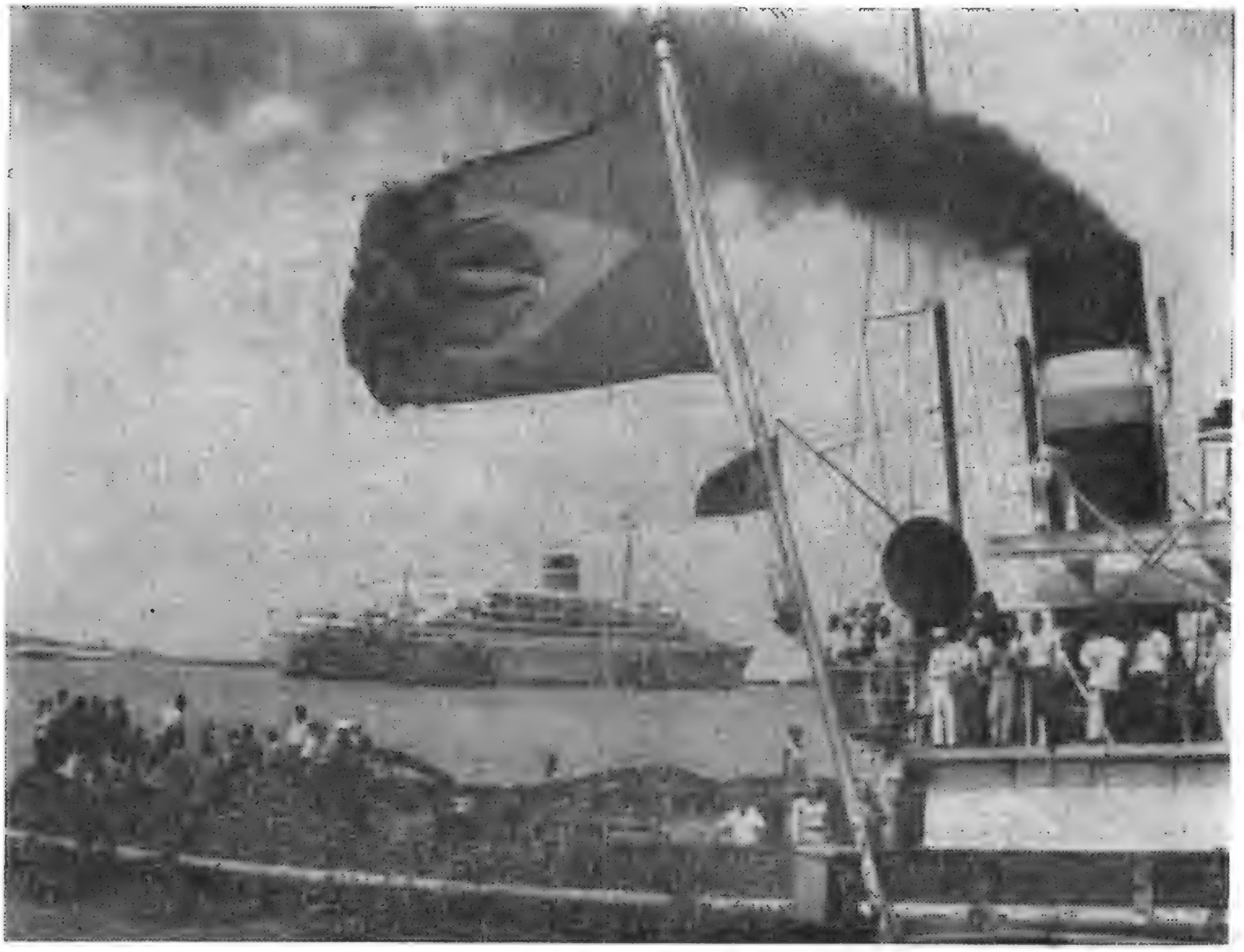
— Мы покончим с диктатурой Салазара. Мы вырвем эту страну из состояния оцепенения, в котором она пребывает, и я теперь верю, что в народе уже появилось революционное сознание. Первые шаги сделаны, и мы пойдем до конца.

Эта история большого политического значения имеет также несколько романтический характер.

Началась она так. Лайнер «Санта Мария» водоизмещением 20 805 тонн, принадлежащий португальской Колониальной судоходной компании, вышел из Лиссабона 9 января нынешнего года, имея на борту 585 пассажиров — испанцев, португальцев и венесуэльцев, небольшое число американцев и голландцев,— а также команду из 370 человек. Судно зашло в испанский порт Виго, затем на остров Мадейру, славящийся своей пышной тропической красотой. После этого оно направилось на остров Кюрасао, откуда должно было прибыть 24 января в американский порт Эверглейд, в Майами.

До острова Кюрасао ничего существенного не произошло. На этом острове, к северу от Венесуэлы, находится крупный нефтеочистительный завод. Американцы — хозяева почти всей венесуэльской нефти. Несмотря на свои огромные нефтяные богатства, Венесуэла представляет собой один из крупнейших в мире очагов голода и нищеты.

Само название острова Кюрасао происходит, как полагают, от слова «кура» — «излечение». Дело в том, что в годы великих открытий матросы каравелл находили здесь спасение от болезни бери-бери. Объяснялось это просто — недостаток витаминов в организме быстро восполнялся употреблением питательной растительности острова. Вот здесь-то, обманув бдительность португальских властей, и сели на «Санта Марию» повстанцы. Так было положено начало восстанию, наделавшему столько шума.



«Санта Мария» на рейде Ресифи.

Тайна и отвага

Денежные средства, которыми располагали повстанцы на «Санта Марии», по словам Энрике Галвао, составляли всего шесть тысяч долларов. Это личные сбережения повстанцев, на которые было закуплено оружие, а также пароходные билеты.

Все оружие приобреталось на складе железного лома. Тут был один американский пулемет «томпсон», такой древний, что на нем нельзя было даже разобрать марку. Его пришлось хорошенько отремонтировать, ибо он представлял угрозу для жизни того, кто стал бы из него стрелять: казенная часть у него оказалась совершенно испорченной.

В «арсенале» повстанцев имелось также охотничье ружье — двустволка 36-го калибра, два кольта 45-го калибра и револьвер той же системы. Остальное оружие состояло из обыкновенных шестизарядных револьверов 32-го и 38-го калибров. Никакого русского оружия у них, конечно, не было и в помине, хотя кое-кто распространял слухи о том, что это восстание «инспирировано коммунистами».

Что же произошло на лайнере? Его захватили всего 31 человек. Между тем число пассажиров и членов команды составляло в общей сложности около тысячи человек. Название судна «Санта Мария» («Святая Мария») повстанцы решили переменить на «Санта Либердади» («Святая Свобода»).

Оружием победы были тайна и отвага. Никто не знал подлинное число восставших, кроме их самих. Строгая конспирация обеспечила успех восстания.

Захват судна начался внезапно, в ночь на 23 января, примерно в половине второго ночи. Капитан парохода Мариу Симоэнс Майа был разбужен в своей каюте испуганным матросом, сообщившим ему, что на палубе начался бунт. Капитан сначала решил, что это просто дебош, устроенный пьяными венесуэльцами, однако вскоре он убедился, что это не так. Поднявшись на палубу, капитан сразу же столкнулся с повстанцем, вооруженным пулеметом. Тогда он вернулся в свою каюту и предпринял попытку перехватить у повстанцев инициативу. Но было уже поздно.

Капитан Майа связался по телефону с первой палубой. Ему ответил врач португальской иммиграционной службы. Он сообщил, что Галвао и его сторонники завладели судном.

Капитан Майа попробовал связаться с другой палубой, но повстанцы были уже повсюду. К телефону подошел Галвао.

— Говорит капитан Галвао, который от имени генерала Умберту Делгаду захватил ваш корабль. Предупреждаю, что всякая попытка оказать сопротивление будет подавлена. Лучше сдаться!

Через несколько минут в каюту капитана вошел Энрике Галвао в сопровождении человека, который сел на пароход как бывший офицер испанского военно-морского флота. Другой сопровождавший Галвао повстанец оказался юношей 17 лет...

Повстанцы стали хозяевами положения на лайнере.

Охота за «Санта Марией»

Два крупнейших военно-морских флота капиталистического мира — американский и английский — начали преследование «Санта Марии».

Капитан Галвао сразу же пустился на военную хитрость, чтобы сбить со следа военные корабли. Галвао отправил радиограмму м-ру М. О. Шоу, представителю Колониальной судоходной компании в Майами. Он сообщил, что на лайнере произошла авария в машинном отделении и поэтому судно придет в порт с опозданием. Галвао рассчитывал таким путем выиграть время: когда обман раскроется, он будет уже далеко.

Военно-морской флот Канады первым известил мир о восстании на «Санта Марии».

Фрегат английского адмиралтейства «Ротуэй» получил приказ установить местонахождение исчезнувшего судна. Американский военно-морской флот сообщил, что его самолеты совершают разведывательные полеты. Двум американским эсминцам — «Дамато» и «Уилсону» — было приказано перехватить судно «в соответствии с международными законами, относящимися к случаям пиратства и бунта».

«Санта Мария» петляла по океанскому простору. В течение четырех дней она ускользала от разыскивавших ее самолетов и кораблей. Ей удалось перехитрить два крупных военно-морских флота западного мира. 24 января лорд Ян Ор-Юинг, давая от имени английского адмиралтейства объяснения лейбористам по поводу неясной позиции Англии в отношении «Санта Марии», попал в довольно затруднительное положение: ему пришлось сказать, что португальский лайнер находится где-то между французским островом Мартиника и английским Сент-Люсия. Фактически английский фрегат «Ротуэй» потерпел поражение в этой игре в прятки.

Американский военно-морской флот объявил, что «Санта Мария» направляется якобы на Кубу. Сегодня Куба — это кошмар для янки. Им пригрезилось, что повстанцы пойдут с Кубы в Анголу.

А в это время «Санта Мария» вошла в английские воды у острова Сент-Люсия, где и была обнаружена. В интервью, данном двумстам фотографам и репортерам, капитан Галвао заявил:

— Мы принесли в жертву военные и стратегические цели нашего восстания ради спасения жизни человека, шансы которого на выздоровление, по словам судового врача, составляли всего двадцать процентов. Мы думали совершить бескровный переворот на «Санта Марии», но один из членов команды напал на повстанца. В схватке он был ранен, и мы решили его спасти.

Высадив часть пассажиров в Сент-Люсии, лайнер направился к берегам Бразилии, в сопровождении 14 американских самолетов и двух эсминцев, атомной подводной лодки и других кораблей. В Африку, как это предполагалось вначале, «Санта Мария» уже не могла идти.

4 февраля она бросила якорь в бразильском порту Ресифи.

Галвао — писатель, боец, патриот

Руководитель повстанцев — капитан Энрике Малта Галвао, ярый противник Салазара. 4 февраля, когда он уже прибыл в Ресифи, ему исполнилось 64 года. Писатель, драматург, политический деятель, солдат — этот человек совмещает в себе много замечательных качеств.

Галвао был капитаном португальской армии, членом Национального собрания и в свое время служил правительственным инспектором в Анголе. Его глубоко возмутила введенная там система угнетения африканских негров, жестокий режим колониализма. Три раза он участвовал в заговорах против Салазара. В декабре 1956 года Галвао предстал перед судом вместе с другими гражданскими и военными лицами как участник заговора. Он был осужден, затем помилован, но уволен из армии.

В январе 1958 года Галвао снова столкнулся с португальской полицией — был обвинен в заговоре. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. В тюрьме он продолжал свою революционную деятельность, выпуская антисалазаровские листовки, и снова был отдан под суд. Его судили тайно, как во времена инквизиции. В мае 1958 года он был приговорен к 16 годам тюремного заключения.

Притворившись больным, Галвао добился того, чтобы его перевели в госпиталь. Там, несмотря на усиленную охрану, ему удалось обмануть жандармов и бежать, переодевшись санитаром.

17 февраля 1959 года Галвао попросил политического убежища в аргентинском посольстве. Он вошел туда, переодетый уличным продавцом вин. 13 мая португальское правительство дало разрешение на его выезд из страны, и он вылетел на самолете в Буэнос-Айрес. Затем Галвао побывал в Бразилии, где генерал Делгаду создал ядро активной антисалазаровской деятельности. Последнее время Галвао жил в Венесуэле.

Капитан Галвао — это романтик, боец и патриот. Хотя ему исполнилось 64 года, он выглядит значительно моложе благодаря своей живости и энергии. Жители Пернамбуку встретили его радостно, с традиционным для них гостеприимством.

Повстанцы, получившие убежище у бразильского правительства, остались в Ресифи — прекрасной пернамбукской столице, третьем по величине городе Бразилии, который славится своими тропическими реками, красивыми мостами, красочным ландшафтом. Они были поселены в квартале Дерби, получив полную свободу передвижения. День рождения Галвао был торжественно отпразднован пернамбукскими журналистами. Они воздали должное его храбрости воинствующего демократа. Галвао заявил журналистам:

— У меня нет, как у Соуту, сыновей, которые были бы со мной в этой борьбе. Моя жена находится в Лиссабоне, и ей, конечно, без конца внушают, что ее муж — пират, коммунист или сумасшедший. Но тогда, значит, пираты, коммунисты и сумасшедшие — это все те, кто не подчинились кровавой салазаровской диктатуре.

— Мы остались в Бразилии, чтобы продолжать эту революцию. Мы не хотим ни отдыха, ни передышки, мы будем неустанно бороться за освобождение родины.

Слово к португальскому народу

Когда «Санта Мария» подошла утром 2 февраля к порту Ресифи, капитан Галвао вручил пернамбукским репортерам воззвание к португальскому народу, которое было тут же передано по радио и телевидению. В нем говорилось:

Капитан Энрике Галвао (за столом — второй слева) беседует с бразильскими журналистами.

От имени генерала Умберту Делгаду и как капитан «Санта Марии», используя полномочия, предоставленные мне его превосходительством генералом, законно избранным в свое время главою государства — Португальской республики, я обращаюсь к народу Португалии с первым революционным воззванием Независимой национальной хунты освобождения.

Португальцы!

Захват «Санта Марии» не был романтическим жестом и не преследовал одну лишь цель — обратить внимание всего мира на драму португальцев. Захват этого большого прекрасного судна, которое за одиннадцать дней пересекло Атлантический океан, преследуемое самолетами и кораблями различных стран, имело для всех вас значение урока. Мы хотели и нам удалось показать, что диктатор Салазар не является неуязвимым. Мы нанесли ему удар, мы высмеяли его и его военно-морской флот перед всем миром. Завтра, когда бы и где бы он на нас ни напал, мы сумеем дать ему достойный отпор.

Однако нас ждала бы совсем иная участь и мы не имели бы возможности обратиться к вам с этими словами, если бы мы ограничились только военными действиями...

Мы преследуем прежде всего революционную цель — преобразование португальского общества на новых началах. Никогда, ни при каких обстоятельствах народу Португалии не представлялась такая перспектива, никогда его надежды не были так близки к воплощению, и мы намерены сделать этот самый решительный из всех шагов. Мы знаем, что нельзя бороться, оперируя неясными обещаниями и красивыми словами. Ограничиться тем, что говорить народу о свободе, равенстве и братстве,— пустое занятие. Так мы лишь повторили бы ошибки оппозиционеров, которые боятся диктатора и прячутся за расплывчатыми формулами. Наш разговор — иной, мы предпочитаем конкретное абстрактному. Наша программа проста, но радикальна: разрушение несправедливого социального порядка, осуществление подлинной аграрной реформы и преобразований в городе. Нашими лозунгами будут: земля для тех, кто на ней работают, дом для тех, кто в нем живут. Покончим с латифундией, а также ликвидируем спекуляцию недвижимостью. Мы беспощадно уничтожим привилегии португальской плутократии и все привилегии, даваемые наследственным правом, которое сразу после рождения разделяет людей на бедных и богатых.

Мы находимся далеко от Лиссабона и от диктатора. Но всех нас воодушевляет непоколебимая уверенность, что мы вернемся как победители, чтобы осуществить португальскую революцию XX века, которая откроет и для заморских владений двери свободы, прогресса и независимости.

Юридическая битва

С прибытием «Санта Марии» в бразильские территориальные воды началась юридическая битва за право обладания судном.

Адвокатами группы восставших были Алвару Линс и Карлус Дуарти. Первый из них — известный в Бразилии писатель, с которым автор данного репортажа связан узами старой дружбы и встречался недавно в Лиссабоне и Венеции, был в свое время послом Бразилии в Португалии, откуда он уехал после «дела» Делгаду. Второй—адвокат с демократическими взглядами, председатель муниципального совета Ресифи, весьма уважаемый за свою профессиональную компетентность и честность.

Однако только что вступивший на пост президента Бразилии Жаниу Куадрос лично вмешался в это дело. Его министр иностранных дел, профессор конституционного права бразильского университета Афонсу Аринус ди Лелу Франку, принадлежащий к старинной семье дипломатов, действовал с тактом и осторожностью. Дело «Санта Марии» перешло в ведение Верховного федерального трибунала.

3 февраля газеты опубликовали следующее сообщение президента республики:

«Президент Жаниу Куадрос, в соответствии со ст. 87, §§ 6 и 11 Федеральной конституции, а также в рамках международных конвенций и обычаев и учитывая, что в этот день закончилась операция по высадке пассажиров и команды португальского судна «Санта Мария», осуществленная бразильским военно-морским флотом, и

учитывая, что Бразилия предоставила убежище на своей территории лицам, завладевшим указанным судном, решил передать в распоряжение правительства Португальской республики через посредство его представителей в Бразилии судно португальского флага «Санта Мария», бросившее якорь в бразильских территориальных водах близ порта Ресифи».

Жаниу Куадрос направил министру иностранных дел меморандум, в котором поздравил его с «проявленным тактом, осторожностью и твердостью в эпизоде с «Санта Марией», а также просил срочно связаться с министром юстиции с целью обеспечить капитану Галвао и остальным повстанцам, которые этого определенно пожелают, бразильское убежище, в соответствии со всеми его традициями гостеприимства, и дать указание всем органам власти, чтобы к повстанцам «было бы по справедливости проявлено достойное отношение».

Вслед за тем от имени смельчаков, захвативших судно с помощью старого и негодного оружия, капитан Галвао подписал соглашение с бразильским адмиралом Диасом Фернандисом. Соглашение было подписано 3 февраля, в день, когда повстанцы покинули «Санта Марию».

Это позволило адвокату повстанцев Алвару Линсу сделать юридический вывод, что с признанием политического характера акта президента Бразильской республики дело автоматически перешло из области обычного правосудия в область международной юстиции. Таким образом, повстанцы, как лица, получившие политическое убежище, не могут быть обвинены в уголовных преступлениях.

Воздушные и морские единицы американского военно-морского флота вынуждены были вернуться в Карибское море, на Антильские острова.

Другой португальский лайнер «Вера Круз» прибыл в Ресифи 4 февраля — это близнец «Санта Марии», погрузивший членов ее команды и часть пассажиров для доставки по назначению. Тем временем «Санта Мария» после пополнения запасов и передачи ее капитану Майа снова вышла на старые морские пути. Убытки компании были исчислены в четыре миллиона бразильских крузейру в день.

«Арсенал» повстанцев.

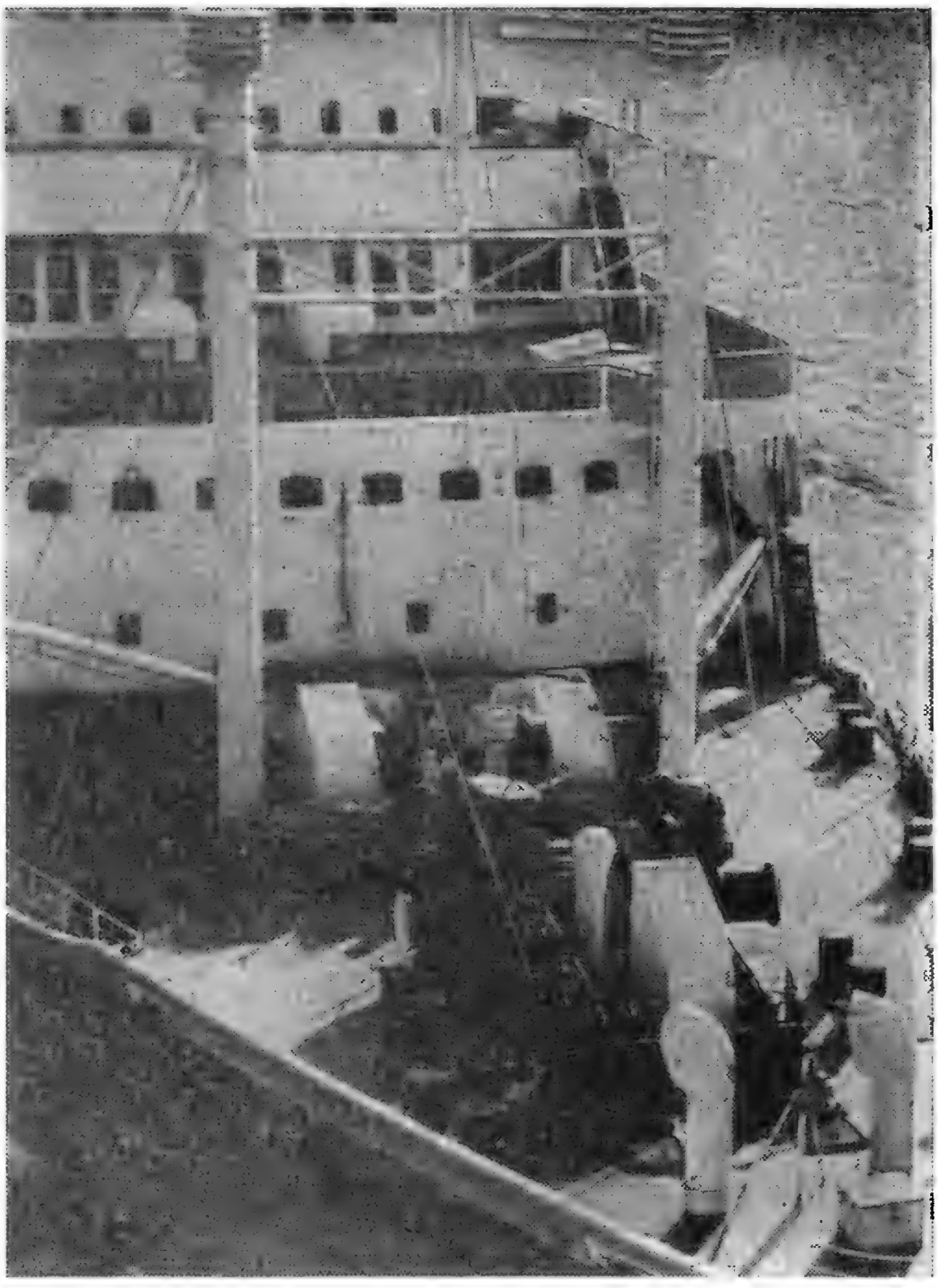
Пресс-конференция в квартале Дерби

Повстанцы с «Санта Марии» были размещены в квартале Дерби, одном из самых красивых уголков Ресифи. Туда собралось охваченное энтузиазмом население, чтобы приветствовать повстанцев. Пришли профессора, студенты, школьники, адвокаты, парламентарии, простой народ.

Энтузиазм и раньше уже охватил город. 3 февраля, когда Галвао выходил из телестудии, ему устроили бурную встречу. Ему аплодировали, как кинозвезде. В квартал Дерби началось настоящее паломничество. Одна мексиканская кинофирма будет снимать фильм о жизни Галвао.

Автор этого репортажа беседовал в Дерби с Галвао в солнечное воскресенье 5 февраля.

— Мы никого не подкупали, чтобы добиться присоединения к нашему движению. Зачастую у нас вообще не было денег даже на кофе,— сказал капитан Галвао.— Все, кто здесь находятся, остались на некоторое время почти без гроша, ибо хотели сделать решительный шаг на пути к освобождению Пиренейского полуострова. Капитан лайнера, все время раболепно служивший нам, только тогда проявил запоздалую храбрость, когда мы вошли в порт Ресифи. С пассажирами мы обращались вежливо, и те, кто утверждали обратное, попросту лгут,



«Санта Марию» они назвали «Святой Свободой» — «Santa Liberdade».

не сдержав данного ими слова рассказывать только то, что они видели. Вчера мы даже устроили на прощание бал для пассажиров.

Галвао рассказал о жертвах, на которые пошли его товарищи, продав свое имущество и дома.

Опровергая измышления некоторых органов печати, Галвао заявил:

— Я не коммунист и даже не сочувствую коммунизму; я не имею никаких связей с какого-либо рода иностранными партиями или общественными течениями других стран; у нас нет никакого родства с Фиделем Кастро, а у кубинцев нет ничего общего с нами. Характер нашей революции определяется именно тем, о чем мы уже говорили (землю для тех, кто ее обрабатывают, и дом для тех, кто в нем живут). В Португалии большинство составляют те, у кого нет ни земли, ни работы, а поддерживаемая правительством спекуляция недвижимостью достигла невероятных размеров. Я бедный человек: в Португалии не найдется десятка людей, которые занимали бы такие же общественные посты, как я, и не обогатились бы. Мы начали эту борьбу и доведем ее до конца.

— Факты показывают, что в Португалии создались условия для свержения тирана и его приспешников. Мы перешли теперь к твердой, мужественной, решительной деятельности; мы доказали, что диктатор не является неуязвимым, мы деморализовали его и его военно-морской флот наемников с помощью коммерческого судна и небольшой кучки неопытных в морском деле людей. Как в метрополии, так и в заморских провинциях нарастают стихийные волнения в народе, которому надоело подвергаться ограблениям и который по горло сыт диктатурой, преступлениями против свободы, тюрьмами, убийствами; Португалия теперь решительно пойдет по пути освобождения.

Галвао заметил, что у него есть сведения о восстании, вспыхнувшем в Луанде, столице Анголы, которое непосредственно связано с мятежом на «Санта Марии», а также о манифестациях в самой метрополии.

— Первый этап,— сказал он,— осуществлен. Другие последуют за ним. Борьба продолжится в более широких масштабах и с большим размахом.

5 февраля Энрике Галвао и его соратники подписали манифест, обращенный к народу Бразилии. В нем говорится:

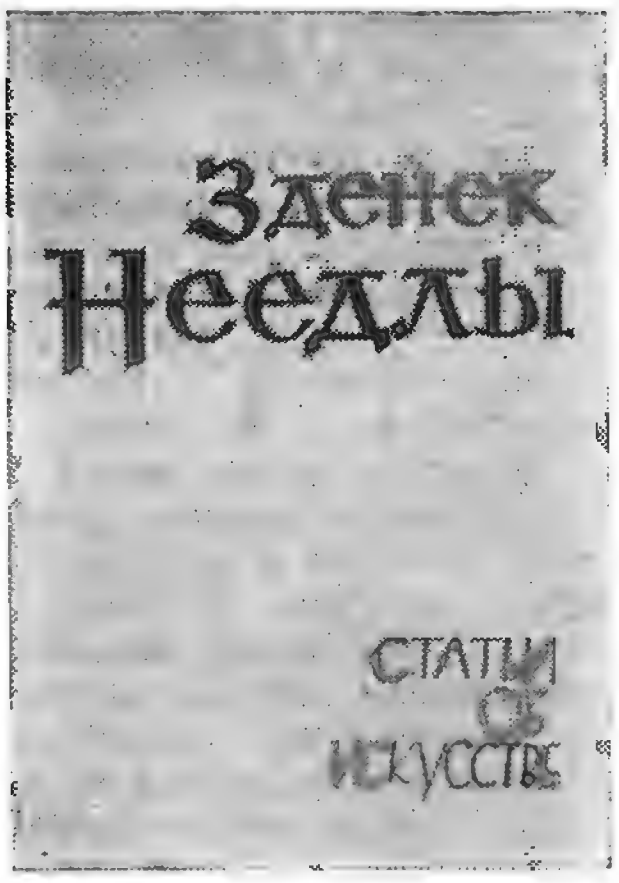
Мы прибыли сюда, ведя борьбу против непротивления злу, которое всегда обосновывают божественным провидением. Мы хотим показать всю очевидность того, что историю нужно творить, а не безропотно переносить страдания. Мы понимаем, что все заслуживающее уважения должно уважаться, но мы не уважаем тиранию предрассудков, на которые опирается олигархия. В заключение нам хотелось бы привести здесь слова выдающегося галисийско-венесуэльского поэта Андреса Элоя Бланко, который выразил очень ярко наши чаяния, стремления и идеалы: «Каждому — ломоть хлеба, большой, как его голод».

г. Ресифи, Бразилия.

Издано в СССР

Культура должна служить народу

Зденек Неедлы. Статьи об искусстве. Перевод с чешского. Вступительная статья, редакция текста и примечания В. Д. Савицкого. Составитель В. Достал. Ленинград—Москва, «Искусство», 1960. 631 стр.



Появление книги работ по искусству выдающегося чешского историка, искусствоведа и филолога, давнего и верного друга Советского Союза, президента чехословацкой Академии наук Зденека Неедлы — большая радость для тех, кто занимаются изучением истории культуры Чехословакии. Много новых и оригинальных суждений найдут в ней и те, кто проявляют интерес к эстетике. В сборник вошли не только статьи, но и монографии, а также главы из книг. Издание открывается большой статьей В. Д. Савицкого «Неутомимый борец за реализм», в которой подробно рассказывается о жизни и деятельности Зденека Неедлы

Познакомившись с этой книгой чешского ученого, первое, на что обратит внимание читатель,— это необычайная жизненность работ Неедлы, их актуальность. Сказанное относится и к тем трудам, которые появились еще в 900-е годы, и к тем, которые были написаны 30—40 лет назад в годы буржуазной республики, и к тем, которые он создал после освобождения Чехословакии.

Главное, что делает такими современными все работы Зденека Неедлы,— пронизывающая их идея народности культуры, мысль о том, что все завоевания культуры должны быть доступны народу, служить ему. Еще в 1907 году, будучи молодым ученым, Неедлы писал, что искусство для народа должно быть самым лучшим и самым прогрессивным искусством. Почти сорок лет спустя, в мае 1945 года, он заявил: «Нам нужна культура, обращающаяся к миллионам, а не к избранной небольшой группе людей. Нам нужна культура, которая объединяла бы народ, а не расчленяла бы его на отдельные касты... Не «ниже — к народу, а выше — с народом...» Пронесенная через долгую, наполненную упорным трудом и раздумьями жизнь любовь к народу была одной из причин, позволивших Неедлы стать выдающимся ученым-марксистом.

В небольшой рецензии невозможно даже бегло затронуть множество проблем, которые освещены в работах, собранных в этой книге. Мы попытаемся остановиться лишь на тех, которые особенно тесно связаны с задачами строительства социалистической культуры Чехословакии в наши дни

За истекшие 15 лет в Чехословакии немало сделано в области переоценки культурного наследия Однако порой еще можно встретиться с несколько пренебрежительным отношением к отдельным писателям-демократам XIX века. Об этих представителях чешской классики иногда говорят как о милых, но наивных и старомодных людях, которые мало что могут дать современному читателю и как мыслители и как художники. Именно против

такого отношения к национальным культурным ценностям прошлого направлены горячие слова Неедлы: «Мы не можем не знать всего того великого, что было создано для нас; и не можем не желать и не стремиться использовать все это и для себя, творить дальше на заложенном фундаменте». Эти слова, сказанные в 1932 году, и другие суждения Неедлы о том, что классическое наследие — прочная основа для дальнейшего развития литературы, не следовало бы забывать, особенно тем, кто склонны проводить слишком резкую грань между новейшей чешской литературой (начиная с 90-х годов прошлого века) и всем созданным в предшествующий период.

Зденек Неедлы — страстный борец за реалистическое искусство. Он рассматривает реализм как явление, исторически развивающееся, имеющее у разных народов свои особенности, но в то же время видит в нем общие черты, подчеркивает его связь с прогрессивными идеями. «...Неверно, что может быть что-либо прекрасным, что не является *правдивым,* морально *здоровым* и *великим* в идейном отношении»,— читаем мы в статье «Святоянская эстетика». Развивая мысль о реализме применительно к нашему времени, показывая полное бесплодие формализма и натурализма, Неедлы говорил в апреле 1948 года: «Мы стремимся к совершенно иному: к активному социалистическому реализму... Это культура не любой действительности, а действительности живой и подлинной, в нынешнее время действительности революционной. Не следует заблуждаться: ведь февральские события не знаменуют конца революции». Ученый энергично выступает против всего отрицательного и вредного, «что еще сохранилось от старого мира». Сказанное им не утратило значения и в настоящее время, поскольку борьба с рецидивами формализма все еще не снята с повестки дня.

Близка и понятна советскому читателю и та непримиримая позиция, которую занимает Зденек Неедлы по отношению ко всяческим проявлениям мещанской идеологии в области культуры. Предупреждая о сложности борьбы с мещанством, о многообразии форм его проявления, Неедлы помогает народу очистить новую, социалистическую культуру от того, чем дорожит мещанин, от всего мелкого, «красивенького», «что не вызывает душевных бурь, что позволяет ему жить, сохраняя полное душевное спокойствие...».

Полезные и ценные мысли содержатся в трудах Неедлы и по более частным вопросам истории чешской культуры. Так, например, в работе «Бедржих Сметана», раскрывая истинно народный характер творчества этого великого чешского композитора, он особо отмечает отсутствие у Сметаны «высокомерного индивидуалистического «я» и необычайно высоко расценивает присущее его произведениям «коллективистское начало», свойственное им общественное звучание. Эта идея утверждения «духа коллективности», то есть духа народа в искусстве, идея отрицания индивидуализма находит отражение и в других сочинениях Неедлы. Читая их, невольно задумываешься над тем, почему же в иных статьях молодых чешских литературоведов порою все же появляются такие неудачные определения, как «позитивная индивидуалистическая литература» и т. п.

Характеризуя чешскую литературу 90-х годов прошлого века, раскрывая ее противоречивость, Неедлы отмечает, что поколение писателей-модернистов конца XIX — начала XX века впитало в себя дух так называемого нового мещанства, что оно, «пресытившись строгой дисциплиной национальной литературы, национального искусства, национальной жизни, прямо набросилось на эстетические излишества»... Образцом для чешских модернистов, как пишет Неедлы, служило упадочническое буржуазное искусство Франции того времени.

Следует отметить, что, говоря о буржуазном субъективистском искусстве конца XIX — начала XX века, Неедлы пользуется термином «модернизм» (modernismus). Это понятие некоторым современным чешским литературоведам кажется расплывчатым, лишенным содержания. Между тем оно существует в чешской эстетике давно и, как видно из трудов Неедлы, имеет определенный смысл. Отказ от употребления этого термина, по-видимому, не может освободить науку от необходимости решения вопросов модернизма по существу.

И еще один пример — проблема авангардизма в искусстве, все чаще и чаще привлекающая к себе внимание в последние годы. Как бы обращаясь к тем, кто не знают, с какой стороны подойти к ней, Неедлы говорит, что за словами «авангардное искусство» и «авангард» часто скрывается разное, прямо противоположное содержание. С одной стороны, это «декадентствующий авангард», который, «согласно интересам буржуазии, уводил от умирающей действительности и направлял свои творческие устремления в царство мечтаний», с другой — это «социалистический авангард», который «все с большей энергией и целеустремленностью пробивался к сути... новой, расцветающей.. действительности...»

Неедлы предстает со страниц книги решительным противником проявлений субъективизма в области изучения литературы. «...Наши литературные критики ...и вся литературная общественность, — пишет он, — часто гонялись за обманчивыми блуждающими огнями, прославляя имена, которые вскоре терялись во мраке забвения или, во всяком случае, теряли свою значимость. В то же время

недооценивались явления, которые были, а зачастую и остались хлебом насущным для нации, для широких народных масс...»

Не менее злободневными и важными для нашего времени являются высказывания Неедлы о том, какой должна быть литературная критика. В этом отношении он как бы является прямым участником дискуссии, начавшейся на страницах чешской печати в конце 1960 года. Критик, говорится в книге, обязан прежде всего знать, чего он хочет достичь, обязан «определить, кто наш союзник и кто наш враг, где находятся прогрессивные и где реакционные силы». Но не только это. «Критика, особенно в такую эпоху, как наша,— подчеркивает Неедлы,— должна быть воспитателем, учителем». Он выступает как против безудержного захваливания, так и против злобных разносов, он — за деловую, дружественную оценку произведений искусства и конструктивную помощь.

В сборнике трудов Неедлы мы встречаемся с постановкой проблем, которые мало разрабатывались советскими учеными и потому представляют для нас большой интерес: смена культур, жизнь произведения искусства и его восприятие во времени, взаимоотношения учителя и ученика в искусстве и т. д. Отдельные положения книги могут показаться дискуссионными. Так, например, необычно звучат для нас такие определения, как «народный реализм», «моральный реализм», «исторический реализм», «национальный реализм». Однако, если учесть, что, пользуясь ими, автор стремился показать специфику развития чешского реализма, а также своеобразие реализма в других странах, то смысл их в основном станет ясен.

Особое внимание советских читателей привлечет раздел «О русской культуре». В него вошли статьи, посвященные Гоголю, Чехову, Станиславскому, постановке «Мещан» Горького в Чехословакии. Все они проникнуты любовью к русской культуре. Об этом лучше всего говорят слова самого Неедлы: «..целые поколения у нас были воспитаны на русской литературе, русской культуре». Если раньше это происходило «из любви к русскому народу», замечает Неедлы, то сегодня «еще и из любви к Советскому Союзу. как к стране... социализма».

Большую помощь в изучении нового этапа культурного развития Чехословакии окажут работы, вошедшие в раздел «Статьи и выступления после 1945 года». Не будет преувеличением сказать, что здесь в большей или меньшей степени затронуты почти все основные вопросы борьбы чехословацкого народа за социалистическую культуру.

Как один из ветеранов этой борьбы выступил Неедлы и на состоявшейся в Праге в феврале текущего года конференции о задачах художественной критики. Он призвал ее участников помогать «созданию нового общества и нового человека». В этом, по его мнению,— главная цель социалистической критики.

Приветствуя появление хорошего и нужного сборника работ Зденека Неедлы, надо сказать и о некоторых частных недостатках издания.

Приданные к статьям примечания могли бы быть более полными и точными. Жаль, например, что в книге остались без объяснений некоторые собственные имена, факты, не получили характеристики отдельные периодические издания.

В примечаниях о группе писателей, активно сотрудничавших в последние десятилетия XIX века в журнале «Люмир» и вошедших в историю под именем «люмировцев», причислены Я. Неруда, Гостинский и Чех, в то время как уже из самого текста работ Неедлы видно, что им имелись в виду Врхлицкий, Сладек, Ирасек и Зейер. Известно, что Краледворская и Зеленогорская рукописи — искусные подделки под памятники древней письменности — были созданы не одним Ганкой, как сказано в примечании. Вместе с Ганкой в их создании принимал участие поэт Йозеф Линда (1789—1834).

Неверно в сущности охарактеризована в примечаниях книга художника Миколаша Алеша «Шпаличек». Мало что поясняет примечание к словам «новое, прогрессивное движение 90-х годов».

Непонятно, почему в перечне упомянутых в книге имен Вацлав Матей Крамериус назван Крамерием, почему Сладек назван редактором ряда изданий, хотя он редактировал только один журнал, и т. п.

Несколько слов о качестве перевода, который представлял большую трудность Как это ни странно, но иногда переводы грешат не столько против чешского языка, сколько против русского. Есть и ошибки смыслового порядка. Неверно, например, переводится слово moderní, которое означает новый, новейший, современный, а не модернистский.

Что касается составления книги, то, по-видимому, в ней без ущерба могли бы быть опущены такие статьи, как «Ребенок» Ф. К. Шальды» и некоторые другие, мало что говорящие нашему читателю из-за большой специфичности тематики. С другой стороны, обидно, что в книгу не вошли статьи «Из истории отношений советской и чехословацкой литературы», «Тарас Шевченко», высказывания о русских революционных демократах, заметки о чешских классиках. Однако эти замечания по составу сборника не затрагивают основного его содержания.

Книга Зденека Неедлы, несомненно, обогатит советских читателей, поможет им глубже и полнее понять национальные корни и исторический путь развития чешской культуры.

Л. Кишкин

Постоянство

Мария Бануш. Стихи. Переводы с румынского. Москва, Гослитиздат, 1960. 191 стр.

Имя Марии Бануш произносится в народной Румынии с уважением и любовью. В ее творчестве наиболее отчетливо проявилось стремление лучшей части национальной интеллигенции разделить с народом его судьбу — принять участие в борьбе простых людей за справедливую и свободную жизнь.

Мария Бануш принадлежит к тем писателям, которые в мрачные предвоенные годы нашли в себе мужество бросить вызов установившемуся в стране порядку, сказать «нет!» фашизму.

Сфера творческих интересов писательницы разнообразна. М. Бануш — автор нескольких пьес, много работает над переводами из русской и западноевропейской классической литературы. Но поэзия — основная и многолетняя ее страсть. Первый сборник стихотворений Марии Бануш вышел в 1937 году. Это были горькие и безрадостные стихи. Мир в них вставал заколдованным царством, которым правил кто-то невидимый и страшный. Сказочная ирреальность его подчеркивалась беглым мельканием не связанных друг с другом картин жизни, природы. Человек метался в этом кошмарном мире, мучительно пытаясь восстановить его цельность, найти нить, связывающую клочья жизни.

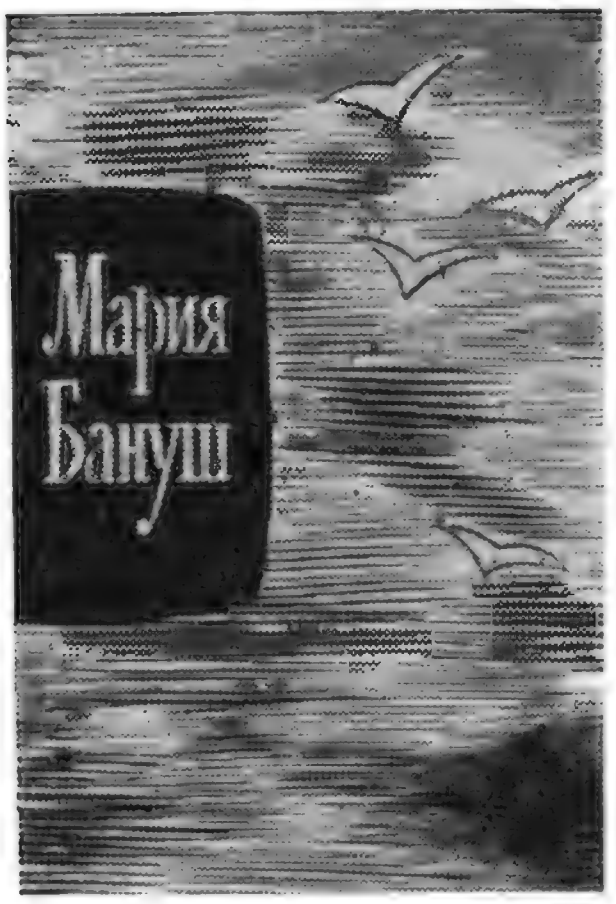
«Я лихорадочно, упорно искала правду, справедливость,— писала позднее об этом времени сама Бануш,— искала ответа на вопрос: как жить? Безотчетно для себя я искала партию, партию коммунистов. И я ее нашла».

Осмысление деятельности коммунистов, организующих массы на борьбу за свое освобождение, личное участие в этой борьбе привели поэтессу к усвоению правды и цели народа как своей собственной цели и правды. Именно в это время, то есть в годы непосредственно перед второй мировой войной и во время войны, наметились основные черты поэтического облика Марии Бануш.

Мир и человеческая жизнь в ее стихах, перестав быть разорванными частями лишенного гармонии бытия, не потеряли своей сложности и противоречивости. Но по-новому увиденный мир, представшая в новом свете жизнь уже не страшат поэтессу. Восстановлена нарушенная связь с людьми.

Отныне главнейшим достоинством своей поэзии Бануш будет считать Постоянство. Постоянство любви к жизни, олицетворенной для нее в народе и его партии.

Послевоенные стихи Бануш насыщены философскими раздумьями. В поле зрения ее лирики и связь культур, предшествующей и зарождающейся, и проблема нового человека, и судьбы отцов и детей. Поэтесса воспевает мир — яркий и ликующий, деятельность людей — мирную и героическую. Стих ее мужает, вбирает в себя все краски вселенной, пробуждая в сердцах чувства прекрасные, гармоничные.



И всем этим Мария Бануш обязана повстречавшимся ей хорошим, настоящим людям.

Но весь мой спектр,
чьим блеском я горда,
На семь цветов
разложенный, лучистый,
Пылает белой молнией,
когда
«Вставайте, люди!» —
кличут коммунисты.

М. Числов

Воспоминания Фернана Гренье

Фернан Гренье. Вот как это было. Перевод с французского Б. С. Вайсмана под редакцией Л. В. Келарева. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 206 стр.

«Для одних Сопротивление — это нечто смутное и неопределенное, для других оно рисуется в виде лубочной картинки... История 1940—1944 годов еще не написана...» Так, начав воспоминания о годах второй мировой войны, видный деятель Французской коммунистической партии Фернан Гренье дал оценку тем книгам буржуазных авторов, в которых искажено недавнее прошлое — Сопротивление. Роль рабочего класса и коммунистической партии — авангарда освободительной борьбы — в этих книгах преуменьшена.

Ценный материал для будущей истории Франции времен второй мировой войны содержится в переведенной на русский язык книге одного из руководителей ФКП Флоримона Бонта «Дорога чести», в основе своей документальной. Обобщенную марксистскую характеристику этого периода читатель найдет в замечательной книге Мориса Тореза «Сын народа». Рядом с

названными произведениями на книжной полке историка Сопротивления непременно встанут воспоминания Ф. Гренье. Их автор вместе с другими коммунистами сидел в тюрьмах Петэна, после побега из концлагеря принял участие в борьбе партизан и франтиреров, а затем был переброшен в Лондон как представитель ФКП при Национальном комитете освобождения, возглавлявшемся генералом де Голлем. Когда в Алжире было создано временное правительство, Ф. Гренье стал в нем комиссаром (министром) по делам авиации.

Личный опыт автора воспоминаний очень велик. Значение документов, приведенных Фернаном Гренье (частично ранее опубликованных им), трудно переоценить.

Мемуары Фернана Гренье лаконичны и отличаются живостью стиля. Главы о петэновских тюрьмах основаны на заметках дневникового характера, сделанных автором в застенках. О событиях и незабываемых переживаниях последующих месяцев и лет Ф. Гренье рассказал темпераментно, передав остроту и свежесть своего первоначального восприятия.

Стержень воспоминаний Ф. Гренье — факты, раскрывающие сущность трех политических линий: всегда принципиальной, подлинно патриотической и антифашистской политики Французской коммунистической партии, антинациональной политики предателей Франции петэновцев и непоследовательной политики деголлевцев, пытавшихся соединить несоединимое — борьбу против гитлеровских оккупантов с необоримым тяготением к антикоммунизму.

Мы читаем о деятельности коммунистов в те годы и восхищаемся настоящими людьми, партией героев. Они были истинными противниками фашистов. Они никогда не теряли ясности мысли и дальновидности, умения ориентироваться в любой обстановке, работать и бороться в любых условиях. В политике ФКП, в мужестве и самоотверженности коммунистов и других патриотов — подлинное величие Франции. Даже жандармы, подчиненные предателям-петэновцам, чувствовали, что их заставляют принимать участие в преследовании патриотов. ФКП «стала Партией Нации» (Морис Торез); потеряв десятки тысяч борцов, она ежечасно приближала день освобождения.

На долю Ф. Гренье выпала обязанность наладить связь Национального совета Сопротивления, находившегося во Франции, с де Голлем и его лондонским аппаратом. Будучи в Лондоне, он убедился, что эта задача почти невыполнима: деголлевцы фактически срывали помощь партизанам и франтирерам и даже не пересылали во Францию корреспонденцию Ф. Гренье, адресованную ЦК ФКП.

Невозможно читать без волнения и негодования главу «Трагедия Веркора». Мы узнаем из нее правду о судьбе трех тысяч пятисот партизан, окруженных тридцатью тысячами гитлеровцев. Командование партизан тщетно требовало от алжирского правительства бросить французскую авиацию против немцев. Героически продержавшись полтора месяца, они так и не получили этой помощи. Теперь с ужасом узнаешь о том, что Комитет действия, возглавлявшийся небезызвестным Сустелем, ставшим впоследствии одним из главарей французских неофашистов, угаил все радиограммы командования партизан, окруженных в Веркоре. Помощь героям Веркора была преднамеренно сорвана, хотя средства для ее оказания имелись. Все это сделали для того, чтобы впоследствии обвинить коммуниста Гренье в нежелании помочь патриотам. Напечатанная в 1947 году статья, в которой содержалась эта гнуснейшая клевета, так и была озаглавлена: «Они — коммунисты, а потом уже — французы». Ф. Гренье обладал всеми документами, необходимыми для разоблачения клеветников. Он их разоблачил. Но уже никто не мог вернуть к жизни погибших патриотов Франции.

Трагедия Веркора — одно из исторически конкретных и наиболее впечатляющих доказательств того, что антикоммунизм, порожденный страхом перед силой народа, с железной закономерностью приводит к преступлениям против родины и человечности, против демократии и человечества.

Книга Гренье о гитлеровской оккупации Франции, о Сопротивлении — злободневна. Невольно вспоминаешь, что в 1961 году землю Франции вновь топчут солдаты западногерманских войск, которыми командуют вчерашние нацисты, и не сомневаешься в том, что французский народ снова прогонит со своей земли незваных гостей.

Н. Миловидова

Гнев и боль художника

Хуан Антонио де Сунсунеги. Бег в темноте. Перевод с испанского И. Кумарьян. Предисловие Ф. Кельина. Редактор С. Вафа. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 316 стр.

Эта книга — трагическая история крушения семьи безвольного, не приспособленного к жизни мечтателя интеллигента Роберто. Его жена Долорес глубоко порядочная женщина, изнемогшая от сражений с кредиторами, от никчемности мужа, в порыве отчаяния уходит с Эрнандесом, ловким дельцом, разбогатевшим на спекуляциях.

Трагедия Долорес и Ро-

берто развертывается на фоне беспредельной нищеты, борьбы за кусок хлеба. Автор изображает грязный мир спекулянтов, темных дельцов, мошенников и пройдох. «Сейчас мошенники в моде,— с наглой откровенностью восклицает Эрнандес,— и надо пользоваться моментом».

Перед нами проходит вереница «героев дня» франкистской действительности: баронесса Рамона, развращенная женщина, преуспевающая на спекуляции морфием; красавица Мари — владелица небольшого магазина, раз в неделю с добродетельным видом встречающая жениха, американского летчика, а в остальное время промышляющая контрабандой и развлекающаяся со своими клиентами, и др

В книге Сунсунеги, пожалуй, нет положительного героя. В мире, где властвует чистоган, яд его отравляет все вокруг. Здесь есть только хищники и жертвы. И последними зачастую становятся не только слабовольные люди, подобные Роберто. Трагична судьба Паломы, обаятельной, внутренне чистой женщины. «Я создана быть хозяйкой, женой»,— признается она. Но чтобы прокормить семью, Палома вынуждена принимать участие в спекуляциях и становится жертвой своих махинаций.

На первый взгляд, может создаться впечатление, что гнев автора обрушивается прежде всего на головы спекулянтов и дельцов. «Чем больше беднеет страна, тем больше банков»,— восклицает один из героев. Но для Сунсунеги это не само зло, а лишь следствие его. А зло, по мнению писателя,— универсально. Все слои общества — от аристократии и интеллигенции до простых людей — охвачены ощущением всеобщего крушения, катастрофы. Отсюда горестный, обличающий монолог Роберто: «Никогда еще мир так не напоминал беспорядочного бега в темноте, как теперь... Законы морали попраны, господствуют лишь сила и обман».

Но, ясно видя, что страна катится в пропасть, Сунсунеги не знает, не ищет пути общественного спасения. Отсюда крайние пессимизм и желчность, которые пронизывают книгу. Резкий и нелицеприятный критик, писатель вдруг становится беспомощен, когда возникает вопрос — что же делать? Жестоко издеваясь над безволием, фразерством, прекраснодушием Роберто, он предлагает ему в качестве единственного выхода христианское всепрощение, призывает его быть честным, надеяться на бога. Беспомощный и слабый вывод после столь сокрушительной критики.

Впрочем, здесь Сунсунеги не сводит концы с концами. С одной стороны, он толкает своих «слабых» героев на путь смирения, с другой — его привлекает «сильная» личность. Ею в романе является архижулик Эрнандес. Сунсунеги идеализирует его, показывая Эрнандеса (особенно во взаимоотношениях с Долорес) благородным и честным человеком. Эта противоречивость позиции Сунсунеги отражает растерянность писателя перед действительностью, трагическое сознание его беспомощности.

Сами по себе проблемы, поставленные Сунсунеги, не новы: всесилие денег, герои-хищники и герои-жертвы, спекулянты и пройдохи, женщины, вынужденные продаваться, опустившиеся аристократы, превращающиеся в мошенников. Но в романе все это отмечено конкретными приметами Испании сегодняшнего дня. И потому, хочет того писатель или нет, ненависть к спекулянтам и мошенникам, к коррупции, власти денег оборачивается против франкистской действительности. Гнев его бьет по режиму, который породил мир рамон и эрнандесов, который вверг в нищету и отчаяние Роберто и Долорес и миллионы «маленьких людей» Испании. Он бьет по миру, в котором голодающие люди продают карточки, так как у них нет денег, чтобы выкупить продукты, в котором измученная голодная кухарка отказывается от еды и прячет остатки ее, чтобы накормить сидящего без работы мужа.

И пусть редко, пусть наивно, но тема протеста возникает и живет в книге в раздумьях героев: «...что нас ожидает? Почему не исправят создавшееся положение те, кто должны это сделать? Боже мой!.. Почему?»— горестно замечает как-то Долорес. Но этот вскользь поставленный вопрос так и остается без ответа. Мир для Сунсунеги — «огромная и непостижимая тайна».

Роман написан в своеобразной манере. Сюжет развертывается стремительно. Здесь нет авторских отступлений, описаний. Очень краткая, броская характеристика людей. Предельно лаконичные, с телеграфной скупостью построенные фразы. Все это создает присущий только Сунсунеги почерк.

Книге предпослано обстоятельное предисловие старейшего советского испаниста Ф. В. Кельина, помогающее разобраться в этом противоречивом произведении. Большую работу проделали переводчик и редакторы, сумевшие воссоздать на русском языке особенности стиля Сунсунеги.

В. Ясный

Выбор адвоката Бергера

Ф. К. Кауль. Голубая папка. Роман. Перевод с немецкого. Редактор Л. П. Жеребцов. Послесловие С. Львова. Москва, Воениздат, 1960. 216 стр.

Роман «Голубая папка» впервые знакомит советского читателя с творчеством Ф. К. Кауля — юриста по профессии, писателя по призванию и коммуниста по убеждениям. Знание жизни и огромный материал, накопленный Кауле м за многие годы судебной практики, подсказали писателю темы его произведений.

В основу романа «Голубая папка» лег действительный случай и последовавший вслед за ним позорный судебный процесс. Перед судом «свободной» и «демократической» Федеративной Республики Германии поставлены два человека — зять фабриканта и рабочий. Один из них был во время войны гитлеровским офицером, по его приказу расстреливали советских людей; другого одели в солдатский мундир и погнали на фронт во славу бесноватого фюрера. Когда оба попали в плен, рабочий не взял под защиту фашистского головореза — он дал перед советским трибуналом правдивые показания. Вот в этом-то много лет спустя и усмотрели преступление западногерманские служители Фемиды.

Роман вводит нас за кулисы общественной и политической жизни ФРГ. Мы становимся свидетелями грязных интриг, подлых махинаций, всей той крысиной возни для достижения определенных политических целей, которая была столь характерна для без славы почившего «третьего рейха».

Но роман Кауля интересен не только тем, что он срывает маску с гнусных прислужников поджигателей войны. Он показывает нам, как сама действительность ставит в ряды борцов за светлые идеалы человечества тех, кто еще вчера всеми силами старались остаться в стороне от больших дорог жизни. В этом отношении очень характерной фигурой в романе является адвокат Бергер. Этот молодой юрист вначале находится целиком в плену своих идеалистических представлений. Он убежден, что основной целью суда является установление истины. Но не таков суд в Западной Германии. Стоявший всю жизнь вдалеке от политики, Бергер, будучи честным человеком, в конце концов оказывается с теми, кто борются за доброе имя и достоинство своего народа, за единую миролюбивую Германию.

Весной 1960 года роман Ф. К. Кауля «Голубая папка» пережил свое второе рождение на сцене театра в городе Кведлинбург (ГДР). «Пьеса «Голубая папка», — пишет газета «Нейес Дейчланд», — это значительное литературное произведение, которое делает честь всем, принимавшим участие в его создании».

А. Гиллер.

Вышли в свет

ВЫШЛИ В СВЕТ В ГОСЛИТИЗДАТЕ

Азеведу, А. Трущобы. Роман. Перевод с португальского Н. Я. Воиновой. Вступительная статья Н. Воиновой и З. Плавскина. 256 стр.

Ван Ши-фу. Западный флигель, где Цуй Ин-ин ожидала луну. Драма. Перевод с китайского, предисловие и примечания Л. Н. Меньшикова. 283 стр.

Гермачоу, Т. Арая. Повесть. Перевод с ашхар. и послесловие В. Ивановой и Т. Тютрюмовой. 275 стр.

Гидаш, А. Избранные произведения. В 2-х томах. Перевод с венгерского Вступительная статья Е. Книпович. Т. 1. Стихотворения и др. 624 стр. Т. 2. Господин Фицек. Роман. Перевод А. Кун. 612 стр.

Дарваш, Й. В сентябре он вышел в путь. Роман. Перевод с венгерского и послесловие О. Россиянова. 390 стр.

Исикава, Т. Тростник под ветром Роман. Перевод с японского и предисловие И. Львовой. 639 стр.

Колар, С. Тела своего господин. Рассказы. Перевод с сербохорватского. Послесловие и примечания Г. Ильиной. 383 стр.

Константинов, А. Бой Ганю. Невероятные рассказы об одном современном болгарине. Перевод с болгарского Д. А. Горбова. Вступительная статья и примечания Г. Ильиной. 167 стр.

Плод несчастья. Современная персидская новелла. Перевод с персидского. Предисловие З. Османовой. 287 стр.

Рембо, А. Стихотворения. Перевод с французского. Вступительная статья П. Антокольского. Составитель В. Тыщенко. 95 стр.

Русва. Танцовщица. Повесть. Перевод с урду, предисловие и примечания Г. Зографа. 223 стр.

Сенкевич, Г. Без догмата. Роман. Перевод с польского М. Абкиной. Вступительная статья О. Михайлова. 399 стр.

Силичи, Л. Песни не остаются неспетыми. Стихи и поэмы. Перевод с албанского. Предисловие Ф. Дьята. 135 стр.

Уайльд, О. Избранные произведения. В 2-х томах. Перевод с английского. Предисловие А. Аникста. Составитель К. Чуковский. Т. 1. 399 стр. Т. 2. 295 стр.

Цзэн Пу. Цветы в море зла. Исторический роман. Перевод с китайского и примечания В. Семанова. Послесловие В. Феоктистова. 478 стр.

Цюнь Лань-по. Маленький Ли-бэнь. Повесть. Перевод с китайского В. Рогова. 56 стр.

Чандар, К. Небо ясное. Повесть. Перевод с урду М. Салганик. Предисловие Э. Боровика. 79 стр.

Чоттопадхай, Ш. Шриканто. Роман. Перевод с бенгали Е. Алексеевой и С. Цырина. Предисловие Е. Паевской. 583 стр.

Издано за рубежом

Африка, твоя судьба решается...

Emile Cissé. Assiatou de Septembre, Imprimé en Tchécoslovaquie, 1959.

«Да! Да! Да!» — кричали плакаты. «Берегитесь слова «Нет!»

Настоящая война между «Да!» и «Нет!» разгорелась на африканском континенте.

Президент де Голль объявил, что 28 сентября 1958 года состоится референдум по принятию новой конституции. Единственный вопрос: принимает ли Французская Африка конституцию? Стоит сказать «Да!», и согласно статьям этой конституции она остается под фактическим протекторатом Франции. «Нет!» — и Африка вступает на путь независимости.

Впервые за несколько веков гнусного рабства Африке позволили говорить. Ей дали возможность сказать только одно слово. Не ошибись, Африка, скажи: «Нет!»

Началась отчаянная агитационная борьба. Все средства вплоть до запугивания оружием были использованы сторонниками колониализма, чтобы заставить Африку сказать «Да!».

Страна кипела, как огромный котел. Люди высыпали на улицы. Ни одного спокойного, ни одного равнодушного. Африка, скажи «Нет!». Твоя судьба решается...

Так взволнованно начинает свою книгу «Ассиату-сентябрь» молодой гвинейский писатель Эмиль Сиссэ.

Не таинственная экзотическая Африка пестрых почтовых марок открывается нашему взору. Африка борющаяся, поднявшаяся во весь рост, чтобы сказать «Нет!» угнетателям. Страна опутана сетью противоречий и предрассудков, всем темным и порочным, что осталось ей от трех столетий рабства. В сложности борьбы политической, идейной, моральной предстает она перед нами.

И хотя Эмиля Сиссэ, как писателя молодого и едва ли не одного из первых в Гвинее выступающего в сложном жанре романа, можно упрекнуть во многом: и в наивности решения некоторых проблем, и в натурализме, и в излишне длинных рассуждениях, которые то и дело прерывают и тормозят действие, тем не менее «Ассиату-сентябрь» оставляет глубокое впечатление.

Книга Сиссэ не бесстрастная летопись. Это лихорадочная запись событий военным корреспондентом, где чувствуется кровь и пот сражений. О том, что волнует каждого негра, говорит автор: о попранном человеческом достоинстве, о праве Африки на свободу и независимость, о смертельной борьбе с колониализмом.

Взят самый напряженный момент борьбы — сентябрь 1958 года. 6 сентября в разгар агитационной кампании демократические силы организовали в столице Судана Бамако первый в истории Африки молодежный конгресс. Он должен был продемонстрировать солидарность всех народов в борьбе за независимость.

И вот через всю страну мчится необыкновенный экспресс. В нем едут делегаты. Среди них и европейски образованные (как герой романа Бангура и его друг Сади), и «почти дикари». Несхожесть во всем: в одежде, манерах, обычаях, взглядах. Вокзал в столице Сенегала Дакаре перед отправлением экспресса: девушки, украшенные перьями и татуировкой, и рядом с ними одетые в нейлон, с ультрамодными прическами; те, кто, покачивая едва прикрытыми бедрами, пляшут под звуки тамтама, и группа юношей, поющих «Интернационал». Так сталкиваются лицом к лицу старая и новая Африка.

Экспресс мчится, на остановках садятся все новые делегаты. Многие шли пешком сотни километров через леса и пустыни, плыли в пирогах, ехали на велосипедах. Большинство никогда не видели железной дороги. Летящий экспресс превращается в символ. Это молодая Африка, устремившаяся к свободе, к солнцу.

О конгрессе, о пробуждении национального сознания, о молодости и любви рассказывает книга.

Героиня ее — Ассиату, девятнадцатилетняя дочь гвинейского вождя. Ей трудно примириться с потерей привилегий, которые были отменены по решению Демократической партии Гвинеи. Движение за независимость не вызывает у нее сочувствия. Встреча в поезде с Бангурой, любовь к молодому демократу заставляют Ассиату совершенно переосмыслить свою жизнь. Вначале она просто следует за любимым: «Если все демократы Гвинеи так же милы, как ты, я готова крикнуть: «Да здравствует независимость!» — говорит она. Постепенно из страстных рассказов Бангуры о страданиях и темноте народа перед Ассиату возникает образ ее несчастной родины. Бангура говорит девушке о предательстве вождей, торговавших интересами народа. «Мой отец никому не делал зла»,— пытается защищаться Ассиату. «Ответьте мне только на один вопрос,— говорит Бангура,— как жили в своем прекрасном дворце ваши родители и их придворные, если никто из них никогда не работал?» Логика молодого революционера постепенно убеждает Ассиату. Всей своей жизнью я заглажу перед народом свою

вину и вину моих предков, говорит она.

Ассиату ехала на конгресс, как на праздник, где можно потанцевать и развлечься, а приехала убежденной демократкой, с сознанием ответственности за судьбу своей страны.

Поэтому робкая Ассиату, выросшая в мусульманском гареме отца, находит в себе силы подняться на трибуну конгресса:

«Во всей черной Африке на женщину смотрят как на получеловека, как на вещь, покорную своему повелителю-мужчине. Раба — она продается как скот и убивается безнаказанно своим господином... Нет, не может быть освобождения мужчин без освобождения женщин!..» Эти страстные слова бросает в притихший зал новая Ассиату. Так оправдывается название книги: «Ассиату-сентябрь». Ассиату, которую переродил сентябрь, месяц борьбы за независимость. После конгресса Бангура возвращается на родину, а Ассиату едет в Нигерию продолжать борьбу.

В предисловии к роману, написанном президентом Гвинейской республики Секу Туре, дается глубокий анализ политического и культурного состояния Гвинеи, страны, освободившейся от колониализма, но продолжающей бороться против его гибельных последствий. Ведь в течение многих веков колонизаторы не только выжимали все соки из угнетенных наций, но и уродовали их сознание. «...Наши учебники в колониальных школах рассказывали о войнах Галлии, о жизни Жанны д'Арк, о Наполеоне... о поэмах Ламартина и театре Мольера, обо всем, кроме Африки, как будто у нее никогда не было ни своей истории, ни географии, ни культурной жизни...» «Какими бы способностями ни обладал человек в нашем обществе,— пишет далее Секу Туре,— деятельность его не имеет ценности, если она тесно не связана с жизнью народа, не отражает его интересов, мыслей, стремлений...»

Эмиль Сиссэ глубоко чувствует свою связь с народом и ответственность перед ним. Поэтому его так беспокоит решение политических проблем, которыми полна сегодняшняя Африка. В романе есть характерный эпизод. В Дакаре Бангура садится в такси, чтобы ехать на вокзал. Везет его молодой негр, простой рабочий. По пути он рассказывает Бангуре о том, что его больше всего волнует,— о положении своей страны. «...Впрочем, может быть, вы меня не поймете, вы ведь из другой страны»,— говорит он. «Мы с вами из одной страны,— отвечает гвинеец Бангура,— разве Африка не наша общая родина?»

Много внимания уделяет автор и решению морально-этических вопросов. Мусульманская религия, проповедующая многоженство, дикие обычаи некоторых племен создали прочно утвердившийся взгляд на женщину как на существо неполноценное. Не свободен от этого и Бангура. Но любовь к Ассиату облагородила его, чувство Бангуры приобрело новые оттенки: нежность, ответственность за судьбу девушки. И Ассиату, полюбив Бангуру, многое взяла от него. Так возникает в романе еще одна тема — взаимного обогащения, которое дает подлинная любовь. Много женщин пересекли жизнь Бангуры, но ни одну из них он не любил, как Ассиату. Потому что ни одна из этих женщин не была его другом и единомышленником, а только настоящее духовное родство дает полноту счастья.

Конец романа трагичен. 28 сентября, после месяца отчаянной борьбы, запуганная экономическими лишениями и опасностью политических осложнений Французская Африка ответила де Голлю «Да». Только одна Гвинея нашла в себе мужество сказать «Нет!» и получила политическую независимость.

В Конакри, столице Гвинеи, 28 сентября состоялся национальный праздник. В этот день, которого так ждали Бангура и Ассиату, Бангуре из Нигерии пришла телеграмма:

«Ниамей 27 сентября 1958 года столкновении спровоцированном контрреволюционерами... Ассиату Ба пала поле чести точка История Африки будет ей благодарна точка Глубокий траур молодых борцов за национальное освобождение Нигерии»

На высокой ноте оборвалась жизнь Ассиату, но эта короткая жизнь не была прожита даром.

Прошло два года. Ее родная Гвинея, преодолевая многие трудности, успешно развивается.

Дорогой ценой заплатили остальные французские колонии за свою политическую отсталость. Некоторые из них получили независимость только совсем недавно после тяжелой и упорной борьбы. Одна за другой, как карточные домики, разваливаются колониальные империи, и никакие угрозы, никакие провокации не могут остановить этот исторический процесс.

А. Гераскина

Правда невероятного

John Hersey. The Child Buyer. New York, A. Knopf. 1960.

В «некотором штате, в некотором году» в маленьком американском городке Пекот была сделана попытка... купить ребенка. Дело о покупке расследовала особая комиссия сенаторов. Об этом рассказывает писатель Джон Хэрси в романе «Скупщик детей».

Почти два с половиной века прошло с тех пор, как

Джонатан Свифт в памфлете «Скромное предложение» рекомендовал приготовлять различные вкусные и питательные блюда из маленьких ирландских детей.

Происшествие, описанное в книге Хэрси, невероятно. Ведь даже наиболее реакционные и бесчеловечные представители большого бизнеса, как правило, не торгуют детьми. Впрочем, и в XVIII веке самые жадные и злые английские помещики не употребляли в пищу ирландских детей. Но условное, неправдоподобное в книге Хэрси так же, как и у Свифта, возникает на реальной почве.

Представитель могущественной корпорации «Юнайтед лимфо» Висси Джонс скупает одаренных детей. Они нужны для какого-то таинственного мероприятия, «связанного с национальной обороной».

Вначале скупщик наталкивается на сопротивление, но он очень быстро находит «ключ» к каждому из сопротивляющихся, и сделка, которая сперва почти всем казалась невероятной, ненормальной, отвратительной,— совершается.

О намерениях Висси Джонса, о мальчике Барри Радде, которого хотят купить, о том, как и чему учат и как воспитывают детей в маленьком американском городке Пекот, читатель узнает из протоколов сенатской комиссии. В форме протоколов этой комиссии написан весь роман.

«Я не вижу, почему стремиться извлечь хоть какую-либо пользу из этого неестественно»,— говорит на сенатской комиссии отец Барри, подразумевая выдающиеся способности сына.

И действительно, почему неестественно? Если в обществе продаются честь и совесть, политические убеждения и религиозные верования, то почему бы и не продать талантливого ребенка? Где здесь предел, граница?

Только в самом конце романа выясняется, что одаренных детей хотят превратить в живые вычислительные машины. Сначала, чтобы заставить ребенка потерять память, его запирают в «комнату забвения», где своеобразно сочетают методы фашистского концлагеря и американской суперцивилизации. Обнаженного ребенка насильно пичкают особыми лекарствами, ему непрерывно показывают специальные телепередачи и кинофильмы, дают читать специальные книги. Ребенка лишают органов чувств — ведь вычислительной машине не надо ни осязать, ни обонять, ни видеть, ни слышать и уж тем более не надо ни радоваться, ни печалиться. Созданные таким образом живые счетные машины полностью изолируются от других людей. Большинство детей подвергаются стерилизации.

Маленьких роботов приучают поклоняться новому божеству — «Юнайтед лимфо». Корпорация становится предметом культа, трепетного обожания, в котором, как в некоторых древних восточных религиях, сочетаются мистические и сексуальные элементы. Впрочем, в изображении этой новой религии автор не слишком преувеличивает: ведь и в реальной Америке уже давно доллар стал национальным божеством.

Когда один из членов комиссии сенатор Менсфилд спрашивает у скупщика, не кажется ли ему такой процесс превращения человека в машину несколько страшноватым, тот очень удивлен. Он, Висси Джонс, напротив, убежден, что это великое изобретение «Юнайтед лимфо» может сравниться лишь с расщеплением атомного ядра.

Так, фантастический гротеск помогает Хэрси лучше раскрыть некоторые черты реальной действительности. Скупщику Джонсу, как и многим другим «продуктам» буржуазной цивилизации, нет надобности проходить специальную обработку в «Юнайтед лимфо» — они и так уже лишены многих черт простой человечности. Поэтому они не видят преступления в том, что «расчеловечивают» одаренных детей.

В ряду общих социальных институтов буржуазной цивилизации в романе Хэрси наиболее конкретно раскрывается система образования в городе Пекот. Джон Хэрси более десяти лет был в своем штате участником различных комиссий, изучавших работу учителей, родительских комитетов, занимался учебными пособиями, программами, вопросами работы с отстающими и одаренными детьми и т. д. Этот живой реальный опыт автора повсюду проступает в книге.

Сенатская комиссия вызывает на заседания педагогов города Пекот. Биолог Фредерика Гозар — энтузиастка своего дела, образованная, умная преподавательница, которая учит детей по-настоящему любить науку. Учительница Перрин — добрая, хотя и невероятно запуганная женщина, вначале она, как и другие, возмущена продажей ребенка, однако агент фирмы очень быстро покупает ее согласие за крупную сумму. И она счастлива, ибо впервые в жизни она может не бояться потерять работу.

Непоколебимой остается только библиотекарша Клауд, которая заявляет сенатору Скайпеку, главному охотнику за крамолой: «Если вы только приблизитесь к городской общественной библиотеке, чтобы выискивать какие-то книги и устраивать из них костры, я встречу вас на пороге с ружьем в руках». Но так отвечает сенатской комиссии только она. Даже Фредерика Гозар в конце концов примирилась с продажей мальчика, утешая себя тем, что он не поддастся превращению в машину.

Большинство же преподавателей — глупцы и трусы. Не удивительно, что и сам мальчик готов бежать от них куда угодно, хоть в объятия «Юнайтед лимфо».

Расследователи вполне могут соревноваться со свидетелями: интеллектуальный и нравственный уровень тех

и других весьма убог. В комиссии три сенатора. Только один из них, Менсфилд, пытается объективно разобраться в том, что происходит, только он отвергает саму возможность продажи и покупки ребенка. Его коллега сенатор Войолко — совершенно ничего не понимающий кретин; время от времени другие члены комиссии «переводят» ему, растолковывают то, что происходит.

Наиболее активен в комиссии сенатор Скайпек. На всем его облике словно поставлено клеймо: «Сделано в США в 1960 году». Самоуверенный, наглый, преклоняющийся перед бизнесом, ненавидящий не только всякое проявление самостоятельной мысли, но и простую образованность, интеллигентность, он постоянно занят поисками крамолы. Он презирает все народы мира. Скайпек с самого начала считает, что мальчишку надо продать и не о чем долго разговаривать: дело связано с большим бизнесом и национальной обороной. Никакие соображения гуманности для него просто не существуют.

Сатирический гротеск? Да, и вместе с тем реалистический коллективный портрет правящего класса.

В конце концов сделка заключена. Невероятное событие произошло, и с ним примирились даже неплохие по существу люди. И в этом писатель верен жизненной правде.

Разгул маккартизма в США, преследования выдающегося физика Оппенгеймера или талантливого драматурга Артура Миллера, позорный судебный процесс и казнь супругов Розенберг тоже вначале казались многим простым людям США невероятными. Но не многие осмелились по-настоящему противостоять реакционерам. И об этой трагической и постыдной деморализации Джон Хэрси рассказывает в своем романе.

Но когда дочитана последняя страница, все же не остается ощущения безнадежности. Потому что в книге ясно и недвусмысленно выражена авторская позиция. Писатель-гуманист не приемлет общественного порядка, в котором продажа ребенка — не столь уже далекий от действительности вымысел.

Хэрси был на фронте и хорошо знает, что такое война и фашизм. Он первым из иностранных корреспондентов попал на пепелища Хиросимы; он разговаривал с жителями этого города и ясно представляет себе, что несет человечеству атомная война. Внимательный и зоркий наблюдатель, он видит вокруг себя немало страшного и уродливого.

Многих писателей по-настоящему тревожили, пугали сложные, трудно обозримые противоречия действительности.

Больше трети века прошло с тех пор, как был написан страшный рассказ Франца Кафки «Превращение», рассказ о том, как человек стал насекомым и погиб одиноким в равнодушном враждебном мире. Кафка сам был смертельно напуган обществом, в котором жил, он предчувствовал фашизм, который пришел к власти уже после смерти писателя. В его творчестве запечатлен судорожный ужас человека, не способного противостоять гибельному и, как ему казалось, неотвратимому наступлению жестоких, мрачных сил зла.

Совсем недавно на сценах Парижа, Западного Берлина, Нью-Йорка была показана пьеса Эжена Ионеско «Носороги». В этой пьесе люди тщетно пытаются оставаться людьми. В них гибнет все человеческое, они с неумолимой последовательностью превращаются в диких, тупых животных. В этом чудовищно фантастическом сюжете — отражение реальных процессов современной истории, напоминание об уродливой бесчеловечности капитализма, и в особенности фашизма. Но автор сам боится «носорогов» и мало верит в способности людей противостоять наступлению бесчеловечности.

Фантастика в романе Джона Хэрси — тоже отражение мучительно трудных проблем действительности. Но в отличие от Кафки и Ионеску он верит, что, даже отступая в страхе или недоумении перед этими проблемами, человек не перестанет мыслить и чувствовать, не превратится в насекомое, не станет ни носорогом, ни живой вычислительной машиной и не вернется к торговле людьми.

Роман «Скупщик детей» по форме во многом неожидан для творческой манеры Хэрси. В жанре сатирического гротеска он выступает впервые. Но это не просто карикатура, беллетризованный памфлет, а интеллектуальный роман, воздействующий примерно так же, как и эпический театр Брехта: прежде всего на разум, а уж потом через разум на чувства читателя.

Характерен, например, такой эпизод: Висси Джонс организует нападение мальчишек-школьников на дом Раддов, чтобы устрашить мать Барри, сорвать с нее тонкую пленку респектабельности и обнажить перед глазами окружающих, и прежде всего самого Барри, тупое животное. Этот погром — один из важных этапов для достижения цели, поставленной Висси Джонсом.

Но смысл эпизода шире. Хэрси касается здесь очень современной, больной проблемы — организованного сверху насилия, использования низменных инстинктов и направления их против разума, против человечности, по существу — проблемы фашизма.

Причем эта сцена не рассчитана на непосредственную эмоциональную реакцию — гнев, отвращение. В книге нападение не изображается, а пересказывается разными персонажами, которых допрашивает сенатская комиссия. Уже этим ослаблена непосредственность воздействия, и это не случай-

ность: прежде всего автор хочет заставить читателя не просто возмущаться, а думать.

Для этого Хэрси как бы вводит читателя за кулисы событий, по нескольку раз возвращается к одному эпизоду, изображает его с точки зрения разных действующих лиц и, так сказать, раскрывает механизм. Раскрывает для того, чтобы вооружить разум читателя, помочь ему понять причины уродства.

Таким образом всемерно усиливается активность читателя, становящегося как бы соавтором,— активность прежде всего интеллектуальная.

Подобно Брехту, Хэрси прибегает к условной форме не для эстетических экспериментов, а для того чтобы нагляднее воплотить сложные противоречия определенных участков действительности.

С точки зрения нормального, честного человека, фантастичны и сами заседания комиссии и нападение на дом Раддов. Но в конкретно-исторических условиях середины XX века в США эта фантастика—вместе с тем почти натуралистическое следование действительности.

Несмотря на известную монотонность основного приема — к концу книги автору несколько изменяет чувство художественной меры, нарушается магическое «чуть-чуть» — книге свойствен большой внутренний драматизм

Роман — зеркало, проносимое по большой дороге. Но дорога меняется, и это не может не сказаться и на отражающих приборах. Все больше усложняется жизнь, и, чтобы отразить не только ее поверхность, теперь мало простого зеркала. Нужна и лупа, и телескоп, и рентгеновские аппараты... Неизбежно меняется и форма романа.

Избранная на этот раз писателем форма полно, глубоко, художественно убедительно служит именно реалистическому раскрытию главных закономерностей действительности.

Ведь в самой жизни ведущие тенденции часто скрыты, выступают в зародыше, переплетены с другими, соседствуют с прямо противоположными. Основные процессы общественного развития в наше время завуалированы и мистифицированы еще в большей степени, чем в то время, когда Маркс писал о товарном фетишизме.

В самом деле, ведь даже самая простая, основная экономическая закономерность буржуазного общества — получение прибавочной стоимости — не видима простому глазу, не может быть сфотографирована, ее нельзя потрогать, она недоступна восприятию органов чувств. Еще сложнее обстоит дело с процессами интеллектуального или нравственного развития. Они не поддаются простому описанию, иной раз необходима более сгущенная, сжатая, более условная форма для их наиболее реалистического воплощения.

Книга Хэрси — смелый поиск в этом направлении.

Р. Орлова

Боевой орган фламандских литераторов

„Kruispunt", Amsterdam—Brugge, N 1—6, 1959—1960.

«Кройспунт» по-русски— точка пересечения, перекресток. Так символически назвали свой журнал передовые писатели Фландрии.

Приветствуя появление первого номера «Кройспунта» в январе 1959 года, старейший мастер фламандской прозы Виллем Эльсшот сказал: «Где-то должен быть перекресток, на котором люди с различным мировоззрением смогут встретиться, чтобы понять и оценить друг друга, перекресток, где художники и литераторы смогут совместными усилиями воссоздать правдивую картину нашего времени».

И действительно, журнал «Кройспунт», привлекший к сотрудничеству большую группу передовых литераторов Западной Европы и некоторых африканских стран, основной задачей поставил борьбу за мир, за освобождение колониальных народов, разоблачение фашизма во всех его проявлениях.

Знаменательно, что пятый номер «Кройспунта» за 1960 год целиком посвящен искусству и литературе народов Конго. Появление такого специального выпуска служит ярким выражением глубокого сочувствия прогрессивной общественности Бельгии и Голландии народам Конго в их справедливой борьбе против колонизаторов.

«Кройспунт» выходит раз в три месяца. Он невелик по объему, но содержит большой и разнообразный материал. На его страницах публикуются стихи, рассказы, статьи, очерки, фельетоны, хроника культурной жизни. Редакция не оставляет без внимания и классическое наследие, помещая переводы из Гейне, Брехта, Бехера, Шолом Алейхема.

Среди разнообразных жанров, представленных в журнале, боевые рубежи занимает поэзия. Читаем ли мы «Здравствуй, Варшава» Паскаль Коллин или «Сонет» Лео Петерса, «Черный цвет» Георга ван Акера, «Всегда была война» Рауля Аньера — мы повсюду встречаем живую память об ужасах недавнего военного прошлого и страстный протест против угрозы атомной войны. Херман ван Сник мечтает о том, чтобы «не скрываться в подвалах бетонных и не слышать, как бомбы стонут и люди, чтобы всюду воцарился мир». Волю народов, подымающихся на борьбу против колониализма, выражает «Негритянская песня» Георга ван Аке-

ра, истинным свободолюбием, уважением к человеческому достоинству проникнуты стихи фламандского поэта М. Брата. И рядом с этим гневным протестом против всего, что разрушает счастье людей,— стихотворение конголезского поэта Оскара Монинги «Предчувствие», в котором говорится о неизбежности победы добра над злом, о неизбежности грядущих перемен.

Большое место в журнале занимает и проза. Это отрадное явление, так как обычно в голландских и фламандских журналах преобладает поэзия, прозаический же раздел заполнен фрагментами из произведений, уже опубликованных ранее отдельными изданиями. Большой удачей, на наш взгляд, является, например, сатирический рассказ фламандского писателя Жака Фонтье «Завещание». Автор с поразительной глубиной и критической силой воссоздает облик старого буржуазного политикана, потерявшего не только элементарную порядочность, но и сознательно ставшего на путь предательства и политического шантажа. В некоторых рассказах выведены простые люди, которые во время войны в момент крайнего напряжения духовных сил вырастали в подлинных героев. Таков, например, ничем не примечательный житель фламандской провинции, от имени которого ведется повествование в новелле бельгийского писателя Вика ван Саарлоса «Кошка». Схваченный гестапо по доносу предателя, он переносит страшные пытки, попадает в Бухенвальд, но не выдает имена партизан, хотя мог бы этой ценой купить жизнь жены и сына, томящихся в фашистских застенках.

Перу Вика ван Саарлоса принадлежит и трагический рассказ «Плагиат» о негритянском юноше, почти ребенке, зверски умерщвленном американскими расистами. В эпилоге автор помещает воображаемый разговор с редактором «солидного» буржуазного журна-

ла, который, конечно, не принял бы его рассказ под предлогом, что это плагиат, что сюжет заимствован у Колдуэлла. Нет, с горькой усмешкой отвечает Саарлос, сюжет рассказа заимствован не у знаменитого писателя, он заимствован у самой жизни.

В разделе прозы помещены также и весьма интересные литературоведческие статьи. Проблемам традиции и новаторства посвящена большая работа известного французского поэта Шарля Добжинского «Дух обновления в современной поэзии Франции», направленная против пустых формалистических поисков. В «Заметках о северонидерландской литературе» голландский поэт и критик Лео Петерс, по существу, развивает мысль Добжинского о различии между подлинным новаторством и формалистическим трюкачеством, но уже на материале послевоенной голландской прозы и поэзии. Автор отмечает некоторые тенденции в послевоенной голландской литературе. Констатируя ее упадок по сравнению с антифашистской литературой 30-х годов, Лео Петерс ищет объяснения этого печального факта в социально-политической действительности «натовской» Голландии 50-х годов, во все более обостряющемся кризисе буржуазного общества.

Большой интерес представляет статья африканского ученого, социолога, литератора Поля Мушиете «Перспективы развития литературы народов Конго», опубликованная в пятом номере журнала.

Отбрасывая как ненужный хлам беллетристику, смакующую экзотику тропических джунглей (именно эти книги представлены в библиотеках и книжных лавках Леопольдвиля), Поль Мушиете противопоставляет ей подлинное искусство народов, населяющих Экваториальную Африку. Мушиете пишет о богатейшем устном творчестве, выражающем думы и чувства, национальный характер народов Конго. Автор рассказывает о поэтических традициях, о разнообразных жанрах, о средствах художественной выразительности, о социальной направленности этой литературы, которая давно переросла рамки фольклора и которая ждет своих исследователей, своих издателей. Говоря о перспективах развития конголезской литературы, Мушиете считает главным фактором рост национального самосознания народов Конго. Подлинная литература создается лишь тогда, пишет Мушиете, когда народ получает национальную независимость, когда народ перестает быть пассивным свидетелем исторической борьбы, которая кипит во всем мире, когда он твердо осознает, во имя чего он живет, страдает, любит и сражается. Статью дополняют рисунки африканских художников и переводы африканских рассказов, басен, народных песен.

Журнал «Кройспунт» — добрый вестник растущей активности передовых фламандских писателей. Уже эти первые номера, с которыми нам довелось познакомиться, свидетельствуют о том, что во Фландрии, как и на всем земном шаре, усиливается борьба за мир, за новые, справедливые отношения между людьми.

И. Волевич, Г. Шатков

Сказка о будущем

Teresa Noce. Le avventure di Laika, cagnetta spaziale. Milano, Gastaldi, 1960.

Лайка не погибла. Эта самая прославленная в мире собака, первый астронавт, пролетев на советском звездном корабле миллионы километров в космическом пространстве, достигла другой планеты, Горы, доселе неведомой обитателям Земли. Там она нашла не только живых существ, но и несравненно более высокую, чем земная, цивилизацию. Необычайно умная и образованная собака, приобщившаяся ко многим достижениям культуры благодаря своему другу советскому мальчику Нико, смогла многое сообщить горянам о людях и записать при помощи изготовленной специально для нее пишущей машинки все, что она увидела и узнала, побывав на Горе. Счастье, изведанное Лайкой на гостеприимной планете, не заставило ее забыть о родной Земле и горячо любимом Нико. Она мечтает вернуться на родину и тем самым послужить благородному делу общения жителей двух миров. Горяне сооружают космический корабль, и Лайка в сопровождении шестиногой собаки Ниора и робота Джео отправляется в новое космическое плавание, захватив с собой свои мемуары, размноженные в виде микрофильмов. Что сталось с этим кораблем и самой Лайкой, пока неизвестно, но ее мемуары, предназначенные для людей и главным образом для детей, каким-то путем попали на Землю. Прочтя их, каждый может узнать подробности о небывалом путешествии славной «космической собаки».

Таково в самых общих чертах содержание книги прогрессивной итальянской писательницы Терезы Ноче «Приключения Лайки», удостоенной Национальной премии Гастальди.

Нет надобности доказывать, что книга эта не выдерживает научной критики, но к ней и не следует подходить как к научно-фантастической повести. «Приключения Лайки», конечно, сказка, современная сказка в самом точном смысле слова. И дело здесь не только и даже не столько в том, что в приключениях Лайки нет ничего сверхъестественного, что им дается пусть наивное, но вполне реалистическое истолкование и обоснование, что здесь нет места ни колдунам, ни волшебной палочке, что отправным пунктом приключений служит вполне реальное, всемирно-историческое событие. По самому духу своему сказка эта отвечает нашему времени, когда совершаются стремительное обновление общества и взлет к невиданному еще могуществу человека над силами природы, когда реальность во многих ее аспектах даже нам самим представляется поистине сказочной, а вчерашняя сказка на наших глазах обертывается реальностью.

При всей фантастичности похождений Лайки, это сказка реалистическая, ибо в самом существенном она не отрывается от действительности, а в полете фантазии продолжает ее в будущее. Так, в Джео и других роботах нетрудно увидеть приукрашенных фантазией потомков нынешних «мыслящих» электронных машин, а в «кристальплазме», которая в зависимости от того, что нужно человеку, то бишь горянину, становится твердой как сталь или мягкой как пух, «просвечивают» наши синтетические материалы. Сказка Ноче проникнута пафосом дерзаний и свершений, горячей верой в безграничные возможности человеческого разума, и в этом одно из ее главных достоинств.

Другое, не менее важное достоинство книги Ноче состоит в том, что прогресс науки и техники рисуется в неразрывной связи с социальным прогрессом, что расцвет материальной культуры мыслится автором как предпосылка и вместе с тем следствие возникновения и упрочения высшей формы общественных отношений, построения бесклассового, коммунистического общества. И в этом плане цивилизация горян, навсегда покончивших с войнами и не знающих оружия, освободившихся от нищеты, угнетения и социального неравенства, забывших о существовании денег, превративших труд из тяжелого бремени в жизненную потребность и наслаждение и т. д. и т. д.,— прообраз будущей цивилизации «землян» и вместе с тем отражение великих социальных завоеваний нашей эпохи, исторических побед советского народа и всего социалистического лагеря.

Книгу Терезы Ноче, вдохновленной высокими гуманистическими идеалами, можно назвать сказкой о будущем, поистине светлой сказкой о светлом будущем. А в такой сказке как нельзя более нуждается «большая литература для маленьких».

К. Наумов

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Двумя французскими издательствами — «Эдитёр франсе реюни» и «Ами дю ливр прогресист» — почти одновременно выпущены «Детство», «В людях» (под общим названием «Зарабатывая хлеб»), а также «Мои университеты» и «Мать» Максима Горького.

«Нет нужды повторять,— пишет Андре Стиль в газете «Юманите»,— какой интерес представляют собою книги о молодости и формировании Горького для понимания эпохи, писателя и его творчества... Мы видим, как Горький открывает для себя подлинный мир людей и идей — людей в первых двух книгах, а идей — в «Моих университетах»...

Отмечая, что герой книг Горького растет, учится, много читает, «находя в книгах веру в то, что он не один в мире и не потеряется в нем», Андре Стиль пишет далее: «Если он и замечает противоречие между книгами и жизнью, это помогает понимать ему жизнь и позднее поможет создавать литературу, которая не противоречит жизни, расчистит путь социалистическому реализму».

«Юманите» советует каждому прочесть эти книги, которые помогут близко познакомиться с замечательным писателем — автором и героем повествования.

□

Роман Леонида Леонова «Русский лес» вышел в берлинском издательстве «Культур унд фортшритт» (ГДР).

По оценке газеты «Нейес Дейчланд», роман этот продолжает традиции русской литературы XIX века — традиции Тургенева, А. Островского, Некрасова и Чехова. Так же, как и у выдающихся мастеров слова XIX века, у Леонова природа становится символом и действует наравне с людьми. Отношение героев к русскому лесу в романе Леонова определяет истинных друзей народа и его врагов.

Роман Леонова, как отмечает газета, «это роман о современности и роман исторический в одно и то же время», причем автор идет от «тонкой поэзии к подлинному пафосу», от «романтического вдохновения к гневной сатире».

«Нейес Дейчланд» отмечает ясность композиции романа, многообразие стилистических средств, превосходные характеристики персонажей, умение передавать различные психологические нюансы.

□

«Драматические произведения Владимира Маяковского мало известны в Австрии,— пишет газета «Фольксштимме».— поэтому следует всячески приветствовать появление на австрийском книжном рынке сборника пьес поэта в переводе Гуго Гупперта. Сборник включает «Мистерию-буфф», «Клопа» и «Баню».

По словам «Фольксштимме», переводчику удалось сохранить сочность языка и передать сатирическую силу Маяковского.

По мнению издаваемого в Цюрихе (Швейцария) библиографического журнала «Бюхерпост», рассказ «Судьба человека» Михаила Шолохова «...как и повести Эрнеста Хемингуэя, будут причислять к лучшим творениям мировой литературы XX столетия».

□

«С некоторых пор,— пишет еженедельник «Ди андере цейтунг»,— западногерманские издательства интересуются переводами произведений советской литературы...»

Публикацией советской литературы занимается, в частности, дармштадтское издательство «Прогресс-ферлаг». Недавно в этом издательстве вышел сборник «Советские рассказы четырех десятилетий». Большинство этих произведений, принадлежащих перу Горького, Шолохова, Федина, Гладкова и других, публикуется на немецком языке впервые. «Рассказы дают представление о событиях в различных областях жизни и во всевозможных местах Советского Союза за четыре десятилетия, начиная с Октябрьской революции и кончая современностью».

□

Албанская газета «Зери и ринисе» сообщает о новом издании на албанском языке романа Николая Островского «Как закалялась сталь».

□

Болгарский журнал «Септември» публикует поэму Александра Твардовского «За далью — даль» в переводе Димитра Методиева.

□

Шведская газета «Сюдсвенска дагбладет» сообщает, что издательство Геберс выпустило антологию «Русские рассказы». В сборник вошли переведенные на шведский язык Хансом Бьеркегреном произведения русских и советских писателей. К лучшим образцам газета относит рассказы А. Серафимовича, И. Ильфа и Е. Петрова.

□

По сообщению еженедельника «Литературен фронт», издательство «Болгарский писатель» выпустило большой сборник «Украинская советская поэзия», в котором представлено около восьмидесяти украинских поэтов. В предисловии к сборнику Иван Давидков пишет:

«В огромную реку многонациональной советской литературы вливается и украинская поэзия — светлая и могучая, как Днепр. В ее глубинах отражена героическая жизнь украинского народа, его славные

битвы и победы. Солдаты партии, потомки Шевченко, Франко, Грабовского и Леси Украинки, украинские советские поэты широко открыли свои сердца радостям и тревогам нашего великого времени».

□

Высокую оценку канадского журнала «Нозерн нейборз» заслужил рассказ Виталия Закруткина «Подсолнух».

Секрет успеха рассказа журнал видит в том, что он правдиво отображает жизнь советского человека: «Десятки миллионов людей сразу же увидели в этой простой и трогательной истории свою собственную жизнь. «Подсолнух» — прекрасное произведение, потому что рассказывает величайшую правду о жизни при социализме, о судьбах советских людей. Это одно из тех редких в литературе произведений, которые, едва появившись на свет, начинают глубоко волновать сердца всей нации».

Рецензент журнала особо выделяет в рассказе «великолепную сцену, в которой автор показывает, как Отец (так все зовут героя рассказа — старого чабана) во время сильного града бросается спасать молодой подсолнечник, укрывая его своим плащом». «Каждый, кто прочтет этот рассказ,— пишет «Нозерн нейборз»,— высоко оценит его поэтичность, красоту языка».

□

Токийское издательство «Мираи-ся» выпустило в свет книгу Мариэтты Шагинян «Гёте» в переводе на японский язык Цутому Ито и Сусуму Уэмуры. В послесловии переводчики, познакомив японского читателя с автором труда, подчеркивают, что Шагинян рассматривает творчество Гёте с марксистских позиций. «Выход этой книги,— пишут Ито и Уэмура,— будет приветствоваться всеми, кто в нашей стране любят литературу».

□

«Библиотека русских книг для американского читателя»— так озаглавил свою статью в еженедельнике «Нью-Йорк таймс бук ревью» Гаррисон Солсбери, бывший корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс» в Москве. Солсбери отмечает рост интереса в США к русской классической и советской литературе.

«Никогда за всю историю нашей страны,— пишет Солсбери,— вероятно, не наблюдался столь интенсивный интерес к жизни, культуре, языку и политике другой страны». Этот интерес быстро учли книжные издательства, в особенности те, которые выпускают массовые издания без переплетов.

Говоря о продукции издательства «Вайнтэдж рашн лайбрэри», Солсбери указывает, что за последний год это издательство выпускало не только переводы русских классиков, но и произведения Леонида Леонова, «Первые радости» Константина Федина. Большим событием прошлого года Солсбери считает появление на английском языке сборника стихов Владимира Маяковского, а также его пьесы «Клоп».

□

Под названием «Советский человек в Италии» издательство Валлеки выпустило перевод книги «Первое знакомство» Виктора Некрасова, известного итальянскому читателю по опубликованному двумя римскими издательствами — Эйнауди и Фельтринелли — его романа «В родном городе».

□

Государственный издательский институт Польши выпустил в свет сборник рассказов советских писателей Лидина, Трифонова, Первомайского и других.

Сборник представляет собой как бы обозрение разных стилей, темпераментов, писательских традиций, пишет рецензент еженедельника «Нове ксенжки» Ханна Кирхнер. «Например, рассказ Владимира Лидина «Леванты» — это привлекательная, тонкая лирика в прозе, родственная ранним произведениям Паустовского. Здесь идет речь о делах трудных и повседневных, простых и жестоких; герои Лидина идут по своим жизненным тропкам со стиснутыми зубами. Вместо театрального геройства — мужество, которое проявляется в психологических категориях, в моральных решениях».

□

Рецензируя вышедший на французском языке роман Юрия Германа «Дело, которому ты служишь», газета «Юманите» подчеркивает, что это — «произведение, в котором отражено развитие советского общества, его героизм, его прогресс и его противоречия». Автор романа, по словам газеты, ставит сложные проблемы и, не давая читателю прямолинейного решения этих проблем, показывает, что их должна решить сама жизнь, сами советские люди.

□

«Руде право» сообщает о выходе в Чехословакии двух новых книг советских авторов: сборника рассказов Юрия Нагибина «Человек и дорога» — в издательстве «Млада фронта» и романа Михаила Жестева «Золотое кольцо» — в издательстве «Чехословенски списовател».

«При чтении рассказов Юрия Нагибина,— пишет рецензент газеты,— иногда кажется, что писатель произвел красивый беспорядок в литературных сюжетах и уже знакомых характерах. В одном рассказе он ставит на голову сюжет, который уже известен в литературе — историю хрупкой, но мужественной девушки-агронома, в другом рассказе он возвращается к неоднократно использовавшемуся в литературе сюжету— любви учительницы вечерней школы к одному из своих взрослых учеников. Формалист сказал бы об этом: «оригинальничание», обыгрывание устоявшихся литературных мотивов и сюжетов. Дело, конечно, не в «оригинальничании», рассчитанном на простое оживление интереса к определенным литературным явлениям. Нагибин стремится показать правду жизни, ее глубоко скрытые основы...»

Название книги «Золотое кольцо», по словам «Руде право», символизирует общественное хозяйство, окружающее колхоз: поля, луга, леса и пастбища. Но есть и более отдаленный символ: «золотое кольцо»— это единство всех людей социалистического лагеря.

□

Западногерманское издательство «Зигберт Мон-ферлаг» выпустило в немецком переводе роман Антонины Коптяевой «Иван Иванович». В издательской аннотации, опубликованной в журнале «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель», отмечается, что писательница, со знанием дела повествуя о волнующей борьбе за жизнь человека, увлекательно рассказывает о советской действительности.

□

Итальянская печать сообщает о выходе отдельной книгой в издательстве Эйнауди переводов семи рассказов Юрия Казакова под общим названием «На полустанке».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ПИСАТЕЛИ-РЕАЛИСТЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

На конференции писателей-реалистов, состоявшейся недавно в Сиднее, было принято решение основать общеавстралийскую организацию. Создан временный совет под председательством Фрэнка Харди, выработан проект устава, который будет обсуждаться в местных организациях.

«Национальный союз Групп писателей-реалистов, будучи организацией рабочего класса и прогрессивного движения, — говорится в преамбуле устава, — своей целью ставит проводить в жизнь и развивать революционные демократические традиции австралийской литературы». В задачи новой национальной организации писателей входит также защита экономических интересов литераторов, развитие дружеских связей с писателями всего мира, объединение писательских сил в борьбе за мир, социализм и национальную независимость.

Конференция решила обратиться к старейшей австралийской писательнице Катарине Сусанне Причард с просьбой принять звание почетного и пожизненного президента нового союза.

Литературным органом союза будет журнал «Риэлист райтер».

Комментируя это важное событие в литературной жизни Австралии, газета «Трибюн» пишет: «Шестнадцать лет прошло со времени появления в Мельбурне первой Группы писателей-реалистов. Создание национальной организации служит доказательством силы и роста литературного движения рабочего класса».

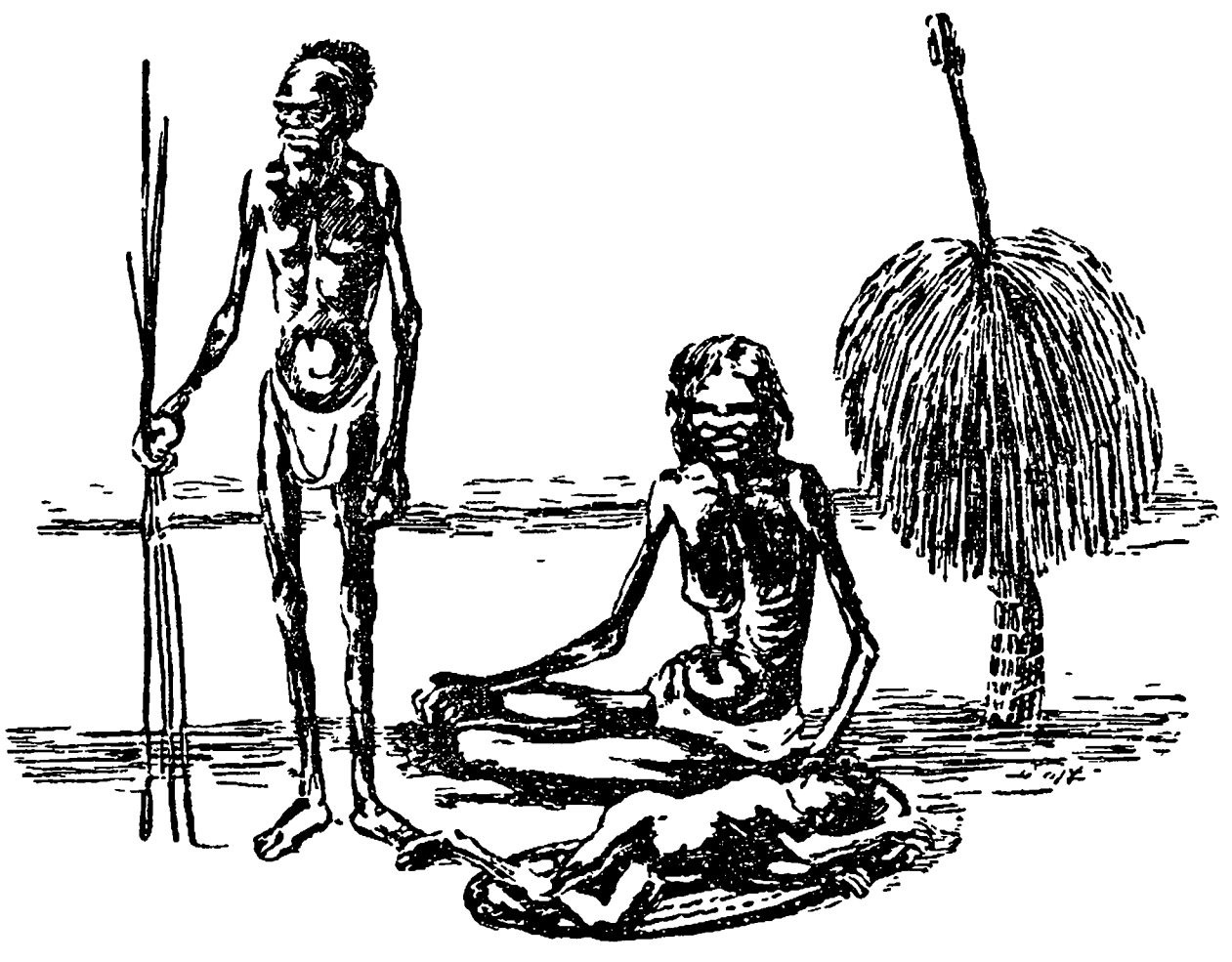
ФИЛЬМ ОБ АБОРИГЕНАХ

Кинорежиссер Сесил Холмс закончил сбор материалов для документального фильма об австралийских аборигенах. К созданию сценария он привлек писателя Гейвина Кейси, автора романа «Сноубол» (об этом романе см. «Иностранную литературу» № 4, 1960 г.). Снимать картину, предварительное название которой «Брошенное копье», будет один из крупнейших режиссеров документальной кинематографии Поль Рота.

«Мы стремимся создать такой фильм,— пишет Гейвин Кейси в журнале «Оверлэнд», — чтобы всем стала видна сущность этой огромной проблемы, чтобы от трагической правды о жизни наших черных братьев никому нельзя было спрятаться».

«Обвинение расизму» — рисунок австралийского художника Герберта Макклинтока.

(Газета «Трибюн»)



Авторы картины заявили, что, по их мнению, она должна вызвать не жалость, а гневный протест не только у тех, кто знают о положении аборигенов, но главным образом у огромного большинства австралийцев, которые пока мало задумываются над страшной судьбой обреченных на гибель людей.

АВСТРИЯ

«ВЕСНА» АРТУРА ВЕСТА

Венский театр «Кураж», по сообщению газеты «Фольксштимме», готовит к постановке пьесу «Весна», написанную австрийским драматургом Артуром Вестом.

Драма воспроизводит эпизоды движения Сопротивления в Австрии. Это произведение отмечено премией на конкурсе, организованном театром с целью отбора лучших пьес к венскому театральному фестивалю 1961 года.

«Зритель вправе ожидать от театра достойной постановки этой гуманистической австрийской пьесы», — заключает «Фольксштимме».

АЛЖИР

СТИХИ МОХАММЕДА ДИБА

Перу алжирского писателя Мохаммеда Диба, знакомого нашему читателю по опубликованному в «Иностранной литературе» роману «Большой дом» (№№ 5 и 6, 1955 г.), а также по роману «Алжирское лето», принадлежит поэтический сборник «Тень-хранительница», недавно вышедший в издательстве Галлимар. Предисловие к сборнику написано Луи Арагоном, который отмечает, что поэзия Диба особенно близка ему, автору сборника патриотических стихов «Нож в сердце», написанных во время фашистской оккупации, близка как поэзия борьбы, выражающая настроения всего народа.

КНИГА АЛЖИРСКОГО ПОЭТА КОНФИСКОВАНА

Французская полиция конфисковала книгу молодого алжирского поэта Хосина Бухазера «Голоса в Казба», выпущенную издательством Масперо. В книгу вошли две пьесы и несколько поэм. Предлогом для полицейской репрессии послужил закон «О покушении на безопасность государства».

— В течение двух лет мне пришлось около тридцати раз быть свидетелем подобных конфискаций,— заявил издатель корреспонденту газеты «Либерасьон».— Однако в отношении поэзии эта мера применяется впервые. Книга вышла в свет более чем за месяц до ее запрета, газеты уже успели откликнуться рецензиями. Много же времени потребовалось властям, чтобы понять смысл стихов Бухазера!

АНГЛИЯ

ГРЭХЕМ ГРИН О ЛАОСЕ

В лондонской газете «Таймс» опубликовано письмо Грэхема Грина о событиях в Лаосе.

«Эта война — тяжкий груз для нашей совести, даже если она навязана нам нашим союзником,— пишет автор «Тихого американца».— Я прожил четыре года во Вьетнаме и был несчастным свидетелем деятельности американских тайных агентов, стремящихся расколоть страну...

Невольно вспоминается гражданская война в Испании, только теперь роль Германии и Италии берет на себя Америка...

Хотелось бы надеяться, что Англия на этот раз не будет следовать своей двусмысленной политике и не станет помогать силам реакции».

«КУЛЬТ БЕССМЫСЛЕННОСТИ»

Именно так называется передовая статья в английском литературном еженедельнике «Таймс литерари саппламен». Еженедельник призывает обратить внимание на положение в театре, куда довольно энергично начали проникать концепции абстракционизма.

«Театр еще не умер,— пишет еженедельник,— но ему явно угрожает в ближайшем будущем культ бессмысленности». В статье разбираются театральные и

Лондонский театр «Юнити» поставил пьесу А. М. Горького «На дне». На снимке: Сцена из спектакля.
(Газета «Дейли уоркер»)

драматургические концепции некоего Маровитца, пропагандирующего «театр. посвященный изучению внутреннего «я» каждого из нас». Будущие драматургические произведения, по мнению этого апологета теорийки битников «зэн-буддизма», должны состоять из «ничем не захламленной драмы, в которой больше будет промолвлено неясным бормотанием, обрывками фраз и междометиями, чем до сих пор было сказано многими поколениями людей, изъяснявшихся на литературном языке». Итак, долой Шекспира, да здравствует бессмысленное бормотание, мычание!..

В передовой говорится также о другом, не менее опасном направлении в театре, пропагандируемом Питером Бруком. Имеется в виду не игровой театр, а так называемый «театр чистого и ни с чем не связанного поведения». Какова же расшифровка этого понятия? Автор статьи рисует такую сценку в пьесе нового образца: комната полна бездельников, они проводят время, слушая джаз, а то сидят со скучающим видом; здесь ничего не происходит, нет ни фабулы, ни завязки пьесы, никакого темпа, никакой характеристики образов. С точки зрения проповедников этого течения, таким образом «...достигается правда и красота нового толка». Не довольствуясь подобным направлением в театральном искусстве, Питер Брук предлагает еще и путь некоего абстракционизма в театре —даже текст кажется ему излишним.

Автор передовой, правда, не решается дать резкий отпор такого рода «творческим исканиям», угрожающим английскому театру. Он предпочитает осторожно предупреждать: «Мы не должны забывать о тех опасностях, которыми чреваты подобные течения. Было бы печально, если бы наш театр пошел по той линии развития, которая не может сказать ничего, кроме бессмыслицы...»

БОЛГАРИЯ

Болгарский писатель Петр Незнакомов на основе своей повести «Маргаритка, мама и я» написал сценарий, по которому режиссером Генчо Генчевым поставлен одноименный фильм. В воспроизводимом здесь кадре из нового фильма—артисты Иван Кондов, Соня Василева и Албена Салабашева, исполняющие главные роли.

(Журнал «Киноизкуство»)

ОТМИРАЮЩАЯ ПРОФЕССИЯ

Генри Фэрли — журналист, публицист, примыкавший несколько лет назад к литературному направлению «сердитых молодых людей»,— опубликовал в журнале «Энкаунтер» статью под названием «Отмирающая профессия». Его статья посвящена современному состоянию буржуазной журналистики как в Англии, так и вообще в западном мире.

«Я провел пятидесятые годы, подвизаясь в профессии, которая отмирает,— пишет Фэрли.— В разное время в течение этого десятилетия я работал в штате редакций «Обзёрвер», «Таймс», «Спектейтор» и даже — о ужас! — в «Дейли мейл», откуда едва унес ноги. Опыт работы во всех этих органах печати заставил меня прийти к выводу — правда, по различным причинам,— что британская журналистика за эти годы изрядно деградировала. И у меня нет никаких оснований полагать, что есть какая-то надежда на приостановку этого процесса».

ПИСАТЕЛЬ КАРАСЛАВОВ ИЗБРАН В АКАДЕМИКИ

Общее собрание болгарской Академии наук избрало 16 новых действительных членов Академии и 26 членов-корреспондентов.

В число вновь избранных действительных членов академии входит и известный болгарский писатель Георгий Караславов, первый секретарь Союза болгарских писателей, чье художественное творчество, по словам еженедельника «Литературен фронт»,— «одно из самых значительных достижений болгарской пролетарско-революционной белетристики».

«ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ»

Сборник «Праздник поэзии» выпускается в Софии по случаю дня поэзии 1961 года. Он будет содержать новые стихи и поэмы — лучшее, что болгарские поэты создали на темы современности.

В сборнике, как сообщает «Литературен фронт», будут также помещены статьи видных критиков по вопро-

сам болгарской поэзии, а также воспоминания об известных поэтах Болгарии.

ЮБИЛЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Исполнилось пятнадцать лет со дня создания издательства «Народна младеж». Почти две трети всех книг для детей и юношества, вышедших в Болгарии за истекшие годы, выпущены этим издательством. Наряду с книгами болгарских писателей читатели получили 371 произведение русской и советской художественной литературы.

Общественность отметила пятнадцатую годовщину создания издательства.

БРАЗИЛИЯ

РОМАН «1935 ГОД»

Бразильский писатель Милтон Педроза сообщил на страницах еженедельника «Новус румус», что в настоящее время он работает над романом «1935 год», посвященным событиям одного из наиболее драматических периодов в жизни Бразилии — вооруженной борьбе Национально-освободительного альянса против реакционной диктатуры. «Я стремлюсь к тому,— сказал Милтон Педроза,— чтобы этот роман явился выражением всего моего писательского опыта и опыта человека, связанного с борьбой нашего народа».

Писатель работает над сатирической пьесой — «Дьявол — мой друг», а также над новеллой «Ужасный секрет». По словам Милтона Педрозы, эта новелла продиктована желанием «завершить историю жизни рабочего, посвятившего себя борьбе в защиту интересов своих товарищей».

ВЫСТАВКА ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В Рио-де-Жанейро была устроена первая выставка латиноамериканской культуры.

Положительно оценивая проведение такой выставки, виднейшие деятели бразильской культуры обратились с посланием к президенту Жаниу Куадросу. Авторы послания заявляют о том, что они солидаризируются с президентом, намеревающимся проводить политику нейтралитета и дружбы со всеми странами.

Послание подписали около сорока человек, в том числе Жоржи Амаду, Фернанду Сабину, Карлус Друммонд ди Андради.

ВЕНГРИЯ

УСПЕХ МОЛОДОГО ПИСАТЕЛЯ

В издательстве «Магвете» вышел сборник новелл двадцатилетнего Андраша Табака под общим названием «Гудок гудит». Само название говорит о том, что книга посвящена рабочим. Критика горячо откликнулась на работу молодого автора.

В газете «Непсабадшаг». Пал Панди пишет: «Правильно изобразить в произведении жизнь рабочего класса, конечно, можно только в том случае, если писатель стоит на марксистских позициях. Именно поэтому с радостью раскрываешь сборник новелл Андраша Табака. Его новеллы написаны с большим знанием жизни рабочих и с большим художественным мастерством. Писатель прекрасно владеет композицией новеллы, умело показывает человеческую психику и — что особенно хочется отметить — заставляет своих героев говорить просто, ярко и образно.

Создание цикла рассказов о рабочих сегодняшнего дня — знаменательный факт в нашей литературе. Талант молодого новеллиста внушает большое доверие».

ПАЛ САБО О ФИЛЬМЕ «ЛИВЕНЬ»

На экраны страны вышел новый венгерский фильм «Ливень», поставленный по сценарию одноименного рассказа Имре Добози (рассказ опубликован в журнале «Иностранная литература» № 1, 1961 г.).

«Фильм «Ливень»,— пишет известный венгерский литератор Пал Сабо в еженедельнике «Элет эш иродалом», — огромный шаг вперед венгерского киноискусства. Его главная заслуга в том, что он не только правдиво, ярко и талантливо рассказывает о трудовых буднях людей одного из

Кадр из фильма «Ливень».
(Журнал «Филмвилаг»)

наших кооперативов, о том, как складывается их жизнь, о большой, красивой человеческой любви, но и показывает, какой будет жизнь этих людей завтра, показывает такой, какой ее хочет видеть крестьянин, какой она должна быть...»

ГАНА

ПОВЕСТЬ О МАЛЬЧИКЕ ИЗ АШАНТИ

Детская литература в Гане находится пока лишь в стадии зарождения, а между тем потребность в подобной литературе растет изо дня в день. Поэтому каждая новая книга для детей вызывает большой интерес в стране.

Живой отклик в ганской печати вызвала и новая книга писательницы Акосуа Эббс «Мальчик из Ашанти».

Повесть рассказывает о мальчике из центральной области Ганы, стремящемся к знаниям, о его тяжелой и неравной борьбе против богатого, но скупого и неграмотного отца, жестоко эксплуатирующего своего маленького сына. Много испытаний выпадает на долю ребенка и в школе, где он подвергается гонениям со стороны преподавателей-европейцев.

СВОЙ ТЕАТР, СВОИ АРТИСТЫ

Правительство Ганы приняло решение построить в Аккре первый в стране драматический театр. Уже создана театральная студия.

Как сообщает газета «Дейли грэфик», одна из основательниц студии писательница Э. Сазерлэнд заявила, что «ганские драматические спектакли будут основаны на имеющем глубокие традиции искусстве народных сказителей, которому можно удачно придать театральную форму».

По ее мнению, примером для создающегося ганского театра может служить древнегреческая драма, в которой большая роль отводилась хору.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ

В конце мая состоится V съезд писателей Германской Демократической Республики.

На съезде, как сообщает печать, будут обсуждены пути дальнейшего развития немецкой демократической литературы, вопросы повышения художественного мастерства, связи литературы с жизнью. Особое место отводится рассмотрению вопроса, как немецкая прогрессивная литература влияет на миллионы читателей Западной Германии.

ПРЕМЬЕРА ПОСВЯЩЕНА ЛУМУМБЕ

Пьеса известного голландского писателя Тойн де Фриса «Сигналы из темноты» (см. «Иностранную литературу» № 5, 1960 г.), воспроизводящая эпизоды политического выступления африканских негров против колонизаторов, была поставлена одновременно в двух театрах Германской Демократической Республики.

Театр города Карл-Маркс-штадт посвятил свою премьеру мужественному борцу за свободу Африки Патрису Лумумбе.

НОВАЯ КНИГА ВИЛЛИ БРЕДЕЛЯ

В предисловии к своей новой книге «Под башнями и мачтами» Вилли Бредель пишет, что хочет рассказать об истории своего родного города Гамбурга; так и гласит подзаголовок к названию книги — «История одного города в историях».

В рассказах, зарисовках, фельетонах перед читателем, сообщает журнал «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель», проходят многие поколения людей, которые «жили, боролись, страдали под башнями и мачтами Гамбурга».

На сцене берлинского драматического театра имени Максима Горького идет спектакль «Операция «Оливковая ветвь», созданный английским драматургом Юэном Макколом по комедии Аристофана «Лисистрата» (автор немецкого сценического варианта—Хорст Шёнеман). Зрители горячо принимают этот спектакль, направленный против войны. По оценке критики, актрисе Сабине Круг удался образ главной героини — умной, волевой и женственной Лисистраты. На снимке: Артистка Сабина Круг (справа) в одной из сцен спектакля.

(Газета «Нейес Дейчланд»)

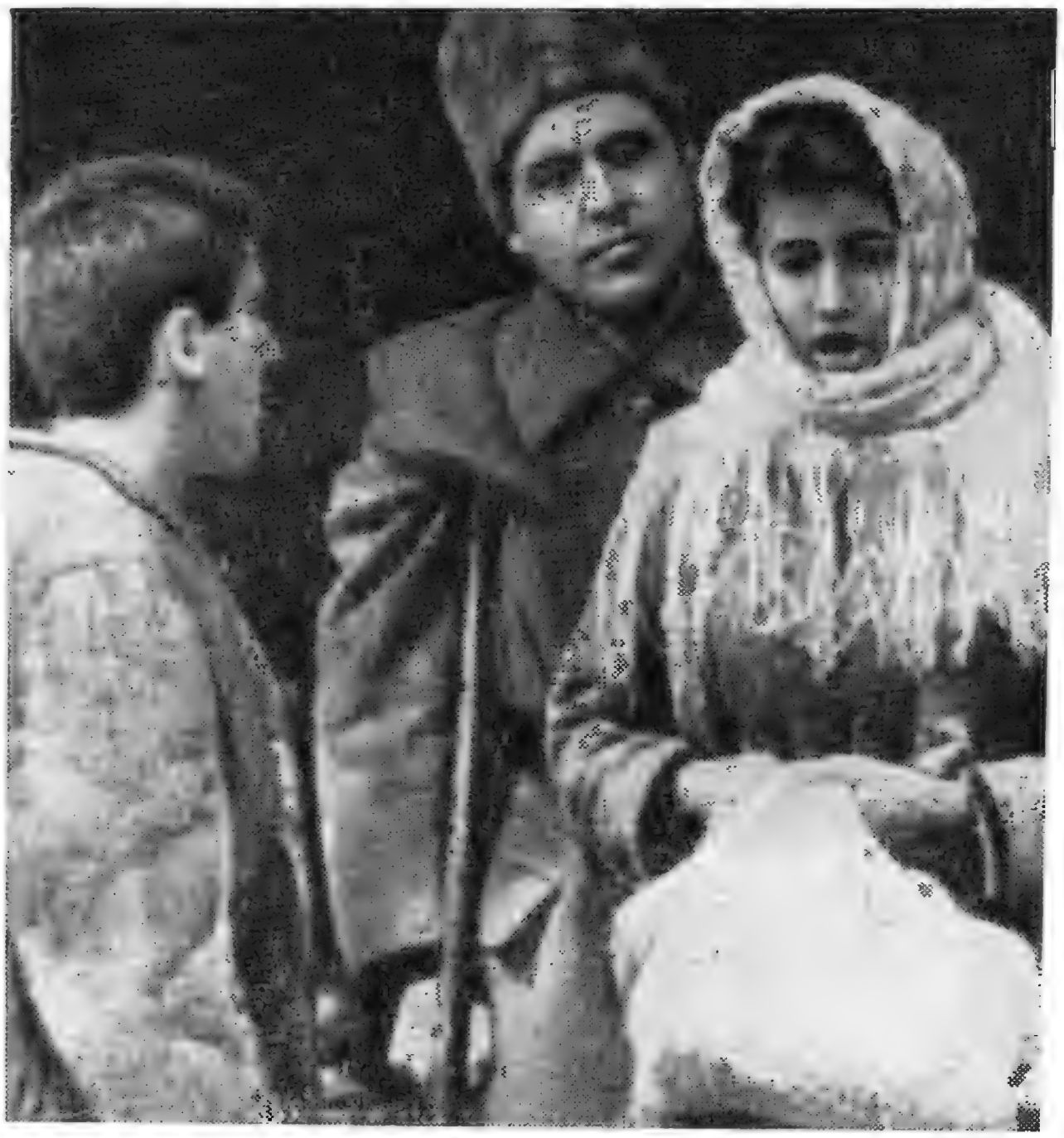
В своеобразной живой манере Вилли Бредель повествует о веселом и трагическом, о выдающихся событиях и будничных делах города — одного из крупнейших портов и центров рабочего движения в Германии.

В ГУЩЕ ЖИЗНИ

Учебником для молодых писателей называет газета «Берлинер цейтунг» вышедший несколько лет назад под названием «Молот и перо» сборник статей видных прогрессивных немецких писателей.

Недавно вышедшая вторая часть этой книги — «Творческое содружество», по мнению газеты, может быть названа учебником для рабочих — начинающих писателей.

Восемнадцать авторов — питомцев молодой Германской Демократической Рес-



Пьеса «Юность отцов» Бориса Горбатова, поставленная «Театром дружбы» в Берлине, по отзывам печати, пользуется большим успехом. На снимке: Сцена из спектакля.
(Газета «Берлинер цейтунг»)

публики сообщают на страницах новой книги о своей жизни, творчестве, о том, как они осуществляют решения Биттерфельдской конференции, о творческом содружестве рабочих и писателей. Рассказывая об этом, они передают свой опыт другим начинающим писателям-рабочим.

«Кто ныне хочет строить нашу жизнь, тот должен быть в ее гуще»,— подчеркивает молодой писатель — выходец из рабочих Вольфганг Нейхауз. Такой же мыслью проникнуты статьи и других авторов, участвовавших в создании этой полезной книги.

ПРЕМИИ ИМЕНИ ЛЕССИНГА

За выдающиеся успехи в области литературы в 1960—1961 гг. премия имени Лессинга была присуждена министерством культуры ГДР Гедде Циннер за пьесу «Что было бы, если...» (см. «Иностранную литературу» № 1, 1960 г.).

Премией имени Лессинга также отмечена пьеса Эрвина Штриттматтера «Голландская невеста» (см. «Иностранную литературу» № 1, 1961 г.). Среди лауреатов премии — автор ценных трудов в области литературоведения доктор Ганс Кох и Элизабет Гауптман, переводчица произведений гуманистической драматургии прошлого, а также многих пьес советских авторов.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

«ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ»

О социальной несправедливости, о бесправии и беззащитности бедных, о правах и «иммунитете» власть имущих рассказывает новый фильм Вольфганга Штаудте «Последний свидетель».

Большой мастер кино, разоблачавший серией своих фильмов порочность, коррупцию и реакционность западногерманского общества, выступил с произведением, острие сатиры которого направлено против буржуазной псевдодемократии.

...У молодой девушки родился внебрачный ребенок. Неожиданно выясняется, что ребенок умер. Поскольку мать не зарегистрировала ребенка в законном порядке, подозрение в убийстве падает на нее. Один из ее знакомых, молодой врач, встреченный полицией в тот момент, когда он посетил девушку, тоже становится объектом подозрений. Истинный же отец ребенка— промышленный босс, имеющий прекрасные связи, поэтому его алиби не подвергается сомнению.

Постепенно выясняется невиновность молодого врача, его освобождают из-под следствия. Наконец обнаружен подлинный виновник. Подсудимую отпускают на свободу. Когда ей возвращают отобранные при следствии личные вещи и она расписывается в их получении, до нее доносятся слова: «Итак, все улажено!»

Но действительно ли «все улажено»? — спрашивает фильм. Разве закон не один для людей разных классов? Своим новым фильмом, отмечает еженедельник «Дейче вохе», Штаудте изобличил не крайности изолированного случая из судебной практики, а общественную систему в целом. «Это один из самых серьезных, самых важных и самых актуальных фильмов из всех, которые когда-либо снимались у нас»,—подчеркивает «Дейче вохе».

ПИГМЕИ И ГЕЙНЕ

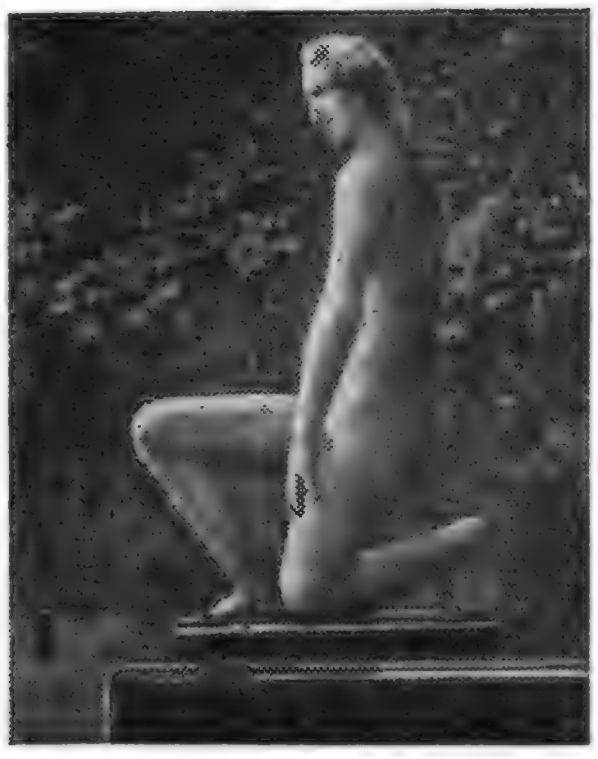
Городской совет Дюссельдорфа, родины Генриха Гейне, упорно не желает воздать должное памяти немецкого гения. История неудавшихся намерений почтить память Гейне, как сообщает печать, стала «истинной трагикомедией и также одной из глав непре-

одоленного прошлого». Собранная друзьями коллекция произведений Гейне, его писем и рукописей после многолетних блужданий нашла наконец в прошлом году приют на верхнем ярусе городской библиотеки. Попасть в маленькое помещение, где расположен архив, можно только через едва заметную боковую дверь, затем надо пройти шесть крутых лестниц и бесконечно длинный коридор. На самом здании библиотеки нет никаких указателей о том, что здесь находится архив Генриха Гейне.

Реставрированный в конце 1945 года памятник Гейне — бронзовая скульптура Георга Кольбе «Поднимающийся юноша», которая стоит в городском парке, не имеет никакой надписи. И до сих пор, несмотря на неоднократные требования друзей Гейне, надпись не нанесена на памятник. Это так естественно для Бонна, ведь Гейне как-то признал себя причастным к коммунизму!..

По этой же причине городской совет Дюссельдорфа отклонял все поступавшие многочисленные проекты нового памятника Гейне как «неподходящие». Следует ли удивляться, что в Западной Германии до сих пор не издано полное собрание сочинений великого немецкого поэта?

«Поднимающийся юноша» — скульптура Георга Кольбе.
(Газета «Берлинер цейтунг»)



ГОЛЛАНДИЯ

«МАТУШКА РУСЬ» ПО-АМСТЕРДАМСКИ

Амстердамское издательство «Фламинго» выпустило в серии «карманных книжек» сборник произведений русской литературы под названием «Матушка Русь». Составитель сборника М. Мейленхофф хотел, по оценке голландской критики, противопоставить «матушку Русь» «современной России спутников, лунников и ракет, стоящих в центре внимания мировой общественности». Хотя подобное противопоставление и является более чем странным, однако можно было бы приветствовать появление в переводе на голландский язык таких произведений, как, например, повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» или рассказы А. П. Чехова «Ведьма» и «Горе», входящие в сборник. Однако переводчик Кристоф Кобельт переводил не с русского языка, а с... немецкого, хотя ранее произведения Чехова неоднократно переводились с оригинала на голландский язык и в Голландии имеется достаточно литераторов, владеющих русским языком. Журнал «Хет бук фан ну» отмечает, что переводчик допустил много отсебятины, он беззастенчиво исказил имена собственные, а то и попросту «импровизировал».

Составитель сборника Мейленхофф, стремясь втиснуть в карманное издание большой листаж, ничтоже сумняшеся расправился с великими русскими писателями: выбросил одну главу из «Тараса Бульбы», обрубил эпилог этой повести; вступление от автора к другому произведению заменено «словом от переводчика»; в оглавление внесены новые названия, которых вообще нет в оригиналах...

Для «пущей экзотики» художник ван дер Маас изобразил на обложке книги русского мужика в санях, а позади саней — мертвую женскую голову. Кстати, рецензент «Хет бук фан ну» поймал художника на месте преступления: рисунок (за исключением мистической мертвой головы) скопирован с одной известной иллюстрации к рассказу Чехова «Горе»...

ДАНИЯ

АКТЕРЫ БОРЮТСЯ ЗА СВОИ ПРАВА

Между датским профсоюзом театральных работников и администрацией государственных радио- и телевизионных организаций возник конфликт в связи с отказом администрации удовлетворить требования профсоюза повысить заработок. Датские актеры решили бойкотировать радио и телевидение.

Датский профсоюз, как сообщает демократическая печать, обратился в Международное объединение театральных работников с просьбой не допускать передач на Данию из других стран.

ИНДИЯ

ВЕРА В БУДУЩЕЕ

Индийский писатель Нагарджун стал известен читателям своим романом «Бальчанва», хотя основное место в его творчестве занимает поэзия.

В издательстве «Ятри пракашан» (Калькутта) вышел однотомник новых стихов Нагарджуна. Помещенные в сборнике 29 стихотворений посвящены жизни индийского труженика.

В этой книге Нагарджун, по словам рецензента индийского еженедельника «Нью эйдж», выступает как «поэт, глубоко сознающий свою роль певца бедноты».

Стихотворения «Трудные времена», «Спустя много дней» и другие правдиво рисуют жизнь простых людей Индии. «Только поэт, который дышит одним воздухом с беднейшими из бедных, живет и страдает вместе с ними, может так

рассказать о голоде — страшном бедствии, неотступно преследующем индийский народ»,— пишет рецензент Мунши.

Несколько стихотворений, в том числе «Что будет с тобой?», поднимают важнейшую для всего человечества тему мира.

«Стихи Нагарджуна,— подчеркивает рецензент,— действительно несут молодому поколению новый свет и веру в будущее».

ПО НОВЕЛЛЕ ТАГОРА

...Около трех веков назад шах Махмуд Второй построил в Хайдерабаде величественный дворец. В нем томились красавицы пленницы, которых со всех концов света доставили сюда слуги шаха. Проклятия страждущих душ осели на камнях дворца, и те стали голодными и жаждущими, поглощая все живое, появлявшееся под сводами дворца. И дворец опустел...

Нелегко пришлось попавшему сюда по воле случая мелкому сборщику налогов — герою поэтичной новеллы Рабиндраната Тагора «Голодные камни», по мотивам которой индийский режиссер Тапан Синха создал фильм.

Как отмечает еженедельник «Блиц», Тапан Синха, который уже имеет опыт в деле экранизации произведений Тагора, «снова создал выдающийся, волнующий зрителя фильм».

Драматическую напряженность и глубокую лиричность фильма, по мнению журнала, хорошо передает музыка композитора Устад Али Акбар Кхана.

ИСПАНИЯ

«ПЕСНЬ О МОЕМ СИДЕ» — В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Как сообщает мадридский журнал «АБС», Национальная библиотека Испании недавно получила оригинал старинной рукописи знаменитого испанского героического эпоса «Песнь о моем Сиде».

В рукописи, исполненной на пергаменте в 1307 году Педро Абадом, семьдесят четыре листа. Она была найдена в конце XVIII века Эухенио Льагуном и до передачи ее Национальной библиотеке принадлежала частным лицам.

Новое и пока еще не опубликованное полностью произведение Эрнеста Хемингуэя «Опасное лето» (главы из которого напечатаны в «Иностранной литературе» № 2, 1961 г.) вызвало бурную реакцию одного из героев этой книги — испанского матадора Луиса Мигеля Домингйна (на фото слева). Почувствовав себя, как сообщает печать «тяжело раненным» тем, что Хемингуэй в своей книге отдает предпочтение другому матадору — Антонио Ордóньесу (на фото вместе с автором «Опасного лета»), Домингин решил «взять реванш». На арене боя быков южноиспанского городка Пуэрто де Санта Мария во время корриды он один выступил против шести быков подряд, что считается высшим подвигом среди матадоров. Коррида на этот раз прошла успешно для Домингина, имеющего на своем счету 2700 убитых быков; он получил за нее два миллиона песет и даже крикнул: — Сой эль мехор!.. Я лучший!..

(Газета «Кларин»)

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АЛЬТОЛАГИРРЕ

Мексиканское издательство «Эдиториаль Муньос» подготовило к выпуску в свет полное собрание сочинений одного из крупнейших современных испанских поэтов Маноло Альтолагирре. В это собрание включены все поэтические произведения Альтолагирре, а также его переводы на испанский язык «Каменного гостя» и «Пира во время чумы» А. С. Пушкина, сделанные им вместе с советским поэтом О. Савичем. Помещены и критические статьи поэта о литературе, его высказывания по общественно-политическим вопросам.

СТИХИ БЛАСА ДЕ ОТЕРО НА РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ

Под рубрикой «Поэты мира» румынский журнал «Вяца ромыняскэ» опубликовал в переводе Эуджена Жебеляну цикл стихов известного испанского поэта Бласа де Отеро.

ИТАЛИЯ

ТРИ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

В римском муниципалитете — Капитолийском дворце состоялась церемония вручения правительственных литературных премий «Золотые перья» и «Золотые книги». Эти премии были учреждены в 1957 году и тогда же впервые присуждены писателю Джованни Папини (посмертно) и издателю Мондадори. Ныне президент республики вручил премии за 1958 год известному литературному критику и писателю Эмилио Чекки и издателю Валлекки, а поэту Джузеппе Унгаретти и издателю Бомпиани — за 1959 год.

Прогрессивная печать приветствует факт премирования Чекки и Унгаретти, однако критикует применявшуюся до сих пор недемократическую систему присуждения премий и большую затяжку с их вручением.

Римское издательство «Эдиторе риунити» выпустило собрание произведений Назыма Хикмета в переводе на итальянский язык Двухтомник, включающий стихи и пьесы турецкого писателя, иллюстрирован виднейшими итальянскими художниками. Мы воспроизводим здесь рисунок Ренато Гуттузо к циклу стихов Назыма Хикмета, написанных в турецкой тюрьме.

(Газета «Унита»)

В городе Кротоне ежегодная премия «Кротоне», учрежденная прогрессивной общественностью и муниципалитетом города, вручена журналисту и писателю-коммунисту Давиде Лайоло, более известному под псевдонимом Улисс, за книгу «Нелепый порок», посвященную жизни и творчеству покойного писателя Чезаре Павезе (с творчеством Павезе советский читатель знаком по недавно переведенному на русский язык роману «Товарищ»). Жюри, в которое входят Моравиа, Дебенедетти, Гадда и другие видные писатели и литературоведы, присудило премию в области поэзии поэту Джакомо Новента (посмертно) за вышедший в прошлом году сборник стихов.

Наконец, в Лечче премия «Саленто» присуждена писателю Итало Кальвино за сборник «Наши предки» (в эту книгу вошли три его известные историко-фантастические повести «Несуществующий рыцарь», «Виконт, разрубленный пополам» и «Барон, лазающий по деревьям»).

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ ЛЕВИ

К столетию объединения Италии писатель Карло Леви заканчивает большую книгу, посвященную народному герою Италии Джузеппе Гарибальди. В ней, по сообщению газеты «Паэзе сера», будет рассказано о легендарном походе гарибальдийской «Тысячи», о высадке на Сицилии, о народных восстаниях на Юге Италии, предшествовавших походу Гарибальди и времен похода. В процессе работы над этой книгой писатель несколько раз ездил на Сицилию, где познакомился с рядом новых, очень важных и интересных исторических документов той эпохи. Изучение новых документов и сведений о походе Гарибальди заставило Леви трижды переделывать свою книгу.

Читатели, кроме того, ожидают выхода давно уже обещанной Леви «книги о любви», как писатель сам определил содержание романа «Любовники», который сейчас пишет.

Много лет писатель работает и над книгой, посвященной сегодняшней Италии.

«ФИЕРА ЛЕТТЕРАРИА» ЗАЩИЩАЕТ ФАШИСТА

История с присуждением Гонкуровской премии румынскому фашисту, изменнику родины Винтиле Хориа (см. «Культура и современность» в «Иностранной литературе» № 4, 1961 г.) продолжается. Недавно итальянский литературный еженедельник «Фиера леттерариа» счел возможным помпезно опубликовать на первой полосе портрет Хориа, его статью под претенциозным заголовком «Поэзия и свобода» и заметку «Кто такой Хориа», подписанную инициалами «М. П.». Заметка эта, написанная в апологетическом и вызывающем тоне, изображает Хориа борцом за демократию, мучеником и чуть ли не апостолом свободы. Трудно сказать, какие мотивы побудили главного редактора «Фиера леттерариа», католического драматурга Диего Фаббри, выступить в защиту такого скомпрометированного человека, как Хориа, однако факт остается фактом.

Самое интересное разыгралось позднее. Пять видных и постоянных сотрудников еженедельника, много лет связанных с ним, прислали на имя Фаббри коллективное письмо, полное возмущения. Они выразили свое негодование в связи с выступлением в защиту Хориа, охарактеризовав его как «посредственного писателя и коллаборациониста». Самым резким образом они протестовали против позиции «Фиера леттерариа». Среди подписавших письмо — крупный литературный критик Фердинандо Вирдиа, который из номера в номер вел в газете отдел «Книги, о которых говорят», известный писатель Гуильельмо Петрони, в свое время томившийся в фашистских застенках, и другие видные литераторы.

В письме говорится о том, что за последнее время «Фиера леттерариа» не раз позволяла себе выпады против антифашистов. А скандальная история с Хориа явно подтвердила отход еженедельника от своих прежних демократических позиций, и сотрудничество в нем становится просто невозможным. Авторы письма предъявили Фаббри своего рода ультиматум, предложив ему дать гарантии, что подобные инциденты не повторятся. Однако Фаббри вызывающе заявил, что сама по себе его личность уже является «полной гарантией демократии», и взял под защиту расиста Хориа.

Все, подписавшие протест, прекратили сотрудничество в газете. Некоторые органы демократической печати Италии резко осудили поведение «Фиера леттерариа». Некий Марио Пикки также прислал письмо в редакцию. Он жаловался, что многие знакомые подозревают его в том, что он является автором заметки о Хориа, подписанной «М. П.», и просил публично его реабилитировать. «Фиера леттерариа» оказалась вынужденной сообщить имя автора заметки: им был румынский эмигрант Мирча Попеску.

КАНАДА

КНИГА ДВАДЦАТИ РАБОЧИХ-ПОЭТОВ

«Поэты в борьбе за мир» — так называется изданный в Ванкувере небольшой сборник произведений двадцати рабочих-поэтов из Британской Колумбии.

Приветствуя выход книги в свет, газета «Кенэдиен трибюн» пишет, что поэты, представленные в сборнике, «выражают страстное стремление своих соотечественников к миру, свободному от страха перед ядерным разрушением; к миру, в котором наше поколение и все грядущие поколения сумеют жить в вечной весне интернационального братства...»

Каждый из поэтов, продолжает газета, по-своему подходит к насущной проблеме борьбы за мир во всем мире, но каждый выражает свою жажду мира так же, как ее чувствуют миллионы простых людей.

КИТАЙ

Тяньцзинский театр оперы и балета показал в Пекине балет советского композитора Р. Глиэра «Дочь Кастилии» (в Китае идет под названием «Дочь Испании»). Эта постановка — первый опыт сложного хореографического спектакля в еще молодом тяньцзинском театре. Однако, по оценке печати, коллектив сумел создать запоминающиеся образы знаменитой пьесы Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна», положенной в основу балета. Художник Ли Кэ-юй зарисовал одну из сцен спектакля.

(Газета «Гуаньмин жибао»)

РАССКАЗЫ ЦЯО ШИ

Рассказы Цяо Ши из армейской жизни, опубликованные в последнее время в Китае, были с любовью встречены читателем. По словам литературоведа Ли Хуна, выступившего на страницах журнала «Вэньи бао» с большой статьей о творчестве Цяо Ши, писатель прекрасно знает армейскую жизнь, умеет подмечать ее характерные особенности, проникать в психологию бойцов, в их мысли, переживания.

Своим творчеством, пишет Ли Хун, писатель-воин Цяо Ши доказал, что даже те

произведения, в которых нет остросюжетных ситуаций, могут быть по-настоящему интересны и захватывающи.

По словам Ли Хуна, произведения Цяо Ши нравятся китайскому читателю, заставляют его волноваться и вместе с героями задумываться над важными жизненными проблемами.

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО ИНЬ ФУ

В газете «Жэньминь жибао» опубликована статья известного китайского литературоведа А Ина, в которой он рассказывает о следующем факте: несколько его студентов обратили внимание, что опубликованное в 1929 году письмо «Ответ брату», подписанное И Фань, по-видимому принадлежит Инь Фу — революционному поэту Китая, замученному в гоминьдановских застенках. В результате тщательного изучения и сопоставления фактов А Ину удалось доказать, что автором письма действительно является Инь Фу. Брат Инь Фу, реакционер-гоминьдановец, несколько раз вызволял его из тюрьмы, держал взаперти дома, хотел отправить учиться в фашистскую Германию с единственной целью — заставить брата порвать с революцией.

«Ты пишешь, что тебя волнует мое будущее,— говорится в письме.— Благодарю, не стоит. Я сам вместе с организацией, к которой принадлежу, определил свое будущее. Это не только мое будущее, это будущее целого класса, и оно прямо противоположно вашему будущему. Мы не исчезнем, нас не заставит молчать могила. История наверняка докажет, что мир будет принадлежать нам!»

ГУАНЬ ХАНЬ-ЦИН НА ЭКРАНЕ

На экранах Китая демонстрируется фильм «Гуань Хань-цин», поставленный режиссером Сюй Тао по сценарию Тянь Ханя. Это картина о замечательном китайском драматурге XIII века, выдающемся борце, оружием слова бичевавшем феодальное общество. В фильме ярко и убедительно рассказано о жизни Гуань Ханьцина, о его творческом пути, о том, как он создавал свое замечательное произведение — трагедию «Обида Доу Э» (отрывки из пьесы опубликованы в «Иностранной литературе» № 9, 1959 г.).

В фильме воспроизведена беседа великого драматурга с актрисой Чжу Лянь-сю. Он жалуется ей на свою беспомощность: «Древние, когда на дорогах бывало беспокойно, вынимали меч. У меня вместо меча одна лишь истертая кисть».

«Разве не меч твоя кисть? — отвечает ему актриса Чжу Лянь-сю.—В своих пьесах ты обличаешь богатых, люди, которые смотрят твои пьесы, вместе с нами ненавидят тех, кому чужда человеческая мораль, кто попирают добро, кто губят народ».

В фильм включено немало сцен из пьесы «Обида Доу Э».

По мнению критика журнала «Шанхай дяньин», фильм «Гуань Хань-цин» — яркий и волнующий, заставляющий зрителя переживать вместе с героиней, радоваться ее радостями. Великолепно играет в фильме обладающий незаурядным даром перевоплощения актер Ма Шы-цэн, исполняющий роль Гуань Хань-цина.

Кадр из фильма «Гуань Хань-цин».
(Журнал «Шанхай дяньин»)

КУБА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУЛЬТУРЫ

По решению революционного правительства Кубы, как сообщает газета «Нотисиас де ой», образован Национальный совет культуры, которому поручается планирование и руководство в области развития культуры в стране.

В состав совета вошли: директор Национального департамента культуры доктор Висентина Антунья (председатель), заместитель директора Национального департамента культуры писатель Алехо Карпентьер, директор Национальной библиотеки Мария Тереса Фрейре, писатели Николас Гильен и Гильермо Кабрера Инфанте, главный редактор правительственной газеты «Революсьон» Карлос Франки, президент Института кино Альфредо Гевара, известная общественная деятельница доктор Эдит Гарсиа Бучака.

В ЗАЩИТУ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

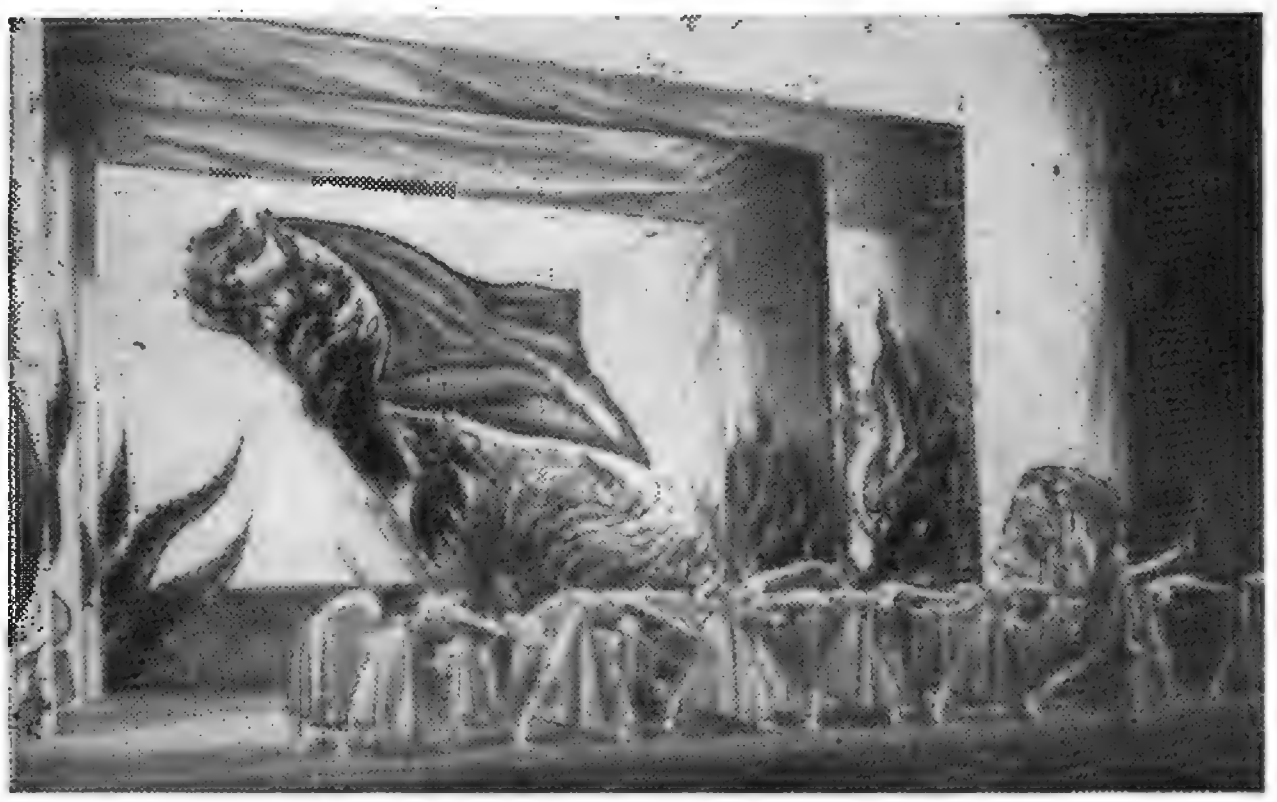
Известная советскому читателю книга американского социолога Райта Миллса «Слушайте, янки!», посвященная революционной Кубе, вызвала резкие нападки со стороны некоторых кругов в США. К хору недоброжелателей присоединился и некий Жюль Дюбуа, выступивший в еженедельнике «Сэтердей ревью» со статьей, полной клеветнических измышлений о кубинском народе, а также о Р. Миллсе. В связи с этим в редакцию еженедельника поступило письмо группы видных мексиканских литераторов и общественных деятелей, возмущенных статьей Дюбуа.

Авторы письма — писатели Фернандо Бенитес и Карлос Фуэнтес, издатели Арнальдо Орфила Рейналь и Хаиме Гарсиа Террес, профессор университета в Мехико Виктор Флорес Олеа и другие — пишут: «Очевидно, существуют две Америки», одна — та, к которой принадлежит Райт Миллс,

но есть и другая — «Америка наглухо затворенных окон и любителей ярлыков, охот за ведьмами и страха, Америка, поддерживающая отсталые силы в малоразвитых странах, та Америка, которую забрасывали камнями в Лиме, сжигали в Гваякиле, на которую плевали в Каракасе (речь идет о демонстрациях протеста, которые были вызваны турне по странам Латинской Америки бывшего вице-президента Никсона.— *Ред.*)».

«Нам довелось побывать на Кубе,— говорится далее в письме.— Мы видели тысячи новых школ, больниц, дорог, жилых домов, слушали концерты новых симфонических оркестров и смотрели спектакли новых театральных коллективов, видели новые недорогие книги и богатые урожаи, выращиваемые на мертвой когда-то земле огромных частных усадеб. Мы видели уверенных в себе, гордых кубинцев... Мы видели, как рушился мир эксплуатации и сословных привилегий. Мы видели, как трудится неподкупное правительство, видели народ, решительно поддерживающий своих революционных вождей. Впервые в истории богатство и будущее Кубы перешли в руки народа. Во взглядах кубинцев мы читали надежду всей Латинской Америки».

«Мы решительно протестуем против лживой статьи Жюля Дюбуа,— заканчивается письмо.— Мы так же решительно поддерживаем Райта Миллса и считаем, что его книга — подлинный голос народа США».



Известная далеко за пределами Мексики балетная школа при Национальном институте изящных искусств, возглавляемая видной балериной и писательницей Нелли Кампобелло, недавно поставила балет «Мексиканская революция». Либретто написано Нелли Кампобелло, она же и руководила постановкой. Спектакль идет под народную музыку времен мексиканской революции. Декорации написаны по эскизам знаменитого мексиканского художника Хосе Клементе Ороско. На снимке: Сцена из балетного спектакля. Под красным революционным знаменем народ поднимается на борьбу с тиранией

(Журнал «Тьемпо»)

МЕКСИКА

ГАБРИЭЛЬ МАРТИНЕС ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ

Известный мексиканский писатель Агустин Яньес закончил работу над новым романом «По течению». Как в первом романе «Творение», так и в романе «По течению» описывается артистический мир Мексики примерно одного и того же периода.

Яньес — не только писатель-романист, но и тонкий знаток музыки, близко знающий многих артистов. Поэтому так реалистичны созданные в романе образы.

Главным героем романа, как сообщает газета «Новедадес», является молодой талантливый музыкант Габриэль Мартинес, который после окончания учебы в Европе возвращается на родину. Здесь он сталкивается с большими трудностями, не может устроиться на работу, скитается по стране, борется за признание его как музыканта и композитора. Введя в роман образы видных представителей мексиканского искусства — композитора Сильвестре Ревуэльтаса, художника Диего Риверу, режиссера и актера Гомеса де ла Вегу,— автор затрагивает проблему роли и места артиста в общественной жизни страны, его долга перед народом.

Мексиканская критика высоко оценивает последний роман Яньеса, отмечая его как произведение, в котором с большим мастерством представлена жизнь современной интеллигенции Мексики.

НИГЕРИЯ

«БЕСПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ»

Нигерийский писатель Чинуа Ачебе закончил вторую часть своего романа о жизни западнонигерийского племени ибо.

Если первая часть, названная писателем «Жизнь распадается», рассказывала о жизни этого племени в конце прошлого века, о конфликтах коренного населения с колонизаторами, в результате которых погиб главный герой книги Оконкво (см. «Иностранную литературу» № 9, 1958 г.), то вторая часть — «Беспокойная жизнь» — повествует о судьбе потомков Оконкво в настоящее время.

Две главные темы, переплетаясь, проходят во второй части романа: взяточничество и духовное разложение тех жителей страны, которые подпали под влияние колонизаторов; конфликты, возникающие между теми, кому удалось получить образование, и теми, кто продолжают придерживаться старых языческих обычаев.

В центре второй книги — судьба Оби, внука Оконкво.

Получив на средства своих односельчан высшее образование в Англии и возвратившись на родину, он убеждается в том, что его взгляды на многие древние обычаи изменились. Он остается в Лагосе, поступает чиновником в учреждение, распределяющее государственные стипендии. Но и городская жизнь не приносит Оби полного удовлстзорения.

Герой романа попадает в тяжелое положение, потому что ему надо возвратить долг односельчанам, а он не желает добывать деньги нечестным путем.

Автор не идеализирует своего героя, но при всех своих ошибках и заблуждениях Оби всегда остается искренним и честным человеком.

Эти черты Оби ярко проявляются и в его столкновениях с людьми, отравленными корыстной моралью колонизаторов, например, с его товарищем по работе, который не брезгует никакими средствами ради своего обогащения.

Роман положительно оценивается ганской газетой «Дейли грэфик», считающей, что в целом Чинуа Ачебе «еще раз дал в художественных образах правдивую картину жизни нигерийцев». По мнению газеты, «вторая часть романа, как и первая, в странах Африки и за ее пределами будет иметь большой успех».

ПОЛЬША

ФИЛЬМ О ПРОБЛЕМАХ ДНЯ

На экраны польских кинотеатров недавно вышел художественный фильм «Стеклянная гора», снятый по повести молодого вроцлавского прозаика Мацея Патковского «Юг».

«Стеклянная гора», отмечает журнал «Экран»,— произведение, посвященное проблемам сегодняшнего дня. Фильм рассказывает о встрече в небольшом польском городке рабочего Анастазия и молодой девушки, врача-практикантки из Варшавы Беаты. Анастазий — представитель новой общественной прослойки рабочей интеллигенции, которая выросла в Польше за последние 15 лет из среды передовиков труда, рационализаторов, людей, активно строящих новую жизнь. Он работает в каменоломне, а в свободное время конструирует новый пневматический молот. Анастазий увлекается модно одетой девушкой из столицы, но вскоре начинает понимать, что у них разные взгляды на жизнь. Мечты Беаты не идут дальше теплого местечка в одной из столичных клиник. Порывая с Беатой, Анастазий чувствует, насколько он богаче духовно, насколько его трудовая жизнь имеет больше смысла, чем убогие мечты Беаты...

В картине, отмечает «Экран», предпринята попытка противопоставить друг другу эти два взгляда на жизнь.

«Стеклянная гора» привлекает еще и тем, что в этом фильме широко затрагивается производственная тематика. Показаны здесь и новые герои — рабочие каменоломни, живые, остроумные люди, гордящиеся своей рабочей профессией.

По мнению журнала, режиссер Павел Коморовский создал хорошее, художественно зрелое произведение, в котором успешно отражена проблематика наших дней.

ПОРТУГАЛИЯ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КАПИТАНА ГАЛВАО САЛАЗАРУ

В Каракасе (Венесуэла) опубликовано открытое письмо португальского патриота, капитана Энрике Галвао, адресованное диктатору Португалии Салазару.

«Я бежал от твоих когтей, от твоей ненависти, от могущественного гестапо, от твоей оккупационной армии, от твоих тюрем и концентрационных лагерей, от ярмарки твоих милостей»,— пишет герой восстания на лайнере «Санта Мария». Он напоминает, что в салазаровской Португалии занимал положение, которое позволило бы ему быть свободным и богатым, если бы только он «захотел продать душу дьяволу и канонизировать Салазара при жизни». «И даже если бы однажды меня застали на месте преступления, запустившим руку в государственную казну, ты поспешил бы объяснить в «официальном заявлении» (ах, эти твои официальные заявления!), что я — жертва клеветы коммунистов...»

«Тридцать лет господства политической полиции и полиции секретной,—пишет далее Галвао,— произвол цензуры, насилия над домашним очагом и перепиской, службы подслушивания и фискального вымогательства привели простой и хороший народ к моральной нищете народов-париев... Все в той или иной степени испытывают страх, страх кого-то или чего-то, страх острый или приглушенный, страх угрожающий, а больше всего боятся тебя и твоих людей. А ведь ты тоже боишься генерала Делгаду и меня и с полдюжины тех, кто не боятся тебя. Ты боишься покушения или, я не знаю, чего еще».

Энрике Галвао считает закономерным то, что интеллигенция Португалии отвернулась от Салазара. По его свидетельству, лучшие представители общественной жизни страны, искусства, литературы, науки находятся в оппозиции. Галвао приводит слова профессора Диэгу Футаду, сказанные им на международном съезде офтальмологов: «Португалия проходит сейчас через период ярко выраженного интеллектуального застоя. Наша литература находится в периоде упадка, несравнимого с прошлым, пластические искусства прозябают на скудных выставках и в мелочных спорах».

С горечью и болью говорит Галвао о положении в португальских колониях в Африке.

«Надо, чтобы в ООН и за границей знали,— продолжает Галвао,— что португальский народ, ныне вынужденный подчиниться грубой силе, не ответствен за твои ошибки, проклинает их. Я же считаю своим долгом, долгом португальца, громко сказать об этом моим соотечественникам и всему миру, выступая против молчания, которое похоже на соучастие... По твоей вине Португалия сегодня — одна из тех стран, где уровень жизни самый низкий в Европе. И условия жизни ухудшаются с каждым годом».

«Я хотел бы,— заканчивает Энрике Галвао свое письмо,— чтобы этот искренний документ, написанный одной из твоих жертв, прозвучал бы как зов трубы».

РУМЫНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

Поэт Михай Бенюк, успешно выступающий и в области драматургии, закончил новую комедию на современную тему «Морально ответственный». Главные герои — интеллигенция, строящая социализм. Одновременно Бенюк продолжает работать над пьесой в стихах. В этой пьесе, по словам поэта, будет отражена жизнь одного из замечательных героев румынского народа.

Большой цикл рассказов, над которыми Бенюк работает в течение ряда лет, посвящается коммунистам. В этом году, как сообщает еженедельник «Контемпоранул», увидит свет и второй том романа «На острие ножа».

В ближайшие месяцы выйдет второе, переработанное издание повести «Северное шоссе» Эуджена Барбу. В мае на полках появится и новая его повесть «Улица», выпускаемая издательством «Эдитура тинеретулуй». На страницах ее воспроизведен один день из жизни бухарестского района Гривицы накануне кровавых событий февраля 1933 года.

В планах Барбу — пьеса для Муниципального театра, а также сатира на нравы современной Америки для вновь открытого бухарестского театра комедии.

Академик Захария Станку переработал свой роман «Босой» (вышедший несколько лет назад и в русском переводе). В новом варианте это будет цикл, состоящий из 12 томов. Первые три тома появились в декабре прошлого года, последующие выйдут в ближайшие месяцы. До конца нынешнего года писатель надеется выпустить роман «Мой брат — солнце» о социалистических преобразованиях в румынской деревне.

«Праздничные будни» — так называется новый сборник стихотворений поэтессы Нины Кассиан.

С новой книгой стихов, посвященных 40 годовщине румынской Рабочей партии, выступит поэт А. Андрицою.

В области перевода плодотворно работает Чичероне Теодореску. В этом году он заканчивает новый большой цикл переводов поэм Владимира Маяковского.

НА РОДИНЕ ЭМИНЕСКУ

В селе Ипотешть — на родине великого поэта-классика Румынии Михаила Эминеску — в торжественной обстановке был открыт домм музей поэта. Здесь выставлено свыше тысячи экспонатов — фотокопий рукописей и фотографий, связанных с его жизнью и творчеством. По этому случаю в Ипотешти собрались академики, писатели, тысячи крестьян из близлежащих сел. Известный литературовед Д. Панаитеску-Перпессичиус прочитал доклад о жизни и творчестве поэта.

В настоящее время Академия Румынской Народной Республики готовит капитальный труд о поэтическом творчестве Эминеску.

Одна из иллюстраций Жюля Перахима к стихам Эминеску.

(Еженедельник «Контемпоранул»)

Ежегодно выходят новые и новые тома стихов любимого поэта.

К годовщине со дня рождения поэта румынские журналы опубликовали рисунки известного художника Жюля Перахима к новым томам стихотворений Эминеску.

США

ОТКЛИКИ НА НОВЫЙ РОМАН МИТЧЕЛА УИЛСОНА

Публикация в журнале «Иностранная литература» нового романа Митчела Уилсона «Встреча на далеком меридиане» вызвала живой интерес в США, где это произведение только что выпущено издательством «Даблдей энд компани».

Одновременную публикацию романа в обеих странах многие американские обозреватели называют беспрецедентным случаем. Газета «Сан-Франциско кроникл» пишет: «Издание романа в одно и то же время в Москве и Нью-Йорке — здоровое начало... и в этом смыс-

ле «Встреча на далеком меридиане» может оказаться исторической книгой».

Радиокомпания «Коламбиа бродкастинг систем» так охарактеризовала роман Митчела Уилсона: «Это прежде всего повесть о людях — об американском и русском ученых, и о тех, кто сталкиваются с ними в жизни... Картины русской жизни и эпизоды научных исследований, нарисованные искусным рассказчиком, делают книгу удивительно увлекательной».

Этой оценке словно вторит отзыв «Службы книжной информации» журнала «Сэтердей ревью»:

«Мистер Уилсон написал захватывающую и значительную книгу... Читателя не покидает ощущение достоверности. Живой и понятной встает перед глазами Москва и ее жители. Со знанием дела, художественным тактом и мастерством рассказывает автор о сложных взаимоотношениях Реннета и Горчакова — граждан двух очень разных государств, двух людей доброй воли, которые тесно связаны противоречиями истории и не способны поначалу избежать непонимания и подозрительности... «Встреча на далеком меридиане» говорит о многом важном для нашего времени».

В рецензии, которую еженедельник «Нью-Йорк таймс мэгэзин» опубликовал под заголовком «Братья по науке», подчеркивается, что роман Митчела Уилсона проникнут духом сотрудничества между американским и советским народами.

Несмотря на некоторые формальные слабости, пишет еженедельник, «...книга по-настоящему ценна для американского читателя. Автор набрасывает выразительные картины повседневной жизни современной России... Он позволяет заглянуть в ту обстановку, в которой развивается русская наука. В советских лабораториях царит такой товарищеский дух и такая любовь к делу, что нет сомнений насчет результатов работы ученых».

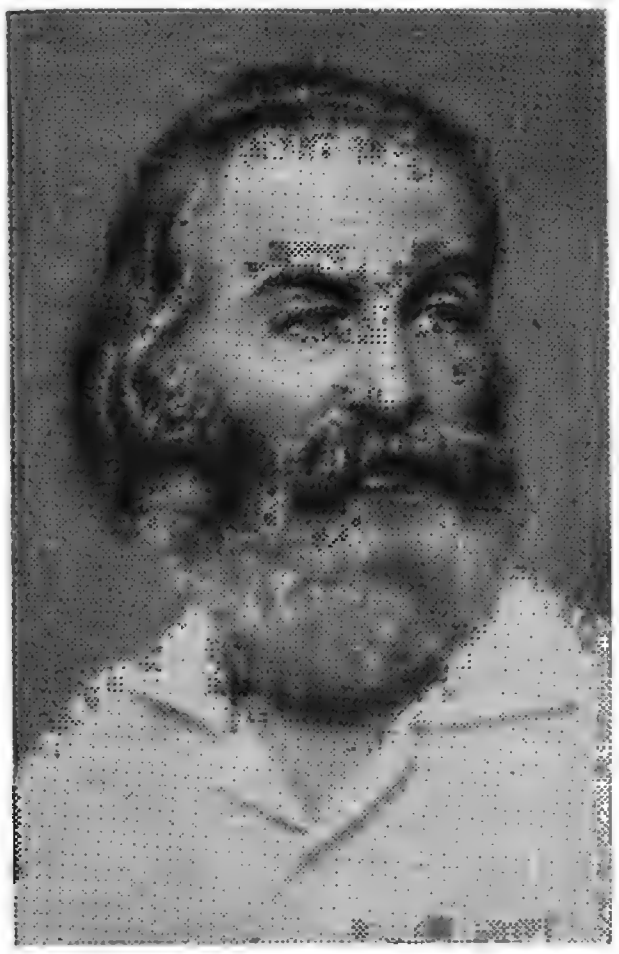
Теплый прием, который оказан роману Митчела Уилсона американским и советским читателем, никак, очевидно, не устраивает тех, кто противятся налаживанию хороших отношений между двумя странами. В такой неблагодарной роли выступил небезызвестный «Тайм», продукт издательской империи Генри Люса. Не располагая сколько-нибудь серьезными аргументами, «Тайм» обрушивается на роман «Встреча на далеком меридиане» с нападками в духе «холодной войны».

УОЛТ УИТМЕН В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Великий американский поэт Уолт Уитмен, как известно, во время Гражданской войны 1861—65 годов, выступая против рабовладения, служил добровольцем-санитаром во фронтовых госпиталях. Его военные наблюдения, живое общение с ранеными солдатами армии северян, глубоко гуманное, человечное отношение к людям, искреннее сочувствие горестям, невзгодам, лишениям, физическим страданиям нашли отражение во многих его письмах того времени, газетных статьях и очерках, стихах, памфлетах, записях в дневниках.

До сих пор все эти отдельные зарисовки фронтовых будней, кровавых ужасов войны сохранялись в различных архивах, иногда появляясь в тех или иных сборниках, и в общем были мало известны читателям. Вышедший в связи со столетием со дня начала Гражданской войны в США сборник под названием «Уолт Уитмен о Гражданской войне», составленный поэтом Уолтером Лоуэнфелсом, представляет, по отзывам печати, весьма значительный интерес, проливая новый свет на яркую личность крупнейшего поэта Америки.

Лоуэнфелс, пишет газета «Нэшнл гардиан», разыскал и включил в сборник буквально каждое слово, написанное или сказанное Уитменом в период Гражданской войны. Уитмен неоднократно выступал с разоблачением ужасов и бедствий, которые несут человечеству войны. В то же самое время он никогда не терял веру в человека, в благородство и героизм людей. Страшное зрелище поля боя после битвы заставляет его воскликнуть: «О боже! Что за картина передо мной? Неужели человеческие деяния — это кровавая бойня, людская мясорубка?» (Из главы «Бригада идет вперед»).



Уолт Уитмен.
(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

В этом сборнике — множество человеческих документов, повествующих о переживаниях и думах тех простых солдат, которых утешал, перевязывал, кормил, обслуживал поэт-санитар. Он держал их за руку, в палатках полевых госпиталей слышал стоны выздоравливающих и умирающих. Он делал для них все что мог, писал за них письма родным.

Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» пишет, что Уолт Уитмен лелеял мечту написать когда-нибудь историю Гражданской войны в США. Ему не удалось это осуществить. «Но,— по словам еженедельника,— он все-таки ее создал своими многочисленными высказываниями — газетными статья-

ми, письмами, поэмами, дневниками, в которых можно найти изумительные описания событий и переживаний. Собранные в один том, эти высказывания составили великолепную книгу о Гражданской войне».

В своих фронтовых записях, пишет еженедельник, поэт был блестящим военным корреспондентом. Он не ограничивался описанием боевых действий, остро реагировал на всякие неполадки, возмущался плохой организацией медицинской помощи на фронте, писал разоблачительные статьи, надеясь мобилизовать общественное мнение. Раненные на поле боя юноши, за которыми он ухаживал в госпиталях, не забывали его; это видно по многочисленным письмам солдат к поэту. Их письма по-своему рисуют нам его образ.

Для Уитмена каждый раненый юноша был как бы его собственным сыном, которого он непременно хотел выходить, поставить на ноги, спасти от гибели.

ИСКАЖЕННЫЙ ТУРГЕНЕВ

Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» опубликовал статью американского специалиста по русской литературе Дэвида Магаршака, обличающую недобросовестный перевод материалов, вошедших в сборник «Письма Тургенева» (перевод и редакция Эдгара Лермана). «Письма великого русского писателя Тургенева,— пишет Магаршак (кстати, являющийся автором биографических книг о Тургеневе, Гоголе и Чехове),— до сих пор были известны нашему читателю только по кратким антологиям. Поэтому выход в свет сборника избранных писем Тургенева, отражающих все периоды его жизни, представляется крупным литературным событием». Магаршак сообщает, как, будучи сначала введен в заблуждение солидным, даже академическим видом книги, наличием предисловия, приложений, списка источников, библиографического указателя и т. п., он очень быстро разочаровался. «С первых же строк внушительный академический фасад книги рушится...»

«Письма,— отмечает Магаршак,— переведены на какой-то нелепый английский жаргон, не имеющий ничего общего с эпистолярным стилем Тургенева. А уж если вы начнете сверять текст с русским, тогда с ужасом обнаружите, что переводчик обладает позорно малыми познаниями и в русском языке, хотя и является профессором русского языка в университете Эмори. Книга полна ошибок из-за полного непонимания русского, что естественно сводит к нулю ценность издания».

Что же касается отбора материала для сборника, по мнению Магаршака, он тоже произведен небрежно и бездумно. Например, важные письма, проливающие свет на творчество и жизнь Тургенева, дающие ключ к пониманию его произведений, или полностью отсутствуют, или включены в книгу в виде очень маленьких отрывков.

Вывод автора рецензии — такие «переводы» с русского никому не нужны.

«КИНОПОДПОЛЬЕ» В НЬЮ-ЙОРКЕ

В Нью-Йорке существует некое «киноподполье», или, как его называет газета «Нью-Йорк геральд трибюн», «кино не на Бродвее». «Киноподполье» состоит из нескольких киноклубов и кинообществ — небольших, но активных групп, разочарованных стандартной продукцией Голливуда и делающих переоценку ценностей в области киноискусства.

Обо всем этом рассказывает статья, опубликованная в «Нью-Йорк геральд трибюн». Возникновение таких клубов, обществ и групп свидетельствует о стремлении американцев отойти от навязываемой Голливудом и коммерческими кинотеатрами макулатуры, о серьезном отношении к истории кино, о попытках найти новые пути в этом столь любимом и популярном среди широких масс искусстве. Чтобы составить себе представление о масштабах и сфере деятельности «киноподполья», приведем некоторые данные, почерпнутые из статьи в «Нью-Йорк геральд трибюн».

«Синема 16» является закрытым старейшим в Нью-Йорке кинообществом. В нем состоят от пяти до семи тысяч человек, которые должны выплачивать ежегодный взнос. Построенное на таких началах, «Синема 16» имеет право демонстрировать своей аудитории фильмы, которые никогда бы не пропустила цензура коммерческих кинотеатров. Помимо художественных филь-

В течение многих лет Бернард Шоу поддерживал переписку с американской актрисой Молли Томпкинс. Недавно сборник писем Шоу к ней вышел в Соединенных Штатах отдельным изданием. В сборник включено 125 писем, относящихся к периоду 1921—1949 гг. На снимке: Бернард Шоу и Молли Томпкинс (фото 1922 года).

(Газета «Нью-Йорк таймс»)

мов, «Синема 16» демонстрирует экспериментальные картины, хроникальные, научные, путешествия и т. п.

Кинообщество имени Теодора Хаффа (Теодор Хафф был известным историком кино) состоит в основном из так называемых «ДСФов »— «Друзей старых фильмов» и существует на правах частного киноклуба. Там обычно демонстрируются поздние немые фильмы и ранние звуковые картины, а также большое количество мультипликационных фильмов.

Кинообщество «Нью-Йоркер» демонстрирует классику. «Общество архивного фильма», начавшее свою работу в январе текущего года, намерено показывать те крупные фильмы, которые являлись вехами в истории кино. Это фильмы, о которых критики вечно пишут и вспоминают, но они нигде не демонстрируются. Речь идет о картинах крупных мастеров кино.

Кроме того, созданы многочисленные киногруппы при колледжах, музеях, библиотеках, где тоже идет активная работа по показу старых и новейших экспериментальных фильмов, в противовес тем, которые идут «большим экраном». Все это и составляет значительное «киноподполье», представляющее, по словам газеты, «новое течение».

ТУРЦИЯ

«ЦВЕТЫ, ПТИЦЫ И БИЗНЕС»

Прошел год со дня свержения в Турции кровавой диктатуры Мендереса, во времена которой турецкие писатели и журналисты за малейшие критические замечания в адрес властей привлекались к уголовной ответственности. В течение этого года в стране опубликовано много рассказов и очерков о мрачных временах коррупции и взяточничества, о нарушении элементарных требований даже буржуазной законности.

Турецкий журнал «Еди тепе» отвел для опубликования таких материалов специальный раздел под заголовком «Рассказы о временах, канувших в вечность». Недавно в этом разделе был опубликован рассказ Кемаля Бильбашара «Цветы, птицы и бизнес», в котором автор рассказывает о судьбе мелкого чиновника, испытавшего на себе все «прелести» правления Мендереса.

Один из руководителей районной организации правящей «демократической партии» потребовал от этого чиновника незаконно оформить домовладение с целью уменьшения налога. Чиновник отказался это сделать, и на него донесли как на «одного из коммунистов, которые чинят препятствия в оформлении документов гражданам-патриотам». Хотя расследование и не подтвердило этого обвинения, доноса было достаточно, чтобы чиновника сослали в отдаленную область под наблюдение полиции. Наконец полиция, убедившись, что «он не имеет ни малейшего отношения к коммунизму», разрешила чиновнику вернуться из ссылки.

Возвратившись в родной город, он увидел, какие безобразия творят его коллеги—члены «демократической партии», находящиеся на государственных должностях, как они запускают руку в народный карман и грабят граждан. Он решает подать в отставку и просить себе пенсию, тем более что уже более 25 лет находится на государственной службе и хочет отдать все свое время любимому делу — культивированию новых сортов цветов и разведению птиц.

В Анкаре он встречает одного знакомого, который занимает большую государственную должность только потому, что после прихода Мендереса к власти он одним из первых поздравил премьер-министра и поцеловал ему руку. «Оставь думы о пенсии,— говорит чиновнику этот пройдоха.— Я устрою тебе встречу с Мендересом, ты поругаешь оппозицию и попросишь разрешения на издание газеты или журнала, с тем чтобы обливать оппозицию грязью. Мендерес согласится стать крестным отцом твоей газеты, и государственные субсидии потекут в твои карманы. Я уже многих сделал таким путем богачами. Разве сейчас время заниматься цветами и птицами? Сейчас время большого бизнеса! Наполни свой кувшин, пока не иссяк источник! Разве можно упустить такой случай? Года не пройдет, как ты построишь себе большой доходный дом!»

Мелкий чиновник не успел воспользоваться этим соблазнительным предложением. Режим Мендереса рухнул, и все его приближенные вместе с ним оказались на скамье подсудимых.

Рассказ Бильбашара небольшой, но очень острый по своей политической направленности. Автор как бы предупреждает других, желающих воспользоваться переменами в политической обстановке в Турции для собственного обогащения за счет народа...

ФИНЛЯНДИЯ

ПОЛЕМИКА ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ

Вышла в свет вторая книга трилогии известного финского писателя Вяйне Линны «Здесь, под Полярной звездой» (см. сообщение «Роман вызвал полемику» в «Иностранной литературе» № 3, 1960 г.). Шумиха, поднятая буржуазной прессой по поводу этого произведения писателя, по оценке печати, превосходит даже ту бурную реакцию со стороны буржуазной общественности, которая была вызвана появлением романа Линны «Неизвестный солдат» и первой части трилогии.

Особую остроту придало дискуссии интервью, данное Вяйне Линной корреспонденту газеты «Дагенс нюхе-

Вяйне Линна.
(Газета «Кансан уутисет»)

тер» относительно затрагиваемого в последней книге писателя вопроса о причинах и ходе гражданской войны в Финляндии в 1918 году.

В развернувшейся дискуссии писатель высказал свое мнение об одностороннем и тенденциозном истолковании финскими историками событий 1918 года, построенном, по характеристике Вяйне Линны, на «белой лжи». Буржуазные критики и литературоведы обрушились на писателя, обвиняя его в «некомпетентности в понимании истории», хотя и были вынуждены признать достоверность «некоторых» высказываний Линны.

— У меня нет возможности ответить всем полемистам в отдельности,— заявил Линна в ответ на открытые письма столичных профессоров по поводу его последнего романа, опубликованные в газете «Хувудстадсбладет».— Вернее, в этом нет необходимости, так как точка зрения многих из них не дает возможности для конкретного обсуждения вопроса, поскольку она заключает в себе всегонавсего отрицание моего понимания истории. А точку зрения, например, профессора Свена Лундмана можно определить как предупреждение не растравлять старых ран; ее, пожалуй, следует воспринять как боязнь распространения коммунизма и некую попытку похоронить исследование событий 1918 года «как слишком свежий и больной вопрос» еще на сорок лет...

По характеристике рецензента газеты «Кансан уутисет», Вяйне Линна в своем выступлении опроверг выдвинутое буржуазией определение финской революции 1918 года как «измены родине».

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Недавно в Хельсинки, как сообщает газета «Кансан уутисет», прошли «Третьи театральные дни» финских театров на шведском языке. В программу этих «дней» были включены, в частности, лекции и доклады театральных деятелей Финляндии и Швеции.

Директор хельсинкского театра на шведском языке «Лилла Театерн» Вивика Бандлер в своем докладе об «авангардизме» в театре остановилась, в частности, на пьесах Ионеску, Беккета и Адамова. По мнению Бандлер, пьесы этих авторов не пользуются успехом ни у постановщиков, ни у актеров, ни у зрителей, так как «в них обойдены все злободневные проблемы. Я возлагаю цветы на духовную могилу Ионеску, Беккета и Адамова, заявила Бандлер, хотя пьесы их показывают в данный момент чаще, чем когда-либо. Чтобы найти подлинно современный театр, мы должны обратиться к новым источникам. Новым, рождающимся театром явится, вероятно, реалистический театр».

Также обсуждалась проблема репертуара для театров Финляндии. Режиссер туркусского театра Ральф Лонгбака в своем выступлении сетовал на безыдейность в постановках театров страны. «В наше время существуют театральные деятели и группы, создавшие современную театральную творческую эстетику, например, группы Бертольта Брехта, Жана Вилара, «Тиэтер уоркшоп». Драматург в этих группах является вдохновляющим фактором, он работает вместе с постановщиком и актерами. Пока у нас, финнов, нет таких возможностей,— сказал Лонгбака,— нам предстоит только отражать проблемы различных зарубежных направлений».

ФРАНЦИЯ

ГАРОДИ ОБ АРАГОНЕ

Один из виднейших французских марксистов, философ и литературовед Роже Гароди написал книгу «Путь Арагона», которая недавно вышла в издательстве Галлимар. До сих пор во Франции еще не было столь полного исследования о творчестве Арагона.

Андре Стиль в «Юманите» называет книгу Гароди значительной вехой в истории марксистской критики.

В интервью с корреспондентом «Юманите» Роже Гароди рассказывает о своей книге: «Я стремился проследить в творчестве Арагона от самого начала до наших дней воодушевляющие его идеи, его внутреннюю диалектику, его развитие. Эта проблема имела для меня особый интерес. Пытаясь разрешить ее, я понял значение творчества Арагона для нашей молодежи».

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ РОМАН БАЛЬЗАКА

Среди переизданий «бальзаковского года», которые публикуются ежегодно весной «Группой бальзаковских исследований», внимание печати обратил на себя малоизвестный роман Бальзака «Мелкие буржуа», изданный с введением, примечаниями и приложением Реймона Пикара.

«Юманите» подчеркивает значение этого издания для изучения метода Бальзака. Первоначальный замысел этого романа, который датируется концом 1843 года, как об этом пишет Бальзак в письме к Ганской, состоял в том, чтобы создать своего Тартюфа. Но по мере развития замысла Оргон — которого Бальзак определяет так: «Оргон — это буржуазия»,— становится многоликим и начинает вытеснять Тартюфа. «Тартюф не является больше главной фигурой,— пишет Бальзак в другом письме и уточняет: — главный персонаж это буржуазия 1830 года». Реймон Пикар отмечает, что в замысле психологический роман по мере воплощения превращается в роман социальный. Именно этот факт, пишет «Юманите», вызывает нападки на Бальзака представителей так называемого нового романа.

ЗАМЕТКИ ЭМИЛЯ ЗОЛЯ О ДЕЛЕ ДРЕЙФУСА

Еженедельник «Леттр франсез» опубликовал исследование Анри Гийемена «Золя и дело Дрейфуса», в котором полностью приведены до сих пор не изданные заметки Эмиля Золя по поводу дела Дрейфуса, сделанные писателем во время судебного процесса.

Эти ценнейшие для изучения наследия Золя материалы были предоставлены Анри Гийемену для опубликования сыном писателя — доктором Жаком Эмилем Золя. Заметки Золя, сделанные им во время позорного процесса во Дворце юстиции, содержат сатирические характеристики представителей военщины и судебного чиновничества.

В исследовании Гийемена упоминаются также неизданные письма Золя из Англии. В одном из них Золя пишет: «Как великая нация будет жить перед лицом всех других народов с этим преступлением, совершенным средь бела дня?»

Парижский театр «Комеди франсез» поставил пьесу А. П. Чехова «Дядя Ваня» в переводе Эльзы Триоле. На снимке: Заключительная сцена спектакля. Соня (артистка Рене Фор) и Иван Петрович Войницкий (артист Даниэль Ивернель).

(Газета «Юманите»)

ЦЕЙЛОН

«ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ»

С большим подъемом прошло на Цейлоне празднование «Дня литературы». По сообщениям печати, по всей стране были организованы выставки книг, портретов и фотографий национальных писателей и поэтов, фестивали пьес, вечера народных песен и танцев. По решению местных властей многим городским улицам и магистралям были присвоены имена выдающихся писателей страны.

Центром праздника явился город Анурадхапура, где перед собравшимися выступила с речью премьер-министр г-жа Сиримаво Бандаранаике.

Напомнив о большом внимании, которое уделял вопросам литературы ее муж, покойный премьер-министр, г-жа Бандаранаике заявила, что и ее правительство также «окажет всестороннюю помощь развитию сингалезской литературы, поможет повысить к ней интерес народа».

«СИНЕКРЫЛЫЕ ПАВЛИНЫ ЛЕТЯТ НА ЮГО-ВОСТОК»

Национальный театр в Коломбо поставил пьесу «Синекрылые павлины летят на юго-восток», написанную по одноименной древней китайской народной песне. Премьере на столичной сцене предшествовали другие постановки в стране, где пьесу ставили многочисленные самодеятельные театральные коллективы.

Газеты Цейлона дали высокую оценку спектаклю. В статьях подчеркивается, что пьеса будет способствовать развитию национальной драматургии на сингальском языке.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НАСЛЕДИЕ ФУЧИКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В мрачные дни фашистского «протектората», когда из школьных программ было изъято всякое упоминание о прогрессивных и героических страницах чешской истории и культуры, главный редактор молодежного журнала «Рой» Ладислав Ганус предложил Юлиусу Фучику написать для журнала цикл статей для молодежи о чешской литературе, которые укрепили бы в молодежи веру в непобедимость и стойкость духа чешского народа.

Фучик приступил к работе с необычайной энергией. Он тщательно выбирал такие периоды в жизни писателей, которые ярко говорили об их связях с народом, об их любви к родине и неиссякаемом оптимизме. Во вступительной статье

«Чешская литература в борьбе за свободу» Фучик напомнил о тех фактах, которые способствовали развитию прогрессивной литературы Чехословакии, подчеркнув боевой характер чешской истории.

Статьи Фучика отражали развитие национальной литературы и общественные проблемы того времени. Его статьи, как отмечает журнал «Пламен», не являются сухим перечнем дат и событий, но рассказывают о судьбах людей, об их устремлениях и борьбе. Статьи Фучика не потеряли своего значения и в наши дни. Недавно они вышли отдельной книгой под названием «Чтения о чешских писателях и деятелях национального возрождения».

В Братиславе состоялась премьера пьесы молодого словацкого драматурга Людовита Филана «Игрок», поднимающей проблему этики человека в социалистическом обществе. Критика отмечает, что драматург смело затрагивает насущные вопросы новой жизни Чехословакии. На снимке: Артистка Гана Ковальчикова, исполняющая роль Елены, отказавшейся строить личное счастье вопреки интересам социалистического общества.

(Еженедельник «Культурны живот»)

«ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ПОЕТ»

Так назвал сборник очерков, воспоминаний и фельетонов, написанных в течение последних пятнадцати лет, известный чешский писатель Карел Новы.

Характерным для сборника является политическая актуальность, которая, однако, не ослабляет лирический голос автора. Чешская критика отмечает, что в этом сборнике со всей глубиной проявился поэтический талант К. Новы — «прозаика, который обладает даром поэтического видения».

Время, которое поет,— это сознание нерушимости жизни, прочности и справедливости социалистической действительности. Это сознание того, что человек неразрывно связан с трудом. И это не индивидуальная философия К. Новы, это философия жизни людей его страны.

Сегодняшнюю действительность, наполненную трудом, героизмом и творчеством, писатель называет временем-братом. И сборник очерков Карела Новы, по оценке журнала «Пламен»,— «книга, которая поет об этом времени».

ШВЕЙЦАРИЯ

АРХИВ ТОМАСА МАННА В ЦЮРИХЕ

Как сообщает печать, архив Томаса Манна передан его наследниками Высшему техническому училищу в Цюрихе. Наряду с многочисленными оригинальными текстами и письмами Томаса Манна архив содержит обширное собрание набросков, рабочих материалов писателя, а также коллекцию портретов и почетных грамот.

Под архив отведено помещение одного из старинных зданий Цюриха. По замыслу устроителей этого интересного музея, он должен стать памятным местом и центром работы по изучению творчества Томаса Манна.

ШВЕЦИЯ

РАЗДУМЬЯ КИНОКРИТИКА

«Смотрели ли вы по телевидению фильм, заставивший нас плакать о погибшем на поле боя русском солдате?»— спрашивает читателей шведского журнала «Се» критик Руне Муберг.

Шведский зритель видел массу военных фильмов и горячо аплодировал, видя, как геройски погибают в бою солдаты воюющих армий или когда им удается избежать смерти. Американские кинобизнесмены даже ухитряются в угоду неприхотливому зрителю, развращенному детективно-гангстерскими фильмами, изображать в кино солдатскую смерть в виде фарса, способного лишь вызвать смех.

«И как далек от этого,— продолжает Муберг,— показанный по телевидению русский фильм «Дом, в котором я живу». Герои этого фильма, простые русские люди,— которых мы так мало знаем и которые заслуживают того, чтобы узнать их больше,— являют пример подлинной человечности...

В фильме мы видим женщину, проводившую на войну мужа и двух сыновей. Ее лицо незабываемо. Это лицо — лицо эпохи, лицо великого народа, но в то же время — лицо всех матерей войны, лицо всех народов и всех эпох... Этот фильм дает много, но все же, когда забыто все другое, хотелось бы, чтобы лицо этой пожилой женщины, этот живой кусок любви и страдания, навсегда остался бы в памяти у всех».

«Дом, в котором я живу», по убеждению критика, не только заставляет зрителя глубоко задуматься над безумием новых поджигателей войны, но и вселяет надежду на то, что настанет день, когда «последнее перо выпадет из окоченевшей руки последнего поджигателя войны и другие, теплые руки начертают на всех языках знак мира, когда все поймут, что в конце концов все мы живем в одном доме».

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ

«НОЧЬ СМЕНЯЕТСЯ РАССВЕТОМ»

По сообщению южно-африканской газеты «Уорлд», молодежная труппа города Претория поставила музыкальную драму «Ночь сменяется рассветом», написанную местным автором Б. Л. Лешоаем.

В пьесе показано, как жители одного из западноафриканских племен были захвачены работорговцами, брошены на корабли и увезены через океан на хлопковые плантации Америки.

Отмечая, что «постановка пьесы поражает каждого своим высоким мастерством и означает новый большой шаг по пути развития африканского театра», рецензент газеты по вполне понятным причинам обходит молчанием тот факт, что своим успехом пьеса во многом обязана тому, что ее содержание живо напоминает теперешнее положение «черных» и «цветных» в «свободном» Южно-Африканском Союзе с его расистскими законами.

ЯПОНИЯ

«ДЕЛО МАЦУКАВЫ» НА ЭКРАНЕ

На экраны Японии вышел фильм «Дело Мацукавы», поставленный видным режиссером Ямамото Сацуо по книге и сценарию Синто Канэхито.

Фильм был создан на средства широких трудящихся масс, собранные профсоюзами Японии. В обсуждении сценария фильма принимали участие рабочие, служащие, а также сами подсудимые по «делу Мацукавы», которое длится уже тринадцатый год.

Канэхито и Сацуо заявили, что постановкой фильма они хотели привлечь внимание широкой общественности к беззакониям, совершающимся в современной Японии. Выпуск фильма был приурочен к возобновлению процесса по инсценированному реакцией «делу Мацукавы». (Как известно, воспользовавшись фактом крушения поезда около станции Мацукава, власти привлекли к ответственности местных прогрессивных деятелей профсоюза.)

— Я живу ролью Вали, люблю ее, играю ее. Роль Вали — замечательная, благодарная. Валя — цельная и содержательная натура. Трудно играть эту роль, но интересно. Каждый актер, играя ту или иную роль, обогащает себя как человек Играя роль Вали, я конечно стала богаче. Я поняла величие страны социализма, духовное богатство тех людей, которые строят эту страну,— так заявила японская артистка Нара Томоко, выступающая в пьесе «Иркутская история» Арбузова. Эта пьеса советского драматурга поставлена японским театром «Мингэй».

(Газета «Акахата»)

УСПЕХ ФИЛЬМА «ДИКТАТОР»

По сообщениям из Токио, фильм Чаплина «Диктатор», идущий в кинотеатрах Японии, пользуется огромным успехом у зрителей. Как только появились анонсы фильма, у касс кинотеатров выстроились очереди. По подсчетам японских газет, общее число японцев, посмотревших «Диктатора», составило уже пятнадцать миллионов.

Для японского народа, долгие годы испытывавшего фашистско-милитаристский гнет, отмечают газеты, демонстрация фильма Чаплина «Диктатор» явилась поистине вдохновляющим событием и вызвала растерянность среди еще сохранившихся в Японии фашистских элементов.

«Хотя наше правительство и подписало «Договор безопасности» с изгнавшей Чаплина Америкой,— пишет японский кинокритик Окада Хиро,— мы никогда не перестанем восхищаться его немеркнущим искусством».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Го Мо-жо (род. в 1892 г.) — китайский писатель, поэт, прозаик, драматург и общественный деятель. Президент Академии наук КНР. Произведения Го Мо-жо неоднократно переводились на русский язык.

Публикуемое стихотворение написано автором для журнала «Иностранная литература».

Богуслав Бржезовский — Bohuslav Březovský (род. в 1912 г.) — чешский писатель, автор книг для детей и молодежи, драм и романов: «Близнецы жизни» («Blíženci života», 1941), «Человек Бернард» («Člověk Bernard», 1946) и «Люди в мае» («Lidé v květnu», 1955). «Железный потолок» («Železný strop») вышел в Чехословакии в 1959 г.

Роман «Железный потолок» публикуется в журнальном варианте. Полный перевод книги будет выпущен Издательством иностранной литературы.

Иоганнес Р. Бехер — Johannes R. Becher (1891—1958) — немецкий поэт и общественный деятель (ГДР). Творчество Иоганнеса Бехера хорошо знакомо советскому читателю. Его произведения неоднократно издавались на русском языке.

Стихи, представленные в этом номере, взяты из Собрания сочинений (1952) и из сборника «Шаг середины века» («Schritt der Jahrhundertmitte», 1958).

Роналд Сигал — Ronald Segal — южноафриканский писатель и публицист. Редактор журнала «Африка Саут» («Africa South»).

Повесть Сигала «Токолош» («The Tokolosh») вышла в Лондоне в 1960 г.

Жан Сенак — Jean Senac — алжирский поэт. Стихи, печатаемые в этом номере, взяты из французского журнала «Эспри».

Гопал Халдар (род. в 1902 г.) — индийский (бенгальский) писатель, критик и общественный деятель.

Публикуемая статья написана для журнала «Иностранная литература».

Романо Ледда — Romano Ledda — итальянский журналист, постоянный сотрудник газеты «Унита» и еженедельника «Вие нуове», из которого и взят публикуемый материал.

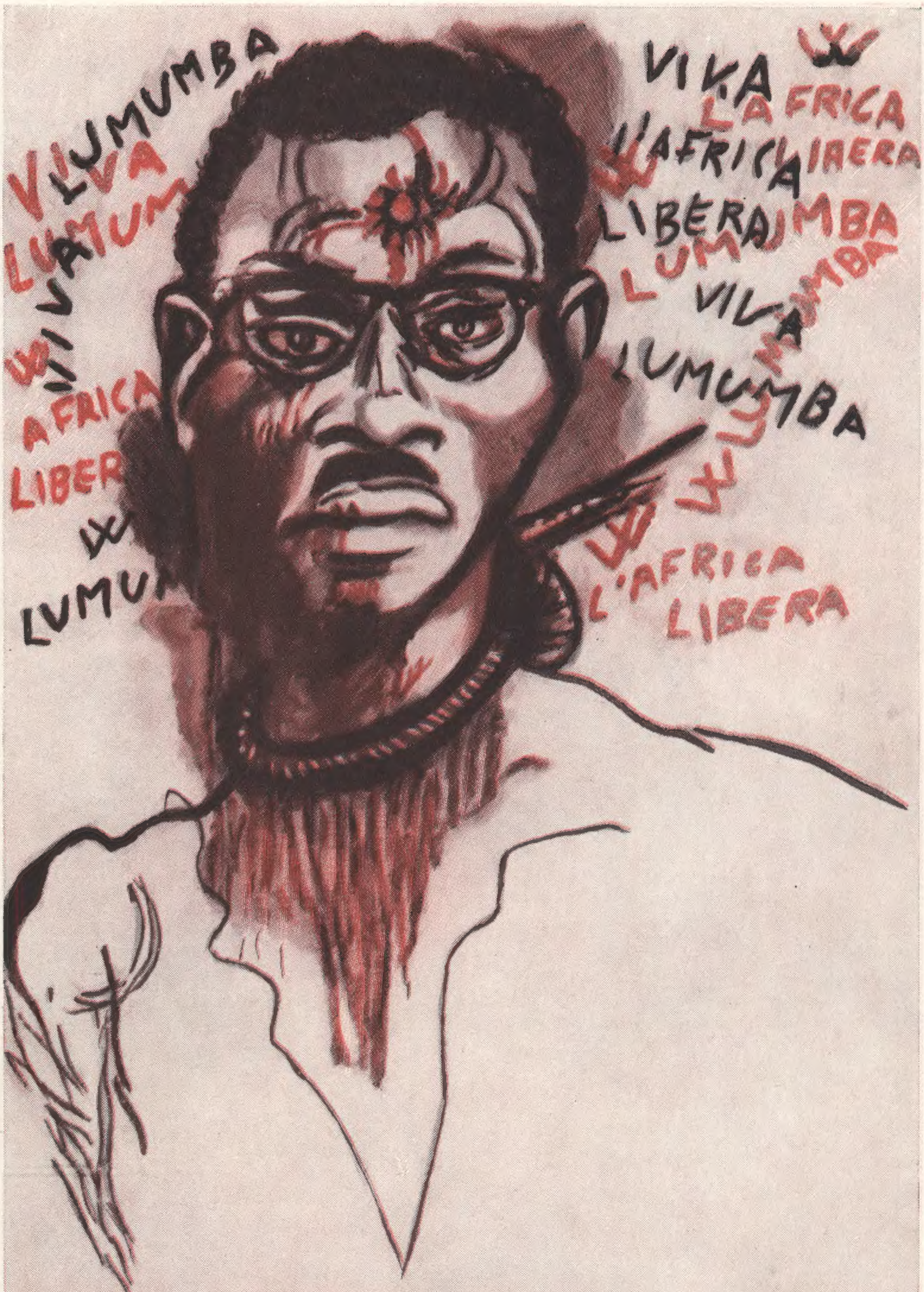
Пинту Феррейра — Pinto Ferreira (род. в 1918 г.) — бразильский публицист, социолог и литературовед. Автор многих книг, в их числе «Социология революций» («Sociologia das revoluções», 1939), «Введение в научную философию» («Introdução à filosofia científica», 1951), «Интерпретация бразильской литературы» («Interpretação da literatura brasileira», 1957), «Краткая история бразильской литературы» («Petite histoire de la littérature brésilienne») и др.

Публикуемый репортаж написан для журнала «Иностранная литература».

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**
Редакционная коллегия:
И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов,
В. И. Верховский (ответственный секретарь), **Б. Г. Гафуров,**
С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора),
Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин,
М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.
Художеств. редактор *М. М. Милославский* Технический редактор *В. Л. Шачнев*

А 03290 Сдано в производство 16/III 1961 г. Подписано к печати 25/IV 1961 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.; печ. л. 24,66+2 вкл. Зак. 536.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.



**«Да здравствует свободная Африка!
Слава Лумумбе!..»**

Рисунок итальянского художника
РЕНАТО ГУТТУЗО

Эти рисунки для журнала «Иностранная литература» сделал чехословацкий художник Адольф Гофмейстер.

Сражающийся континент

Ан

Колонизаторы, вон из Африки!

Цена 80 коп.